Анатолий Садыров

СЕРЬГИ ИМПЕРАТРИЦЫ

Исповедь
Маслянинского отшельника

Роман

НОВОСИБИРСК
2015

ББК Р7-4
С 14

Посвящается
Полине Васильевне

Роман издан на средства автвора.

Садыров А. Ж.

С 14 Серьги императрицы. Роман. – Новосибирск: РИЦ НПО Союза писателей России, 2015. – 496 с.

ISBN 978-5-900-152-57-9

В основу повести положены события из жизни сибиряков за последние три столетия. Многие действующие лица соответствуют архивным документам, к которым автор относится, как к неисчерпаемой кладовой, где хранятся достойные дела наших пращуров.

Автор, отображая документ в образах, делах, думах, встречаясь с потомками героев былин, всегда восторгался их подвижничеством в хлеборобстве, храбром воительстве, познании непознанного, жертвовании собой во имя незапамятного имени – СИБИРЯК.

В оформлении обложки использована репродукция картины
В. М. Васнецова “Сирин и Алконост. Песнь Радости и Печали”

© Садыров А. Ж., тексты, 2015
© Садыров А. Ж., оформление, приложения, 2015



Хорошо жить в почёте у мира, да ответ большой.
Народная пословица

Завязь

В 1891 году ездил Каллистрат Романович Огнёв на Егорьевские золотые прииски приветствовать цесаревича Николая Александровича Романова. Вернулся в деревню – началось невероятное. От многих семей пожаловали депутации с приглашением в гости. Он не отказывался. В каждой горнице сидел на почётном месте и подробно, в деталях рассказывал, как встречали в Егорьевске цесаревича, чем угощали, о чём Николай Александрович говорил. Навестил Каллистрат и дом деревенского старосты Ивана Шмакова. После второй чарки начал было вещать Огнёв, как и в других домах, да Иван перебил его:

– Ты, Каллистрат Романович, вот о чём поведай: что пил цесаревич?

– Этого я, Иван Иванович, не знаю. Не гуторили, какие вина разливали.

– Из чего пили? – задал вопрос опять Шмаков и придвинулся вплотную к Каллистрату, умилённо вглядываясь в зелёные глаза.

– Из чего, спрашиваешь? Из стеклянного сосуда на ножке, – ответил Каллистрат и, облизав губы, чмокнул.

– А как этот сосудец называется? – не унимался Шмаков.

– Убей, не помню, – поникшим голосом проговорил Огнёв и, дабы скрыть расплывшееся в улыбке лицо, отвернулся от старосты.

– Как же так, Каллистрат Романович, весь вечер сидел ты за одним столом с Его Императорским Высочеством, сыном Его Императорского Величества Николаем Александровичем Романовым… Как же так? Ел, пил, а из чего пил – не помнишь? Може, ты с первой чарки опьянел и под стол свалился?

– Да ты что, Иван Иванович, – округлив грудь, возмутился Огнёв. – Я хоть и стар, но меня и с четверти под стол не свалишь.

– Промах у тебя, Каллистрат Романович... Обмишурился ты. Но я тебе помочь готов. Так из чего же я пил? Из кружки, кубка, стакана, стопки, чарки, кувшинчика, бутылки, фляжки, крынки, – поспешно вздохнул Шмаков, – кажись, всё.

Покраснел Каллистрат, вскочил с лавки, ударил кулаком по столу.

– Старик Хиба хвалился, что пил из бочонка, кадки и даже ложкой хлебал… Моя корова Звёздочка, помнится, высосала ведро гущи... И зануда же ты, Шмаков! Пил я в особняке полковника Ляпина из рюмки! Вот так тебе, подковырка пеньковская. А ты из рюмки в жизни не потягивал «жемчужную» и чмокать тебе от удовольствия не придётся.

Шмаков засёкал*:

– Каллистрат Романович, мыслимо ли за вопросы обиду иметь? Я это по простоте своей…

– Шмаков! – протянул Огнёв. – Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Это ещё в Библии сказано. Прощевай, староста. Благодарствую за угощеньице. – На пороге пробурчал: – Староста, ты сам себе прозвище выбрал: «Рюмочка тонконогая».

…Тогда-то и втемяшилось старосте Шмакову на укор Огнёва испить из рюмки, из которой цесаревич выпивал, а на «закусь» понежиться в той постели, в коей цесаревич почивал, в Егорьевске, в особняке полковника Ляпина.

В день открытия музея в Егорьевске Шмаков первым из пеньковцев пожаловал. С порога у директора музея, матушки Александры, спросил:

* Засёкал – заторопился, поспешил.

– Милая, не изволите ли показать рюмку, из коей пил Его Императорское Высочество Николай Александрович.

Матушка Александра, улыбаясь, глянула на Шмакова созревшими ежевичками, слегка поклонилась.

– Здравствуйте, Иван Иванович.

– Ой, матушка Александра, простите, – спохватился Иван. – Здравствуйте и вы, и отец Никодим, и все Бальвы на этой земле и в других иноземных... Ну, теперь показывайте…

Матушка Александра остановилась возле невысокого столика, над которым возвышался полукругом купол из стекла, а внутри располагались маленькие и большие тарелки, рюмки, фужеры, бокалы, серебряные вилки, ложки, серебряный поднос…

– Вот из этих рюмок и фужеров откушивал Его Высочество Николай Александрович, – показала матушка Александра.

Иван удивлённо округлил рот. Спросил скоро и отрывисто:

– Так? Так сразу из всех?

– Под холодную закуску наливали вот в эту хрустальную рюмку водку, под хариуса с хреном наполняли белым вином вот эту высокую рюмку, под жареного гуся подавали в этой рюмке красное вино, после провозглашения тоста, под десерт, цесаревич пригубил этот фужер, с шампанским, а перед подачей чая Николаю Александровичу предложили французского коньяка в этой рюмке-шаре…

– Хватит, милая! Напился. Благодарствую от души. Разогорчили вы меня, матушка Александра, безмерно. Вынуждаете желание менять. Это как бы: кобыла принесла четырёх жеребят, да она не моя…

Шмаков не взглянув больше ни на один экспонат, нахлобучив шапку, покинул музей.

Ниоткуль накатилась туча, тяжёлая грусть сковала сердце. Непонятную злость, обиду, горечь, обрушил он на свою серопегую кобылу. Бедняжка не могла в толк взять – пошто это Иван расхлестался бичом? Бегу прытко, не останавливаясь, по Большаку Покровскую деревню проскочили и Шишинскую. Неуж так будет гнать до Пенькова?

В Пеньково Иван обмяк, о лошади высшую заботу проявил, покусал её за ухо, отчего кобыла положила ему голову на плечо, оскалила зубы и тихо, гундосо, подражая Пеньковской старухе Сире, заржала. Иван с улыбкой на лице матюгнулся, следом спросил:

– И когда ты, просмешница, с ней встречалась? Придётся Андросову, с которым я недавно поспорил, четверть ставить. Ох, разорительница ты моя!

Дома жене буркнул:

– Пошёл в сборню. Через час вернусь. На стол четверть поставь. Ивана Григорьевича с сыном Тимошкой и бабами пригласи. Проиграл я Ивану Андросову, проиграл… Наша Чалая зубоскалит, как старуха Сира. – Спросил: – Косолапый со старухой Сирой заходили в нашу конюшню?

– Намедни, Иванушка, намедни. Я-то подумала: что это он бабаню украдкой впереди себя толкает?

– Намедни, – передразнил Иван жену. – Не глазеть надо было, а ухватом из конюшни… То, бывалоча, любо на всех ярмарках до десяти четвертей в споре брал. Скажу: «Чалая, а как наш благочинный протоиерей Евгений смеётся?» Чалая зубы оскалит – и: ха-ха-ха, один к одному – благочинный. А кто такая Сира? Пфу! Кто её знает? Кому нужен её жидкий, писклявый смех? Ох, за один-то день – и столько огорчений!

Прошло два года, Чалая вновь на ярмарках смешила крестьян, хохотала, как отец Евгений. Иван всё реже и реже вспоминал своё желание испить из той рюмки, с коей цесаревич пил, поспать в той постели, на которой Его Высочество опочивали. И тут ямщик Кузьма Артемихин привёз в Егорьевск тяжёлую весть: почил в Бозе Император Александр III. Наследник его, цесаревич Николай взошёл на престол.

Управляющий Егорьевским прииском полковник Ляпин в расстроенных чувствах прохаживался по музею: hоссийский флаг над конторой приспустили, в музее портрет Александра III чёрной материей обрамили, заупокойную священник отец

Никодим отслужил, а в душе скверно. Вспомнил посещение Николаем Александровичем Егорьевского прииска. «Не так, видно, я его встретил, – думал полковник. – Вон матушке Александре какое внимание: десяток телеграмм, низка жемчуга… А мне? Одну телеграмму послал, в двух словах: «Благодарим за приём».

Время катится. Ещё не дошёл до Егорьевска Манифест о восшествии на престол Государя Императора Николая II, новый слух пронёсся по Салаирскому краю: Николай II бракосочетался с великой княжной Александрой Фёдоровной – принцессой Алисой Гессен-Дармштадской.

Все ждут ямщика Артемихина. Он-то прояснит истину. Но как бы то ни было, к торжеству надо готовиться. Не сейчас, так потом. Николай II обязательно обвенчается. Бобылём императору непристойно жить. И почему Алисе дали имя Александра? Не в честь ли матушки Александры Борисовны? Полковник испугался своих вопросов. Мне какое дело! И где запропастился Кузьма? Поди, опять веретеном катается в санях от нестерпимой боли в суставах. Давно надо другому ямщику государеву почту поручить, но кто сравнится с Кузьмой. В любую погоду он безропотно куда прикажут, туда и едет. Однажды полковник шутя предложил: «Кузьма Корнеич, запрягай лошадей и отправляйся в Санкт-Петербург, доложи Председателю Кабинета Его Императорского Двора, что драгу на Тайлёнке надо менять». Кузьма с поклоном спрашивает: «Позвольте, ваше благородие, на несколько часов отложить отправку. Коням надоть подковы сменить. Путь неблизок». Рассмеялся полковник: «И что, Кузьма, отправился бы?» «Отчего нет, – ответил. – Я на государевой работе, а она нуждается в исполнении».

Чтобы загладить давешнее «незнамое» недовольство цесаревича к нему, полковник Ляпин решил по такому случаю преподнести подарок великой княжне. А что преподнести? Конечно, какое-то украшение! И хорошо, если это украшение будет изготовлено из егорьевского золота.

Стоит полковник в музее и любуется низкой перламутровых жемчугов – подарком цесаревича матушке Александре. Что за

удивительная женщина матушка Александра! Подарил цесаревич ей, так нет – передала в музей.

Пригласил полковник самых уважаемых людей Егорьевска и окрестных мест: настоятеля церкви Святой Троицы Никодима Бальву с матушкой Александрой, вожака прииска Ново-Лушниково Ивана Щукина, купца Терентия Капитанова, и ещё учителя Егорьевской школы Василия Посельского, мастерового прииска Бориса Вершинина, заводского рабочего Илью Иванова, заводского фельдшера Анания Бердышева. Предложил полковник поразмыслить о том, какой подарок приготовить императрице, чтобы от Александры Фёдоровны благосклонность поиметь.

Бурно шло обсуждение. Одни предлагали изготовить золотые планшетки для корсета, другие – золотые пряжки для подтяжек, третьи – отлить фигурные пуговицы-кнопки с инициалами «А. Ф.». Преподаватель словесности Василий Посельский считал, что лучшим подарком будет золотой крест.

– А императрица православная? – спросил Иван Щукин.

– Православная, православная, – ответил отец Никодим. – Коль её зовут не Алисой, а Александрой, то православная.

– Что если изготовим золотые серёжки с жемчугом? – спросил полковник Ляпин.

– А жемчуг где возьмёте? – вмешался в разговор Илья Иванов.

– Из музея, – ответил полковник.

– Хорошо ли это? – продолжал спрашивать Иванов. – Матушке Александре подарили, вот и пусть бы носила. Память всё же. И она достойна.

– Илья Потапович, – тихо произнесла матушка Александра, – я не светская дама, а жена батюшки Никодима. Я не имею права носить такие дорогие вещи. И я не против, чтобы индийский жемчуг был вкраплён в серёжки. Пусть они будут подарком императрице Александре Фёдоровне от мирян нашей Николаевской волости.

Отец Никодим подумал: «Интересно бы знать, чья это идея Алисе Гессен-Дармштадской выбрать имя святой Александры?»

Бросили клич по Салаирскому краю: кто из заводских мастеровых, кузнецов, ремесленников имеет призвание к золотому делу – пожаловать к управляющему Егорьевским прииском, его превосходительству полковнику Ляпину. Прошла неделя – нет таковых. Второй раз клич пустили. Опять никто не отозвался. Полковник Ляпин решил отправить своего кучера Юрия Черепанова по прозвищу Крупский в Барнаул. Юрий был саженного роста и двухпудовую гирю перебрасывал через капитоновский амбар. А в это время с большим опозданием узнал, что ищут мастерового, Иван Шмаков. В Шипицыно на крестинах гулял Иван Иванович у далёкого своего родственника Акима Чанкина в честь появления на свет Божий нового чада Григория Чанкина. Кто-то из гостей – не то Фёдор Кошаев, не то Егор Ульянов – Иван не запомнил, кто сказал, а вот слова дошли до сознания: «Его превосходительство полковник Ляпин ищет мастерового на изготовление ушной красы. Да вот не находится таковой».

Шмаков от предчувствия будущей радости исполнения его мечты соскочил с лавки, испил кружку корчажного пива и с полчаса хохотал, тороча по щекам крупные слезы и всплескивая руками. Жена Ивана Галина недоумённо глядела на мужа, покачивая головой. Не выдержав, прострочила:

– Предупреждала, окаянный, покарает тебя Господь Бог. Это же какой грех ты брал на себя, обучая кобылу передразнивать благочинного. Вот и достукался. Не отличишь, что кобыла ржёт, что ты, пересмешник безбожный.

Иван посерьезнел, спросил у жены:

– В последний раз что Никите попортили в кулачном бою?

– Этому бугаю ничего. А вот Ивану Марасову он правую руку отбил. Прасковья во двор с Иваном ходит. Рубезок развязывает…

Шмаков в низком поклоне отблагодарил Чанкиных и выскочил во двор…

Вечером он уже сидел за столом в Егорьевске у кума Степана Петункина. Степан Константинович завёл разговор об ушниках, Шмаков таинственно проговорил:

– Будь моя воля, поручил бы я сотворить чуски для импера-

трицы одному человеку. Уверен, сотворит такой красоты, какой и заморские мастера никогда не делали…

– Неужто есть в деревне такой человек? – интерес проявил Петункин.

– Есть! – уверенно ответил Шмаков.

– Кто ж он?

– Ты, кум, как хозяин следи, чтобы моя чарка от сиротства не зарыдала, – говорил Шмаков вяло и протяжно, – а в мои душевные познания людских способностей не лезь. Достанешь в конторе моему писарю стопку бумаги с мою закрутку толщиной, подумаю: сказать али нет.

Из дома никто не выходил, а спать старосте Шмакову не пришлось. Неведомо как узнал полковник Ляпин суть разговора Шмакова с Петункиным. Ранним утром предстал он пред очами полковника.

– Бумага тебе нужна? – спросил Ляпин.

– Мне нет. Писарю моему, – секанул Шмаков.

Положили перед Шмаковым стопку бумаги толщиной в десяток закруток. Шмаков пощупал, на свет посмотрел.

– И как это на белой бумаге ангелы белые вкраплены? Премного благодарен, ваше превосходительство. А ещё имею я желание испить из рюмки, из коей пил в ваших хоромах Его Высочество цесаревич Николай.

– Шмаков, бумага на столе. Говори, кто мастеровой, а желания твои меня не интересуют.

– Правильно, правильно, ваше превосходительство, желания мои. Сегодня я испил у кума три шкалика, но память у меня, как у старика Хибы. Он во младенчестве, будучи беззубым, копейку потерял. И где? В зыбке. А стариком беззубым нашёл. Обронила её в лавке Красавы учительница Похитонова, Хиба лаптем придавил и заорал: «Нашёл, нашел свою копеечку, нашёл», но это уже на совести Хибы. Я, ваше превосходительство, у кума сказал так: «Подумаю, сказать или нет». Не поверите, ваше превосходительство, вот у кума из шкалика пил, а всё соображал, как бы из той рюмки выпить, из которой цесаревич потягивал.

Сами знаете, не пьяница я, а вот мечта вошла в мою голову…

Шмаков обхватил лицо руками и затряс головой.

Полковник сел в кресло, закурил. Посматривая на пальцы Шмакова, ждал, когда промеж пальцев появится правый или левый глаз. Шмаков, чувствуя это, начал подвывать, сдавливая веки. Но любопытство осилило. Он открыл правый глаз, раздвинул пальцы. Полковник улыбался.

– Рюмки, фужеры и весь прибор я передал в музей…

– Ваше превосходительство, рюмку прошу не насовсем, – затараторил Шмаков. – Налью в неё «Бабьей желчи» выпью, и попробуй кто меня из волостной управы тронуть. Я им чекану: «Вы кто? Так себе – галки! А я – Шмаков – из той же рюмки водку пил, что и Его Высочество». И Каллистрату Романовичу отомщу за то, что прицепил он мне прозвище окаянное…

– Хорошо. Если назовёшь мастерового, который сможет выполнить эту работу, будешь пить из той рюмки.

Шмаков без разрешения сел на диван, достал кисет, развязал тесьму, сунул нос в приоткрытый кисет, нюхнул.

– Кум-то, поди, ещё спит, ваше превосходительство. Доброй души человек. Грамотей… Може, вам нужен ещё по какому другому ремеслу мастеровой? Я тогда бы и на лежанке полежал, где Его Высочество опочивали.

– Хватит требования выставлять. Говори, как мастер прозывается? А я со своей стороны обещаю тебе: напою, накормлю, чем поил и кормил в прошлом цесаревича, а ныне Императора, и постельные вещи велю достать из сундука.

– Верю, верю, ваше превосходительство, – с радостью вскрикнул Иван. – Вы Шмакова не обманете. Мастерового зовут Никитой, сын Евсея Огнёва. Он в деревне Пеньково проживает.

На следующий день полковник Ляпин и учитель Василий Посельский были в доме Огнёвых.

Его превосходительство долго секретничал с дедом Никиты Каллистратом Романовичем, отцом Никиты Евсеем Каллистратовичем, потом пригласили на беседу Никиту.

– Работал ли ты по золоту? – спросил полковник.

– Никак нет. Железом да серебром балуюсь.

– Сможешь ли из золота серьги для императрицы Александры Фёдоровны изготовить, и чтобы по красоте не уступали иноземным?

– Ваше превосходительство, участь моя, как сына кузнеца, внука кузнеца, прожить в забавах, любопытстве и всяких работах, что принуждает крестьянина обращаться к нам, кузнецам Огнёвым. Я душой свободен, летаю, как облачко. Там, на белом пятне, могу сообразить разную безделушку, самой причудливой красоты. В голове моей возникает много неземного. Сделать всё невидимое вещественно, а видимое в душевную радость превратить – не всегда могу. Огорчаюсь, страдаю; железо грубое и хрупкое на мелкие воздушные изделия. И хоть стремлюсь я совершить всё достойно, и вера моя в Господа Бога даёт простор содеянному, но часто мыслимое сплетается не в совершенстве. Наобум сказать смогу – не смогу, это не по-нашем, огнёвскому, характеру. Себе я давно велел: это ты, Никита, смочь можешь. А вам не скажу – попробовать надо.

– Родители твои и староста Шмаков заверили меня, что ты способен смастерить серьги.

– У Ивана Ивановича Шмакова, ваше превосходительство, одна забота, чтобы я больше работал головой и пальцами, а на кулачный бой не выходил. Горюет он, когда я мужикам морды сворачиваю, а не понимает: без забавы и ребячества мужик ржавеет, старостью облепляется.

– Месяца тебе хватит для работы?

– Не хватит. Дни короткие и пасмурные – солнышка мало. А красота лишь при солнышке озаряется. Как душа человеческая не терпит посягательства, так и красота не открывается в темноте.

– Два месяца?

– Достаточно. Если потом понадобится ещё два-три денька, считайте, уговор об этом у нас с вами был.

Учитель Василий Посельский, послушав рассуждения Никиты, не насмелился развернуть листы с эскизами, украдкой вложил их за божницу.

В кузнице жарко. Евсей Каллистратович мастерит из серебра маленький сказочный сундучок по всем правилам: кованый, обтянутый тонкими серебряными пластинками и с замочком. А сын трепещущую золотую паутинку изгибает в замысловатую ракушку. Кузнечный запах будоражит, ярит их. В мыслях Никите представляется необычная усерязь*.

Он заражается работой, спешит сотворить то, что блуждает в голове. Подушечки пальцев от постоянного соприкосновения с раскаленным металлом в белые панцири перелицевались. Вот уже ажурные нити приоткрывают жемчуг на верхней части ракушки, а чуть ниже только-только распускается бутон подснежника. Серёжки как бы приоткрыли тайну мироздания и вечной жизни. Евсей Каллистратович осмотрел работу сына, поморщил лоб.

– Сынок, а поймут ли люди твою завязь? – Поднялся, приблизился к сыну, облобызал, прослезился. – Пора деда звать.

Каллистрат Романович внимательно осмотрел две пары серёжек, проверил на прочность створчатые колечки-замочки, поводил по щеке внутренними сторонами подвесок, облизал языком.

– Давно знал, внучок, без куска хлеба ты не останешься. Сейчас убеждаюсь и в другом: жизнь проживёшь в почёте у мира.

Никите надо бы в радости корольком пройтись – работа окончена, старшими признана, а он окунулся в короткое забытье. Тоскливо, неуютно в душе. Грудь распирало от непомерного желания встряхнуть все мышцы, в один миг хрустнуть всеми костями, напрячь всё тело до ломоты, боли. Никита выскочил на улицу и крикнул:

– Пари! Кулачнички!

Шаловливые, задиристые парни из Рывкинского края и Марасовской стороны окружили Никиту, и воздух деревни наполнился возгласами, подстрекающими к будущему кулачному бою.

– Никита, ты с кем?

---

* Усерязь – серьга, серёжка, ушная краса.

– С марасовцами.

И пошла стенка на стенку.

Пришёл срок посмотреть работу Никиты. Отправились в деревню полковник Ляпин, отец Никодим и учитель Василий Алексеевич.

Староста Шмаков – проныра, всё знает. Сани с важными гостями на Кокуй-горе встретил. Запрыгнул в первые, тараторит:

– Ваше превосходительство, може, ещё что нужно сотворить? Никита всё сделает. А я вас благодарю. В деревне два месяца тихо было, аж намедни сорока пролетала. И чёрный ворон в березняке на горе Пантюхе завёлся…

– Изготовил серьги Никита? – спросил полковник.

– А как же, если вчера в кулачки бился…

– Красивые?

– Кто их видел? Он, бестия, на дверь кузницы черемуховый черенок притулил. Попробуй открой кто – стелькой растянется… Ваше превосходительство, прибросьте, може, что нужно такое заковыристое и чтоб не хуже заморских…

– Шмаков, погоди. Ты ж ещё из рюмки не пил, в постели не нежился…

– Раненько, ваше превосходительство, раненько в баньку ходил. Поеду за вами следом.

По мосту через речку Укроп скатились, направо свернули: имения Кошкина, Куликова, Красавы, Ульянова проехали – вот и дом Огнёвых. Евсей Каллистратович встречает у ворот гостей с троекратным поклоном, приглашает в дом. Неторопливо и важно говорит:

– Ждали вас, ждали. Как Никита велел, так и стол накрыли. Милости просим в горницу.

Чаёвничая, полковник поинтересовался:

– Где Никита?

– В бане он, – ответил Евсей Каллистратович. – Надысь в честь выполненного урока дурачились пари. Сыну досталось. О-о-о, гляньте в окно.… В снегу валяется. Знать, отошёл…

Спустился с печи Каллистрат Романович, покряхтел, по ручке с гостями поздоровался, у отца Никодима попросил благословения. Набросил на себя зипунчик, вразвалку заковылял во двор. Полковник Ляпин последовал за ним. Под черёмухой смели снег с лавки, сели. Полковник достал папиросы, угостил Огнёва. Каллистрат Романович, наслаждаясь ароматом турецкого табака, заговорил:

– И батюшка ваш Василий Петрович угощал меня как-то турецким табачком. Было это, Владимир Васильевич, в сорок шестом году. Ваш батюшка, тогда ещё в чине майора, сопровождал учёного Григория Щуровского по нашим Салаирским елбаням. Подъехали они к расстяням*: одна дорога ведёт в Большой Изырак, другая в Егорьевск. Тут от тяжести (учёный много камней вёз), рессоры кареты лопнули, колёса рассыпались. Батюшка ваш приказывает мне, был я тогда заводским кузнецом, отремонтировать за ночь карету. Знал ваш батюшка, что за такое короткое время я не справлюсь, но ему неудобно перед учёным, а мне нельзя перечить. Приволокли мы с крестьянами карету в Бажинск. Я в кузнице меха раздул, Василию Петровичу предлагаю у старухи Фетиньи Тыришкиной отдохнуть. Наперёд посылаю сына Евсея к старухе с просьбой: «Задержи гостей песнями, пока не отремонтирую карету». Сутки я возился с каретой, почти как всю заново сделал. Подъезжаю к дому Тыришкиных и вижу на дворе стол, за столом по центру сидит бабка, по бокам ваш батюшка и учёный. Обнимают они Фетинью, а она выводит соловьиные трели и мне подмигивает, будто говорит: «Что спешил?! Я ещё только распелась». Это я к тому вспомнил, что на любое дело у нас мастера есть.

– Не опозоримся при Дворе Его Императорского Высочества, Каллистрат Романович? Впервые ваш внук с золотом имел дело.

– Ну уж, ваше превосходительство, и скажете: опозоримся! Зрятину я слышу из ваших уст. Вещицы получились у внука необычайной красоты. Понимаю, есть и лучше, но императрице России не стыдно будет в таких чусках в любой аудиенции появиться.

---

*Расстянь – место, где дорога раздваивается.

– Тогда завтра устрою обед. Приглашу почётных людей. Посмотрим, порадуемся, повеселимся. Приглашаю вас, Каллистрат Романович, с матушкой, Евсея Каллистратовича с матушкой, Никиту с женой и старосту Шмакова с женой.

– Правильно всё это. Ивана Ивановича надо. Вот иной человек в деревне ходит – людей не знает.

Шмаков наш даже в малолетке видит дарования. Сына с внуком и жёнами отправлю, мы, старики, не поедем. Благодарствую за приглашение. Пока Никита чуски творил – волнением перестрадал. День и ночь думал: не обесславит ли он нас, кузнецов Огнёвых, наш род. Слава Богу, я доволен.

Появился у черёмухи Никита. Косоворотка отутюжена, шаровары в обтяжку, на лице ссадины, по правой щеке, будто чесалкой прошлись.

– Здравия желаю, ваше превосходительство, – трубой прогрохотал Никита.

– Здравствуй, Никита, – ответил полковник. – Прошу в дом. Показывай работу. Нам бы хотелось засветло в Егорьевск добраться.

– Господин полковник, время для работы вы мне отвели немалое. Драгоценностей хватило. Но пока серёжки показать не могу. Сподобляются они ещё.

– Ты что, Никита, издеваешься?! – крикнул полковник. – Сподобляются! Это как они сподобляются? Ты драки устраиваешь, деревню в расстройство вводишь, а дело наше сподобляется… Никита, не шути. Нет у меня власти над тобой, но есть моё влияние на волостную управу. Показывай!

– Господин полковник, вы забыли наш уговор: два месяца и ещё.… Даю вам слово, за ночь они сподобятся.

Никита всю ночь просидел в чистой половине кузницы, любуясь серёжками. Не одну пару сотворил он, две. На широкой лавке лежала жена Пелагея, молчала, поглядывая на горевшую лучину, и представляла себя в новой цветной шали. Догорала лучина, Никита вставлял другую.

– Пелагея, спишь, что ли?

– Не сплю, Никитка.

– Може, наденешь? Я посмотрю и какой-либо изъян найду.

– Не могу, Никитка. Страх берёт. Носить-то будет не какая-то там купеческая дочь, а императрица… Вдруг, да узнают, что я прицепляла, скажут: какое такое имела право наряжаться в царские чуски? Не пойму, Никитка, зачем ты две пары сделал?

– Пелагеюшка, это от избытка золота и жемчуга. А ещё подумал: вскорости родит императрица дочь, вырастет она, и пойдут мать с дочкой в гости, и мои серёжки нацепят.

– Что хорошего? Скажут, царица с великой княжной в одинаковых чусках.

– Ошибаешься, Пелагеюшка. Не одинаковые они, разные. В одной паре прожилочки сплетены справа налево, в другой, что лежит в сундучке, – слева направо. Так, на глаз, разницы не видно, сплетены и всё.… Есть ещё один секрет. Кто надумает такие смастерить – не получится, верхняя паутинка жемчужину держать не будет. Ладно, жёнушка, спи, а я до утра посижу, до солнышка. Отвезут чуски в Санкт-Петербург, и никогда больше не увижу первое золотое дело своё…

Утром в санях, обволакиваясь тулупом, Пелагея шептала Никите:

– Никитушка, ты не балуй… В Егорьевске девки боевые, сами глазами парней стреляют, по нечаянности руками до парней касаются… Остерегайся. И будут нас угощать – много не пей, мало не ешь, пальцами своими костлявыми, как задумаешься, не стучи. Прижимайся к Шмакову. Он в Егорьевске свой человек: кума завёл, поди и бабу! Его-то Галина в слезах у колодца рассказывала: во сне Шмаков всё о какой-то постели говорил. И простыня будто шелковая, шуршащая.… На меня не глазей. А то в деревне разговор пойдёт, будто я без тебя и ты без меня прожить не можем.

Слушал Никита щебетанье жены, думал: не затеряются ли его серьги в массе великолепных подарков, что делали мастера не с его умением, а истинные таланты.

В те ночные часы, когда Никита любовался своей работой, жена полковника Ляпина Ольга Викторовна давала последние распоряжения прислуге. Забота о завтрашнем банкете отодвинула на будущее время воспоминания о прожитых годах в Москве, в губернском городе Томске. Она радовалась, что завтра в доме будут гости, будет играть духовой оркестр, дом наполнится весельем. Этот банкет послужит поводом ещё ближе познать тех людей, кто находится в постоянном общении с мужем. Набожная, преданная семье, тихая и добрая, Ольга Викторовна считала, что этот торжественный банкет по случаю изготовления серёжек императрице должен остаться в памяти у всех. И пусть муж ещё не видел, каковы по красоте серьги, и что-то его волнует, коль заперся в своём кабинете, завтра она должна провести банкет так, как проводила в Москве и в Томске. Там в гостях были светские дамы, статские и коллежские советники; пестрела позолота, мундиры, фраки… Завтра, конечно, всё будет скромнее (и мой туалет должен быть скромным) в одежде – отсутствие украшений, но именно те, кто будут завтра, богатством наполняют Русь, красотой прославляют русского человека.

Она смотрела на список гостей, что подготовил муж, думала о подарках и сюрпризах для всех, читала:

– Крестьянка Анна Степановна Огнёва.

Ольга Викторовна решила подарить ей яркую шаль.

– Кузнец Евсей Каллистратович Огнёв.

Она вспомнила трёхлетнюю давность. Тогда его отец, Каллистрат Романович, был в депутации на встрече цесаревича. Улыбнулась. Огнёв, пожимая руку цесаревичу, шутливо произнёс: «Двадцать пять лет назад на этом месте я жал руку великому князю Владимиру Александровичу. – Он сощурился. – А вы ничего. Желаю здравствовать». Ляпина написала: «Котиковую шапку».

– Крестьянка Галина Петровна Шмакова.

На бумаге появилась запись: «Шёлк на блузку и ситец на сарафан».

– Староста деревни Пенькова Иван Иванович Шмаков.

Ему она решила подарить шёлковой материи на рубаху.

– Пелагея Семёновна, жена мастера Никиты Огнёва.

Ольга Викторовна задумалась. Знать бы, какого она роста. Недавно прислал дед – купец Шаховский – белый зипунчик, грудь, рукава и полы узорно расшиты разноцветными шелками. Ляпина поставила вопросительный знак.

– Никита Евсеевич Огнёв – кузнец, семнадцати лет.

Ольга Викторовна перебрала в памяти все вещи мужа, что находились в сундуках и тумбочке. Муж, конечно, его вознаградит за работу, её обязанность – подобрать и вручить подходящий подарок. Бросила взгляд на шкафчик, где лежали дорогие вещи, открыла дверцу, выдвинула верхний ящичек, осмотрела содержимое: запонки, браслеты, часы, кольца, перстни… Взяла перстень с изумрудом – подарок мужу управляющего Алтайским горным округом генерал-майора Болдырева. Муж, однажды надев его, смутился. Перстень был великоват на любой его палец. А у кузнеца, хоть он и молод, пальцы должны быть крупными, как у деда. Она подобрала хорошего вида коробочку, положила перстень и окликнула мужа:

– Владимир Васильевич, ты не будешь возражать, если я перстень, что дарил господин Болдырев, вручу Никите Евсеевичу?

– С радостью избавлюсь от необдуманного подарка, – откликнулся муж. – Да и подойдёт ему он. У Никиты, Оленька, глаза зелёные-зелёные, как у перстня камень.

Сани с пеньковцами прокатились по мосту через речку Суенгу, поднялись на косогор и подъехали к особняку полковника.

Этот красивый дом построили в 1842 году для начальника Егорьевского прииска Василия Петровича Ляпина. Через четыре года в этом доме гостевал крупнейший учёный России профессор Щуровский, который будущим поколениям оставил в наследство путевые записки по Салаирскому кряжу. Василий Петрович принимал в этом доме великого князя Владимира Александровича, когда тот объезжал с инспекцией земли Его Кабинетского Двора.

Пятый год исправно несёт службу сын полковника Василия Петровича Владимир Васильевич. Ему выпала честь в 1891 году принимать цесаревича, а вот сегодня – дворянин, демократ, сто-

ронник полного равенства россиян, наследственный почётный гражданин России при мундире встречает гостей у крыльца и провожает в прихожую. Галантно помог дамам снять полушубки. Они скороговоркой звонко лепотали:

– Да уж мы сами… Мы непривычны к такому обхождению…

Шмаков схватил Никиту за руку, отвёл в угол:

– Без меня во двор не вздумай выходить. Свяжешься с парнями, кулаки распустишь, а позор кому? Нам, нашей деревне.

За столом держи себя степенно, ешь неторопливо, мало, пей, сколько подадут. Не галаши*. В рассуждениях не расплывайся. Потянет тебя на видения, как отца Никодима, следи за мной. Бороду поглажу – замри. И девок, что рядом с тобой посадят, не лапай. Они все в шёлковых платьях белого цвета от твоих прикосновений пегими станут, как моя кобыла: в огорчения введёшь. Вознаграждения подадут – торопливо не хватай, не куражься: много – мало, сколько отвалят, и за это спасибо – для общей славы работал…

– Дядя Ваня, – перебил Шмакова Никита, – вы сколько дней в школу ездили?

– Ни одного. Не позволял тятька впустую лошадей туда-сюда тридцать вёрст гонять.

– А меня тятька и дед три зимы возили в школу. И не щекочи мой слух воробьиным щебетом.

Шмаков сплюнул:

– Какой ты, Никита, несурьёзный. В волостной управе мне всегда говорят: по должности я всех обязан учить.

Полковник повёл дам в залу. Следом гуськом шли пеньковские мужики.

– Господа, – обратился Ляпин к присутствующим, которые выстроились в шеренгу повдоль стены. – Позвольте представить вам гостей из деревни Пеньково. – Он замолчал, осмотрел всех.

– Анна Степановна Огнёва, жена прославленного кузнеца Евсея Каллистратовича.

Анна, смущаясь и краснея, поклонилась. Евсей дождался,

*Не галаши – не шуми.

когда спина жены выпрямилась, низко опустил голову, коснувшись рукой пола.

– Эта милая дама – Галина Петровна, жена старосты Ивана Ивановича Шмакова. – Полковник глянул на Шмакова. – Пеньковский староста – первый балагур Николаевской волости. Его знают даже в столице. Встречает меня в Санкт-Петербурге камер-советник Его высочайшего Двора Павел Емельянович Кадыгробов и говорит: «Ваше превосходительство, мне отписали, что некий староста деревни Пенькова господин Шмаков на ярмарке в Маслянино своей кобыле велел хохотать, как отец Евгений, плакать, как камер-советник Кадыгробов, плясать, как полковник Ляпин, выкрикивая: ох-ох-ох… Не соблаговолите ли урезонить господина Шмакова и его кобылу?»

Зал вздрогнул от проливного смеха. Галина Петровна поправила цветной полушалок, посмотрела в глаза Ивана, тот подмигнул ей, и они враз склонились в низком поклоне.

– Это, дорогие гости, – продолжал полковник, – Пелагея Семёновна – жена Никиты Евсеевича Огнёва – наша именинница. Я ещё не видел ушную красу, но любуясь Пелагеей, уверен, такая красивая жена всегда воодушевит мужа на изготовление самых великолепных украшений. – Гости зааплодировали. – А вот и наш главный виновник торжества, Никита. – Ляпин повернулся к Пелагее. – Что ж вы, сударыня, поклон в честь знакомства не утворяете? А ты, Никита? Ты?

– Господин полковник, – в большом волнении и почти шёпотом проговорила Пелагея, – мне Никитка сказал первой челом не бить, ждать его. Я его жду, а он не шевелится.

– Никита Евсеевич, поприветствуйте, как положено, моих гостей, – попросил полковник.

– Не могу, ваше превосходительство. Староста Шмаков по дороге сказал: «Вот когда все гости тебе поклон совершат, тогда и ты покучись, но не сильно. Соблюдай своё достоинство».

– Никитка, бестия, что ты пустобаишь, – закричал Шмаков. – Я тебе что говорил?

– Не кричи, Иван Иванович, что говорил, то я и повторяю.

– Успокойтесь. По пути домой разберётесь, кто что говорил,

кто чему учил, – вмешался Ляпин. – Я, Шмаков, верю – ты и этому мог научить…

– Ваше превосходительство, – крестясь, плаксиво, шмыгая носом, встрял Шмаков. – Я учил Никиту не лапать девок и в рассуждения не входить…

– Шмаков, – одёрнул его полковник.

Гости, не дожидаясь, когда полковник предложит поприветствовать Пелагею с Никитой, поклонились.

– Господи, Никита, что ещё? Вишь, гости мои почтение вам выказали…

– А вы нет, ваше превосходительство… А Шмаков…

– Ну, Шмаков, доберусь я до тебя, – крикнул полковник. – Ольга Викторовна, прошу вас, подойдите…

Полковник Ляпин и его жена склонили головы перед Огнёвым-младшим. Пелагея, совершая низкий поклон с Никитой, чуть ли не в слезах шептала:

– Чтобы я когда, Никитка, с тобой в люди пошла… Ни в жизнь…

Полковник провозгласил:

– Заводской фельдшер Ананий Петрович Бердышев.

Худенький старичок в сюртуке поднялся, мотнул головой. Он был рад, что его пригласили, выделили среди сотни мастеровых, конторских.

Полковник продолжал:

– Матушка Александра Борисовна.

Величественно-плавным движением матушка шагнула к пеньковцам и очаровательный голос, где присутствовала и ласковая интонация, и сказочная радость пронёсся по зале:

– Здравствуйте, дорогие мои.

В конце зала, там, где была распахнута дверь детской, стояли в обнимку пятеро мальчуганов: Боря Смирнов, Аристархчик Артемихин, Миша Кадыгробов, Саша Иванов и Миша Капитонов.

Полковник возвестил:

– Мария Владимировна – учитель всеобщей истории.

Хрупкая, невысокого роста, миловидная женщина, больше похожая на подростка, дважды поклонилась. Она вот уже не-

сколько месяцев считает себя самой счастливой женщиной в Егорьевске, она – жена и коллега Василия Посельского.

– Евдокия Фёдоровна Щукина, жена заводского вожака старателей, – произнёс Ляпин.

Женщина, наделённая природной красотой и очаровательными карими глазами, приложила руки к груди. Полковник посмотрел на жену, перевёл взгляд на матушку Александру, затем на Евдокию и с сожалением подумал: отчего он не мусульманин.

– Екатерина Николаевна Иванова, жена вожака старателей Егорьевского прииска.

Полноватая женщина кивнула, а блеск в глубине её глаз говорил, что от присутствия в этом зале, от смущения слёзы давно готовы хлынуть и намочить её пухлые розовые щёки.

Затем Ляпин представил пеньковцам мужчин: благочинного Маслянинских церквей отца Евгения Смирнова, священника Егорьевской церкви отца Никодима Бальву, Ивана Гордеевича Щукина, скупщика золота Семёна Емельяновича Кадыгробова, Кузьму Терентьевича Артемихина, далёкого своего родственника Савелия Дмитриевича Кривощёка, Илью Потаповича Иванова, Василия Алексеевича Посельского, Егорьевского купца Фёдора Ивановича Капитонова и кучера Юрия Ивановича Черепанова по прозвищу Крупский.

– Будем считать, торжественная часть закончилась. Перед тем как Ольга Викторовна пригласит нас к столу, прошу, Никита, показать свою работу, – предложил полковник.

– Я так не могу, ваше превосходительство. Выделите мне двух сударынь, надену я им серьги, выйдут они в эту сборную, вот вы и оцените мой труд.

– Согласен.

Полковник посмотрел на матушку Александру. Он пытался не выказывать благосклонности к матушке Александре, не замечать её ослепительной красоты, но не назвать её не посмел. Назови он первым другое имя – все, независимо от того, что уважают его, воспротивятся, и кто-то другой назовёт имя матушки Александры.

– Считаю, что первую пару серёжек должна надеть матушка

Александра, – гости захлопали в ладоши. – А вторую пару… – полковник осмотрел дам. – Жена старателя Ивана Щукина – Евдокия. – Аплодисменты длились дольше. – Никита Евсеевич, пройдите с дамами в женские покои.

Матушка Александра и Евдокия смотрят, любуются серёжками, что лежат напротив них, чувствуют, как от жемчуга, от еле видимых золотых прожилок излучаются лучи и пульсируют, бегают от жемчуга к жемчугу ручейки тоньше паутины. И жемчуг за ажурными нитями кажется им младенческой головкой с прикрытыми глазками.

– Никита, – дрожащим голосом произнесла матушка Александра. – Они у вас живые! Как вы смогли это сотворить?

Евдокия, поражаясь видимым, не слушая, что говорит матушка Александра, ни к кому не обращаясь, лепетала:

– Ну и чудеса… Будто жизнь зарождается…

– Женщины, наряжайтесь, вас ждут, – поторопил Никита.

– Я не могу, Никита, – проговорила матушка Александра, – волнуюсь. Сердце чувствует, что с этими серёжками моя судьба будет и стремиться к счастью, и удаляться от него…

– И я не могу, – прошептала Евдокия. – Не могу. Они красивые и пугают меня. Они живые, Никита, живые…

Никита вдел серёжки матушке Александре, потом Евдокии, подвёл к зеркалу. Женщины смотрели на своё отражение, и каждая молчала… Никита бесцеремонно взял дам под руки и вывел в зал.

Гости смотрели заворожено на дам в украшениях. Первым вышел из оцепенения полковник Ляпин.

– Ты, Никита, будешь работать у меня. Я устанавливаю жалование: триста пятьдесят рублей в год. Выделяю бесплатное жильё.

Вначале робко, потом всё сильнее захлопали в ладоши, но гости не отводили взглядов от лиц матушки Александры и Евдокии.

– Никита, – попросила Евдокия, – освободи нас.

На шкафчик положили серебряный сундучок, а рядом, на подушечку из белого шёлка, две пары серёжек. Полковник разрешил каждому из гостей подойти к шкафчику, взять в руки серёжки, осмотреть.

На улице «взбунтовались» егорьевцы: заводские рабочие бросили работу, конторские покинули управление, учителя с учениками оставили школу; старики, бабы с детьми – все большой толпой стоят возле крыльца дома Ляпина и выбирают депутацию, чтобы те вошли в приёмную и Христом Богом упросили полковника показать всем желающим ушную красу, что императрице в подарок отправят.

Полковник оправдывался, что всех бы пригласил в гости, да зал слишком мал. Велел прислуге вынести сундучок с серьгами в приёмную, а Ольге Викторовне подал знак приглашать гостей к столу. Гости рассаживались за столом. Никите было указано место справа от полковника Ляпина. Пелагее – слева от Ольги Викторовны. Как только Никита сел, Ляпин дёрнул его за пояс и спросил:

– Так ты согласен с моим предложением?

– Нет, ваше превосходительство. Мы недавно похоронили прадеда Романа Антоновича. Брат мой – Яков – в кузнице не может, задыхается. Дед с отцом не справятся. Заказов много. В Маслянине освятили место для будущего храма. Протоиерей заказал нам резные решётки, резную ограду и ворота с калиткой. Дел много.

Прислуга начала разносить блюда, Шмаков спрашивал у жены:

– Галина, сравни – твоя чарка и моя одинаковые?

– Кажись, разницы нет, – ответила жена. – И вон у Евдокии такая же…

– Ваше превосходительство, ваше превосходительство, – заголошил Шмаков. – Уговор у нас какой был? Помните? Я ещё говорил: вы Шмакова не обманите…

Полковник поднялся.

– Извините, Иван Иванович, я в растревоженных чувствах.

Забылся малость… Матушка Александра, позвольте попросить у вас ключ от музея и велеть Крупскому принести и поставить перед Иваном Ивановичем прибор, из которого обедал цесаревич Николай Александрович.

– Этот жест, ваше превосходительство, гости воспримут превратно, – удивлённая просьбой полковника, проговорила Александра Борисовна.

– Дорогие гости, – повысил голос полковник. – Ивану Ивановичу Шмакову будет оказана необычайная честь. По моей просьбе ему поставят прибор, из коего вкушал цесаревич. Прошу поверить: душевно я всех гостей уважаю, и даже песчинки нет, чтобы кого-то ущемить в моих благосклонных чувствах.

– И всё же, ваше превосходительство, – не унималась матушка Александра, – позвольте полюбопытствовать, за что такое внимание к Шмакову?

– Это наш с Иваном Ивановичем секрет. Верно, Шмаков?

– Верно, верно, господин полковник. Вы пожалуйста, Крупский, не спутайте… Я пока во двор сбегаю…

Полковник провозгласил тост, поблагодарил Никиту и поздравил всех. Шмакову налили в рюмку «Жемчужной». Он дотронулся до рюмки, поднял, распрямил спину, вздёрнул бороду, пытливо осмотрел рюмку, покрутил её и так и эдак, отпил малость с одной стороны, пригубился к другой. Выпил водку до дна и закатил глаза. В душе его всё клокотало. Он будто познал высшее счастье, изведал то, что мало кому доступно: выпил из рюмки, которая, как ему казалось, впитала в себя запах губ августейшего. Он уж точно знал, что никогда в жизни не получит дара, сравнимого с этим.

Галина Петровна толкнула его в бок:

– Ты чё, Иван?

– Не мешай, Галина! Я чувствую в душе такое, как, помнишь, с тобой на сеновале, впервые, на долгую жизнь объединялись…

– Что ты мелешь, Вань?! Мы же на людях!

– А они что этого не переживали? Тут все мужики да бабы. Не свиристи!

Налили гостям по второй. Прислуга поставила рюмку Шмакова на поднос и понесла к приборному столику. Иван поднялся, протянул руки в сторону прислуги и закричал:

– Куда? Ваше превосходительство, куда это она, бестия, рюмку понесла? Надо бы ещё туда налить. Она, как девушка, беленькая, мякенькая, все мои внутренности обгладила…

– Цесаревич только одну отведывал, – шутливо ответил полковник.

– Жаль, – протянул Шмаков. – Это и у меня бывает, когда я в гостях, а хозяин прижимистый…

– Шмаков, в чей ты огород камушки бросаешь? – засмеялся Ляпин.

– А разве вы не могли предложить: ваше высочество, повторим!

За столом раздался оглушительный хохот. Среди этого смеха раздались слова:

– Что с тобой, Иван, поделаешь. Повторяй.

Ивану вернули рюмку. Он осмотрел её, глянул в сторону матушки Александры.

– Вы, Александра Борисовна, зорко доглядывайте за ней, не допущайте кого худого на руку. А то укор и от Шмакова получите. Такой день у меня… Душа поёт… Отец Никодим, запевайте. Я сегодня тоже попою. Ты, Никита, – Шмаков бросил взгляд через стол, – сконфузил меня. Но я всё тебе прощаю, соколик ты мой самородистый…

Оркестр заиграл вальс. Полковник танцевал с Евдокией Щукиной, отец Никодим с Екатериной Ивановой, Иван Щукин с Ольгой Ляпиной, Бердышев размахивал руками возле Пелагеи Огнёвой. Савелий Кривощёк упрашивал Галину Шмакову выйти в круг, да она отнекивалась. Боялась оставить Ивана одного за столом. Желание Ивана исполнилось, думала она, сейчас его потянет на подвиг… Знать бы, у какой бабы в Егорьевске постель шёлковая и шуршащая. Уж там бы я показала нашу палкинскую породу: камнями все окна бы выстебыла.

Шмаков усадил рядом с собой Никиту, раскатисто, подражая матушке Александре, говорил:

– Вот, Никита, эта рюмка под зелень была. Я из неё уже трижды испил. Хватит. Эта рюмка под закусь рыбную, а наливали цесаревичу белое вино. Я пью, тебе остаток. – Шмаков выпил. – Знаешь, Никита, не пей. Это вино точь-в-точь как перекисшая бражка. А это вот называется фужер. Наливали в него шампанское под десерт. Ты знаешь, что за закусь десерт? Давай выпьем шампанского и опятами закусим. Грамотей ты у меня! Ищи, в какой бутылке коньяк. У, сразу нашёл! Ох, Никита, если бы ещё не дрался, цены бы тебе не было. Наливай в этот пузырь коньяку… – Шмаков обнял Никиту. – Господи, подумать только, я – Ванька, а пью из чего?! И всё, паря, ты мне устроил. Вернёмся в Пеньково, деду своему с порога повествуй, как я из прибора… А теперь… Уйди от меня. Я буду готовить себя на покой. Уйди.

Галина, в перерыве между танцами, подошла к Ивану.

– Вань, закусил бы малость. А то гляжу, всё пьёшь, а блюда, что тебе поставили, нетронутые.

– Я, сердце моё, чуть попозжа всё это съем. Ты танцуй, пой, гуляй, я пошёл на покой. Не беспокой меня. Когда надо, сам проснусь.

– Ты чё, Иван! Отродясь с тобой такого не было. Спать! А не рехнулся ли ты? Ты же, как стёклышко, трезвый!

– Не тараторь, Галка!

Шмаков поднялся, поправил рубаху, подравнял поясок. Поискал глазами Ляпина. Как старому приятелю подмигнул ему. Полковник что-то шепнул Крупскому. Два здоровенных казака предстали пред Иваном. Оба в один голос гаркнули:

– Ваше высочество, какие будут распоряжения?

Шмаков вздрогнул.

– Мне бы постельку, пока я всё чувствую.

Отвели казаки Шмакова в спальню управляющего, помогли раздеться, уложили.

Напротив особняка, на площади перед школой горел большой костёр. На лавках стояли четверти «Бабьей желчи», «Бабьих слёз» и простая крестьянская закуска. Мужики и бабы пили и пели, прославляя Никиту, дети бесились, радовались.

Брат Александры Борисовны Лазарь, недовольный тем, что его не пригласили на торжество, кричал:

– Вот пойду я в господский дом и вызову на круг Никиту. И побью его.

Петункин предложил:

– Открой рот.

– А что, Степан Константинович? – спросил Лазарь.

– Да я хочу посмотреть последний раз на твои зубы.

Шелка платьев колыхались, вздрагивали, волновались от чуть заметного движения и будоражили сердца мужчин. Голоса благочинного Евгения, отца Никодима, Савелия Кривощёка и Евдокии Щукиной сливались в один безмерный по объёму и мощи звук душевной радости.

Иван Шмаков, вдохнув запах белоснежной постели, разбросал руки и погрузился в безмятежный сон.

В зале веселились, пели, танцевали, каблучки отбивали барабанную дробь, мягкий баритон полковника в так пляски выкрикивал: ох – ох – ох!

Ивана Шмакова окружила тишина. Шелестящая ткань касалась его тела теплом, словно духом русской печи. Во сне он почмокивал, как невинное дитя. Кому вольготней и радостней сейчас? Сонному Ивану или веселившимся гостям в зале? Желание его исполнилось.

Шмаков проснулся внезапно, ощупал пододеяльник, понюхал и закричал:

– Никита, Никита, закусь, что в малых чашках мне подавали, цела?

Два казака помогли одеться Шмакову, проводили в зал. Он поклонился им.

– Милые вы мои солдатики, люблю я вас. Живите, сколько проживёт Шмаков и больше Шмакова.

На второй день после праздника Сретения Господнего 1895

года отбыл из Егорьевска в Санкт-Петербург полковник Ляпин. В дорожном чемоданчике лежал отчёт о деятельности Егорьевского прииска за 1894 год и серебряный сундучок с двумя парами чусок.

В том же году отец Евгений отвёз сына Бориса в Томское епархиальное училище, а пеньковское общество за увечье трёх детин в кулачном бою посжило* Никиту Огнёва в рекруты.

* Посжил – сбыл на время.



Благоденствие

Начинаю…
Благословясь…
Я, старец Никита, перед
внуком не оправдываюсь,
а напоминаю…

Глава первая

«Исповедь маслянинского отшельника»

Господи, помилуй!

Радуюсь, дожил ещё до одного лучезарного лета. Согревает солнышко израненные телеса мои, радуют травка и лес душу мою, одаривает Господь Бог разум мой, что не помутнел от старости и обид, не сжулькался от многих лет одиночества.

Восемь лет как ушёл от мира, но мир люблю. В молодости свет от солнца покорял тьму и давал простор моим душевным радостям. Ныне ночная тьма, на столе лепечет и мигает огонёк лампады, не нарушает строй моих мыслей; и это для меня радость. Вдали от кроволюбов, в постничестве, в молитвах, с коленопреклонением препровожу лета свои. Иконопоклонник я и по себе, и по родным, ныне живущим, и по прародителям, которые лобызали икону Святого Николы, доверяли тайны жития своего и верили в его чудодейственную силу во благо

русского человека. Кто меня осудит? Я паче всех Бога предпочел. И никто меня не неволит дуть в златую, серебряную, медную или железную трубы. Не собираюсь и смягчать дурное впечатление о моей жизни, о жизни сродственников и друзей. Меня окружают два мира: мир дивной природы и мир истины, что я наношу на бумагу. Не боюсь, не трепещу – правду пишу, а правду не спрячешь и от правды не спрячешься. Тебе, внучек, если хватит ума и мудрости, желаю скорбеть по душам умерших, имея доброе сердце и любовь к Отечеству. Хочется, ах, как хочется, чтобы твоя жизнь не щепкой валялась на Русской земле, а возвышалась столпом святости и миролюбия.

Наши предки, внучек, более ста пятидесяти лет назад обосновались в деревне Пеньковой, а точнее – в тысяча семьсот шестьдесят шестом году. Как-то, будучи у нас в гостях в деревне Пеньковой, Никодим Бальва рассказывал, что в тысяча семьсот шестьдесят шестом году «сами собой» из деревни Никоновой поселились в сосновом лесу умершего Тимофея Никонова сына Огнёва сыновья: Спиридон, Афанасий, Борис с жёнами и племянниками. Ныне от того далёкого корня Огнёвы проживают в каждом краю деревни и далее… Сродство хранили, не забывая.

С той старины, как наш пращур поставил на холме Кокуй кузницу, кузнечное мастерство переходило по наследству от одного к другому. Сгорит одна кузница, ставят рядом новую. Бывало, при жизни одного кузнеца сгорало до трёх кузниц. Так было при моём деде Каллистрате. А вот при отце Евсее – ни разу.

С давних времён, ещё с отца Евдокима Бальвы, в нашей деревне 10 июля был день кузнеца.

Я с детства помню, как перед кузницей ставили Господский стол. По центру стола садился мой отец – в атласной рубахе с кушаком да при Георгиевском кресте за победу над афганцами в отряде генерала Комарова 30 марта 1885 года. И руки его были постираны, чуб прибран, усы с бородкой подрезаны, а глаза весенним лугом колыхались.

Гостьба была толстотрапезна. Всё деревенское общество гуляло.

А было тогда в деревне Пеньковой 89 дворов, 221 мужчина и 225 женщин. Имелся общественный хлебный магазин и торговая лавка Аристарха Красавина.

Надо же, ядрёна вошь, – один кузнец на деревню, и тот праздник имел. И не говорили, что сегодня праздник кузнеца, а на устах у всех был праздник Евсея. И словно очертание дыма, сохранялся короткий срок в памяти моих односельчан этот блеск радости, но пришло новое время, и всё исчезло.

Мне суждено было быть кузнецом. К пятнадцати годам по росту обогнал отца, по силе легко справлялся с братом своим старшим Яковом, а по характеру буянистей.

Но когда в одном кулачном бою не рассчитал свою мощь и покалечил трёх мужиков – деревня на сходке пожелала отправить меня в рекруты. Что говорить: мало кто в юности в кураже не бывал.

Отец откуп предлагал, я клялся, что никогда больше не выйду на кулачный круг. Полковник Владимир Васильевич Ляпин, управляющий Егорьевским приском, уговаривал общество, да разве с миром справишься.

Попрощался с дедом Каллистратом Романовичем, батюшкой Евсеем Каллистратовичем, матушкой Анной Степановной, женой Пелагеей Семёновной, сыном Василием, дружками и оказался в городе Новониколаевске. Там в шестом резервном полку смотрели на меня, смотрели, удивлялись облику моему и стану, интересовались моими предками. Среди десятка вопросов был и такой: «Вы имели в своём роду казаков?». – «Да , – отвечал я. Вспомнил, как мне рассказывал о моих пращурах батюшка Никодим Бальва и им поведал: – Мой пращур Гаврила Иванов служил Отечеству конным казаком в дружине Ермолая Тимофеевича. Сибирь брал, Кучума-царя с курени сбивал, с воеводой Андреем Воейковым на Оби-реке Кучума громил, с воеводой Назаром Изьединовым пленил царя Алея. Грамотой царя Михаила Фёдоровича в шестьсот двадцать третьем году пожалован был атаманом конных казаков в Тюменском городе. Его сын Ерофей Иванов был атаманом пеших казаков в Чатском острожке, приводил в подданство России Чатских

татар, Барлакских, Кисланских, Пегих. В шестьсот тридцать первом году с воеводой Евстафием Тухачевским изменников громил…»

Сказали мне: «Ты приписываешься к казакам конвойной службы Его Императорского Величества. Есть возражение?» – «Никак нет!» – ответил я.

И отправили меня в Царское Село императорскую семью охранять.

Внучек, как и тебя, меня учили с детства уважать старших, повиноваться им и строго выполнять сыновний долг. И на службе с первого же дня я выказывал примерное подчинение, дисциплину, выдержку. Не проходило и дня моей службы, чтобы я не вспоминал семью и родную деревню. Я гордился тем, что, оглядывая в памяти деревенские дома, разбросанные по берегам речек Укропки, Амбарки и Спиридонихи, не видел ни одной семьи, где бы жили люди, разочарованные в жизни, равнодушные, бездеятельные. Я рад был вспомнить каждого пеньковца, кто своими делами украшал и обогащал свою семью. На службе я не думал и не хотел думать, что выполняю долг. Я делал обычное для солдата дело. Но одна мысль не давала мне покоя: я горел желанием увидеть свою работу, мною изготовленные чуски в ушах императрицы. Так прошёл месяц, второй, третий… В разных серьгах появлялась императрица Александра Фёдоровна. Моих я не видел. И подумал: знать, действительно затерялись среди сотен подарков.

На четвёртый месяц моей службы получил я письмо от Савелия Кривощёка. Просил он меня посмотреть в магазинах ушники для его любимой женщины. Господи, как я обрадовался этому письму. Я тут же отписал: продают красивые, с украшениями, с подвесками. Но я советую вам, Савелий Дмитриевич, купить серьги у моего учителя Вячеслава Семёновича в городе Барнауле.

Я вспомнил и нашу свадьбу с Пелагеей, и то, как удивительно ладно играл на гармонике Савелий Дмитриевич. Песни его вспомнил…

* * *

Покидая дом полковника Ляпина, Савелий Кривощёк думал об одном человеке: о матушке Юлии. Не приехала она на банкет в честь изготовления Никитой Огнёвым чусок для императрицы. Сослалась на недомогание. Но дело не в здоровье. Видно, узнала матушка Юлия, что в гостях у управляющего Егорьевским прииском Савелий. А почему бы и нет? Савелий, как и Юлия, хоть в дальнем, но родстве с Ляпиным.

Санки хрустят по сухому снегу, прошлая жизнь обрывками врывается в сознание Савелия. Он то пытается удержать в памяти отдельные лета своей жизни, то отбрасывает большие, главные происшествия, желая вспомнить только то, что взбодрило бы его, сладостью наполнило бы сердце.

В особняке полковника Ляпина, когда Савелий пел вместе с Никодимом Бальвой и Евдокией Щукиной, пред глазами его была матушка Юлия. И когда Савелий упрашивал Галину Шмакову выйти в круг, он близко к сердцу воспринимал нереальную ситуацию: не Галина отнекивалась, а Юлия шептала ему: «Я матушка, Савелий, матушка…»

Савелий оглянулся назад. Почти в одно время выехали из Егорьевска он и отец Евгений. Он бесшумно проскочил Покровскую деревню, мост через речку Кинтереп, а вот отца Евгения крестьяне задержали. Не часто по Большаку проезжает благочинный.

Очертания пары коней и сани благочинного расплылись, слились с крайними домами, на душе Савелия облегчение. Радостная мысль пронеслась: задержите, крестьяне, подольше протоиерея, а я, не скрываясь, остановлю сани возле парадного крыльца двухэтажного дома Смирновых, найду причину войти в хоромы, низко поклонюсь – и всё. Мне бы только поклониться моей любви! Как ни жаль родные места, как ни мучительно жить вдали от любимой, но уже больше года как были похоронены последние надежды на такую малость: ждать, видеть, улавливать издали её взгляд.

В далёкие времена, при освоении новой для России окраины Сибири, не одна сотня «охочих» крестьян пожелала окончить свой жизненный путь на этих землях. Среди них – предок Савелия – Первуша. Но он был непоседа. Основал на левом берегу Оби починок Кривощёково, поднялся выше по реке, обустроился на землях будущего Белоярского острога, потом откочевал ещё выше по Оби, аж до бывшей курени царя Алея. Распустил корень Первуша по Сибири, вложил в потомков родовые черты: все они были крупными, по силе – могучими, по уму – твёрдыми, по работе – неуёмными. Все просты в обхождении, лишены честолюбия, тщеславия.

Знали не только крестьянское дело, но и чернью* увлекались.

Дед Савелия, Максим Силыч, из богатырей был, в сто три года умер. Больше бы пожил, да подзадорил его Ферапонт Журавлёв с быком побороться. Уложил дед быка. Извернулся тот бык, подцепил деда – от мошонки до пупа всё разворотил. В памяти у пайвинцев остался Максим Силыч тем, что третья его жена, Акулина Марковна, родила ему сына Дмитрия (отца Савелия) в тот год, когда Максиму Силычу исполнилось восемьдесят три года.

С детских лет у Савелия не сложились хорошие отношения с отцом. Часто Дмитрий Максимович пускал вожжи по горбыляге сына, всё пытался образумить сына. И было за что. Хозяйство большое – дойных коров двенадцать. А лошадей… Мелкого скота… Три чана для засолки шкур… Шубный промысел. По осени до тридцати работников нанимали. А простофиля сын только бы целыми днями на гармонике играл да песни пел. Какая бы ни гулянка в Пайвино – свадьба, другое ли торжество, – Савелия заверяли: «О скотине не переживай, обо всём договор твёрдый имеется: напоят, накормят, подоят и загонят». Отец недоволен: чужие руки, чужие глаза – скотина перебой имеет, мало молока даёт. Не годится так!

---

* Чернь – разнообразные промыслы, которыми увлекались простолюдины.

14 июня 1892 года отправился Савелий в село Маслянино на Петропавловскую ярмарку.*

Ярмарки в Маслянино с девяносто первого года, когда цесаревич Николай Александрович волеизъявил создать новую Николаевскую волость с центром в селе Маслянино и вручил церкви икону Святого Чудотворца и Угодника Николая, были самыми многолюдными и обильными на товары.

В те далёкие годы не проходило недели, чтобы не пополнялся Салаирский край пермяками, вятичами, тоболяками. Одни шли на земли, другие занимались чернью: чернь им открывала простор в промысловом хозяйстве, а навыки в этом деле они хорошо освоили на родине, в центральной России.

Многое перенимали и у сибиряков. Вот хотя бы взять покраску овчин. Прочная чёрная краска для овчин была изобретена в Барнауле Гуляевым в 1868 году. И сразу пошла к мастеровым.

За короткий промежуток между посещением Маслянинских земель великим князем Владимиром Александровичем (1866 г.), сыном Александра I и цесаревичем Николаем Александровичем (1891 г.), сыном Александра III, кустарный промысел во всех волостях Салаирского края вырос в три раза. Маслянинская ярмарка была не менее богата, чем в уездных городах. Целыми ворохами продавали здесь изделия из глины и камня, из дерева и металла, из шерсти и кожи; для модниц продавали шляпки из соломы. И несмотря на то, что ярмарки ломились от избытка промысловых товаров, в той или иной деревне появлялись новые промыслы: шерстобитно-пимокатные, гончарные, по обработке растительного волокна. Господи, не развяжись Русско-японская, затем и германская… На Маслянинской ярмарке в большом количестве продавались скот, куры, утки, а уж хлеб, масло, мёд шли по самым низким ценам в Барнаульском уезде.

К полудню 16 июня Савелий распродал весь свой товар: десяток зипунчиков, десяток полушубков, четыре тулупа, обошел многие торговые ряды и купил гармонь – четвёртую. Три

---

* Петропавловская ярмарка учреждена в 1888 году по требованию местного сельского общества. Проходила с 14 по 30 июня.

исправные и с хорошими голосами находились у него дома, а четвёртую купил по просьбе друга и односельчанина Кузьмы Журавлёва. Кузьма по природе хвастун. На ярмарке чваниться нечем было: хлеб, скот, как у всех. Но мыслимо ли уехать с ярмарки, не оставив о себе хоть какую-то память. Кузьма весь истомился: нечем козырнуть, нет интереса. Тогда и упросил Савелия купить гармонь и повеселить барышников.

Стоило Савелию вернуться к пайвинским телегам с новой гармонью, Кузьма подбоченился, засиял от удовольствия, закричал:

– Милостивые господа, ныне для вас сыграет и споёт мой сердечный друг Савелий Кривощёк, а я, знать, Кузьма Журавлёв. Начинай, Савушка. Покажи, какие мужики имеются в Пайвино.

Савелий сел на телегу, прикрыл глаза и заиграл. Его не интересовало, есть ли кто вокруг, слушают ли, главное – Кузьма просил.

Савелий открыл глаза и увидел вокруг толпу людей, среди них высокую стройную женщину – белое платье, на плечах цветная с бахромой шаль. Он поймал взгляд её серых глаз, уловил волнение губ, заметил на лице следы таинственной радости и редкий для женщины миг какого-то необычного торжества. Её глаза радовались, а губы готовы были разомкнуться и что-то произнести. Гармонь сама собой умолкла, руки у Савелия повисли. Женщина словно спохватилась, круто повернулась и пошла к центру села. Савелий, как заворожённый, спрыгнул с телеги, положил гармонь и след в след направился за женщиной. Слушатели благодарили Кузьму:

– У тебя, Кузьма, друг особенный, необычный… Гармонь у него в руках, что душа…

Женщина поднялась по крыльцу в дом протоиерея благочинного Николаевских церквей отца Евгения.

Под Новый год похоронили Кривощёки Дмитрия Максимовича. Мужик был крепкой кости, больших задумок, никогда не жаловался на здоровье, а вот утром погнал лошадей на водопой, возле проруби голова закружилась, крикнул:

– Арина, падаю… – И помер.

Невозвратной потерей, неизгладимым рубцом отозвалась смерть Дмитрия Максимовича в сердце Арины. Как ни причитала она над покойником о неразлучности их в жизни на земле, в смерти на небе, но жить обязана. Сын её Савелий гневу неподвластен, лукавства в мыслях лишён, хоть и обсыпан добрыми словами односельчан, как златом, а жены нет, детей нет, и душа его прилепилась, как судачат одиночки, к чужой жене.

Оставался Савелий с матушкой в крестовом доме при большом богатстве. Всё было для хозяина: десять десятин хорошей пашни, чуть больше покосов, за десяток лошадей. А техника? Её всю не перечесть. Но не лежала у Савелия душа к земле и промыслу после встречи с сероглазой женщиной. Бывало, придёт к крутому обрыву Берди, сядет, задумается, и нет никаких забот по хозяйству. Смотрит туда, где чуть виднеется луковица церкви, смотрит; иногда, когда нет поблизости посторонних, слезу-другую уронит.

На последней неделе Великого поста, в Великий Пяток Арина Дормидонтовна опустилась на колени пред божницей и сына увлекла за собой.

– Вот, Господь Бог, мать и сын. Прости их за грехи их. Прости за всё, что творили из-за неразумения. Знала я, что сын мой не до конца воспринимает тебя, Господи, и не противилась этому. Не насильничала. Но за последнее время изменился сын мой и каждое воскресенье едет в храм. Если лошадей не дам, идёт пешком. И стыдно мне, что полюбил мой сын матушку протоиерея Юлию Порфирьевну. Господи, что мне, матери, делать? На коленях просим тебя.

Арина Дормидонтовна склонилась лбом до пола, а сама украдкой посмотрела на сына. Он стоял на коленях и смотрел на иконы, как бы впервые увидев их. А потом проговорил:

– Надо бы луком протереть иконы, потом маслом конопляным. Отец Никодим говорил, что блестят они опосля как новые…

– Не об иконах говорим, а о тебе, – перебила мать.

– Что обо мне говорить? Не слух это, что я полюбил матушку Юлию, правда, мать, от тебя секретов нет и не будет. Дума у меня одна: как же мне сделать, чтобы я рядом с ней был? Вижу, некоторые смеются и зубоскалят – это всё оттого, что сами таких чувств не испытывали. Неведомо кто вложил в мою душу, что именно эта женщина – спутник моей жизни, именно рядом с ней я проведу свои будущие года. Непостижимо, но в разуме моём являются видения, где я и матушка Юлия вместе исполняем песню нашей любви.

– Нищенствовать будем от твоей любви, Савелий.

– Продадим всё, окромя дома, и безбедно до глубокой старости проживёшь…

– Это как продадим? – возмутилась Арина. – Слово-то какое, срамец, придумал! Вон дубовый бочонок с водой ещё мой прапрадед привёз из Россей! А лавка?

– Не об имуществе в доме говорю, о лишней скотине и технике.

– Технике… А это ещё что за слово? Вон борона под навесом – техника? Нет. Живая память о бабке твоей, Ефросинье Харитоновне. Это её приданое, а делал борону кузнец из Пеньково Роман Антонович Огнёв. Более ста лет все Кривощёки этой бороной землицу в пуховое покрывало дробили, а зубочки все до единого целёхонькие. Савелушка, – терпеливо и осмысленно просила мать, – вон какие девахи у Дрожжиных?! А большаковские красавицы?! А шишкины мастерицы?! А москалёвские умницы?! Вон Зоя, Евдокимова дочь, Москалёва, сохнет по тебе, в монастырь собралась. Посмотри, она красотой, словно цветочек весенний, в труде – пчёлка безугомонная, в общении – ангел небесный… Не бегай в Маслянино, присмотрись кто рядом… Господи! Сынок! Это же смертный грех: чужую жену возжелать. Прошу тебя: опомнись!

После Пасхи пришли в дом Кривощёка деревенские мужики поинтересоваться, будет ли хлеб сеять Савелий. Он им ответил: нет.

И был в Пайвино деревенский торг. Съехались отовсюду. Все были наслышаны, что у Дмитрия Максимовича техника лучшая в волости.

Арина Дормидонтовна не выходила в тот день из дома. Она лепила пельмени и поджидала непутёвого сына. Кто-то из злыдней напустил на Савелия напасть. А от неё как избавиться? Бабка Гавриловна Катасова может отогнать. Да Савелий слышать о ней не желает.

Перед закатом солнца торг закончился. И, как ни считали некоторые деревенские остряки, что Савелий слегка тронулся, продал он всё с большим барышом по сравнению с затратами деда, отца. Деньги все до копейки принёс в дом и положил на стол перед матушкой.

– Хватит тутко, дорогая моя, и до твоей смерти, и до моей старости, а я ухожу.

Запричитала мать:

– Далеко ли ты пошёл, кровинушка моя? Что ж ты меня одну-то оставляешь?

– Я буду, маменька, в Маслянино, при церкви… А тебе советую: найми в работницы одну из девок Васильевых…

В Маслянино Савелий поселился у старосты церкви Павла Ершова, в зимней половине. И началась его новая, полная ежедневных страданий жизнь.

Но чего может не заметить мужское сердце, женское о том догадается и увидит. Не в силах был Савелий скрыть свою радость, когда Юлия заходила в церковь, не мог спокойно смотреть на самое желанное для него лицо. И казалось, не ровня матушка Юлия Савелию, на семь лет она старше его, и детей у неё пятеро, замужняя женщина, и положение в обществе – матушка она. Но, видно, создавая человеческую любовь, природа не думала о её рациональности. Как писал святой Павел в послании коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт». (Коринф. XIII. 4-8.)

Для прихожан Савелий был посмешищем. И он понимал

своё неловкое положение. В хор петь его не приглашали, ведать сторожкой – второго не надо, старик Горский справляется. В клир принять? Так он неуч в этом деле, да и по штату всё занято.

Савелий встречал матушку Юлию почти каждый день. Ждал, когда начнётся причащение. Службу она пропускала, но на причастие приходила всегда.

Однажды, проходя мимо него, матушка Юлия чуть приостановилась и тихо произнесла:

– Савелий, не губи свою жизнь. За тебя любая девица пойдёт. Я матушка, Савелий, матушка…

В тот же день Савелий вернулся в Пайвино. От Григория Абраменко узнал, что есть в селе Верх-Тула церковь, а в ней звонарь Боян – играет так, что любое горе на задний план уходит. Отправился в Верх-Тулу, но долго там не пробыл. Грешили зельем священник Иоанн Соколов, псаломщик Поликарп Малюта и знаменитый звонарь. До того напивались, что однажды священник Иоанн в пьяном виде упал в отхожее место. Псаломщик пришёл ему на выручку. Испачкавшись весь в дерьме, вытащил. Утром, опохмелившись, псаломщик Поликарп написал прошение аж в Томскую духовную консисторию. И просил он епископа Макария представить его к награде за спасение погибавшего священника. Поручили благочинному расследовать дело и донести. Благочинный отписал: «Расследование нашло, что, хотя и не мог иметь место описанный Малютой случай, но расследованием установлено, что священник Иоанн Соколов выпивал и бил собаку палкой, а потому благочиния определила сделать строгий выговор священнику И. Соколову». Через несколько лет он был переведён в Каинск*, получил благочинного и оставил у мирян города самую добрую память.

С лёгкой руки отдельных художников (художников в широком смысле слова) в нашем обыденном сознании укоренилось, что священнослужители злоупотребляли спиртным, да и литературные классики закрепляли это сознание. Но это не соответствовало действительности. Типичным образом жизни

* Каинск – ныне г. Куйбышев Новосибирской области.

священничества была трезвость. Правда, отдельные случаи пьянства были. На территории нынешней Новосибирской области до революции действовало 286 православных храмов, в них исполняли требы до тысячи священников, дьяконов и псаломщиков. А пристрастны были к зелью менее десятка. 7 марта 1912 года архиепископ Томский Макарий с возмущением писал благочинному, протоиерею города Ново-Николаевска Николаю Завадовскому: «До сведения моего дошло, что диакон Златомрежев и один из псаломщиков Ново-Николаевского собора ведут нетрезвую жизнь и допускают во время богослужения сообразительные поступки. Посему предлагаю вам, о. благочинный, сделать указанным лицам надлежащее внушение, предупредив их о возможности их перехода в худшие приходы».

Дьякону Виктору Златомрежеву было тогда только двадцать лет. Кто в эти годы не веселится? Может быть, Карл Маркс или Лев Толстой?! Но достаточно было появиться в Ново- Николаевске новому благочинному Николаю Никольскому, и дьякона Виктора будто подменили.

Через три года он стал благочинным Николаевского собора на станции Барабинск.

Автор – не сторонник идеализировать душеприказчиков прошлого. Всё бывало. Но не пойму одного: почему народ должен отвергнуть то, что воздействовало на людей только с положительной стороны, формировало у молодёжи любовь к Отечеству, патриотизм, развивало чувство уважения к воинскому званию и правильное понятие о воинской службе. Перед призывом священник обязательно обходил всех, кто подлежал отбыванию воинской повинности, и проводил с ними частные собеседования. Отправляя на воинскую службу, давали им пастырское напутствие. Проводы проходили торжественно. Уж этого у церкви не отнимешь. Заранее оповещались все прихожане прихода, что тогда-то будет отслужен молебен для призываемых, и просили всех прихожан принять в этом торжестве участие. Священники вели эту торжественную службу обязательно в праздничном облачении. Говорили о благочестивом поведении, о чести, достоинстве русского человека. После

молебна призываемых благословляли нательными крестами, образами и наделяли их Святым Евангелием. При перевозках по железной дороге для новобранцев имелись специальные пункты, где дежурили священники. Заблаговременно извещённые воинским начальством, что прибудет состав с новобранцами, священники незамедлительно шли на перрон и в вагонах проводили беседы. В Ново-Николаевске, на станции Обь, в 1904 году для этой цели был оборудован походный престол, а в 1907 году рядом со станцией построена церковь во имя святого Даниила. Будем обьективны: случаи нарушений норм церковной жизни случались и позже. И не только церковной.

В 1922 году Лубянка докладывала И. В. Сталину:

«В Медведской волости Черепановского уезда пьянствует весь состав волисполкома… …Дупленский волисполком Ново-Николаевского уезда пьянствует и никакой работы не ведёт… …Председельсовета деревни Казаки Казаткульской волости Татарского уезда, совместно с секретарём означенного Совета, за самогон подделывает окладные листы, свидетельствуя фиктивную уплату налога…

…Члены Курганского, Кандауровского, Боровлянского волисполкомов, пьянствуют почти поголовно». Но это – скорее исключения. Скоро наступят годы невыносимо тяжких и страшных испытаний, выпавших и на долю большевиков, и на долю пастырей…

В Пайвино многие девицы приходили к Арине Дормидонтовне и спрашивали:

– Где Савелий?

Арина отвечала:

– Безвестно пропал.

Болтливые деревенские языки приплели, будто и матушка Юлия влюблена в Савелия. Похудела, за последнее время почернела до того, что и сравнить её можно только с покойницей, наложившей на себя руки.

Савелий переехал в село Кривощёково и год служил звонарём

при церкви Николая Чудотворца. Вот как судьба-то кривощёковская поворачивает! Пращур Савелия поселение закладывал, а он спустя двести лет с колокольни озирал землю окрест и радовался, что людям через благовест несёт мирское начало.

И вот, неделю назад получает он письмо. «Дорогой Савелий Дмитриевич, насмеливается отвлечь вас от повседневных дел Ольга Викторовна Ляпина. Я несколько месяцев назад узнала от мужа Владимира Васильевича, что вы являетесь родственником ему. Ваша тётка Валентина Силовна, сестра вашего дедушки Максима Силыча, была матушкой отца Евдокима, а сестра деда моего мужа Ульяна Петровна – матушкой богомаза Иоанна Бальвы. Хотя и далёкие мы родственники, но муж мой и я просим принять наше приглашение и осчастливить наш дом в селе Егорьевске с десятого декабря сего года. Я уверена, это будут памятные дни для нас с вами. С нетерпением ждём вас».

Как ни желал Савелий, уже в Маслянино, проезжая по мосту через реку Бердь, направить сани направо, руки дрогнули, но вожжи не шелохнулись.

В Пайвино Арина Дормидонтовна, осматривая и обнимая сына, бурчала:

– Не почитаешь ты, Савелушка, свою мать, не почитаешь. Поди, неделю гостевал у Ляпиных. Егорьевцев веселил благовестом, а мать забыл. Передавал мне Крупский, кучер Ляпина, что и детский хор успел сорганизовать, а матери и привет не послал. За что такая неблагодарность матери, а? С детства я тебя учила только уму да разуму, кормила самым сладеньким кусочком… Мало того, что обделил меня, как старуху, не дал мне почувствовать радость мамы старенькой, ещё и сторонишься…

Савелий теребил шапку, посматривая на киот.

– Что молчишь, Савелушка? Расскажи уж, какой красоты сотворил чуски Никита? Поправилась ли матушка Юлия? Была она в гостях у Ляпиных? А что это ты не сымаешь одёжу?

– Ехать мне надо…

– Успеется. Пайвино ближе к матушке Юлии, чем Кривощёково. Знать, не поправилась ещё. Не пришлось тебе повидать её. А я думаю, что ты такой жалевой.

Арина Дормидонтовна прошла к сундуку, открыла его, покопалась в материи и достала несколько ассигнаций.

– Я, Савушка, в одиночестве, о чём только ни передумала. Всяк свою судьбинушку проживает. Больно мне, что вот так с тобой случилось. Вот месяц назад на исповеди была, а потом подошла ко мне Юлюшка-голубушка, взяла мою руку поцеловала и говорит: «Матушка Арина Дормидонтовна, простите меня, но я пред вами и пред Богом ни в чём не виновата. И мне жаль, что нет рядом с вами Савелия Дмитриевича». Миряне смотрят на нас, а мы опустились с ней на колени пред Спасом, молимся и шепчем друг другу то, что только мы и Господь Бог знает. По весне привезёт она мне своих дочерей: Веру, Зою. У меня отдыхать будут. Ты вот примай ассигнации, купи чуски, и чтобы красоты были не хуже тех, что Никита императрице изготовил. Савушка, не только царицы достойны ушной красы, простые женщины тоже.

Что заставило отца Никодима купаться в студёной воде по весне 1892 года, – знала только матушка Александра. Но она все, что рассказывал Никодим, воспринимала как необычную выдумку мужа. Иногда, посмеиваясь, спрашивала:

– Никодимушка, святой Никола Угодник не говорил, сколько детишек я тебе нарожаю?

Отвечал Никодим:

– Говорил, говорил… Много…

– Вот и хорошо. Ты их своими сказками веселить будешь, а они тебя таскать за твою косматую бороду.

Не забыл и благочинный Евгений тот день. И как только в селе Елбани крестьяне построили церковь Святой Троицы, намеревался Никодима сослать туда, но епископ Макарий не дал своего согласия. На имя отца Никодима отправил официальное письмо. Преосвященнейший епископ Томский и Семипалатинский благодарил Никодима за дела, приятные Богу и пастве, в конце просил: «…благоверный отец Никодим, душевно прошу Вас, сотворите дело, угодное Богу, возглавьте строительство молитвенного дома и примите чад господних в Александровском

посёлке Кривощёковской волости». Отписал отец Никодим: «Ваше преосвященство, польщён и сердечно благодарствую за доверие…»

Почти под самый новый 1893 год отправился отец Никодим в починок имени благоверного Александра. По прибытии опечалился и растерялся. Всего сорок крестьянских душ проживало близь устья Каменки, там, где некогда Чатский улус располагался. О каком храме могла идти речь?

Дело в том, что как только 5 мая 1892 года Комитет министров утвердил проект строительства Западно-Сибирского участка железной дороги, епископу Макарию предоставили копию проекта, чтобы он подготовил документ на рассмотрение Его Величества императора Александра III о бесплатном выделении земель из вотчины царской семьи для храмов в новых починках Томской губернии по Транссибирской дороге.

На копии проекта, на правом берегу Оби, напротив волостного села Кривощёкова Макарий написал: «Поселение Александровское».

2 октября 1892 года Его императорское Величество Александр III рассмотрел предложение епископа и утвердил. В посёлке Александровском на храм благоверного князя Александра Невского императором пожаловано 1000 квадратных саженей земли и пять тысяч рублей.

Новое предписание закрепило Никодима священником в церкви Петра и Павла в селе Егорьевске.

9 мая 1894 года у Бальв родился второй сын – нарекли именем Николай.

Только под утро отец Никодим и матушка Александра, покинув хоромы полковника Ляпина, переступили порог своего дома. Матушка, совершив молитву, улеглась в постель, а отец Никодим, целуя икону Николая Чудотворца, улыбаясь, бормотал:

– Пошто бы нам не поговорить, Сашенька? И хозяева были удивительно гостеприимными, и ты хороша, и чуски Никита сотворил неземной лепоты, и видение мне приоткрывается необычное.

Матушка ответила:

– Если, Никодимушка, ты опять о том, что икона тебе приоткрыла, не поверю и слушать не стану.

– Сашенька, ну откуда бы я знал жизнь моих поколений? Предки не делали записей.

– Хорошо, рассказывай свои видения. Только извини меня, я всё же полежу в кровати.

Отец Никодим встал на колени у изголовья Александры, поправил свою косматую шевелюру.

– С тяжёлой ношей в груди воспринимал я церемониал знакомства гостей. Как же так, Александрочка? Почти все, кто был в гостях у полковника Ляпина, родственники. Да, да – родственники. Полковник Ляпин родственник нам, так как наш прадед Иоанн Евдокимович имел супруженницу Ульяну Ляпину, а она от семени боярина Фёдора Ляпина. Родственники нам и Кадыгробовы, потому как дед мой Владимир имел жену Татьяну Кадыгробову. Родственник нам и Савелий Кривощёк. Валентина Кривощёк была матушкой Евдокима Бальвы. Родственником является и благочинный Евгений. Матушка его Евдокия Порфирьевна приходится двоюродной сестрой Владимира Васильевича Ляпина. Родственниками являемся и Ивану Щукину. Наш предок Филипп Бальва имел жену Прасковию Иванову. Щукины и Ивановы от одного корня Буткеева. Нам они все родственники и меж собой тож. И Огнёвы нам родственники. От сына Ерофея Иванова Федорки пошли они. Вот и получается, Александрочка, малое время проходит, а родственников меж собой знакомить надо. Непорядок это. В детской-то с нашими Максимом и Николаем кто забавлялся? Мальчики! Боря Смирнов, Миша Кадыгробов, Саша Иванов, Стёпа Щукин – и они все родственники меж собой.

Матушка поднялась с кровати:

– Что ж ты, Никодимушка, промолчал?

– Постеснялся. Причина торжества в чусках императрицы, а мы все простой люд. Не к месту было бы мной сказанное и разогорчило бы некоторых.

…Через два года вырос посёлок Александровский. Понаехали сотни строителей с семьями, мещане из городов Колывани, Каинска, купцы от всей Сибири и России. Осенью девяносто пятого года в Егорьевск прибыла депутация от насельников Александровского поселения и выразила просьбу отцу Никодиму быть им пастырем, как ранее предписал епископ Макарий.

За день до проводов Бальв из Егорьевска полковник Ляпин пригласил матушку в кабинет. Ольга Викторовна поставила на стол засахаренные фрукты, печенье, подали чай. Владимир Васильевич усадил матушку напротив себя и, подливая ей чай, говорил: «Матушка Александра, мне хорошо работалось, когда вы с отцом Никодимом служили рядом. Многое мы с Ольгой Викторовной постарались перенять у вас. И в школе вы являлись лучшими пастырями-учителями, и на поприще пастырства священного. Не знаю, найдёт ли благочинный кого взамен отца Никодима, но точно знаю – такого учителя и директора нашего музея, как вы, я никогда не найду. Прошу вас, матушка Александра, возьмите из музея оставшиеся пять жемчужин, и что бы ни случилось в вашей жизни, они будут напоминать вам егорьевские встречи, доброту наших людей, внимание августейшего». «Нет, – ответила матушка. – Жемчужины должны быть в музее». «Александра Борисовна, я вам сообщаю то, чего никто другой не знает, кроме Крупского. Дважды злоумышленники пытались войти в музей и украсть жемчуг, золотые самородки. Да простит Господь Бог Крупского; над их могилами, на погосте, крестов нет. Украдут жемчуг – это одно, но могут и спалить музей. Там вы собрали столько уникальных памятников нашей старины для будущих поколений, что не каждый уездный музей сравнится. Одна карта Екатерининского тракта, по которому императрица собиралась проехать и обозреть свою вотчину – это же прикосновение к почитанию императрицы народом. Прикосновение к труду народа. Посмотрите, какие деревья – великаны стоят по обеим сторонам дороги. А они посажены нашими крестьянами в ожидании императрицы более ста лет назад. И ведь за это время никто ни одного деревца не срубил». – «И у нас в доме держать жемчуг опасно», – ответила матушка. «Александра Борисовна, я за свою жизнь не припомню случая, чтобы воры

ограбили дом священника». – «Владимир Васильевич, чему быть, того не миновать. Жемчуг из музея я не возьму. Не мне дарил Его величество Николай Александрович, а через меня всем женщинам нашего края…»

С приездом отца Никодима несколько крестьянских семей перенесли свои усадьбы из Кривощёкова.

Отмерили обыватели на новом починке, на возвышенности, как и волеизъявил Император Александр III, тысячу квадратных саженей земли, освятили место будущей богомольни, вкопали крест с благоговейным трепетом 26 октября 1895 года и начали возводить. Строили временный молитвенный дом все, кто был в то время в посёлке: каменотёсы, строители железнодорожного моста, женщины и дети. Поднималась в высоту и ширилась церковь от рук Степана Вавиловича Сбоева и его артели. Отец Никодим на средства жертвователей приобрёл напрестольную пелену, распятие, иконы на иконостас. Советы церквей Кривощёковской, Крахальской, Каменской, Барышевской, Бугринской, Барлакской выделили на украшение божественного дома свои излишки.

Тридцать дней строился молитвенный дом. Двадцать четвёртого ноября освятили.

Одним из первых на исповедь к отцу Никодиму пришёл купец Жернаков. О многих грехах поведал раб божий Евграф. Говорил степенно, не сомневаясь, что его грехи будут отпущены. На прощанье к руке отца Никодима пригубился. Отошёл на шаг, а батюшка его за руку, склонил к себе и спрашивает:

– Евграф Александрович, а в вашем универсальном магазине имеется в продаже жемчуг?

– Отец Никодим, с этим товаром туговато. Перловки не имеем. До осени жемчуг из Индии не поставят. Крошеного перламутра* не держим. Офени из Китая прибудут к Первому Спасу…

---

* Крошеный перламутр – китайский жемчуг.

– Меня интересует жемчуг из Индии. Появится, оставьте пять жемчужин.

– Исполню, батюшка, исполню!

Не прошло и месяца, как порадовал Никодима Жернаков.

Отец Никодим всего себя отдавал пастве. Его ряса мелькала среди бараков, изб, часто развевалась на лесах строящегося железнодорожного моста. Его проповеди сливали судьбу православную с летами минувшими и делами грядущими. Но он был беспощаден к тем, кто брал на себя грех, – с надеждой, что и в небесной канцелярии возможны лазейки. Для отца Никодима все были равны перед Богом, все равны в миру.

Близко сошёлся отец Никодим с итальянскими рабочими-каменотёсами. Их завербовали в Италии для облицовки мостовых устоев. Набожные, они много помогали отцу Никодиму в строительстве молитвенного дома. Однажды Никодим увидел у мастера Джованни красивую подвеску.

– Кто мастерил эту удивительную вещь? – спросил Никодим.

– Я, – ответил итальянец.

– Вы?!

– О, у нас в Италии много мастеров по украшениям. Заказов мало, а конкурентов много.

– Я горю желанием подарить матушке Александре ко дню ангела подвеску, такую красивую, как вижу у вас в руках. Только в подвеске должно быть пять жемчужин: мы с матушкой и наши три сына. Жемчуг есть.

– Приготовлю самую красивую подвеску, только вы меня не торопите.

Не прошло и полгода, как обнаружилось, что молитвенный дом мал для насельников. И отписал Его Преосвященство епископ Макарий к Его Императорскому Величеству пожелание в необходимости строить в посёлке Новониколаевске каменный собор.

Второго марта 1896 года Государем Императором Николаем Александровичем пожертвовано на собор ещё 1878 квадратных саженей земли и пять тысяч рублей. Большие суммы жертвовали купцы Баевы.

В день великомученика Дмитрия Солунского после службы решил отец Никодим навестить мирян Трактовой улицы Закаменского поселения. Землянки жались друг к другу в страшном беспорядке. И внутри жилищ была та же нищета. Отец Никодим навещал семьи, интересовался нуждами, чтобы потом при встрече с купцами разжалобить их, принудить к благотворительной деятельности. Каждая семья радовалась его появлению. Знали: отец Никодим поддержит добрым словом, пожурит, поправит, если что-то не так.

В четыре часа дня отец Никодим попрощался с семьёй каменотёса Константина Ломова и пошёл на берег Оби. Мокрый снег загнал всех в бараки. А вот двум шалопаям, Мишке Сбоеву да Мишке Кадыгробову, холодная ветреная погода нипочём! Нашли они на берегу дырявую лодку, оттолкнулись от берега, в обнимку стоят и орут от удовольствия песню про Стеньку Разина.

Отец Никодим увидел их, крикнул:

– А вёсла-то у вас есть?

– Зачем они нам, – ответил Кадыгробов, – мы к мосту подплывём и по лесам поднимемся.

Только это он крикнул, дно лодки затрещало, развалилось, два друга пошли на дно.

Вынырнули, крикнули по разу и опять в воду ушли. Одеты они были по-тёплому, в пальто, сапогах. А вода холодная, в затоне тонким ледком подёрнулась. Сбросил отец Никодим рясу, подрясник, стянул сапоги – и в воду.

Первым вытащил из воды Мишку Сбоева, а потом поплыл искать Мишку Кадыгробова. Нашёл. Поднял его над водой, а он, прокуда, хвать обеими руками за шею отца Никодима, передавил ему дыхание.

Сбоев Мишка крик поднял. Уверен был, отец Никодим и Мишка утонули. Люди ещё не сбежались, а Сбоев видит,

на берег из воды выныривает голова Мишки, а под ним отец Никодим. Прибежали люди, вытащили их из воды. Кадыгробова рвать начало. Батюшка был мёртв. Долго отлепляли Мишкины руки от шеи отца Никодима… Долго… Через три дня отец Никодим обновил погост возле молитвенного дома.

Среди тех, кто провожал на обновлённый погост отца Никодима, были и итальянские каменотёсы. Джованни никак не насмеливался подойти к матушке Александре и спросить: по душе ли ей украшение, которое делал он. После долгих размышлений и сомнений он всё же подошёл:

– Матушка Александра, я высоко ценил падре Никодима. Примите и от нас, итальянцев, глубокое соболезнование.

Матушка кивнула головой.

– Падре Никодим хотел, чтобы в подвеске было пять жемчугов… Пять… Вы с падре и ваши сыновья… Мне очень жаль, что одна жемчужина будет только напоминать вам о святой жизни падре…

– Извините, Джованни, о какой подвеске вы говорите?

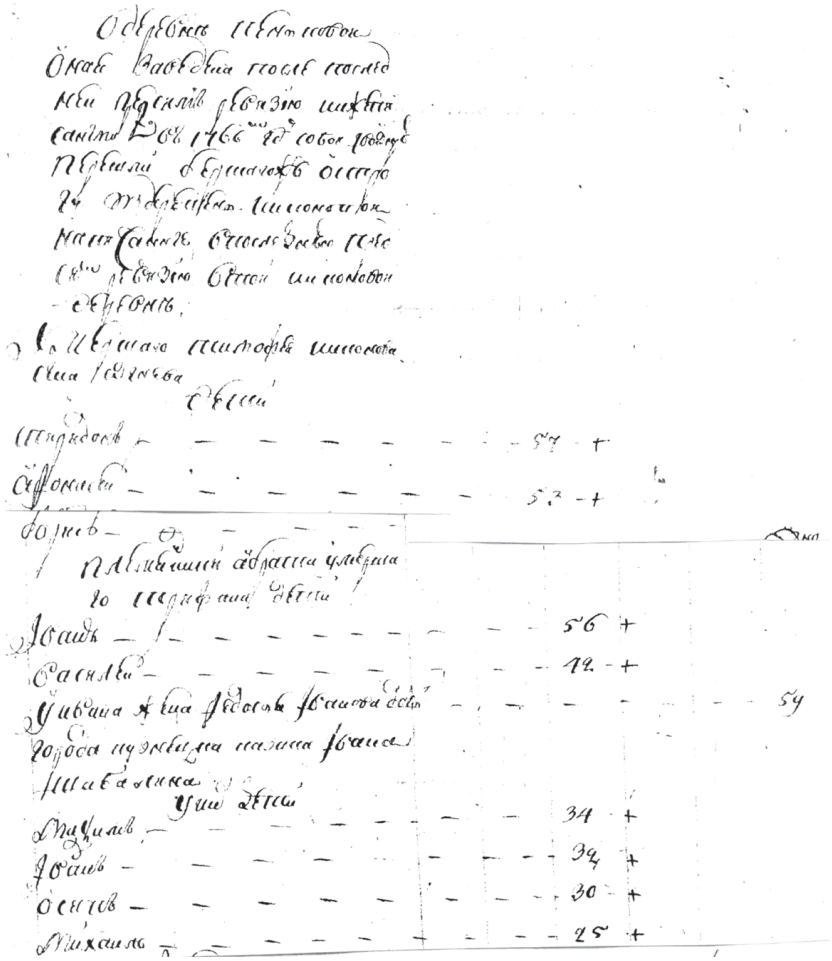
– Как? Разве падре не преподнёс вам подвеску? До того, как погиб падре… Простите, что ещё раз наношу вам воспоминание печали, падре был у меня. Я ему делал подвеску с пятью перламутровыми жемчугами.

– Господин Джованни, у мёртвого Никодима не было подвески.

– Вы смотрели в карманах? Посмотрите. Подвеска в ларце, а ларец изготовлен из штуфа лазурита с малахитом.

– Ларец из штуфа лазурита с малахитом стоит на киоте, за иконой Чудотворца Николая. Никодим просил меня не смотреть до дня святой Александры, я и не смотрела. За работу вам необходим расчёт?

– Не беспокойтесь, падре Никодим полностью рассчитался.



«Сами собой из деревни Никоновой поселились… умершего Тимофея сыновья: Спиридон, Афанасий, Борис…»

Расшифровка документа:

«В деревне Пеньковой, оная заведена после последней прежней ревизии нижеписанной в 1766 году собой и в оную

перешли Бердского острога из деревни Никоновой, написанной в последней прежней ревизии в той Никоновой деревне

Умершего Тимофея Никонова сына Огнёва

дети:

Спиридон 57 лет

Афанасий 53 года

Борис

Племянники от брата умершего Трофима дети

Иван 56 лет

Василий 42 года

У Ивана жена Федосья Иванова дочь взята из города Кузнецка казака Ивана Шабалина

у них дети:

Максим 34 года

Иван 32 года

Осип 30 лет

Михаил 25 лет».



Глава вторая

Исповедь маслянинского отшельника

Вот ещё, что я вспомнил из моей службы в Царском Селе.

Поднимаюсь по парадной лестнице и вижу возле северной стены стоит камер-советник Павел Емельянович Кадыгробов. Я честь отдал. Он жестом правой руки остановил меня:

– Откуда родом, казак? – спросил, сам на правую руку мою смотрит.

– Из Томской губернии, Барнаульского уезда, Николаевской волости, ваше сиятельство, – ответил я.

– Из какого села? – с волнением в голосе спросил.

– Из деревни Пеньково, ваше сиятельство.

– Так мы с тобой земляки, казак. И как тебя прозывают?

– Никита Евсеевич Огнёв, ваше сиятельство.

Взял камер-советник меня под руку и повёл к выходу. Прошли мы парадную площадь, углубились влево к фонтан-шутику. Усадил он меня на лавку, примостился рядом.

– Я в селе Маслянино родился, – говорит по-приятельски. – Поди, знаешь Кадыгробовых. Поди, слышал про отца моего Емельяна Яковлевича, братьев Семёна и Прохора?

– С братом вашим Семёном Емельяновичем Кадыгробовым встречались у его превосходительства полковника Ляпина. Здравствует и у сельчан в почёте живёт. Волостным старостой служит.

– Мне отписывал брат, что на второй женат. Молодуху выбрал.

– Да, ваше сиятельство. Вторая жена Семёна Емельяно-

вича Елизавета Герасимовна молодая, красивая. Держит себя достойно.

Павел Емельянович опять склонил голову и посмотрел на мою правую руку.

– Никита Евсеевич, откуда у вас перстень с изумрудом? Такое украшение нечасто встретишь даже у великих господ.

– Перстень, ваше сиятельство, – подарок его превосходительства полковника Ляпина, – ответил я.

– Вот как! Вы, казак Огнёв, в хороших отношениях с Владимиром Васильевичем? В ближайшее время они прибудут с отчетом, и я вас, унтер-офицер, непременно приглашу в мой дом.

Это ближайшее время наступило через два месяца.

– Никита, – обнимая меня, шептал полковник Ляпин, – ты не проговорился, что делал серьги императрице?

– У меня никто не спрашивал, – ответил также шёпотом я.

– Императрица надевала их?

– Не видел, ваше превосходительство.

– Молчи! – приказал он.

– Буду молчать.

– Господа, – прервал наше шептание Кадыгробов. – Что вы там шушукаетесь?

– Шмакова Ивана Ивановича вспомнили, – ответил Ляпин.

– Так я вам и поверил! Лучше раскройте секрет, Владимир Васильевич, за какие такие дела вы унтер-офицеру Огнёву подарили перстень с изумрудом.

– Вот и не скажу. Это наше семейное дело с Никитой Евсеевичем, не так ли?

– Так, так, ваше превосходительство, – ответил я.

– Этот перстень, господа, купил я в восемьдесят восьмом году в подарок своему университетскому другу Петру Сергеевичу Болдыреву. Он оскорбил меня, переподарив мой подарок, Владимир Васильевич, вам. Не дорожит он нашей дружбой. А вы пошли ещё дальше. Подарили перстень простому солдату…

– Прошу вас, ваше сиятельство, не журите Болдырева. Не ругайте меня. Никита Евсеевич по заслугам получил от меня на вечную память перстень. И другого владельца не будет.

Сели за сервированный стол. Мы с полковником подняли рюмки и враз расхохотались. Ляпин поставил на стол рюмку, достал платок и вытер слёзы.

– Да что с вами, земляки? – раздражённо спросил Кадыгробов.

– Опять вспомнили Шмакова, – сдержанно улыбаясь, ответил Ляпин.

– Что, кобыла Ивана Ивановича всё продолжает плакать, как я?

– Да вы что, ваше сиятельство, у Шмакова кобыла сдохла. Он сейчас жеребца по ярмаркам водит. Жеребец другие кренделя выбрасывает… – проговорил Ляпин.

– Какие же? – спросил, сдержанно улыбаясь, Павел Емельянович.

– Стыдно даже рассказывать.

– Я вас как-то, Владимир Васильевич, просил узнать у Шмакова, где это он видел меня плачущим?

– Узнавал, ваше сиятельство. Мимо деревни Пеньковой проезжал чиновник, который присутствовал на похоронах Александра Третьего. В деревне остановился у Шмакова. Иван Иванович и спрашивает его: «Не встречал ли он земляка, Кадыгробова?» Чиновник рассказал про вас и про то, как вы с причитанием рыдаете. Чиновник попытался скопировать вас. Было дело летом. Окно открыто. Под окном Чалая стояла. И…

Я представил кобылу и залился смехом.

– Унтер-офицер, – грубо прервал мой смех камер-советник, – ведите себя пристойно. А вы, Владимир Васильевич, не тот ли чиновник? Я здесь, в столице, выказываю высшую благосклонность для подъёма и процветания Николаевской волости, вашего прииска и что получаю вместо благодарности…

– Даю слово, ваше сиятельство, шмаковский жеребец больше рыдать не будет, – Ляпин поднял рюмку, подмигнул мне, и мы выпили.

– Недавно Его Величество интересовались вашим подарком, что вы преподнесли Императрице Александре Фёдоровне. Они высказали недоумение. В серьги вкраплен перламутровый

жемчуг. А как подтвердил князь Владимир Анатольевич Баратянский – жемчуг индийский. По величине и цвету жемчуг относится к той низке, которую преподнёс цесаревичу вице-король индийский маркиз Лэнсдоун. А Николай Александрович этот бисер подарил дочери мастерового вашего прииска Александре Борисовне Вершининой. Что я должен передать Его Величеству? Сундучок с серьгами у Его Величества.

Полковник посмотрел на меня. Я пожал плечами.

– Ваше сиятельство, – заговорил Ляпин, – я возражал. Но матушка Александра убедила: от всех женщин Салаирского кряжа… Да, моя вина в этом есть… – тихо проговорил полковник.

– Невоспитаны мои земляки. Но что уж, после драки… Его Величество после посещения европейских стран планирует осмотреть Транссибирскую дорогу. Это будет где-то в декабре. Я обращаюсь к вам с просьбой, Владимир Васильевич, сделайте так, чтобы Александра Борисовна присутствовала на встрече с Его Величеством в городе Новониколаевске. И ещё одна просьба… Серьги понравились Николаю Александровичу. Он желает ближе познакомиться с золотых дел мастером. Вы, Владимир Васильевич, должны пригласить его и представить императору.

Мы с полковником посмотрели друг на друга. Я с грустью в голосе заговорил:

– Как жаль. Земляки мне писали, что мастер умер.

– Умер, умер, Никита Евсеевич, – поддержал меня полковник.

– А что, мастера звали Никитой Евсеевичем? – спросил его сиятельство.

– Нет, – вступил я в разговор. – Это его превосходительство меня назвали. Мои слова подтвердили, что земляки мне верно отписали. Умер тот мастер, а когда воскреснет, неизвестно.

– После службы, Никита Евсеевич, – проговорил Ляпин, – я такую мастерскую отстрою! Окна поставлю больше, чем в этом дворце в Большом зале. Инструмент германский…

– Земляки! – почти крикнул Кадыгробов. – С вами невозможно разговаривать. Полковник, соблюдайте дистанцию при разговоре с нижними чинами. А вы, унтер-офицер, встреваете

в разговор, вступаете в рассуждения. Кто вас спрашивает? Кто вам позволяет? Никогда я за вами, Владимир Васильевич, подобного не замечал. Умер мастер, так умер. Я так и передам Его величеству.

Я поднялся, поправил китель:

– Ваше сиятельство, разрешите слово молвить?

– Что ещё, унтер-офицер?

– Как говорит Иван Иванович Шмаков, у меня рюмка от сиротства зарыдала.

Полковник от смеха склонил голову к столу.

– Да что такое делается! Я делаю замечание, а они тут же смеют издеваться.

Ляпин поднял голову. Посмотрел в глаза Кадыгробова.

– Мы, Павел Емельянович, с Огнёвым не только земляки, но и родственники. Да, да, – родственники. Фельдфебель мне, полковнику, родственник и вам, генерал-майор, родственник. Правда, далёкий, но родственник.

– Какой ещё фельдфебель? – спросил Кадыгробов.

– Как какой? Никита Евсеевич Огнёв.

– Ты шутишь, Володя. Я писал рапорт о присвоении ему нижнего офицерского чина месяц назад.

Часа через два мы сидели трое в обнимку и горланили песни.

* * *

В доме Бальв жарко. Постарался Савелий, натопил печь докрасна. Все суетятся, одеваются, спешат. Набрасывая шаль на голову, матушка Александра спрашивает:

– Максимушка, ты не забыл прихватить с собой любимых сухариков? Пока будем дожидаться Его Императорского Величества Николая Александровича, ты проголодаешься.

– Нет, мама. Я и на Николю прихватил. Видишь, как карман оттопырился.

– Матушка Александра, – вмешался в разговор Савелий, – не лучше ли мне сладости для детей завернуть в пакетик? Неприлично предстать Максимке перед Императорским Величеством с отпущенными карманами.

– Савелий Дмитриевич, пусть будет так, как он хочет. Да и Максимка схрумкает все сухарики ещё до встречи. Сейчас слушайте меня внимательно. Аксинья, ты берёшь на руки Феденьку, вы, Савелий Дмитриевич, Николю. Я беру за ручку Максима и букет цветов. По Базарной площади, до Колыванской улицы, идём в следующем порядке: Савелий Дмитриевич, я с Максимом, а за мной Аксинья и Миша Кадыгробов.

– Мама, почему первым должен увидеть Его Величество Николя? – спросил Максим.

– Максимушка, всё так просто. По светским правилам, первыми должны идти мы с папой. Папы нет. А каждой даме нужен рыцарь: оберегать её, прокладывать дорогу…

– Пойдём первыми. Я, мама, если ты не возражаешь, буду твоим рыцарем.

– Сынок, это твой каприз? – спросила матушка Александра.

– Мама, ты всегда прячешься за спиной Савелия Дмитриевича. Тебе не нравится, когда говорят комплименты. Я хочу, чтобы мою красивую маму видели все и мой любимый Император.

– Максимушка, Николай Александрович меня уже видел.

– Это было давно.

Базарная площадь и улицы Кривощёковская, Колыванская, Каинская, Вознесенская, Спасская и Воронцовская сияли огнями живых цветов, гирляндами из лохматых веток елей, флагами и флажками; людское море сияло радостными лицами мирян. Торжественное событие – приезд Императора в молодой посёлок на Оби – всполошило всех.. Император ещё на левом берегу, в окружении свиты, только собирается ступить на шпалы железнодорожного моста, а здесь, на правом берегу, радуется благовест в руках лучшего звонаря Томской епархии Бояна.

Император Николай Александрович идёт по мосту, и на его лице играет добрая улыбка. Сбылись слова отца, Александра III: дело по строительству, столь близко принимаемое к сердцу, подходит к концу.

Матушка Александра бросила взгляд в сторону молитвенного

дома. Там стояли личные и потомственные почётные граждане поселка и жена участкового врача Михаила Востокова Мария. Матушка Александра улыбнулась, так ли внимателен будет к Марии Николай Александрович, как пять лет назад к ней, Александре. И какое-то несвойственное матушке Александре чувство ревности промелькнуло и исчезло.

– Савелий Дмитриевич, остановимся здесь, – предложила она.

– Да что вы, матушка Александра. Пойдёмте ближе. Вон и дорожку уступают. И что дети увидят на этом склоне?

– Не возражайте. Помните, неприлично нам выставлять себя на обозрение. Рядом с нами нет отца Никодима.

С железнодорожной насыпи не спеша сходил Николай Александрович. Шинель, подбитая соболиным мехом, плотно облегала его ладную фигуру. Он поднял руки без перчаток и, улыбаясь, как при встрече с друзьями, помахал, приветствуя многотысячную толпу. Три оркестра – на Базарной площади, на Каинской и на Спасской улицах – заиграли «Боже, царя храни». Замер император, замерли его верноподданные: их не мороз сковал, а искреннее и сердечное почитание дорогой каждому сердцу мелодии гимна.

Музыка утихла, и волна человеческих голосов, всё усиливаясь и усиливаясь, вознесла над белыми домами крыш, над куполом молитвенного дома, над отдельно стоящей колокольней на столбах, приветственное «У-р-а-а!»

Император ступил на ковровую дорожку, усеянную цветами, чуть свернул налево, где, держа в руках золотой поднос с хлебом-солью, выделялась в белой шубке Мария Востокова. Правая рука императора то и дело поднималась вверх для приветствия, взгляд устремлён направо, на дом Сабурова. И вдруг он резко остановился, повернул направо и поспешно направился в гущу людей, вниз на Колыванскую улицу. Свита, недоумевая, замерла, а владыка Макарий подал знак оркестрам умолкнуть.

Император приблизился к матушке Александре.

– Александра Борисовна, здравствуйте! Какое счастье!

Он приподнял руку матушки Александры, принял букет цветов, передал его Максиму, а сам склонился и прикоснулся

губами к деснице матушки. Поднял взгляд и с каким-то невероятным усилием выпрямился.

– Этой встречи, этой радости мне хватит, Александра Борисовна, до конца жизни. – Император смотрел в тёмно-голубые глаза на раскрасневшимся лице, точно хотел, чтобы черты этой женщины остались в его памяти на многие, многие годы. Он перевёл взгляд на Максима. – Александра Борисовна, это ваш сын? Матушка кивнула:

– Да, Ваше Величество…

Император поднял Максима на руки, прижал к себе и спросил, поглядывая на матушку глазами полными восторга:

– Каким святым именем окрещён этот молодец?

Максим, оцепенев от неожиданности, хлопал глазищами. Крепко сжимая в руках букет, матушка ответила:

– Максимом.

Император поцеловал Максима, и к его нижней губе прилипла крошка сухарика.

Савелий вышел вперед. Император посмотрел на трёхлетнего мальчика в полушубке, опустил Максима.

– Вижу, и ты отрок Никодима. – Николай Александрович подхватил на руки мальчонку и подбросил его так сноровисто, словно был к этому издавна привычен, а сам воскликнул: – А этого, Александра Борисовна, как зовут?

– Николаем, – ответила она.

Савелий Дмитриевич осторожно подтолкнул вперёд Аксинью. Девчонка, покрытая сплошным румянцем, неловко ступила, подалась вперёд, чуть задев Императора. Из одеяльца с кружевной простынкой послышался плач. Император передал Савелию Николая и взял из рук няньки ребёночка.

– И этот ваш, Александра Борисовна? – он взглянул ей прямо в глаза.

Матушка проговорила:

– Мой.

Император приоткрыл одеяльце, склонился и поцеловал дитя. Потом покрутил головой и шаловливо произнёс: – Агу… Александра Борисовна, а этого карапуза как зовут?

– Фёдором.

– Поздравляю и завидую. Три богатыря… Дай Бог вам, сыны России, счастья. – Император умолк, осматривая всех. – Александра Борисовна, а почему отца Никодима рядом нет?

Матушка поправила чёрную пуховую шаль и повернула голову туда, где впадает речка Каменка в Обь.

– Там, ваше величество, где паром, утоп батюшка Никодим, спасая зашалившихся детишек…

Николай Александрович долго смотрел на железнодорожный мост, на паром, скованный льдом, снял шапку, перекрестился. Матушка Александра смотрела на императора, будто откуда-то издалека. И стоило ему повернуться к ней, как она тотчас отвела взгляд.

– Примите, Александра Борисовна, моё искреннее соболезнование. Понимаю, больно потерять такого чистого и прекрасного человека. Крепитесь, матушка Александра… Крепитесь… Делом… крепитесь… Преподаёте? Французский? Английский?

– Сыновей воспитываю, Ваше Величество.

Император не отводил глаз от матушки. Он смотрел на неё в упор.

– Александра Борисовна, вы не обиделись, что я вам послал низку индийского жемчуга? У меня остались прекрасные впечатления о посещении Азиатских стран, а у вас ничего… Носите ли вы эти жемчуга?

Кольнуло сердце у матушки Александры.

– Ваше Величество, Николай Александрович, Мария Востокова ждёт, когда вы откушаете хлеб-соль. Верноподданные ждут вашего императорского слова…

– Я хотел бы за обеденным столом сидеть рядом с вами. Не откажите, Александра Борисовна. Это так важно для меня…

Матушка коснулась руки императора и почти шёпотом проговорила:

– Извините, Ваше Величество, мы только неделю назад отметили сороковину по батюшке Никодиму…

Николай Александрович, прижимая руку матушки к своей груди, ответил:

– Это вы меня простите за нелепое приглашение… Я попрошу владыку Макария позаботиться о семье отца Никодима…

– Прошу вас, не надо, – перебила Императора матушка. – Вы меня поставите в неловкое положение. Вас ждут, Ваше Величество!

Император медленно поднёс руку матушки к губам, прикрыл глаза. Будто опомнившись, рывком выпрямился, скороговоркой пожелал:

– Всех вам благ, матушка Александра! – И, поклонившись, направился к молитвенному дому.

На Базарной площади, на улицах и на крышах домов всколыхнулся гул человеческих голосов, вторили ему благовест и оркестры, а матушка Александра сдавила ручонку Максима, смотрела на букет цветов, что был в руках у него, и, сжавшись, не в силах остановить слёзы, шептала:

– Как жаль, что нет тебя рядом с нами, Никодимушка…

– Мама, мама, а букет… – лепетал Максим. – Можно, я сбегаю?

Матушка концом шали отёрла слёзы и ещё сильнее сжала ручонку Максима.

Не знала Александра Борисовна, что на обеде, произнося ответный тост, император благодарил новониколаевцев за гостеприимство, набрасывал контуры большого и цветущего города. И отпил из фужера глоток вина в память отца Никодима.

Не знала матушка Александра, что не исчезал её образ у императора всю дорогу до Москвы. И больше всего он был занят думой: как она, вдовствующая матушка, сможет вскормить и воспитать трёх сыновей на благо Отечеству?

Обрадовалась матушка Александра, когда пред Днём преподобного Максима получила из рук гофкурьера Его Высочайшего Двора пакет, а в нём целый набор фотографий. Она с императором и её сыновья на руках у императора.



Глава третья

Исповедь маслянинского отшельника

Однажды иду по саду, хозяйским глазом осматриваю, где что надо подрезать, дабы обзор был караульной службе, мне навстречу Его Величество Николай Александрович. Вытянулся по струнке, приветствую:

– Здравие желаю, Ваше Императорское Величество!

Он остановился. Протянул руку, а на лице улыбка.

– Здравствуйте, фельдфебель. Как служится?

– Хорошо, Ваше Императорское Величество!

– Откуда родом?

– Из Томской губернии, Барнаульского уезда, Николаевской волости, деревни Пеньковой.

Он глаза расширил, меня под руку взял и повёл к беседке. Усадил рядом с собой и спрашивает:

– В селе Егорьевске бывали?

– Так точно, – отвечаю. – Многократно. Там наши родственники проживают: Вершинины, Ивановы, Щукины…

– Матушку Александру, по мужу Бальва, знаете?

– Так она мне приходится родственницей, – отвечаю. – Но, Ваше Величество, матушка Александра, как отец Никодим утоп, переехала в село Маслянино, в дом отца Каллиника, сыновей воспитывает.

– Давно служите? – спрашивает Николай Александрович.

– Почти пять лет, Ваше Величество.

– На побывке бывали?

– Так точно, Ваше Величество. Два года назад.

Через день дают мне аж на целый месяц отпуск.

За время отпуска побывал в Маслянино, погостил у матушки Александры. Порасспрашивал, откуда её знает Государь Император Николай Александрович. Она мне с лёгкой улыбкой ответила: «Было время, Никита Евсеевич, когда мы с Его Высочеством тайно посещали Томский женский монастырь».

...Шли последние дни моей действительной службы. Шесть лет ждал этого дня. Хоть год назад был на побывке, а думал, как встретят меня родные, жена Пелагея, сын Василий. Но грянул гром. Внезапно, без объявления войны пошли на нас японцы. Приказали нам во исполнение статьи двадцатой Устава о воинской повинности, служить дальше, так как во время войны состоящие в сухопутных войсках и во флоте обязаны оставаться на службе до тех пор, пока будет того требовать государственная надобность.

Несколько казаков из охраны Его Императорского Двора подали рапорт об отчислении их от службы по охране Екатерининского дворца и об отправке на русско-японскую войну. Подал рапорт и я, имея военную специальность пушкаря. Захотел силу свою супостату показать. Не привык избирать для себя благую честь.

Провожали нас на фронт Император Николай Александрович, его дочери – великие княгини.

Обширную залу украшали знамёна, в шеренгу стояли мы – солдаты. Пятилетняя княжна Мария Николаевна с поклоном вручила сладости. А княжна Анастасия – серебяные нательные крестики. Он и сейчас на мне.

И уже в начале марта отправили меня с западной окраины России на восточную.

Помню, подкрался к нам в вагон один агитатор, чернявый такой. Шептал: «Братья-солдаты, кто из вас не знает, что «отечество» царя не есть отечество народа. И вам нечего защищать. Выходите из вагонов и направляйтесь по домам. Ваш

злейший враг не Япония, а царское правительство и величайший вор и преступник Николай Второй!» В конце затрубил: «Землю крестьянам!» Я его перебил: «Слышь, паря, а в Сибири земля у кого? У нас её хоть отбавляй. Так что не в тот вагон ты сел». Сбросили мы его вблизи Красноярска. Срам! Каждый готов кричать: земля наша Российская велика и обильна, но порядка в ней нет. Недоумеваю: если в моём доме был порядок, в деревне порядок, в Сибири порядок, так где ж тогда порядка нет?

В первых числах апреля оказался я в Первом Сибирском корпусе.

И в каждый бой шёл с таким настроением: буду полковником или покойником. До полковника не дослужился. Но после каждого большого сражения представляли меня к награде. И ранен был неоднократно.

Троих друзей обрёл на японской войне – это великая честь и мне, и им. Один – полковой священник отец Василий Алексеевич Посельский, второй – племянник мой Дмитрий, а третий – лекарь Борис Евгеньевич Смирнов. Отец Василий в окопах молебны служил, обходил войска, призывал на помощь Всевышнего и воодушевлял нас на подвиги. Многократно он и за ружьё брался. Всегда был с нижними чинами, жил их заботами, дружелюбием жил. А матушка его Мария – сестра милосердия – не уступала ему ни в мужестве, ни в стойкости духа. Но ты, внучек, помни: добро другу делается не столько через хлеб насущный, сколько через внимание, не столько подвигом, сколько участливостью.

29 апреля 1904 года японцы окружили нашу батарею. Замолкла пушка. Врукопашную пошли. В тот день японский солдат дважды ударил меня шашкой по голове. Но разве это удары… У меня хватило сил штыком проткнуть его, и до конца боя, пока мы не принудили врага отступить, я не замечал повязки, что по-быстрому намотал мне на голову священник полка отец Василий.

19 июня 1904 года в трёх верстах южнее Хайчено японский солдат нанёс мне три сабельных удара по рукам и правой ноге. Полковой врач – Борис Евгеньевич – отнёс меня на сто

саженей от пушки, раздел, зашил рваные раны, забинтовал и приказал лежать. Но разве можно! Там моя батарея! Я позвал племянника Дмитрия, велел ему надеть на меня гимнастёрку, штаны. Врач далеко от меня – других шьёт, а я с батареей не быть не мог.

Командовал и видел, и слышал. Снаряд разорвался рядом с отцом Василием. Он упал, разбросав ноги. Матушка Мария бросилась к нему, упала на грудь, взвыла.

– Васенька, Васёк, Василько, ты жив? – и, обцеловывая лицо, теребила его: – Васенька, миленький, – и тут увидела, как левый глаз отца Василия чуть приоткрылся.

Матушка Мария шлёпнула его по щеке.

– Васька, опять шутки. Ты же десять лет как священник. Не стыдно?

Он приподнялся.

– Стыдно, Мария, но я соскучился по тебе, по твоим поцелуям.

Подбежал Борис Евгеньевич.

– Вы ранены, отец Василий?

– Убит наповал. А пулю в сердце мне вонзила вот эта дама.

17 августа 1904 года, защищая Ляоян, наша батарея потеряла половину орудий и более половины солдат. Нас решили вывести с передовых позиций. Но живые воспротивились: «Нет, мы все, коли надо, здесь ляжем!» Мне в том бою раздробило большой палец на левой руке. Борис Евгеньевич во время боя отрезал «лепёшку», забинтовал руку, и я продолжал сражаться.

Под деревней Каотайцзы 26 сентября сломали мне два ребра. И опять до лазарета далеко, а японцы рядом. Лежал вблизи пушки и командовал батареей, пока не наступила ночь и не утих бой.

Через месяц наша батарея оказалась в окружении японских орудий «Арисака». Больше часа японцы обстреливали, измывались. Мы в окопах сплошным земляным ковром были засыпаны.

Слышу, поутихло. Вылез – и глазам не верю. Пушка цела. Снаряды в ящиках целы. Чудо! Командую: «Братцы! К батарее!» Не впустую били, а по цели. До самой темноты железо от японских пушек летало по воздуху, а с ним и части человеческие.

Ночью батарея улеглась, а я говорю племяннику: «Пойдём к японцам. Заметил я, где их боеприпасы находятся. Устроим им праздник». Разделись до кальсон – и вплавь через реку. Часовые меж собой перекликаются, и я на их языке отвечаю. Сняли одного часового, обогатились гранатами «шимози» – и к складу. Договорились с племянником, что часовых возле склада снимать не будем: бросим по тройке гранат в сторону боеприпасов – и бегом к реке.

Господи! Мы бежим, а за нами всплеск зарева и невероятной силы взрывы. Гляжу, рядом бегут японцы. Присмотрелся к одному – офицер. Догоняю, кулаком его в спину, а обвисшее тело на себя взваливаю.

Утром прибыл генерал Штакельберг. Я выстроил свою батарею, а японского офицера поставил последним. Подходит генерал-барон и спрашивает:

– Фельдфебель, как это в вашей батарее японец оказался?

– Ваше высокоблагородие, – отвечаю, – шут его знает. Просыпаемся, а он сидит возле костра и рисовую кашу с приправой ест.

– Кто ночью на японской стороне фейерверк устроил?

– Ваше высокоблагородие, – отвечаю, – у них, видно, праздник был.

– Вы что скажете, майор Куроки? – спрашивает генерал у японца.

Я подумал: «Во, наш барон всех японских офицеров по именам знает. Никак этот майор большой пост занимает. Командующий Первой японской армией, видно, его родственник – генерал Куроки». Японец отвечает генералу на русском языке:

– Господин генерал, фельдфебель Нико взорвал наши склады с боеприпасами. И то, что я здесь, – это его подвиг.

– Спасибо, майор Куроки, – говорит генерал-барон, – за фельдфебеля.

При японце объявил о представлении меня к четвёртому Георгиевскому кресту. Я поблагодарил генерала и добавляю:

– Ваше высокоблагородие, не один я ходил, а с племянником.

И Дмитрия представили, правда, к первому Георгию.

Спустя четыре дня на реке Шахе погиб мой племянник Дмитрий. Было это так.

Не жалели японцы снарядов. Фонтанами взлетала земля, грохотом и шумом глушила воинов, сухим песком ослепляла глаза. То в одном, то в другом месте взлетали в воздух человеческие тела.

Матушка Мария увидела, как снаряд упал прямо под ноги Дмитрию. Его подбросило вверх ногами, и полетели в разные стороны шинелька, сапоги, шапка. Матушка видела, как в образовавшуюся воронку опустилось тело Дмитрия. Она поползла к нему. Тот в горячке сел, притянул к себе лежащую в стороне левую ногу. Погладил сапог. Матушка была почти рядом. Она продолжала ползти, плечом подбрасывала медицинскую сумку вперёд, чтобы не терять времени – достать медикаменты, марлю и перевязать Дмитрия. Но тут враз взорвались два снаряда. Матушку Марию сбило с ног, отбросило в сторону.

Дмитрий крикнул:

– Матушка Мария, держитесь! Я сейчас, сейчас. Держитесь. – Он пополз к ней, оставляя за собой широкую полосу крови. Вдруг его правая рука ухватила горсть песка, и что-то изнутри сильно кольнуло руку. Дмитрий разжал пальцы, на ладони лежала серьга матушки Марии. Он сжал пальцы сильнее, пополз, отталкиваясь левой ногой шепча:

– Матушка, я вам помогу, помогу.

Японцы не переставали обстреливать русские позиции. Снаряды ложились рядом. Он подполз к ней, приподнял её голову, дунул в лицо.

– Вы живы, матушка?

На её бледном лице не взыграла ни одна мышца.

– Извините, матушка, я прикрою вас. Вам же будет больно. Извините.

Дмитрий из последних сил прикрыл своим туловом матушку и замер.

Осколки снарядов изрешетили голову Дмитрия, прошили спину. Он уже ничего не чувствовал, так как был мёртв.

С наступлением темноты перестрелка прекратилась. Я побежал к тому месту, где были ящики со снарядами и куда отправился Дмитрий. Я шёл и видел убиенных за сегодняшний день. По сторонам от меня бегали медсёстры с санитарами, а где-то впереди воздух оглашался басом:

– Мария! Мария! Где ты? Мария! Не балуй. Откликнись.

Это кричал отец Василий. Он и нашёл матушку Марию рядом с Дмитрием. Матушка Мария была жива.

Я оплакивал Дмитрия, а вместе с ним и пятьдесят тысяч нижних чинов и офицеров Русской армии. Всю ночь просидел я возле тела Дмитрия, а ущерблённая луна была бледна и неясна, словно на неё набросили плащаницу в знак траура по жертвам боя и по племяннику моему.*

Через несколько дней матушка Мария пришла в себя. Отец Василий, склонив голову ей на ноги, дремал. Он почувствовал её движение, соскочил. Увидев её открытые глаза, перекрестился.

– Милая ты моя, очнулась. Знать, мы ещё поживём, повоюем…

Матушка Мария разомкнула уста:

– Васенька, погляди на моё левое ухо, не чувствую на нём теплоты от чуски.

Отец Василий бросил взгляд и тихо проговорил:

– Нет чуски.

Всю ночь нижние чины и офицеры пересеивали песок на том месте, где была контужена матушка Мария. Горели сотни факелов.

Со стороны японцев раздавались голоса:

– Сол-да-та-сан, спа-ти, спа-ти.

По тропинке, где несли в лазарет матушку Марию, босые ползали солдаты в поисках всё той же серёжки.

---

* На реке Шахе погибло 50 тысяч нижних чинов и офицеров.

Ближе к обеду в лазарет, где лежала на тюфяке матушка Мария, подкрался я и вложил в её ладонь серьгу.

– Батюшка! – всхлипнула Мария. – Нашли! Где, Никита Евсеевич?

– У убиенного племянника моего, в ладони. Видно, когда вас подбросило, чуска отлетела, Дмитрий и поднял её. Жаль жизни срока ему не осталось, чтобы самому вернуть.

Пятнадцатого января 1905 года в местечке Хегаутая проткнули мне шею штыком старого японского ружья «Мурата». Всё перевернулось: где земля, где небо – не пойму.

Очнулся. Глянул. Несут меня на носилках батюшка Василий и лекарь Борис Евгеньевич. Я хохот устроил:

– Это ради чего вы позорите русского фельдфебеля?

Они остановились, опустили носилки.

– Никита Евсеевич, жив? – спрашивает отец Василий.

Я ещё сильнее расхохотался.

Поднимаюсь и чувствую: шея моя не поворачивается, всё тулово простреливает. Вот тогда я впервые побывал в лазарете. Но там страдал больше не от ран ржавого штыка, а от стыда за трусость и бездарность наших высших чинов.

И скажу тебе, внучек, забыли наши адмиралы небогатовы и генералы стессели, как Святослав ответил болгарам – «Мёртвые срама не имут». Не вспомнили слов Петра Великого под Полтавой, что жизнь ему не дорога, – «жила бы только Россия во славе и благоденствии». Забыли подвиг майора Штоквича, державшегося в осаде в крепости Баязет почти месяц без воды и продовольствия. Стократные силы бросало на наших солдат турецкое командование. Но стояли. Среди солдат был и мой отец – Евсей Романович. Не бесполезны жертвы на алтаре неправедной войны. Они ковали мощь народного духа, создавали тот образ русского воина, который внушал уважение к народу и Отечеству нашему...

Япония убедилась на кровавом опыте, что с русскими можно воевать бесконечно, можно их теснить, даже отбрасывать, но сломить русскую силу, победить русскую армию и навсегда по-

кончить с Россией нельзя. Отступали мы перед врагом только по приказу своих бездарных генералов, в большинстве нерусских.

Не склонен никого обвинять. Бог судья. Но я себя спрашиваю: кричали бы воины Японии «банзай», если бы их армиями командовали не Ойяма, Оку, Нодзу, Куроки, а Стессель, Фокс. Рейс, Витгефт? Да и нашим 1-м Сибирским корпусом с января 1905 года командовал генерал-барон Штакельберг. Впрочем, о нём я плохого слова не слышал.

Я, внучек, ничего худого не приносил в жертву Отечеству, но всё самое лучшее, что было у меня: телесную силу, душевное мужество, трудолюбивые руки, трезвый ум. И повторяю слова, что говорил лекарь полка Борис Евгеньевич: «Одно только и есть самое лучшее предназначение – это защита Родины». Защищая Родину, я был причастен к её победам и поражениям.

Но помни: ненавистью к японцам не жил и жить не собираюсь. Удивлялся высказыванию командира миноносца «Акапуки» офицера Нирутака, который говорил: «Я заранее радуюсь смерти каждого русского, так как ненавижу эту нацию; она мешает величию Японии».

Как я был горд за Государя Императора, когда он ответил: «Русские люди могут положиться на меня. Я никогда не заключу позорного или недостойного Великой России мира».

Ох! Только и могу сказать…

В день, когда Сергей Юльевич Витте поехал в Америку подписывать мир с Японией, японский солдат-фанатик, ночью, незаметно пробрался к нашей батарее и устроил резню. Двух успел заколоть. Мы окружили его. Он бегал с кинжалом и кричал:

– Ни-ка! Ни-ка!

Я приказал солдатам отступить от японца. И, оставшись один на один, сказал:

– Я Ни-ка.

Он бросился на меня. Но что может сделать японский солдат с кинжалом русскому фельдфебелю? Я, не обращая внимания на его вертлявые движения, так саданул его кулаком по скуле, что он, хватанув несколько раз воздух, тут же и сдох…

* * *

Когда лежала в лазарете матушка Мария, настоятель Александро-Невского собора в городе Новониколаевске отец Николай Завадовский произнёс перед прихожанами необычную проповедь:

– Печально мне, братья и сёстры, что не утихают борзые сплетни об отце Василии и матушке Марии. Всё это прискорбно. Мои предки два столетия служат у престола Божьего. И рассказывали мне старшие, что бывали случаи, когда один пастырь покидал свою паству – убегал в лес, другой отрекался, третий посрамлял звание священника. Отец Василий покинул паству по другой причине. И мыслимо ли нам, не зная эту причину перечеркнуть все добрые дела четы Посельских.

Разве не мы ещё совсем недавно при появлении на устах имён Василия и Марии начинали перечислять их благие поступки, говорили о их честности, самоотречении, самопожертвовании, говорили, что их жизнь идёт в строгом стремлении делать людям добро. Не мы ли заверяли друг друга, что, по-видимому, над четой Посельских витает неведомая для многих людей сила, направляющая их поступки, дела, соизмеряясь с волей человека, что дана ему свыше. Заверяли, что обыденная окружающая обстановка, для многих суетная, безрадостная, будничная – для четы Посельских открытая дорога жертвовать частицу своей жизни человеку, кто рядом.

Да, братья и сёстры, и в бытность четы Посельских здесь до меня доходили отголоски небылиц и клеветы на них. Я был свидетелем, когда один мирянин бросил фразу: «Что Посельским не быть добренькими; они вон какое наследство получили». Наследства не было. Из простой крестьянской семьи отец Василий, из мещан матушка Мария. Проходило время, и этот завистник, добрые дела других порочащий, прикрывал от стыда глаза.

За восемь лет жизни четы Посельских в Ново-Николаевске никто никогда не замечал их физических страданий и острых печалей. А они были человеками. Не обходили их простые хвори. Они умели скрывать свои болячки и нужду. Всегда бо-

дрые, весёлые, с трогательной любовью к ближнему – это их суть жизни.

Братья и сёстры, мне пришла бумага от командующего Первого Сибирского корпуса генерал-барона Штакельберга. Он выражает искреннюю благодарность за то, что мы отправили на войну с Японией лучших сынов и дочерей нашего города. Благодарит за отца Василия и за матушку Марию. Наш отец Василий служит полковым священником и награждён Георгиевским крестом. Матушка Мария – сестра милосердия – тоже имеет награду.



Глава четвёртая

Исповедь маслянинского отшельника

Пока шли бои, мой организм выносил всё. Но только наступил мир, голова от прошлых ран загудела, поломанные рёбра вздохнуть не давали – увёз меня Борис Евгеньевич в госпиталь Владивостока.

Внимание врачей и освящённая вода в сосуде притупили мои болезни. Но домой меня не отпустили. Приписали в госпиталь санитаром. Посчитали: если за ранеными нижними чинами и офицерами будет ходить фельдфебель при всех Георгиевских крестах и медалях, воины быстрее пойдут на поправку и порядок в госпитале будет добрый. Так оно и было. К этому нужно добавить: Борис Евгеньевич страстно желал сделать меня лекарем. Он с 1905 года возглавлял хирургическое отделение.

Пойми меня правильно, внучек, я был свободной птицей. Меня как героя японской войны ублажали почестями и вниманием. Я в любую минуту имел полное право покинуть больницу и поехать в Пеньково к семье. Но не мог я жить против своей совести. Ещё очень много воинов нуждалось в моём бодрящем слове, в моём сочувствии.

Борис Евгеньевич учил меня всему, что делал сам. Я для него не только санитаром был: он принуждал меня ежедневно думать, напрягаться, почти каждый день совершать с человеческим телом то, что мне до этого было неведомо. И что удивительно: он режет – солдат морщится, я режу – солдат

мне подмигивает. Да, были ошибки, поспешности, он поправлял, но никогда не повышал голоса. И потихоньку к 1907 году усвоил я врачебные хитрости.

* * *

Вернулись с фронта Посельские в город Ново-Николаевск. Навели порядок в собственном доме. Но не радовали их ни большой дом, ни город. Слишком недуговала матушка Мария от последствий войны. От контузии болела голова, от надсады спина, внутренности. По настоянию матушки написал отец Василий прошение Томскому и Семипалатинскому владыке. Умолял перевести на вакантную должность в село, в тишину, в чистоту. Уверял, что сельщина послужит лучшим недугоцелителем для матушки Марии.

Перечислял храмы, где бы Мария наслаждалась природой, душевным общением с чадами господними и несла детям русскую грамоту.

Среди этого списка значились:

Троицкий храм в селе Егорьевске,

Воскресенский храм в селе Суенга,

Никольский храм в селе Маслянино,

храм Зосима и Савватия в селе Никоново.

В день, когда далеко от дома Посельских, на подлинном плане города Ново-Николаевска собственно Императорским Величеством рукой написано: «Быть по сему. Николай. 17 июня 1906 года. Петергофъ», Василию Посельскому передали решение архиепископа Макария «отцу Василию (Посельскому Василию Алексеевичу) быть настоятелем храма Зосима и Савватия в селе Никоново. Благославные ратоборец авва Василий, ратоборица Мария, благославляю вас и на стезю просвещения русского человека».

Так, осенью 1906 года в селе Никоново открылась церковно-приходская школа. Тогда село Никоново состояло из 330 дворов. Детей, нуждающихся в учёбе, имелось 213 человек. Матушка Мария и отец Василий обучали в первый год шестерых мальчи-

ков и четырёх девочек. В летнее время в церковно-приходской школе чета Посельских открывали детскую (детский садик). Как и в городе Ново-Николаевске, из своих средств кормили обедами детей.

В 1906 году по просьбе мирян города Колывани благочинный Ново-Николаевских церквей, протоиерей отец Николай (Никольский) благословил Савелия на новое поприще – организацию при Богоявленской церкви города Колывани хора певчих детей. Матушка Александра не возражала. Младший сын Фёдор учился в четвёртом классе Томского епархиального училища, средний сын Николай – в Томской духовной семинарии, а старший Максим готовился к поступлению в духовную академию.

Увлечённо работал Савелий с детишками, хорошо освоил церковно-партесное пение и вскорости назначили его регентом.

У Савелия была своя домашняя колоколенка, на которой он играл в свободное время, изливая свои чувства. И как только до него дошёл слух, что звонарь церкви Николая Чудотворца в Маслянино Ермолай Прокудин отдал Богу душу, а это было перед Пасхой, он покинул Колывань.

После пасхальной трапезы протоиерей отец Евгений отправился домой. Священник Иоанн с улыбкой и смехом предложил всем, кто имеет дар Божий и желание подняться на колокольню, сыграть, что кому пожелается. В один миг перед входом на звонницу выстроилась целая вереница мужиков.

Первым поднялся Порфирий Кокорин из деревни Мамоново. Он подёргал верёвки колоколов, разнёсся звон, но в нём не было ни мелодии, ни лада. Ему крикнули:

– Порфирий, слезай. С тебя в поле толку боле.

Вторым поднялся Николай Ударцев из деревни Суенги. Но и он ничего ладного не сыграл.

Не успел Ударцев сойти с последней ступеньки, как прошмыгнул вверх тощий Егор Марамзин, земляк Ударцева. Он несколько раз ударил в большой колокол и спустился вниз. Ещё поднимались Агафон Хребтов и Григорий Огнёв из деревни

Петушихи, Иван Варнаков из деревни Барковой, Михаил Сбоев, внук Вавилы Петровича, из Мамоновой, Андрон Красилов из Пещёрки, Илларион Красавин из Пеньковой, Иван Манушин, дядя Савелия, из Елбани, Михаил Большаков из Пайвиной… И многие…

Благочинный отец Евгений подошёл к резному крыльцу дома, поднялся на крыльцо, но в хоромы заходить не торопился. Он сел на лавку и внимал ребячеству православных.

В другом краю села сидел на крыльце своего дома дьякон Владимир и, покачивая на руках сына Владимира, слушал. За рекой Бердью в сосновом лесу стоял псаломщик Дмитрий, внимал.

Два часа шёл звон над селом Маслянино, но ни отец Евгений, ни другие члены клира восторга не проявляли.

После Михаила Валова из деревни Валовской дошла очередь и до Савелия. Он поднялся на колокольню, по-своему перевязал верёвки на языках колоколов, отрегулировал узлы на концах верёвок, удлинил на большом колоколе. Очередники кричали:

– Слышь, паря, кончай глазеть, бей по благовесту – да и с колокольни…

Савелий поочерёдно по разу ударил в колокола, вслушиваясь в звон, потом ещё раз. Распетлил руки верёвками, кивнул в пространство всё ещё густой, но уже седой шевелюрой и, покачивая плечами, стал дёргать верёвки. И грянул звон! И понеслась над селом разухабистая мелодия «Камаринской». Соскочил протоиерей Евгений, поспешил к церкви. Говорили потом, что наскоро передал сына дьякон Владимир жене Анне и побежал к храму. Сел в кошёвку псаломщик Дмитрий и погнал лошадь к центру села. И видели многие: стояла на крыльце протоиерейского дома матушка Юлия Порфирьевна с непокрытой головой, и слушала она, и слёзы вытирала. А Савелий, позванивая, посматривал с верхотуры на всё окрест и плакал от радости.

В церковном саду, на улицах плясали все. Плясал дьякон Владимир, плясал весёлый благочинный Евгений, волостной старшина Семён Кадыгробов, волостной писарь Андрей Высоцкий. Плясал и юродивый Ефимка Смердин из Каменного

Изырака. Ой, сколько в том колокольном звоне было привольного, весёлого, беззаботного, исконно русского! За «Камаринской» пошла «Барыня». Тут уж все из изб повываливали на улицу, даже те, кто ещё не разговелся. И столько было радости у людей, столько восторга!

Прекратил играть Савелий, спустился с колокольни. И первым схватил его в свои объятия благочинный отец Евгений. Он троекратно облобызал Савелия и приказал:

– Отец Иоанн, две чарки вина!

Отец Иоанн вырос словно из-под земли пред протоиереем с подносом в руках. Но на подносе было не две чарки, а пять. Чокнулись пастыри с Савельевской чаркой, залпом выпили. Перекрестил Савелия отец Евгений, по-приятельски сказал:

– Жду вас, дорогой мой, к праздничному столу. Рад буду с вами Воскресение Господне отметить. И семья рада будет. – Отец Евгений повернулся к толпе. – Ещё раз поздравляю вас, православные, с праздником Воскресения Господня и с праздником воскресения церковного звона. Воистину – это чудо!

С того пасхального дня 1907 года занял Савелий место звонаря при Маслянинской церкви, а потом, через год, после смерти старика Горского, по совместительству ещё и сторожем подрабатывал и перешёл жить в церковную сторожку, во вторую половину церковно-приходской школы.

При жизни Никодим Бальва по-особому почитал икону Николая Угодника. Она будто с ним разговаривала. Матушка Александра рассказывала близким: икона просила батюшку Никодима передать её Никите Огнёву. Но Никита Евсеевич в то время отбывал военную службу. И икона осталась в доме Бальв по улице Воронцовской в городе Ново-Николаевске.

После престольного праздника Николы Вешнего 1909 года пожаловал к Савелию в церковную сторожку настоятель из храма Изосима и Савватея села Никонова Василий Посельский. Вернувшись с русско-японской войны, он не пожелал жить в Ново-Николаевске. Шума и суеты городской жизни не принимала душа его. Пожаловал и предлагает:

– Савелий Дмитриевич, а что если съездить нам в Ново-Николаевск? Хочу вместе с тобой помолиться в храме Александра Невского, пройтись по улицам…

Савелий через несколько минут был одет по-городскому, сторожку на ключ закрыл, пару в ходок запряг.

Переехали на пароме через реку Иня и глазам не верят: горит город, горит.

Это случилось 11 мая 1909 года. В два часа дня на улице Каинской во дворе дома Гнусиных от плохой топки загорелась маленькая избёнка. Пожар перебросился на стоящий рядом сеновал, набитый сеном, и оно вспыхнуло. Потом пламя перебросилось на соседний склад сельскохозяйственных орудий, принадлежащий Кислякову и Трифонову. Начали загораться одно за другим деревянные здания.

За считанные минуты проскочили улицу Трактовую и оказались в самом пекле пожара. Батюшка Василий приказывает Савелию на колокольню храма Александра Невского взобраться и бить без устали, а встречным мужикам советует вблизи церкви быть, где с верхотуры, обозревая огни пожара, кричал им Савелий, куда важнее тушителей направлять.

Пламя, словно многородная баба, бросало в различные места города огненных младенцев, а они, от избытка яств из сосновых да лиственничных строений, быстро созревая, закрыли полуденное солнце тьмой дыма и гари и, как живые трепещущие великаны, казалось, охватили огнедышащими языками весь город. Савелий бил в колокола и видел, как отрыгалось пламя от строений Мостовой, Каинской, Колыванской улиц, блестело биением, трещало и бухало, громогласно с ужасом шипело, колебалось, стремясь охватить и мельницу Шмакова, и шинок Чередова, и универсальный магазин Евграфа Жернакова, и дома по берегам речки Каменки и разлеталось вширь, поднимаясь всё выше и выше к центру города.

От огня, воя, ветра и шума колебалась земля, потрясалось небо. Страх вонзался в людские души, понуждал бежать прочь от пожара. Но Савелий видел и смельчаков, ведомых отцом Василием. Он, чёрный от копоти и дыма, в обгоревшей рясе,

распределял мужиков с баграми и вёдрами, чтобы окольцевать всепожирающего зверя. Спустя несколько часов трудно было разобрать – день сейчас или ночь. Горизонт закрыт, вокруг пламя, а небо покрыто пепельным морем вперемешку с чёрными струями дыма.

Мужики и бабы, подбегая к храму, кричали Савелию:

– Звонарь, батюшка Василий спрашивает, с какого участка лучше тушить пятнадцатый квартал?

Савелий всматривался вдаль и кричал вниз:

– С двадцатого участка, с двадцатого… От домов братьев Каменских, – и добавлял: – с Гудимовской улицы…

Вот уж половину суток Савелий на колокольне. Силы его на исходе. Руки одеревенели, стали пудовыми, верёвки от колоколов стальными, голос охрип и сел, глаза ослепли… И когда от усталости он отбросил верёвки, грудью привалился к перилам и стоя заснул, его кто-то сильно ударил в спину. От боли он выпрямился. На колокольне ни души. Он, удивлённый, протёр глаза и увидел вдали, на улице Воронцовской, дом Фёдора Маштакова, далее на Николаевском проспекте будку стражника, далее дом Никона Молчанова, дом Ивана Сурикова, дом Фёдора Соловьёва и дом батюшки Никодима. Дом Соловьёва пластал. От него языки пламени, волнуемые ветром, уже лизали крышу дома Бальв. Савелий скатился с колокольни, молнией полетел на Воронцовскую улицу. Тьма людей сновала взад-вперёд, с вёдрами, с баграми; лошаденки, запряжённые в телеги, волокли бочки с водой. Савелий лавировал между встречными и обгоняющими, кричал: «Дорогу, дорогу!…» Он бежал к дому Бальв, зная, что он безлюден, но там на божнице находится икона Николая Чудотворца, которую с любовью лобызал ратоборец великомученик Ермак. Савелий вынес икону из дома, и тут его окликнул отец Василий. Савелий поставил икону святообразом к горящим домам и побежал к батюшке. Тот попросил Савелия обмотать его руки тряпками – все руки у него были обгоревшие. Обмазали миряне руки батюшки гусиным жиром, обернули косынкой и куском рясы, а тут глянули – чудо! До иконы Николая Чудотворца пламя подошло и ровным столбом, словно не

желая касаться стен дома Бальв, ушло вверх. Огонь, изгибаясь, поднялся в небо от невидимых тисков, что его взяли в обхват, замер на некоторое время и сник, оставив в одиночестве дым и пепел. Всякое потом говорили...

Выгорело 22 квартала, 794 дома. Свыше шести тысяч человек остались без крова, имущества и средств к существованию.

19 мая в Новониколаевск прибыл Томский губернатор Николай Людвигович Гондатти. Он тут же, в Ново-Николаевске, подписал бумаги о выдаче городу из средств государственного казначейства долгосрочного пятипроцентного займа в размере 900 тысяч рублей. Отправил телеграмму императору, где писал, что городская дума и обездоленные бедняки умоляют оказать погорельцам монаршую милость бесплатным отпуском леса… и средств на постройку.

Но когда в июне приехал архиепископ Макарий, он первым делом поцеловал икону святителя Николая, а потом уговорил матушку Александру передать икону в Томскую консисторию.



Глава пятая

Исповедь маслянинского отшельника

Борис Евгеньевич покинул лечебницу в городе Владивостоке. Уехал в город Ново-Николаевск, а я ещё более пяти лет жил вдали от семьи. Война длится несколько месяцев, а фронтовики маются и страдают всю жизнь. Много лет прошло, а у меня в голове и поныне несмолкающий грохот выстрелов и стоны обречённых. И мои стоны от незаживающих ран.

Сердце разрывается, живы ли те, кто встречал меня на перроне, когда я возвращался из Владивостока домой?

Играл оркестр. В первом ряду встречающих горожан видел городского голову Владимира Жернакова, командира Сибирского резервного полка полковника Владимира Ляпина, купцов Николая Туркина, Фёдора и Павла Маштаковых, полицмейстера Висмана.

На здании вокзала висел транспарант с аршинными буквами: «Слава фельдфебелю русской армии Никите Огнёву!». Девчонка по имени Мария, забыл чья она родом, прочитала оду победителю. Меня от перрона до церкви пророка Даниила вели под руки врач Борис Евгеньевич Смирнов и батюшка Василий Посельский. Под ноги нам бросали цветы, многоголосно кричали «Ура». В храме была служба. Не мне она посвящалась – моим землякам, которые тысячами навечно остались лежать на чужбине.

Героем приехал в деревню Пенькову, четырьмя крестами венчанный, но не с победой.

Вернулся на родину и тихо радуюсь. В каждом доме про-

стор, одежонка у земляков хоть и самотканная, но хорошая; на каждого члена семьи тулуп. И я был убеждён: простор в душе, простор в доме, в поле, на пастбищах не давал повода к раздорам и неурядицам.

Вернулся домой и вижу: сын мой кузнечным делом в совершенстве овладел, пашню облагородил, покосы не извёл, дом обилием наполнил. Я за многие годы ратной службы отвык от кузницы, потерял былую сноровку. У сына моего Василия молот в руках играет, наковальня охает от его нескудеющей силы. Я брожу по усадьбе и думаю о том, какое бы зелье придумать, чтобы не открывались мои раны. И ещё заметил за собой: чем больше страдаю от ран, тем раздражительней становлюсь. Кто-то изнутри поднимает и на язык не благодарственные слова кладёт, которые заслуживают родители мои, жена моя и сын, а злобливые, неприятные. И будто потерял русскую речь, плавную и обильную на ласкательство, – вылетают изо рта моего вороний крик да звериное рычание.

Господи! Да не такой я на самом деле. Порчу что ль на меня кто напустил? Пелагеюшка украдкой отвернётся, всплакнёт от моих обидных слов, и вот ужо опять смотрит на меня с любовью; лицо ясное, светлое, милое, лишь глаза грустят. И друзей детства не узнаю. Невидимо хожу по деревне, молчу, яко колокол без языка. Не меня ли в прошлом орлом звали, не мне ли за храбрость кресты на грудь вешали? Язык молчит, а душа криком возвещает: изгнил ты, Никита, хоть и не стар ещё по годам. Зародилась во мне мысль отойти от мира, в стороне жить от семьи. Какой от меня прок? И как хозяин я слаб, и как муж некрепок. В пот бросает, когда подумаю, что Пелагея, привыкнув к моей слабости, не будет меня так уважать и любить, как сейчас. Хорошая она жена: и умна, и красива. Ныне ластится и угождает, лечит и кормит, но всё это может опостылеть ей. И начнёт она кочевряжить да из меня, больного, вожжи вить. Было ли, чтобы на русской бабе чёрт катался? Я и есть тот чёрт, только пока, чувствую, безрогий. Кто скажет: какие замки удержат бабу, если плоть её от жажды трепещет?

* * *

Четвёртого июля 1914 года горел золотом купол церкви Угодника и Чудотворца Николая, сияло солнышко. Как сторожевые, стояли кряжистые сосны и охраняли тропинку, которая, извиваясь среди многокрасья цветов, вела к храму. Савелий, правнук Силлы Кривощёка и Фатимы – дочери Тетемы из чатского рода Тарлавы, медленно поднимался на звонницу. Седая копна волос окружала голову, улыбка освещала лицо. Он всегда волновался и радовался, поднимаясь на звонницу.

Шумные миряне заполнили сад, окружающий храм. Многие, обдав себя крестным знамением, обтерев обутки о круглый цветной половик, входили в церковь. Староста церкви, толстый, с окладистой бородкой, красным угристым носом, Павел Ершов открыл настежь церковные ворота и калитку, дабы лишний раз не хлопали прихожане и не сдирали с резного железа краску, и, довольный наплывом людей, посматривал на дом благочинного.

Савелий взял в обе руки верёвки, глянул вниз, где из всей разноцветной толпы выделялась невеста белой лебёдушкой. Раскачал било большого колокола и дёрнул верёвку. И в тот же миг грохнул благовест, а следом заплясали концы от языков и откликнулись перезвоном серебряные звуки. Он радовался, что звонница висит в открытом проёме и звук не встречает преград. Звуки лились, ширились над всем Маслянинским полуостровом, летели над сосновым бором, перемахивали через гору Лягу, струились по ложбинам речек Шеманаихи, Барсучихи, Филимонихи. Величественный звон уходил вверх и вниз по реке Берди. И вот уже, глаголя своим звоном, долетел до деревень Чупино и Бажинска, Мамоново и Дятлово, Пайвино и Пеньково…

Сегодня будут венчаться Василий Огнёв и Варвара Щукина. Да, Василий Огнёв и Варвара Щукина!

Жених с невестой прогуливались в саду в окружении родных и близких с Егорьевского прииска, из деревень Ново-Лушниково и Пеньково, радовались солнышку, радовались будущему. Все ждали, когда появится благочинный отец Евгений, их пригласят в храм и начнётся одно из великолепных православных таинств – венчание.

Остановилась невеста Варвара возле могучей лиственницы, что своим ветвями касалась колокольни, подняла руки, чтобы поправить фату, в трёх шагах от себя увидела мужчину и засмотрелась. Это был сын благочинного отца Евгения – Борис. Одет он был в тёмный костюм, вроде смокинга, с шёлковыми отворотами на открытой белоснежной рубашке: крепко накрахмаленный стоячий воротник, подвязанный белым бантом галстука, охватывал шею. На голове аккуратно лежала голубая шёлковая шапочка, которая необыкновенно шла ему. Высокий, широкий в плечах, стройный Борис с удивлением уставился на невесту. Варвара глядела в его серые глаза и видела в них необычный блеск. Этот блеск для неё показался родным и близким.

Жених толкнул невесту в бок, и до Савелия на колокольне донеслись его слова:

– Стыдно! Руки-то опусти. – А повернувшись к Борису продолжил: – Нехорошо, сударь, так смотреть на чужую невесту…

Борис слегка поклонился и, отойдя от жениха с невестой, направился в храм.

Варвара, забыв поправить фату, с волнением в голосе спросила у жениха:

– Как его зовут?

– Ково это? – переспросил, поджав губы, Василий.

– Вон того, сероглазого…

Жених что-то со злостью произнёс и плюнул на землю.

Разлад был неминуем. Это поняли все. Но понятней всех было Аксинье Куликовой. Здесь, в этом церковном саду, она трижды ходила в фате и трижды, бросив жениху сорванный свадебный наряд, убегала прочь. Чего добилась? Не стали её сватать ровни. Пришёл черёд вдовцам. И обвенчалась она с Иудой Куликовым, который в два раза старше её и невзрачней любого жениха. Аксинья вклинилась между женихом и невестой, закрутила головой и что-то непонятное говорила и говорила, словно заведённый граммофон. Василий взял Варвару под руку, невеста чему-то улыбнулась, Аксинья всё продолжала говорить. Только одна фраза была понятна: «Когда же появится этот прелюбодей Евгений?»

Напраслина это на отца Евгения, напраслина.

В это время отец Евгений сидел в столовой своего дома напротив Михаила Кадыгробова и, наслаждаясь, пил чай с душистым земляничным вареньем. Матушка, Евдокия Порфирьевна по документам, а в миру все её звали матушкой Юлией сидела рядом с отцом Евгением. Высокого роста, плотный, красивый внешностью отец Евгений многим прихожанкам являлся во сне, бабы потом долго судачили об этом. Иногда доходили слухи до матушки, она всерьёз каждую сплетню не воспринимала. Правда, бывали случаи, когда матушка отчитывала дочь умершего священника Марию Сперанскую за её нерадивость. Но это бывало очень редко. Девица сорока трёх лет – Мария, своячениица псаломщика Копусова, занималась печением просфор ни много ни мало уже двадцать два года. Обаятельная «девица» с милым лицом и умными глазками была большой сказочницей. Охотно, мастерски умела рассказывать таинственные и страшные истории, в которых всегда действующими лицами являлись привидения, двойники или какая-нибудь нечистая сила.

Когда приехал в Маслянино благочинный, великолепный дом был отстроен, в подпол и погреб опущено всё необходимое на первый год. Миряне встречали благочинного с большой радостью, и каждый пытался протиснуться сквозь толпу и поцеловать у него руку, получить благословение. Приветствовали отца Евгения миряне из Легостаева, Медведска, Карасёва, Залесова. Всенощную они провели вместе с епископом Томским и Семипалатинским Макарием. В ту ночь впервые священник Яков, отец Марии, велел ей поставить квашню на просвирки, а к утру испечь. Через несколько дней в Томскую духовную консисторию пошло прошение, после чего она стала получать жалование семьдесят два рубля в год от прихожан, а после смерти отца ей добавили ещё двадцать рублей в год из епархиального попечительства как сироте.

Может, напрасно назвала Аксинья отца Евгения прелюбодеем? Да, матушка Юлия иногда отчитывала Марию. А за что? В сущности, за пустяки. Как-то в постный день 1907 года, когда церковь торжественно отмечала 1500 лет со дня преставления

святого Иоанна Златоуста, матушка велела служанке Марфе принести к чаю свежих просфор. Семья благочинного почти вся собралась за столом. Отсутствовал старший сын Борис. Он, вернувшись с русско-японской войны, жил в Ново-Николаевске.

Разломив одну просфору, матушка неожиданно вынула из неё горошину. Она побледнела, руки вздрогнули, отчего просфора чуть не упала, подняла на благочинного трепетные от волнения глаза и произнесла:

– Евгений Николаевич, вы только посмотрите, в просфоре горошина…

Благочинный поперхнулся, отставил подальше от себя стакан в золотом подстаканнике.

– Ах, Юлия, не обращайте на это внимания. Вы знаете, зерно мололи в Мамоново, там от природы… все шутники…

– Разве Мария не просеивала муку? Или она вчера вечером вам, благочинный, помогала просматривать ульи? – спросила матушка, уловив растерянность на лице мужа, а в интонации заискивание.

– Конечно, просеивала, я сам проверял. – Он запнулся, погладил младшую дочку Зою по головке и, взяв себя в руки, твёрдым голосом добавил: – Мария добросовестно выполняет своё дело.

– С каких пор благочинный стал проверять, просеяла ли муку просвирница? Опять за своё взялись! – Она зло посмотрела на мужа, швырнула разломленную просфору на стол, рывком поднялась: – Если у Марии – девицы появится сын от святого духа в образе протоиерея Евгения, я не удивлюсь. – Дети перестали есть и замерли. – Если я ещё раз услышу, что она сидела с вами в ходке, когда вы возвращались из лесу, я немедленно напишу его преосвященству епископу Макарию. Пред Богом клянусь, Евгений, напишу, как писала в молодые годы. – Она быстрой походкой пошла из столовой, но у порога остановилась: – Давно я вас не мыла в ба-не… – пропела Юлия Порфирьевна своим резким по тембру сопрано.

Спустя две недели, как отметили 1500-летие со дня представления святого Иоанна Златоуста, у отца Евгения состоялась непредвиденная беседа. Мария Сперанская, улучив момент, когда в алтаре был один благочинный, вошла и поспешно заговорила:

– Отец Евгений, беда случилась. Беременная я. Третий месяц в утробе чадо ношу. Подскажите, что делать?

– А от кого ты утробой потолстела?

– От вас. Вы только у меня любковый.

– Враки все это…

– Правда. Как от вашего усердия потеряла девичество, так только вы и были моим ворованным суженым.

– Давно мы с тобой, Мария, повязались плотской веригой, пошто раньше без осложнения было?

– Не ведаю, отец Евгений.

– То-то и оно, не ведаешь. И я не знаю. Не прячься больше на излучине, не приду. Покинь алтарь.

Дома Мария написала записку сестре Александре, жене псаломщика Дмитрия Копусова, истопила баню, надела холщевый сарафан, ситцевую блузу, повязала голову черной косыней, отобедала и пошла в хлев. Спустя малое время туда же вбежали Марфа и Савелий Дмитриевич. Они сняли с петли Марию, ввели в чувства.

Через три месяца благочинный получил предписание от Томской духовной консистории, в нем говорилось: «Мария Сперанская за покушение на самоубийство предана церковной епитимии на шесть лет под его благочинным наблюдением с тем, чтобы она во все воскресные и праздничные дни неукоснительно ходила в церковь на все богослужения и приносила чистосердечное раскаяние о грехе своем, во все посты исповедовалась, но к святым тайнам не приступала, кроме предсмертного случая. От печения просфор отстранить».

С получением промемории в доме бездетного псаломщика шел долгий и тайный совет. Кроме родственников, на совете присутствовала Марфа. Она и предложила сестрам покинуть село Маслянино и поселиться в Ново-Николаевске в доме матушки Александры. И чаду, рожденному Марией, при крещении в журнале написать родителями Дмитрия и Александру Копусовых.

Не любил благочинный вспоминать свою родословную, но генеалогическая таблица, расписанная на зернистой коже, ви-

села в кабинете на видном месте. И если посмотреть на самую верхнюю строчку, то узнаем, что пращур Смирновых – монах-казначей Рождественского монастыря Кузнецкого острога – Степан. И был он не только верен Господу Богу, но ещё и большой грешник по части женского тела. За именем монаха Степана в скобках взяты цифры 1656 – 1698, далее идёт женское имя – Христодула. Сорока двух лет от роду, монах Степан «ездил в деревню Бедаревку (рядом с Кузнецким острогом) проверять насельников, в лесу его поймали и избили так, что он приполз к монастырю и возле надвратной церкви отдал Богу душу». А у Христодулы – дочери оброчного крестьянина Кондратова – суразёнок тоже названный Степаном оказался дюже башковитым. В семнадцать лет выбился в псаломщики, в девятнадцать в дьяконы, но тут случился конфуз. Указом Тобольского архиепископа от 20 апреля 1717 года за №210 за несоблюдение предбрачных оглашений ему был объявлен строгий выговор. И он целых пятнадцать лет не был рукоположен во священники. Только 23 ноября 1732 года разрешено было «выговор не считать». Тогда-то он и был рукоположен во священники и направлен настоятелем в Сретенскую церковь Бердского острога.

Знал отец Евгений от отца Никодима, что в Сибири их род появился почти за сто лет до монаха Степана. В 1623 году, в Тобольск прибыл новый Сибирский воевода Юрий Яншевич Сулешев, выходец из Крымской орды. В его свите был боярин Иван Смирнов. Сулешев недолго пробыл в Сибири. Проявив незаурядные административные дарования – это он впервые организовал управленческий аппарат в Сибири, вернулся в Москву и возглавил Разбойный приказ. Надо же: главным судьёй России с 1628 по 1636 год (правда, с перерывами) был крымский татарин. Иван Смирнов остался в Сибири. Вот одним из Смирновых отпрысков и был монах Степан. Суразёнку Степану от монаха Степана и Христодулы фамилию дали, звания – нет.

Жили и знались родственники колыванского фабриканта боярина Смирнова с купцами Смирновыми из Томска, Барнаула, с выводками по всей Сибири – Смирновыми без боярства.

Почему родословная на зернистой коже начиналась не с

боярина Ивана Смирнова или ещё раньше, трудно судить. Возможно, что-то сомнительное было в этом устном пересказе.

В двадцать лет, будучи семинаристом, приехал Евгений в Колывань и по совету настоятеля Богоявленского храма отца Николая (Иволина) засватал дочь купца Порфирия Ляпина – Дусю.

В двадцать один год Евгений окончил курсы Томской духовной семинарии по второму разряду. Через год был рукоположен во священники в Введенскую церковь села Крахали. Помимо внешней красоты, новый священник зачаровывал прихожан своим голосом. Бас молодого священника покорял всех. Это был поистине русский бас, которыми всегда славилось наше Отечество. По вечерам Евгений выходил на берег Чауса и пел. Далеко разносился его голос, а ещё дальше слава. Был он не по годам начитан, обладал даром красноречия.

Евдокия Порфирьевна, высокая стройная брюнетка с несколько грубоватым суровым лицом, быстро превратилась в матушку Юлию. Но радости ей почётное звание не принесло. Закуролесил отец Евгений. Одну ночь проводил в Катково, другую в Буньково, и всегда неотложные дела: то отпеть, то елеосвятить. Матушка Юлия год безропотно провела в одиночестве. Но когда при крестинах молодые одиночки и вдовушки стали просить отца Евгения дать новорождённому имя Евгений, матушка Юлия подняла бунт и немедленно написала письмо в Томскую консисторию. Ответил член консистории кафедральный протоиерей Метисов: «Преподать священнику Смирнову пастырское увещевание».

Отправили священника Евгения в село Сузунское, переместили к Вознесенской церкви. И стал он в Сузуне законоучителем при двух школах: церковно-приходской и горного ведомства. Но энергичный, остроумный и жадный на любовные похождения (видно, это передаётся по наследству), Евгений и здесь «не потерял своего лица». Матушка не стала больше писать. В чистый четверг перед Пасхой рано утром, до солнышка, пошли они в баню. Через четверть часа выскочил священник из бани в чём мать родила и со страшным криком, пробежав

мимо оторопевшей служанки Марфы, ворвался в дом, запер за собой дверь на все три крючка.

Матушка вышла из бани, подождав, когда угомонится Евгений и придёт в себя служанка. Она появилась одетая, причёсанная. Важно и величаво подошла к окну и крикнула:

– Евгений Романович, вам пора одеваться и в храм Божий идти. Да не забудьте: «Спаси, Боже, люди твоя…» не глагольте. На Литургии вместо Херувимской песни да и во время причащения пойте: «Вечери Твоея тайные…».

Голый отец Евгений, сжавшись клубком, как плод во чреве, сидел на кровати, покачиваясь из стороны в сторону, и голосил на каком-то непонятном языке.

Спустя год после этого случая Юлия понесла и родила первенца, которого назвали Борисом. Остепенился отец Евгений. Наступила пора и Томской консистории по-другому взглянуть на него. Через год он был награждён набедренником*, через пять лет получил скуфью**, а ещё через пять камилавку***.

Да, отец Евгений любил то место, где сливаются две речки: Чик и Чаус. Да, он там пел, но не один.

На Троицу после литургии съезжались на подводах к тому месту крестьяне более трёх десятков деревень и сёл и хороводили всю ночь. Руководил всем праздником батюшка Евгений.

В тот день четвёртого июля четырнадцатого года колокольный звон заставил поторопиться благочинного, но прежде, чем покинуть дом, он предложил матушке пригласить вечером гостей по случаю приезда на отдых сына Бориса. Михаилу сказал: «Вы не возражаете, Михаил Павлович, если я вас устно приглашу на обед?» – «Нет», – ответил Кадыгробов. – «Тогда до

---

*Набедренник – четырёхугольный долгий плат, часть облачения протоиерея, за отличие.

**Скуфья – остроконечная бархатная чёрная или фиолетовая мягкая шапочка.

*** Камилавка – высокий цилиндрический головной убор, почётная награда православных священников.

вечера, – отец Евгений погладил Михаила по руке и посоветовал: – Поспешите в дом к дяде. Семён Емельянович с молодой матушкой все глаза просмотрели, ожидая вас. Освежитесь с дороги и приходите в храм. Рад буду видеть бунтаря в моём маленьком соборике».

Вблизи храма между отцом Евгением и сыном Борисом произошёл разговор:

– Отец, в саду я видел невесту, она мне очень понравилась. Найди причину, не венчай их, – попросил Борис.

– Ты что, сынок?! Не могу. По троекратному оглашению к сему браку никакого никем препятствия не объявлено. Красивая?

– Не знаю, красивая ли она, но мне кажется, я именно её всю жизнь искал, – ответил Борис.

– Не дури. Сегодня вечером у нас соберутся гости, присмотрись к Вере Высоцкой. Девица отменная.

Всё время, пока совершалось венчание, Борис стоял за деревянной колонной, смотрел на невесту и кроме лица её ничего не видел.

Перед тем как надеть невесте венец – негласный гул возник в храме, прихожане увидели необычное. Невеста нарушила порядок таинства брака – отвернулась от протоиерея и пристально стала кого-то искать глазами среди присутствующих. Вот глаза её обежали всех прихожан и остановились на сыне протоиерея, на Борисе. Взгляды встретились.

Жених одёрнул невесту.

Документ

«Обыск брачный,

Тысяча девятьсот четырнадцатого года июля четвёртого дня. По Указу его Императорского Величества, Томской Епархии Барнаульского уезда, благочинного Николаевской волости, Маслянинской Святителя и Чудотворца Николая

церкви священно-и-церковнослужители производили обыск о желающих вступить в брак, и оказалось следующее:

Жених. Крестьянин Томской губернии, Барнаульского уезда, Николаевской волости деревни Пеньково Василий Никитич Огнёв, православный, у исповеди и святого причастия бывает. Жительствует в деревне Пеньково.

Невеста. Крестьянская девица Томской губернии, Барнаульского уезда, Егорьевской волости, деревни Ново-Лушниково Варвара Ивановна Щукина, православная, у исповеди и святого причастия бывает. Жительствовала доныне в деревне Пеньково.

Возраст к супружеству имеют совершенный, а именно: жених двадцати двух лет, а невеста шестнадцати лет, и оба находятся в здравом уме. Родства между ними духовного или плотского родства и свойства, возбраняющего по установлению святой церкви брак, ничего нет.

Жених холост.

Невеста девица.

К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию. На это имеют жених возраст совершенный, а невеста дозволение и благословение своей бабушки Елены Михайловны Шипулиной.

По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви двадцать второго, двадцать четвёртого и двадцать девятого июня тысяча девятьсот четырнадцатого года, препятствия ко сему браку никакого никем не объявлено.

Для удостоверения беспрепятственного сего брака предоставляются письменные документы.

Посему бракосочетание означенных лиц предположено совершить в вышеупомянутой Маслянинской Святителя и Чудотворца Николая церкви сего 1914 года июля 4 дня, в узаконенное время, при посторонних свидетелях. Что всё показанное здесь о женихе и невесте справедливо, в том удостоверяют своей подписью как они сами, так и по каждому поручители, с тем, что, если что окажется ложным, то подписавшиеся повинны за то суду, по правилам церковным и по законам гражданским.

Жених – крестьянин Василий Никитич Огнёв, за него неграмотного и по его просьбе расписался Максим Бальва.

Невеста – крестьянская девица Варвара Ивановна Щукина, за неё неграмотную по её личной просьбе расписался Максим Бальва.

Поручители по жениху:

Крестьянин Томской губернии, Барнаульского уезда, Николаевской волости, деревни Пеньково Фёдор Петрович Кошаев, за него неграмотного и по его личной просьбе расписался Максим Бальва.

Крестьянин Томской губернии, Барнаульского уезда, Николаевской волости, деревни Пеньково Егор Яковлевич Ульянов, за него неграмотного и по его личной просьбе расписался Максим Бальва.

Поручители по невесте:

Старатель Томской губернии, Барнаульского уезда, Егорьевской волости и села Степан Константинович Петункин, за него, неграмотного по его личной просьбе и за себя расписался старатель Егорьевского прииска, Томской губернии, Барнаульского уезда Лазарь Борисович Вершинин.

Производили обыск: Благочинный Евгений Смирнов,

Дьякон Виктор Лавров».

Увлечение отца Максима живописью, по-видимому, идёт от пращура Иоанна. Он был ещё совсем мал, когда однажды матушка Александра привезла братьев в Томск, а владыка Макарий повёл их в Алексеевский монастырь, и, показывая иконы, говаривал: «Приложитесь, эта работа вашего пращура Иоанна Евдокимовича».

В духовной семинарии большую часть свободного времени Максим отдавал живописи. И когда семинарию навещал Макарий, тогда уже митрополит Московский, он говорил Максиму: «Я надеюсь, что иконы Иоанна Евдокимовича Бальвы отреставрирует Максим Никодимович Бальва». Да, Максим обновлял и реставрировал иконы в храме Николая ещё совсем юнцом. В шестом году на каникулах расписывал церковь Зоси-

ма и Савватея в селе Никоново, в девятом году – в селе Суенга Воскресенскую церковь. Но эту работу выполнял без особого вдохновения. Максим знал, что никогда не коснётся икон своего пращура Иоанна, ибо нет у него на это таланта.

Дома он попросил матушку Зинаиду не мешать ему. В своём кабинете поставил подрамник и начал рисовать земную красавицу. Но не в свадебном наряде, какой видел и запомнил Варвару, а среди созревающей ржи. Кисть раскрепощала Максима, и он, удивлённый, рисовал, благодарил Господа Бога, что тот невидимой рукой водит кисть по холсту, одевает Варвару в алое воздушное платье, распускает её волосы. На открытую шею красавицы Максим поместил золотую цепочку, но вместо крестика с распятием Христа нарисовал медальон и в нём крошечный портрет скуластого юноши с редкими золотистыми усами.

Зинаида открыла с улицы окно, просунула голову, внимательно посмотрела на портрет и покачала головой:

– Нарисовать-то Варвару время у тебя, Максимушка, нашлось, а на свадьбу поехать отказался. Поди, не чужие мы Варваре. Вот приедет матушка Александра, узнает твоё неуважительное отношение к Варваре, потаскает тебя за космы. И поделом будет…

– Завтра, завтра, дорогая моя, завтра поедем, а сейчас, пока я любуюсь своей работой, собирайся. Мы идём в гости к благочинному.

На обед к благочинному были приглашены волостной старшина Семён Емельянович Кадыгробов, худенький шестидесятилетний старик с продолговатой бородкой, его жена Елизавета Герасимовна, хохотушка, полная энергии и азарта. Племянник старосты Михаил. Он был недурён собой: открытый чистый лоб, вьющиеся тёмно-русые волосы, прекрасные голубые глаза. Правильные черты лица немного портил нос с горбинкой, зная это, Михаил старался, чтобы лицо его не рассматривалось в профиль – тогда весь лик его казался совершенным.

Среди гостей был волостной писарь Андрей Мартынович Высоцкий – сутулый сорокатрёхлетний мужчина с большим

шрамом на лице – от левого глаза до шеи – подарок японца в войне 1904 года; его жена Наталья, учительница школы Министерства внутренних дел, красивая блондинка, всегда весёлая, живая, энергичная – прямая противоположность мешковатому мужу.

В сторонке сидел священник Максим, в мыслях ещё блуждающий по холсту в поисках, где бы бросить последний мазок, чтобы образ Варвары оказался непревзойдённым шедевром.

Матушка Зинаида, как принято, находилась на кухне и помогала служанке Марфе. Здесь же был и Савелий Дмитриевич, украшал блюда.

Был и ещё один гость, незнакомый Борису и Михаилу. Благочинный познакомил их. Это был Александр Ананьевич Бердышев – лекарь маслянинской больницы. Борис равнодушно воспринял знакомство и не проявил никакого интереса к своему коллеге… Бердышев – молодой мужчина двадцати двух лет, уловив равнодушие к себе, сел возле Максима и проговорил: «Талант и слава портят человека».

Из большой столовой доносился запах жареного поросёнка, ухи из благородных рыб. На дворе было светло, а солнце уже катилось за гору Лягу. Его лучи преломлялись на богатом столе, уставленном золотой, серебряной и хрустальной посудой. Мужчины, словно на правительственном приёме, были в костюмах, при галстуках и бабочках, а дамы. Все, как на подбор, с высокими талиями и в нежных лёгких разноцветных шёлковых платьях, а венчал эту общую красоту большой букет живых цветов, что стоял по центру стола.

Обед был обильным и вкусным. Стол украшали французские вина, водка с яркими этикетками. В пузатом хрустальном графине искрилось под цвет янтаря вино, изготовленное самим отцом Евгением.

За столом Борис бросил взгляд на руки Бердышева. И от этого почувствовал себя неловко. Бердышев, видно не привычный обращаться с ножом и вилкой, с опаской притрагивался к некоторым блюдам и очень медлительно, осторожно ел, внимательно следя за движением своих рук, дабы не оказаться в смешном положении.

Когда мужчины уже собирались покинуть на время стол, чтобы пойти покурить, появилась дочь Высоцких Вера. На её молодом красивом лице сияла улыбка. Благочинный, наигранно возмущаясь, громко крикнул:

– Будь, Вера, вы мне невесткой, отшлёпал бы я вас за опоздание. А пока в наказание садитесь по правую руку от Бориса.

С появлением Веры разговор пошёл оживлённый и громкий. Больше всех говорил Михаил, часто поглядывая на Веру, желая не только внешностью, но и умом понравиться ей.

– Как в Бельгии, где мне пришлось прожить почти пять лет, так и во Франции говорят о возможности осложнений между Германией и Россией. Поездка Пуанкаре в Питер – дипломатия без итогов. Но главное, должен вам сказать, в воздухе пахнет революцией. Ширится стачечное движение. Баррикады, баррикады…

– Вы, Михаил, за революцию? – спросил отец Евгений.

– Да! И я не скрываю этого. Я являюсь с девятьсот пятого года членом социал-революционной партии…

– Но, Миша! – остановил его благочинный. – У вашего отца крупная мельница в городе Ново-Николаевске. Капитал… Всё исчезнет. И вам не придётся годами гулять в европейских столицах.

– Ну и что? Зато мы установим в России полное равенство, счастье для всех; человек в России будет жить по законам не лжи, а правды.

– Словеса, Миша. Четыре тысячи лет назад премудрый несравненный Хаммурапи уже на второй год своего правления зафиксировал его как год, в котором была установлена правда. В законах было записано, что все свободные подданные равны перед законом, привилегий нет. И тут же нормировали юридическую жизнь: «Если жена скажет мужу: ты мне не муж, то будет брошена в реку».

– Я плохо знаком с культурой Древнего Востока, – произнёс Михаил с такой интонацией, что многие, в том числе и благочинный, поняли его так: я хорошо всё знаю, но спорить, тем более с примерами из истории, не собираюсь.

Борис ужаснулся тому, что ему придётся проводить время, общаясь с этим другом детства: говорливым, хвастливым, беззаботным и легкомысленным Михаилом. Борис не понимал, зачем бравировать своей принадлежностью к какой-то партии, зачем показывать свои знания? Что они принесут среди этих людей? Восторг в глазах Веры, но и ей, видно, не по нутру уверенность Михаила в своём физическом и умственном превосходстве.

Служанка Марфа, разрумянившаяся от жаркой печи, в красивом цветном сарафане и белой кофточке, присела на корточки, по левую сторону от Бориса и, поглаживая ему руки шептала:

– Какой же ты стал красивый, Боренька. Помнишь, как я тебя отшлёпала, когда ты перевернул мне квашню?

– Помню, нянюля, помню. Мне тогда и от папы досталось.

– Буду жива, так ты, Боренька, возьми меня к себе. Я и твоих детишек научу славить. Не забыл: «Славите, славите, сами про то знаете, зачем пришёл…»

– Рано об этом, няня. Я ещё и невестой не обзавёлся.

– А ты Веру возьми. Сохнет она по тебе.

– Она курносая, – улыбаясь, ответил Борис и поцеловал Марфу в лоб.

Матушка Юлия, косо взглянула на Марфу и предложила:

– Марфуша, сходи на кухню, погляди, не пригорел ли пирог.

Матушка Юлия много лет с ревностью относилась к Марфе от того, что служанка с трёхлетнего возраста Бориса нашла с ним общий язык. Она удивлялась тому, что сын ни с отцом, ни с ней не делился своими душевными переживаниями, скрывал от них свои увлечения. Часто матушка гневалась, проходя мимо детской и вслушиваясь, с каким воодушевлением и радостью рассказывает сын служанке сон. Как ни пыталась матушка быть добрее и ласковее к сыну, он откликался тем же, но душу свою открывал только Марфе. Матушка знала, что Марфуша любит Бориса, возможно чуть больше чем она или меньше, но любовь эта искренняя, преданная. Матушка не помнила, когда бы Борис подошёл к ней, матери, и поцеловал. А вот Марфу, до пятидесяти лет девицу, и обнимал, и целовал, и всегда привозил ей самые дорогие подарки. Не будь Марфа расторопной, честной и доброй служанкой, – Юлия, хоть и привыкла к ней,

но бывали случаи, когда готова была предложить мужу купить для Марфы избёнку и отделить. За Борисом были Вера, Надежда, Николай, Владимир, Зоя – всех Марфа воспитала. Все дети разъехались. Для двоих матушка и сама приготовит и порядок в доме наведёт. Но ни разу матушка Юлия не говорила мужу о своих мыслях, наоборот, после всплеска ревности она была ещё более внимательна к служанке и часто вместе с Марфой делала работу по дому.

Борис несколько раз посмотрел в большие голубые глаза Веры; они глядели на него прямо, открыто, со столь особой привлекательностью, которая свойственна натурам непосредственным. Но Борис был далеко от Веры. Он вспомнил Варвару Щукину и Василия Огнёва. Почему за них, неграмотных, расписался Максим Бальва?

– Сколько крестьян учится в школе? – неожиданно спросил Борис у Веры.

– Каникулы, Борис Евгеньевич, каникулы…

– Ох, извините.

– В городе больных много. Да всё светские дамы, из-за них-то вы и времена года забыли, – играя глазами, произнесла Вера.

Борис кивнул головой, соглашаясь, и опять спросил:

– Когда школа работала, в ней крестьянские дети учились?

– Борис Евгеньевич, на этот вопрос может ответить вам моя мама. Когда я училась, со мной две зимы учился крестьянский сын Аристарх Артимихин из деревни Серебренниковой и ещё один из деревни Мамоновой – Михаил Сбоев.

– Для кого же работает школа?

– Для нас, Борис Евгеньевич.

– Это верно, – протянул Борис.

Борис прислушался к голосу Михаила. Тот высокопарно клялся, что отдаст свою жизнь во имя свободы народа. Вера украдкой поглядывала на Бориса, маялась от того, что не может придумать повод для дальнейшей беседы с ним.

– Ваш сын чем-то расстроен? – спросила Наталья матушку Юлию.

– Вы когда-нибудь, Ната, видели моего Бореньку другим?

– В школе он у меня был самым тихим и молчаливым маль-

чиком. Но прошло столько лет… Не думаете ли вы, моя дорогая, что ему пора жениться?

– Ната, я всё вижу. Я вижу, как переживает Вера. Но что я могу? Поговорите с Верой, пусть она посмелее будет с ним. Ведь ему уже тридцать.

Благочинный отец Евгений сел за рояль. Юлия Порфирьевна попросила Савелия Дмитриевича спеть. Он спел соло, а затем с Юлией спели дуэтом. Отец Евгений играл и, удивлённый, слушал. Голоса красиво сливались, и пением незаметно увлеклись все. После первой песни матушку и Савелия попросили спеть ещё. Песни будто передавали внутренний душевный крик, смятение, желание быть любимым или любимой. Они спели ещё две песни, но тут рояль начал барахлить. Благочинный, оттого что долго крепился, сдерживал себя, истощился терпением, бросил крышку. Борис подошёл к отцу, наклонился и проговорил в самое ухо:

– Если папа хочет, чтобы я никогда не появлялся в этом доме, он не будет играть. Но если Савелий Дмитриевич уйдёт, я в ту же минуту покину дом.

Никто не слышал, что говорил в самое ухо отцу Борис, но Савелий пошёл к выходу. Отец Евгений крикнул:

– Далеко это вы направились, Савелий Дмитриевич?

– Пойду к себе в сторожку. Как бы ребята не помяли цветы в саду, – ответил он.

– Павел Ершов остался. Чего ещё надо? Давай попоём, а Борис поиграет нам.

Юлия Порфирьевна взяла Савелия под руку и ласково подмигнула.

Савелий несколько смутился и потом уже пел без особого настроения и чуть спешил.

Отец Евгений махнул рукой:

– Марфуша, подавай поросят и хренку побольше.

Свою тридцатилетнюю жизнь Борис сумел прожить спокойно и безмятежно. Он ненавидел и старался избегать всяких драматических ситуаций. Он никогда не думал, что наступит

время, когда все его существо, все думы остановятся только на одном человеке. И этим человеком по воле судьбы будет чужая невеста, простая деревенская девушка. Впервые он почувствовал подлинную свою трагедию: понимал, что эти два случайных взгляда в саду храма и в храме – именно случайны, но они вывели его из равновесия, разорвали безмятежную его жизнь. Понимал, что изменить что-то из-за своего нерешительного характера он не сможет. Да разве только в нём дело? Имеет ли он право думать о ней? Он забыл, что находится среди гостей, полностью ушёл в себя. Вера стремилась развеселить его, подтолкнуть его к решительным действиям, её рука как бы случайно оказывалась на плече у Бориса, но всё было напрасно.

Он, извинившись, покинул гостей, ушёл в свою комнату и лёг на диван. Дверь приоткрылась. Тихий голос прошептал:

– Боренька, сынок, ты не спишь? – это был голос Марфы.

Борис поднялся с дивана и усадил её рядом.

– Боренька, мне надо с тобой поговорить.

– Я слушаю тебя, няня.

– Возьми меня к себе прислугой. Тут один купец из города Ново-Николаевска каким-то образом узнал мои мысли покинуть Маслянино… Уже приглашение прислал… и деньги…Я ведь не одна. Нас двое…

– Марфушенька, миленькая, пока не могу взять тебя к себе... Не имею я своего дома. Квартируюсь у купца.

– А что он за человек, этот купец? Откель про меня всё знает?

– Добрый. Порядочный. Весельчак, каких трудно найти. Открой секрет: кто второй?

– Господи, Боренька, ты о чём подумал?

– О любви.

– Любовь есть, только другая… Помнишь псаломщика Копусова?

– Помню и его жену Александру Владимировну.

– Нет её. Умерла. А ему семьдесят четыре года.

– Стар он для тебя.

– Да не о нем разговор. Дмитрий болен. До конца недели не протянет. Я уже ему навязалась в жены. Умрет он, а сынок останется со мной.

– Марфуша, какой сынок?

– Да семь лет назад Александра Владимировна родила сына. Окрестили именем святого Степана.

– Что за сказку ты мне рассказываешь? Няня, такого не бывает. Когда я уезжал учиться, ей уже было за сорок. И они были бездетными.

– А родила она в шестьдесят два.

– Не верю. Но твой замысел мне приятен. И будет так у нас с тобой: ты – его мама, я – его брат. На приглашение купца дай согласие. Оговори условие: ты в его доме временно.

– Боренька, сынок, хоть ты и приписал себя к неверующим, но Господь Бог есть. Он тебя любит.

Для Бориса наступила бессонная ночь. Под утро он вышел во двор и направился к церкви. Вспомнив детскую привычку открывать защёлку указательным пальцем, он просунул палец и замер от неожиданного видения. Деревянный храм, построенный в 1896 году по девятому проекту, с престолом Николая Чудотворца, осветился красным пламенем, а из сторожки дошёл до Бориса тихий, сливающийся с человеческим голосом колокольный звон:

– Го-су-да-рь мой, го-су-дарь.
Бо-ри-и-с, Бо-ри-с.
По-е-зжа-й-те, по-е-зжа-й-те.
К от-цу, от-цу, от-цу Василию.

Невесёлой была свадьба Василия Огнёва и Варвары Щукиной в первый день. Ох, невесёлой! И как ни старались бабы петь, а мужики отбивать пятки, невеста сидела темнее тучи, а с лица жениха не сходили красные пятна, что появились в саду храма.

Василий взял со стола полный стакан самогонки и поднёс к губам. Старуха Шипулина склонила в его сторону голову и тихо, что бы никто не слышал, прошепелявила:

– Не положено пить жениху в день свадьбы, не положено, сынок.

Так весь вечер и просидели чужими на своей свадьбе жених и невеста.

Когда гости разошлись, Пелагея проводила сына с невесткой в горницу, а сама вместе с Аксиньей Куликовой стала промывать посуду. Услышала она из горницы Варварин голос:

– Не трогай ты меня сегодня, Василёк. Тяжело у меня на душе. Тяжело…

– Так деревня на смех поднимет…

– Ты не бойся, я найдусь, что сказать…

– Дай хоть я тебя поцелую…

– Не надо… Жизнь ещё большая у нас… Нацелуемся, Васёк, и налюбуемся…

Спустя некоторое время Пелагея услышала, как скрипнули половицы возле кровати и глубокий вздох сына. «Знать, на пол лёг», – подумала она. И в страхе за завтрашний день прикусила угол платка, сжала веки, чтобы сбежали слёзы.

Варвара за всю ночь не сомкнула глаз. Она всё вспоминала и вспоминала сероглазого. Она поочерёдно то была в саду храма, то в храме, любуясь его горящими глазами. Она, вздыхая, говорила сама себе: «Как он мне люб! Надо бы узнать его имя, я бы в ближайшее время купила самую большую свечку и поставила в храме за его здравие».

Не спал всю ночь и Василий, понимая, что встреча с тем сероглазым барином настолько взволновала Варвару, что она равнодушна к своей судьбе, безразлична к нему. Василий задавал себе вопросы: кто он? Как его зовут? Откуда он появился в Маслянино?

Ещё солнце не выкатилось из-за горизонта, а жених с невестой услышали шаги, шумный стук в двери, громкие голоса.

Пелагея дважды подходила к дверям и дважды отступала назад.

Во дворе под раскидистой черёмухой на длинном сборном столе красовались в деревянных чашках солёные грибы, отварное мясо, квашеная капуста, студень, окрошка с хреном и первой зеленью, стояли несколько четвертей с мутноватой самогонкой. Гости сидели за столом.

– Что ж ты, Пелагея, нашему нутру не посочувствуешь, – начал Егор Ульянов. – Выводи молодых. Или сказывай, что не так…

– Всё так, всё так, гости дорогие! Погодьте, и мои родненькие появятся,. – И опять пошла в дом. Но она не успела взяться за ручку, двери сенок открылись, и на пороге появилась Варвара, а за ней Василий.

Гости поднялись и стали без стеснения осматривать невесту.

– Что это вы на меня уставились, как на ярмарке? – спросила Варвара.

– Так заведено не нами, – пропищала толстая старуха Суза.

– Спали мы хорошо. И муж мой хорош, и я ему досталась, как говорится, девицей. А простыню я велела не выносить. Моя это воля, и дело моего мужа рассматривать простынь. – Она взяла Василия под руку, подвела к столу, подняла два полных стакана: один подала Василию. – Отлегло у меня на душе, гости дорогие. Вчера всё маялась, что рано пошла под венец, что не судьба мне Василий, что не люб он мне. Вот и думала вчера за столом и ночь думала. – Варвара повернулась к Василию, при полной тишине и, глядя ему в глаза, предложила: – Давай, Васёк-муженёк, выпьем и поцелуемся. Я перед миром клянусь быть тебе верной женой, отцу твоему и матери – заботливой дочкой. – Она выпила, поцеловала Василия в губы, стукнула каблучком, размахнула руками и задорно вскрикнула: – И петь хочу, и плясать хочу.

– Не по правилам как-то… – произнёс пискляво дед Хиба.

Варвара подняла брови, слегка закусила нижнюю губу и шагнула к старику.

– Ты, дед, мне, в моём доме, не устанавливай правила. Блюсти девичью честь и быть верной мужу – это наше щукинское правило. А трясти мошной – это твоё, старик, кровное дело. Пришёл – пей и ешь, и чтобы я твои жёлтые зубы в разговоре больше не видела. – Она повела глазами на остальных гостей, осмотрела их и, сложив руки перед собой, спросила: – Так как? Будем пить или по домам разойдёмся?

– Вот это свадьба! – шепнула София Волкова Наталье Ташкиной.

– Глянь, как глаза сверкают у невесты, сожрёт старика, а?!

К Варваре подошёл высокий, стройный мужчина, с акку-

ратной густой бородкой, сделав низкий поклон, заговорил:

– Прости меня, Варвара Иванова дочь, возможно, что и не так скажу, не знаком я тебе, а зовут меня Тимофеем Ивановичем Андросовым. Знал я твою матушку и тятьку твоего знал. Царствие им небесное… Ездил я лет двадцать пять назад в Ново-Лушниково твою будущую мамку сватать, вот и бабушка твоя по матери подтвердит это. Отказала она мне. Поезжай, Тимоша, сказала она мне, к себе в Пеньково и не гоняй попусту лошадей. Есть у меня избранник. Не засватает он меня, в Барнаул, в женский монастырь пойду, но любви своей не изменю. Что-то не пойму я тебя, дочка. По любви ты идёшь, тогда не тумань деревню. По какой другой причине – тогда зачем зло на людей выносить. Я понимаю, ты росла среди старателей; они люди – не чета нам, многие и свет поглядели, и грамотные встречаются, и жизнь у них не похожа на нашу, крестьянскую. Но тебе жить с нами, Варварушка…

– Вот так, – пропищал Хиба.

Андросов просто посмотрел на него, и тот быстро спрятался за спиной старухи Сузы.

Мелкими шажками к Андросову подошла старуха Шипулина.

– Ох, Тимоша, и память у тебя. Спасибо, что добрым словом вспомнил мою дочку. А за внучку прости. На людях она чересчур горда, а дома милее и добрее нет на всём белом свете. Сам-то вон про любовь сказал. А зачем про неё говорить? Вон у тебя внуков сколько! Александр, Фёдор, Иван. Внучке Феклуше пятый годок пошел. Глядишь, скоро и правнуки появятся. А вспомнил кого? Мою дочку. Не любил, знать, ты свою синеглазую, старый чёрт. А мою внучку решил на люди вывести: признайся, Варварушка, по любви али по какой другой причине. Нет у неё другой причины и не будет. А о любви рано спрашивать. Тимоша, голубчик ты мой, я вот сто лет прожила, многих людей видела, разные они все. По-разному живут, по-своему любят. Сказала Варварушка своё жёсткое слово, так и будет. И в обиде вы или нет, не ждите, что вам вынесут грязную тряпку. У вас это по правилам, а у нас – срамное дело.

Василий выпил стакан самогонки, подмигнул своему другу Петровану Огнёву и вышел в круг.

Петрован рванул меха так, что старик Хиба с испуга присел. Гармонист заиграл плясовую.

Василий, разбрасывая руки, вертя головой, стал отбивать чечётку, а лицо сияло от радости и счастья.

– Внучка, ну покажи, как мы умеем. Да не забудь пяточкой его, пяточкой…

Варвара поняла бабушку. Отступая от Василия, который шёл к ней присядкой, застрочила каблучками, да так, что стаканы подзванивали ей. И тут дико закричал старик Хиба. Невеста каблучком угодила ему в лапоть – да ещё, ещё. Старик от боли сел на землю, свернул ноги калачом, гладил и подвывал пискляво, все остальные хохотали, взмахивая руками. Весёлый дух свадьбы с опозданием, но пришёл в дом Огнёвых. Но будем справедливы, среди гостей двое не участвовали в общем веселье. Это жена старика Хибы Суза и жена Никиты Палкина Гликерия. Суза говорила:

– Поверь мне, Глика, скрутит она Василия, да и Никита с Пелагеей лишний раз не ступят по половицам своего дома.

– Верно, подружка. Видишь, как она сказала твоему-то: ты, дед, в моём доме правил не устанавливай.

– Вот-вот. Ещё ни разу половицы не скоблила, а уже – мой дом.

– Ох, беда, беда… Поверь моему слову, пойдут старики по людям.

– Да уж, тут сомнений никаких, – согласилась с Гликерией Суза.

– Семён мне Волков сказывал, что видел, как рядом с поскотиной бегал здоровенный волк и её, Варвару, поджидал. Семён-то смотрит, а к поскотине Варька подошла, свистнула по-разбойничьи, и вот он, волк, возле неё. Дала она ему кусок хлеба, пощекотала под ухом и убежал он в Волчий увал.

– Брешет косоротый, – отрубила взмахом руки Суза.

– Брешет не брешет, а Сохфия подштанники полоскала после этого.

К обеду на свадьбу в Пеньково пожаловали священник Максим Бальва с матушкой Зинаидой и звонарь Савелий Кривощёк. Их тут же окружили старатели Егорьевского прииска Вершинин, Прокудин, Давыдов, Иванов с жёнами и усадили по центру стола, под черёмухой.

Аристарх Красавин пытался завести разговор с Вершининым, да тот не поддержал его.

– Что говорить, Аристарх, мы люди рабочие. Наше слово – дело, а дело сам знаешь какое. Золото не любит лишних разговоров, оно тускнеет от болтовни.

– Да уж, знамо. Мой батька не один золотник пропустил через пальцы свои.

– И о батьке не надо, – перебил его Вершинин. – Не будь он языкаст, глядишь, ты бы крупными делами воротил.

Гости обступили Савелия. Все знали – голос у Савелия получше, чем у самого протоиерея. Так оно и было. Только в голосе том на свадьбе у Василия и Варвары нет-нет, да и прорывались нотки затерянной тревоги. Савелий знал сына благочинного Бориса, и чувства, которые испытывал Борис, находясь в церкви в минуты венчания Василия и Варвары ему были хорошо известны. Он с тревогой смотрел на невесту. Её взгляд в церкви в сторону Бориса говорил о многом. «Ладно, мы с Юлией уже старые, – думал про себя Савелий, – а что же с ними, с молодыми будет? Как они пронесут эти чувства? Неужели и их ждут муки трепетной, но запретной любви?..»

…Подъезжая к деревне Пеньковой, спускаясь с горы Кокуй на мост через речку Укроп, Борис вспомнил фронтового друга Никиту Огнёва. Можно было его проведать, пообщаться, послушать, как бьётся сердце прославленного фельдфебеля, но дома ли он? Конечно, на свадьбе. Да, наверняка, Василий ему какой-то родственник. Как он рассказывал: полдеревни – однофамильцы, родственники Огнёвы. Борис хотел спросить у извозчика Аристарха Артемихина, где двор Никиты Евсеевича Огнёва, но передумал. «Плох всё же я как друг», – думал про

себя Борис. На войне в первый же день, как увидели друг друга, подружились, несмотря на разницу в годах, образование, статусы. Для всего Сибирского корпуса их фронтовая дружба была примером. А вот в мирных условиях забывать стали друг друга.

Уже более четырёх лет прошло, как вернулся Никита из Владивостока. Он, Борис, фронтовой друг, ни разу не пригласил к себе. Куда? Сам квартирует у купца. И всё равно, думал про себя Борис, вернусь в город и приглашу всех фронтовиков для медицинского осмотра.

Проезжая по мосту через речку Амбарку, Борис заснул. Видит сон: вместе с фронтовыми друзьями ворует невесту у скуластого жениха. Невеста бежит к нему, обнимает, целует. Появляется берёзовый колок, рядом изба, а на крыльце – Варвара. И слышит Борис голос:

– Аристарх Кузмич, кто это у тебя в ходке спит?

– Здравствуйте, Василий Алексеевич. Благословите. А везу я сынка благочинного.

– У благочинного три сына: Борис, Владимир, Николай. Какой из них?

– Старшенький. Заснул он крепко. Даже во сне губами шлёпал, разговаривал. Вот и остановился в вашем селе.

– Пока он крепко спит, поведай, о чём и о ком он вёл беседу?

– Батюшка Василий, разве можно…

– Мне, Аристарх Кузмич, всё можно.

– Он отца ругал, что супружескую жизнь разбил, разрушил…

– Подъезжай, Аристарх, к моему дому. Да тихо. Не разбуди!

…Борис открыл глаза и предложил:

– Батюшка, в ходке места хватит.

– Миленький, проснулся, – закричал отец Василий, залезая в ходок. Обнимая и целуя Бориса, скороговоркой говорил:

– Я рад, рад, сынок! А как Машенька обрадуется!

Возле дома легко спрыгнул с ходка и закричал на всю улицу:

– Машенька, готовь стол. Я поймал спасителя твоего.

Щупленькая, невысокого роста миловидная матушка Мария медленно вышла из сеношных дверей, сложила руки на груди, посмотрела в ходок, потом на Аристарха и грубовато скомандовала:

– Аристарх, поезжай домой. И не вздумай сказать Смирновым, что Борис у нас. Не хватало ещё, чтобы матушка Юлия и к нам приревновала своего сына.

Борис склонился перед матушкой. Осмотрел внимательно её лицо, глаза, приподнял руки. Оглядел каждый пальчик, приложил свои два пальчика к левой руке, ушёл в себя. С осторожностью обнял матушку и шепнул, не то спрашивая, не то утверждая:

– Совсем плохо, матушка?!

– Боренька, сынок, потом всё раскрою, пойдём в дом.

– Ты где был, Боренька? – спросила матушка Мария, расставляя приборы.

– В Маслянино.

– А на свадьбе был? – спросил отец Василий.

– На какой свадьбе? Я общался с мамой, Марфушенькой…

– Боренька, если Никита приглашал нас с Машенькой, то и тебя обязательно должен был…

Борис вскочил с лавки, схватил с тарелки пирог. Небрежно бросил на место. Приблизился к отцу Василию.

– Батюшка, а сына у Никиты как зовут?

– Ты что, не знал? Василием.

– А невеста – Варвара? – произнёс подземным голосом Борис и крикнул: – Матушка, наливай нам по фронтовой, по полной!

Он сел на лавку, прикрыл лицо ладонями: «Господи, за что ты меня ненавидишь? Ну, сомневаюсь я во многом. И что? За это надо казнить душу? Я худого слова о тебе никогда не говорил. Ну, молитвы не все знаю. Так вини в этом моего отца. Меня-то за что?»

Отец Василий встал из-за стола, прошёлся по столовой, опустился на колени перед Борисом.

– Сколько тебя знаю, сынок, таким ещё не видел. Что стряслось? Выкладывай! А ты, Машенька, следующую половинь, а сейчас по полной. По полной! Видишь, у Бореньки руки трясутся и серые глаза позеленели, как у Никиты.

Матушка разлила водку и подала мужикам в руки. Взяла свою.

– Васенька, а ты на меня голос не повышай. Я поняла, что творится в душе Бореньки, как только коснулась его щеки. Влюбился он. И крепко-крепко. И влюбился в Варвару по отцу Ивановну, в девичестве Щукину, а ныне уже Огнёву. Что ты, Боренька, будешь делать? В монастырь пойдёшь? Или у самого дорогого друга невестку украдёшь?

– В монастырь не пойду. Хватит! В нашем роду были монахи. Господи, что в жизни деется! Степан воровством обесчестил дочь крестьянина Кондрата Христодулу. Она родила суразёнка Степана. А вчера моя любимая няня Марфуша известила, что у меня появился братик Степан, которого она усыновила.

– Браво, браво! Не ходи, Боренька, в монастырь, – поднимаясь с колен, заговорил отец Василий.

– И воровать невестку у друга Никиты не буду. Разве нельзя на белом свете любить, не объединяясь?

– Можно! Много чад Господних так и живут, – размахивая руками, говорил отец Василий. – Пример: Савелий и твоя матушка… Но я бы не хотел, чтобы ты повторил судьбу Савелия. А с другой стороны, Савелию многие завидуют. Как мало наделяет своих чад Господь Бог бескорыстной, чистой любовью. Ты счастливчик, Боренька!

– Мужики, вы будете пить? – грубо спросила матушка Мария. – Я поднимаю стакан за своего спасителя и звезду любви, которая воссияла над тобой, сынок Боренька! Я всегда буду оберегать твою любовь. А ты, Василька? – и матушка Мария осушила стакан.

– Машенька, вот так всегда, за столом захватываешь первенство. Я должен был сказать это первым…

– Прости, Васенька. Ей-богу, больше не буду! – Матушка заплакала. – Боренька, у меня опять выкидыш случился. И все твои рекомендации выполняла, а не задерживается…

Мужики переглянулись, выпили. Матушка вытерла слёзы. Провела ладонью по лицу Бориса.

– Это случилось в тот день, когда мы собирались на свадьбу. А невеста тебя видела, Боренька?

– Да.

– И не потеряла рассудок? – улыбаясь, спросил батюшка.

– Нет, но у неё скатилась фата.

– Она в твои серые глаза смотрела? – спросила матушка.

– Смотрела.

– Всё ясно, – категорично пробаритонил батюшка.

– Что тебе ясно? – спросила матушка, разливая в стаканы водку.

– Поверь мне, Машенька. Я буду на Боренькиной свадьбе.

– Значит, меня Боренька не пригласит? Или ты, Васенька, к тому времени надо мной совершишь отпевальный обряд? Сейчас же раскрой свою душу. Поделись с нами, что надумал? Я как полковая сестра решу, в правильном ли направлении твои мысли. А Боренька как врач определит: не нанесут ли твои мысли вреда нашему здоровью.



Глава шестая

Исповедь маслянинского отшельника

После свадьбы сына стал мечтать об уединении. Собрал котомку, да и пошёл тайком в монастырь. Но по пути узнал, что опять супостат войной идёт на Россию. Подумал: сына моего на фронт отправят, а как же бабы? Невестка Варвара, дочь Ивана Гордеича Щукина, совсем к крестьянскому труду не привычна. Пелагея, как ни хороша душой и ни крепка телом, а мужское ярмо не потянет. Отец мой – Евсей Каллистратович – стар. Пусть и убог я, но что под силу, то буду творить. Да и волостная управа мне на хлеб-соль выделяет. Как мои фронтовые товарищи говорят: «За ратные наши дела, заслужили мы от царя-батюшки и слова гладкие и хлеба мягкие». Обрадовались возвращению моему без притворства. Уста жены и невестки как бы китайские лакомства источали, что я в Манчжурии отведывал. Как из неистощимого сосуда, получал я от них и внимание, и заботу. Видно, от ответственности: какой-никакой, хозяин в доме. Я почувствовал, телеса мои крепнут, раны затягиваются, душа блаженством наполняется, спокойным и ясным.

Через неделю как вернулся, радостью наполнился наш двор. Прибыл к нам в деревню обер-шталмейстер его Величества и передал мне от имени императора Николая Александровича трёхлетнего рысака серой масти. Я его назвал Счастливчиком. Но пристал ко мне Иван Иванович Шмаков со словами:*

*Обер-шталмейстер – придворный чиновник, ведавший царскими конюшнями.

«Никита, не обижай старосту. Пойди на обмен. Я тебе кобылу с двумя жеребятами и в придачу овса двадцать пудов. А ты мне своего Счасливчика. Только вообрази: из рюмки цесаревича пил. В постели, что он спал, я опочивал. И когда обучу рысака серьёзной манере ржанья командовать, по-солдатски маршировать, он мне такое счастье подвалит, что на ярмарках только и успевать буду из малахая монеты в мешок ссыпать. Не обделю и тебя, мой соколик самородистый».*

Пошёл я на обмен.

Через полгода Иван Шмаков выступал с жеребцом Счастливчиком по соседним сёлам и часто с Галиной Петровной приходил к нам в гости с приношениями из серебра.

Внучек, так сложилось в нашей жизни, что не повидал ты своего второго деда, отца Варвары. Жаль, отец твой, сын мой Василий, не найдёт времени рассказать тебе о его славных делах, да и мало он знает про Ивана Щукина. Варвара, мать твоя, постесняется правду раскрыть. И я мало, что о нём знаю.

* * *

Иван сел на каменистое дно шурфа: решил малость передохнуть. Задрал голову, и на глаза ему упали жидкие, тусклые лучи. Скоро лета конец. Скоро, видно, и конец его жизни. Старшее поколение Щукиных ещё в 1830 году было приписано к казённым работам на Егорьевском золотом прииске. Иван родился в тот год, когда все государевы крестьяне и заводские получили свободу. Сколько через руки Щукиных прошло золота! А дом пуст. Хранилась золотая пластинка, кленовый листочек, память о Степаниде Щукиной, но и её нет. Родная дочь Ивана, Варвара, продала Кадыгробову за бесценок ранней весной этого года, чтобы купить пороха и дроби.

Тоска о прошлой молодости, о любви, о щедрости наполняла Иванову грудь. Он никогда не мечтал быть кем-то другим, даже

---

* Малахай – треухая меховая шапка.

** Урка – рабочее задание.

хлеборобом. Ему никогда не хотелось бросить этот Салаирский край. Зачем? Вся жизнь деда Фомы Григорьевича, отца Гордея Фомича, его старшего брата Степана Гордеевича и вся его жизнь связаны с золотом. И все они, старшее поколение, отличались наблюдательностью, знанием приискательского дела, силой, смелостью, умом. И все они в своей жизни побывали коноводами – вожаками рабочих. Он тоже побывал. В них – в Щукиных – есть неизбывное чувство товарищества, постоянная готовность помочь в беде, стеной стать в защиту дружка или просто обижаемого человека. Ни один надсмотрщик не мог обидеть или обругать человека в присутствии Щуки – так уважительно звали всех Щукиных. А управляющие величали их по имени-отчеству.

Иван вспомнил, как дед его Фома Григорьевич рассказывал ему, что был в большом почёте у первого управляющего всеми Салаирскими приисками пристава – поручика Полетики, который жил в Егорьевске в их доме, пока не построили ему особняк.

Иван всегда хотел, чтобы руки его были сильными, тело не знало усталости. Так это и было. С годами появилась необычайная сноровка, руки стали настолько мощными и цепкими – попробуй вырви кайлу. Разработанные мышцы играючи перекатывались. Но почему только десять лет? Сейчас дышится всё тяжелее и тяжелее. Здесь, в шурфу, потеешь от усталости, в постели потеешь от слабости. Ещё совсем недавно ему не надоедало стучать кайлой, ломом, махать лопатой, наполняя бадью, крутиться, мотаться по шурфу, ежеминутно жить надеждой, – с этим камнем откроется пласт латунно-жёлтого цвета.

Да, было время, когда он мог один на горной речке устроить деревянные сплотки, установить золотопромышленное устройство. Землю мешками таскал из разреза на высокую гору. Ныне надежды нет. Безрадостной стороной повернулась судьба к Ивану Щукину. Вместо ладного лица – неприятная рожа, вместо соловьиного голоса – хрип и сипение.

Шарит Иван по каменистой стене, думает, где долбить и долбить камень, ковырять куски? Где золотая жила? Да и есть ли она? Не придумала ли Варвара хитростью отвлечь отца от

пьянки? Вспомнил, как ещё до свадьбы нашёл самородок в пять золотников. За бесценок – пятнадцать рублей – продал и рядом, на базарной площади Егорьевска в магазине Капитанова, оделся в плис, окутался крест-на-крест шалями, перевязался пёстрой лентой и пошёл с дружками по Егорьевску угощать всех вином, пряниками, орехами, засахаренными фруктами. Встречных молодых одаривал пёстрыми платками, кусками ситца, старухам вручал шали. Бабы пели песни, а последним куплетом славили: «Слава честному князю Ивану Гордеевичу!» Деньги прокутились, в дары ушли, а радость в душе недолго гостевала... Ушло время, когда за гривну можно было купить пуд хлеба, за тридцать копеек пуд мяса. Пришло времечко, ныне никто из барышников Ивану товара в долг не даёт. Зимой Капитанов словами под дых ударил: «Веры тебе нет, Иван Гордеевич, в расчётную книжку долги писать». Не дал ни гнилого, лежалого ситца на рубаху, ни кособоких бредней из перегорелой кожи. Не дал. Босяком дотянул до весны Щукин. И не Щукой теперь кликают его, а Несчастненьким.

Казалось бы, вот только вчера неслась по Егорьевску лихая тройка, вся убранная лентами, неистово звеня бубенцами, а в санях Евдокия Шипулина – невеста и он – Иван, жених. И поздравляли их на каждом перекрёстке.

Выплыла из памяти предрассветная зимняя ночь. Морозный воздух, приязненный, свойский, обжигал лица. Они возвращались из гостей.

– А его превосходительство хорошо танцует, – весёлым голосом произнесла Евдокия.

– Помню, помню, – заговорил Иван, глядя куда-то вдаль. – Если бы не отец его превосходительства, то была бы ты госпожой Ляпиной.

– Ваня, перестань. Ну кто в детские годы не увлекается!

– В детские?! – Иван горько усмехнулся. – Полковник выбрал для наряжения чусок тебя. Будто других дам в гостях и не существовало.

– Зачем ты так, Ваня? Он выбрал матушку Александру, а потом и меня… Я люблю тебя, дурачок мой ревнивый…

В 1898 году он нашёл самородок весом более двух фунтов. Первой мыслью было: продать самородок и купить чуски Евдокии. «Разве моя жена не достойна носить серьги, как императрица?» Две жемчужины купил в Барнауле (правда, несравнимы они с теми, что были вкраплены в чуски императрицы Никитой Огнёвым), два золотника рассыпного золота; не заезжая домой, свернул в Пеньково. Но не застал Иван Никиту Огнёва, служил он вдали, в самом Санкт-Петербурге. Изготовил серёжки барнаульский мастер Фёдор Колчанов.

Золота много, растительный узор богатый, а того таинственного, что Никита вложил в серьги для императрицы, не было. Евдокия любила чуски, но часто по простоте своей спрашивала: «Иванушка, а таких чусок, как Никита делал, не продавали?» – «Нет, милая, не продавали».

На закате года родила Евдокия дочь – Варварой нарекли. Евдокия радовалась: «Вань, сказывали мне в прошлом, что у господ правило есть: женские украшения по наследству оставлять. Мать – дочери. Вот и у меня есть, что передать дочке».

Евдокия за короткое время попыталась, будто знала, что скоро погибнет, наделить дочь всем тем, что освоила за тридцать пять лет жизни, передать часть своего очарования, вложить любовь в непревзойдённый по красоте Салаирский кряж, познать богатые лесные места, луга вблизи деревень Ново-Лушниковой, Тайлёнки и дальше.

Воскрес тёплый апрельский вечер. Гостевал Борис Вершинин. Сидел за столом, пил чай и медленно читал Ивану журнал «Вестник золотопромышленности и горного дела вообще за 1899 год». Щукин многому не верил, а после прочтённых Вершининым строк: «Ничего нет особенно исключительного в том, что неучёную Россию нужно учить… А раз так, необходимо обратиться к иностранцам с челобитной: «Приходите, княжите и володети нами», Иван крикнул:

– Не позволим!

Прошёл год, и Щукин устыдился своего выкрика. В акционерное общество «Драга» вошли иностранцы: Хейн, Кнорре, Жилль. Рядом с Егорьевским прииском появилась немецкая

фирма «Вогау». Прошло то время, когда эти прииски были Его Императорского Двора, а они – Щукины – заводскими рабочими. Ведь только малость стали жить, а кто-то при Дворе подсчитал, что Егорьевские золотые прииски невыгодно держать, расходов больше, чем прибыли. И пошли они в руки иностранцам: англичанам, немцам. Ковыряются, ковыряются день-деньской, долбят, долбят породу, зубами али лопатой роют; в машине али во рту промывают, а заработков вдвое сократилось. И не стали хозяйки подавать на стол шипящие блины и пряженцы на сковородах. Ходят по воскресеньям Иван с дочкой в центр Егорьевска, поглазеть на обилие лавок. Гнутся прилавки от лакомств, цена копейка да полкопейки, а карманы пусты. Наскребёт Иван несколько медяков, да купит Варваре бублик. Этим лакомством и заканчивался воскресный день.

Была Евдокия – домой стремился. Не стало её три года назад – шинкарка потянула. Трезвый и пьяный дико выл и стонал истошным голосом. Многое провыл. Раньше числился вожаком, хозяйским рабочим, был занят на богатых золотом разрезах и ортах, обрабатывал руду на толчеях и бегунах: промывал пески в бортах, отвалах. Почёт был, и деньги были. Часто управляющий Егорьевскими приисками полковник Ляпин Ивана с Евдокией в гости приглашали, советовались. А недавно полковник, не глядя в глаза Ивану, сказал:

– Щукин, много нареканий от надсмотрщика в вашу сторону. Идите в отрядные рабочие.

Понизил. Участок подрядчик дал рискованный. Золотом бедный. Можно бы, постаравшись, выполнить урку, а то и полторы, но после обеда в голове у Ивана не работа – шинкарка. Подрядчик через год освободился от Щукина. Пришлось ещё ниже на ступеньку спускаться – золотником работать. Копался на выработанных ещё дедом приисках. На свой страх иногда насмеливался разрабатывать борта, отвалы. Раза два ловила его горная стража, но, уважая за прошлое, только журила, однако всему приходит конец. И знаменитый некогда Иван Гордеевич был освобождён по ненадобности от всех заводских работ. Проще – стал летуном. Кто сочувствовал ему, кто жалел, кто

осуждал: «Как это в семье Щукиных родился такой слабак, что после смерти жены позорит весь свой род?» Когда он босиком шёл по улице, за спиной разносилось:

– Гляньте, не бывший ли вожак переплетает ногами. Богомерзкому винопитию продался.

Скоро опустел дом.

В 1911 году Егорьевские золотые прииски перешли в руки Российского золотопромышленного общества.

Полковник Ляпин пожаловал в дом Щукина. Крупский поставил на стол четверть водки, кусмень окорока, копчёную севрюгу и ушёл.

Иван, набычившись, спросил:

– Что, ваше превосходительство, пить будем?

– Будем, – отвечал полковник.

– По какой такой причине?

– Если ты, Иван Гордеевич, не помнишь причину, я помню. Сегодня три года по Евдокии.

– Я её, ваше превосходительство, ещё до восхода помянул. А с вами не желаю-с. Боюсь лишнего хряпну, и на подвиг потянет. С другой стороны, мне нечего бояться. Как мастеровой от всего я отстранён. Но всё же управляющего обязан почитать.

– Я уже не управляющий, Иван Гордеевич. Подал рапорт… С сегодняшнего дня в отставке.

Щукин поднялся, приблизился к полковнику, толкнул его кулаком в грудь.

– Ты что, ваше превосходительство, очумел? Да тебе ли об отставке просить? Не ты ли знаешь каждую пядь нашей Салаирской земли?! Я пропил себя, причину знаешь. А ты за что губишь себя? Мой дед Фома с твоим отцом в дружбе были, мой отец Гордей на твоих родинах водку пил. Мы с тобой, Владимир Васильевич, как бы побратимы, за одной курочкой бегали… Мне она досталась. А могла быть и твоей… Ты понимаешь, что рапортом своим сам себе заупокойную отслужил. Дурень ты, ваше превосходительство!

Полковник неумеючи начал отковыривать пробку четверти,

она крошилась. Он от злости схватил лучину и проткнул пробку в бутылку. Наливая в стаканы, попросил:

– Давай, Иван Гордеевич, молча выпьем за Евдокию Фёдоровну. Молча… Не рви мою душу…

Выпили. Ляпин продолжил:

– Много ты пропил событий, Иван Гордеевич. Год назад, как арендовало у Кабинета Егорьевские прииски Российское золотопромышленное общество, наступил всеобщий спад. Из-за отсутствия средств велели мне закрыть заводскую школу, заводскую лечебницу… А по весне я узнал, что общество продало акции, и наш Егорьевский прииск по самым низким ценам ушёл международному банку, связанному с обществом Гольдфильда. Я подал рапорт. Передал все дела по прииску управляющему первой категории Остер-Сакэну. Англичане – фактические владельцы Егорьевского прииска. Англичане… Две лучшие драги, Фомихинская и Тайлёнская разобраны и отправлены на Ленские прииски. Богатые золотом места приисков: Бирюлинский, Дражный, Звончиху, Козинский Брод, Матвеевский, Третья Елань, что я берёг, на запас держал, всё за год почистили. По отчёту записали, что получили чуть больше трёх пудов золота и столько же тайно увезли… Разливай, Иван Гордеевич, у тебя это лучше получается…

Несколько поколений Щукиных, горбатясь, наживали имущество, обустраивали и украшали хоромы, следили, чтобы для любого гостя был обильный стол и мягкая постель. Всё распродал, всё пропил Иван. Вот уже и ружьё Степаниды понёс, да остановила Ивана дочь.

– Не смей, тятька, ружьё продавать. Оно мне пригодится. Честь свою мне надоть защищать. А ты мне не помощник.

Остолбенел Иван. Мутными, пьяными глазами осмотрел дочь.

– Супротив отца идёшь!

Взвёл отец курок, поднял ствол на уровень груди дочери. Она ему в глаза смотрит, говорит:

– За мамку рассчитаться у тебя духу не хватило, а вот на дочь ствол наставил. Стреляй, тятька! Може, с этим выстрелом

у тебя бабки твоей Степаниды смелость взыграет. Или опомнишься, что позоришь не только Щукиных, но и Ивановых. При тебе, тятька, мама-старенькая Василиса передала ружьё мне и сказала: «Внучка, старатели всякие попадаются, так что ружьё тебе пригодится».

– Говоришь, опозорил Ивановых. А ведь, Варварушка, когда ты родилась, мы, две семьи, вновь сошлись. Неси ружьё в дом, а я пойду прощение просить.

– Тятька, куда пойдёшь? – Они два года назад от позора переехали в деревню Ново-Лушникову. Баба Наталья померла. Илья Потапович болен. Сын их – Александр Ильич – в бегах, политикой занялся. Вишь, тятька, сколько ты проспал событий в шинкарке своей! Вчера батюшку Максима из дома выгнал… Опомнись, я уже не маленькая. Не перестанешь пить, беда будет. Как старатели меня боятся, так и ты будешь бояться. Я за всех Щукиных и Ивановых тебя стращаю… На днях я выпросила у управляющего Сакена вблизи Валовской дачи, в пяти верстах от реки Суенги, на речке Крутишке каменистый целик. Мама-старенькая мне о нём говорила, а ей, Лукерье, Степанида намекала: в том целике, если сил хватит шахту пробить, то попадём на золотую жилу. Змейкой она должна спускаться к Суенге. Вольные по берегу Крутишки все камушки в песок перетёрли, а вот выше не поднимались… Рискнём, тятька, а то мне под венец не в чем пойти и приданого нет. Не обижайся: всё ты пропил.

Всю ночь горела душа у Ивана. Много раз поднимался с постели, ноги норовили за порог пойти, но видел, Варвара с полатей глядела на него, словно волчица. Ёжился от этого взгляда Иван и возвращался в постель. Спозаранок разбудила дочь Ивана.

– Поехали, тятька, счастье искать.

Пока Иван обустраивал шалаш возле одинокой берёзы, сбивал оковкой толстые клёпки, готовил запасные черенки для кайлы и лопат, Варвара ходила, отмеряя своими маленькими шажками от берёзы: то по прямым линиям в разные стороны, то кругами. Её причудливые узоры по каменистой поверхно-

сти плато, где чудом нашла себе почву для жизни берёза, были Ивану непонятны и таинственны.

Перед закатом солнца, чаёвничая возле костра, Варвара сказала:

– Нам отведён участок в сорок саженей вокруг берёзы. Мы будем копать шурф там, где я отвела круг.

В две пары рук крошили верхний слой камня. От Варвариных ударов кайла больше звенела, чем бухала, да и Иван в удивление входил; за годы пьянки мышцы, в прошлом твёрдые, как камень, куда-то исчезли, кожа на руках висела. За две недели, работая от зари до зари, они углубились не больше чем на пять локтей. За эти две недели успел побывать у них управляющий Сакен. Он о чём-то шептался с Варварой, а Ивану, прощаясь, проговорил:

– Щука, работай. Хорошо работай. Золото найдёшь, купишь себе синий жилет с золотыми разводами и серебряными пуговицами, – и жидко засмеялся.

Через месяц Иван ушёл в глубину так, что каменистые стены, ощерившись, сдавливали его. Скоро пришлось берёзовую бадью к верёвке привязывать, лошадку запрягать в работу.

Второй месяц прошёл в работе. Иван рыл, долбил, врезался в нутро шурфа, где всё плотнее и плотнее окутывал его мрак глухого подземелья. Весна кончилась, наступило лето. И вот, когда он уже был на глубине около пяти саженей, его грудь стянуло обручем невыносимой боли и горячая кровь подкатила к горлу. Он выплюнул, почувствовал, что новая волна крови сама хлынет – открыл рот. И действительно, сгустки выплеснулись, заливая руду. Он испугался. Перебросил ноги в бадью, дёрнул верёвку.

Вечером Иван побывал на приёме у лекаря. Ананий Бердышев приписал ему запарить в горшке цикорий, тысячелистник, смородиновый лист, шалфей, буквицу, медуницу, девясил, корень аира, чёртов объедок, можжевеловой ягоды и потом дышать через трубку.

И на следующий день Иван спустил ноги в бадью и махнул Варваре. Дочь повела коня к шурфу, Иван успел бросить взгляд на красоту и кряжистую берёзу. Скоро солнечный свет остался

с Варварой, с конём, сжулькался вверху у входа, и Иван отгородился от мира света. Маленький клочок неба плавал в высоте. Нутро шурфа черно, беспросветно, но Иван наощупь нашёл острозубый каменистый пласт, погладил его, отодвинул подальше бадью, и скоро кирка и лом обрушились на камень. Скрежет кирки и железного лома бодрили его, тусклые лучи подгоняли. К нему, Ивану, подкрадывался страх, а не в последний ли раз долбит он этот проклятый камень. Только подумал об этом, как кашель подступил и до невыносимой боли разорвал его грудь. Он бросил кирку, прислонился щекой к шершавой, влажной и прохладной каменной стене. Скорчившись, долго сидел; вот уже и холод обжёг его потное тело, и крохотная головка Варвары появилась высоко над ним, а он сидел и ждал, когда исчезнет ломота в висках, наступит облегчение в груди. Тихо, еле ощутимо острая боль прошла, обруч, сдавливающий грудь, ослаб. Иван слегка вздохнул, приподнялся. И вновь глухое подземелье огласилось ударами по камням, вначале немного слабыми, без напряжения, но вот обушок, словно горох, отскакивает от глыбы, на влажное дно шурфа сваливаются тяжёлые куски камня. Иван наполняет бадью, дёргает верёвку, берёзовая бадья пошла вверх, всё больше и больше закрывая свет. Тут он и решил малость передохнуть. Камень мешал Ивану сидеть. Он подсунул руку под себя, вынул камень и удивился его тяжести. Варвара опустила бадью. Иван сел в неё, дёрнул верёвку. Бадья пошла вверх навстречу свету, оставляя внизу холод и безмолвие.

Дочь помогла отцу выбраться из бадьи, повела к костру. Налила ему большую кружку навара, подала в руки. Он с жадностью, обжигаясь, выпил.

– Варварушка, не обижайся на отца. Я не верил тебе, что ты мне говорила про золотую жилу. Думал, что этой хитростью желаешь оторвать меня от шинкарки. Спасибо, дочка, оторвала. И всё же скажи: откель ты знала, что именно здесь проходит жила?

– Дорылся?!

– Камень в бадье.

Извлечённый из глубины шурфа камень был тяжёл, влажен. Варвара внимательно осмотрела его. Вдоль камня тонкой ниткой шла золотая прожилина.

– Пока ты, тятька, три года пил, я по лесу шастала, маменькиного убийцу искала. Нашла его. Попужала, поклялся он, что не убивал. Поверила я ему. А ещё указал он на это место. Убийца Кунгурцев не из простых – горным инженером у купца Радюкова служил…

Последние годы, пока Иван упивался вином, осрамлялся грехом и не ходил на причастия, Варвара жила в одиночестве, стесняясь общаться с подружками. Прошлое лето она ещё до зари, пока спал отец, распространяя запах перегара, брала ружьё, корзину и уходила в лес. То её видели вблизи Путановской заимки, то около Большой Веновской, а чаще всего она уходила за заимку Киноварь и плутала там иногда по двое, по трое суток. Часто она бывала и там, где с правой стороны в Суенгу впадает речка Крутишка, а на холме, в одиночестве, распустила листву крековистая берёза. Когда-то об этой берёзе рассказывала ей бабушка – мама-старенькая, потом вблизи этой берёзы была растерзана зверем её мать, но слух прошёл по Егорьевским приискам, что до того как набрёл на неё зверь, она была убита вольным старателем и называли конкретного человека – Павла Кунгурцева. Осенью прошлого года Варвара расширила территорию своих походов, всё дальше и дальше углублялась в дубраву Лесной дачи. Когда ей попадались лесорубы или вольные старатели, она отдыхала с ними у костра, наслаждаясь заваристым чаем, но стоило кому-то грубо выругаться или бросить на неё пожирающий взгляд, как она поднималась, брала в руки ружьё и говорила:

– Я ищу убийцу маменьки, Евдокии Щукиной. Вижу, среди вас такового нет. И не принуждайте меня по ошибке кокнуть одного из вас. Стыдно будет вам покрыться сырой землёй без молитвы.

Возвращаясь с Гычевской заимки, Варвара не пошла по прямой на Киноварь, а свернула к Крутишке. Давно, лет десять назад, когда ей исполнилось пять лет, они всей семьёй приезжали в эти места. Она собирала сушняк для костра, мать с отцом в устье Крутишки вручную промывали песок. Отдыхая, мать пела:

Пожирает в себя круты бережки,
Вымывает в себя жёлты, скатны пески,
По-под бережку несёт ветловой лес,
По струе несёт крековой лес,
Посередь несёт тело убитого.

Будто о своей будущей смерти пела мать.

Варвара поднялась по крутому склону речки Крутишки и совсем близко увидела берестовый шалаш, костёр, возле костра высокого жилистого Павла Кунгурцева. Он черпал из котелка кашу. Варвара сняла с плеча ружьё, легла за кустарник, прицелилась в Кунгурцева.

– Со свиданием, дядя Паша! Наелись, поди…

Кунгурцев бросил ложку, побежал к шалашу. Варвара выстрелила, но промазала. Он скрылся в шалаше.

– Ты лучше выходи на свежий воздух, базыга*. Я всё одно тебя за мамку укокошу. Выходи.

– Варька, не дури. Богом клянусь, не убивал я Евдокию, не убивал. Медведь на неё набросился.

– А как ты рядом с ней оказался?

– Так она с бабками по чернику ходила. Вот тут мимо меня прошли. Медведь как появился, бабки убежали, а мать-то твоя споткнулась, упала. И тут её медведь под себя…

– Почему же бабки не слышали и не видели медведя?

– От страху, видно.

– Выходи, дядя Паша, а то всю твою конуру продырявлю. – Варвара выстрелила в шалаш, перезарядила ружьё. – Дядя Паша, выходи, говори правду.

Лаз раздвинулся. Кунгурцев вышел с иконой в руках и упал на колени.

– Перед Божьей Матерью клянусь, не убивал я твою мамку. И не насильничал, как обо мне слух пустили. Трусость я проявил в тот день. Поутру вылез из балагана, а мать твоя с туеском на косогор поднимается. Знамо дело, запрещённым промыслом занимаюсь. Не хорошо. Увидит, передаст товаркам, и дойдёт

---

* Базыга – хрыч, глуздарь.

слух до начальства. Я в конуру возвратился и зарычал зверем. Она повернулась и побежала через речку Крутишку, вон туда, где малинник, – указал иконой Кунгурцев. – А из малинника поднимается во весь рост медведь и на неё пошёл. Мне бы пулю всадить в него, ружьё рядом. Струсил я. Он поймал голову матушки своей лапой и снёс всю кожу с косой. Я подпалил свою берлогу и убежал. Три года не был здесь. Думал, все забыли. Ан нет, ты всё меня искала… Варвара, отпусти меня, Христом Богом прошу! Никогда мои ноги не ступят на эту землю. А тебе, за прощение, говорю: по моим расчётам под стопами моими золотая жила, глубиной саженей пять, чуть более. Отпусти. Пятерых сиротами оставишь…

– Варварушка, а не застукает он нас? Много дум и времени потратил на будущее богатство.

– Нет, тятька, он в таком страхе из этих мест бежал, что я боялась, как бы сердечко его трусливое не разорвалось. А торопиться нам надо. Этот участок Остен Сакена. Он мне продал его до Воздвижения Креста Господнего. Прорубайся вправо.

Иван работал яростно, ожесточённо. И не замечал тесный склеп. Для него ничего, кроме этого латунно-жёлтого пласта, не было вокруг. Он киркой и ломиком врубался в северном направлении, осторожно клал в бадью камни и так же осторожно дёргал верёвку, будто дёрни он сильнее – и рядом с его шахтой окажется Сакен. Он понимал, там, наверху, Варвара устала, пора обедать, но он всё врезался, давая себе самые маленькие паузы на отдых. Ещё не успевала бадья открыть небо, а он механически уже бросал в неё камни.

Пока Иван рыл, долбил – прислушивался, не подошёл ли кто к Варваре и не смотрит ли на руду, Варвара успевала каждую бадью пересортировать. Одни камни складывала в мешок, а другие отбрасывала от шурфа. С сумерками запрягали лошадь, складывали мешки в телегу и ехали в глубь Валовской лесной дачи. Там мешки переносили через ручеёк, разводили костёр и вновь сортировали камни и камушки. Одни ссыпали в заранее выкопанный колодец, а другие в холщовом мешке везли с собой.

Отец с дочкой и до этого не отличались разговорчивостью,

а тут, казалось, совсем разучились общаться. Понимали, что нарубленных камней с латунно-жёлтыми прожилинами, прослойками, ниточками достаточно на их жизнь, но ни всплеска радости, ни уверенности в безбедности не было в их сердцах и на их лицах.

Однажды, когда камни, вынутые из бадьи, оказались покрытыми сгустками крови, Варвара сказала:

– Всё, тятька, больше я тебя в шурф спускать не буду.

– Но ведь Сакену достанется! В Англию увезут! – проговорил, кашляя, Иван.

– Бог с ним. Пусть везут.

В Егорьевской больнице «дохтур» Ананий Бердышев, старичок, который родился в один год с дедом Щукина, очень спокойно посоветовал:

– Ты, Иван Гордеевич, приготовил бы себе смертное. То, что чахотка тебя доконала, полжизни отняла – это так. Но мне моча твоя не нравится. Погляди, она чёрная и отруби плавают.

С того дня непонятно кто наговаривал Ивану Щукину, склоняя его к страшному греху: призывал не ждать деньков, отведённых Господом Богом, прервать жизнь самостоятельно. За дочь Иван радовался: в любое время может сдать нужное количество золота, купить себе приданое, подвенечный наряд. Нарожает детей, а когда нужда приспичит, поедет в укромный уголок мелколесья, отбросит кучей наваленный сушняк, приподнимет пласт дёрна – и вот они, камушки, сверкают золотыми прожилками.

Подталкивала его к самоубийству и последняя встреча с сыном Ильи Потаповича Иванова Александром.

В мае тринадцатого года приехал из Москвы домой в сане священника Максим Бальва. Приехал не один, с женой, матушкой Зинаидой. Перед отъездом из Москвы получил он от матушки Александры письмо. Среди прочего просила она купить лекарства от чахотки для Ивана Гордеевича Щукина.

Прибыла новая чета Бальв в Маслянино, занесли вещи, облобызались, чайку наскоро попили. Отдохнуть бы с дороги, да матушка Александра приказывает отцу Максиму отправляться

в Ново-Лушниково, торопит отвезти лекарство Ивану Щукину.

Прибыл отец Максим в Егорьевск, порадовался красоте Варвары, дочери Ивана Гордеевича, да недолго. Отправил её отец в деревню Ново-Лушникову, в дом Ивановых, с каким-то поручением. Подумал отец Максим: «Пока светло, пройдусь по мирянам, пообщаюсь, ведь почти восемь лет прожил в Москве, мало встречался с простым людом; книги да учителя окружали».

Многому порадовался, многое огорчило. Из всех, с кем встречался, с кем беседовал, были и такие, которые не пожелали получить благословение. Вернулся в дом Щукиных.

Иван Гордеевич поставил на стол миску с кашей, ложки разложил и крикнул:

– Александр, выходи, не таись. Это Максим Никодимович пришёл. Давайте трапезничать.

Пока отец Максим с Иваном Гордеевичем помолились перед едой, Александр Ильич уплёл чуть не половину миски. Запил ковшом воды и, не обращая внимания на мужиков, торопливо говорил хрипловатым голосом:

– Ты хоть понимаешь, Иван, что делают с Россией? С нашей Россией. Англичанин Мур владеет золотыми приисками «Тарли», «Гадис», «Бэби» по реке Кие. Предприниматель Пайкер, как волк, рыскает по всей Сибири, скупает золотосодержащие участки. Только за двенадцатый год он подал двадцать пять заявлений с просьбой об отводе ему золотоносных местностей. Англичанин Беккет приобрёл в аренду залежи меди в Шушенском лесничестве и в Аскызской управе. Англичанину Стосард-Сайксу уже принадлежат в Красноярском округе Александро-Невский, Лидие-Александровский, Серафимовский золотые прииски. Золотые рудники «Новак», «Подходящий» находятся во владении Гонея и Банга. Наше золото, Иван, наше идёт прибылью в другие страны, – вдруг прервал он себя с досадой. – Новониколаевский купец Радюков до недавних времён владел четырьмя приисками: Александровским, Алексеевским, Николаевским и Петровским. Кто сейчас там моет золото? Наши русские золотодобытчики, а владеет всем Миллер. – Александр тяжко вздохнул. – Новониколаевский купец Второв продал не-

сколько золотых приисков: «Невский», «Пихтовский», «Тиндинский». Кому? Иностранцам!

Там, где в тычяча семисотом году правнук Ивана Щукина Олешка Щукин с дочкой Олёной на речке Кондоме робили на монастырской мельнице, а вблизи деревни Бессоновой выращивали хлеб, прошло два столетия, и река Кондома с 1893 по 1911 годы дала 120 пудов золота!

Ещё совсем недавно в нашем Алтайском Горном Округе добывали в год по сто пудов и более золота. Вот, отец Максим может подтвердить! – махнул рукой в сторону Бальвы. – В тот год, когда его батюшку отца Никодима отправили первый раз на новый Александровский приход, а это было в девяносто третьем году, золота добыли сто четыре пуда. В прошлом, двенадцатом году – только сорок один пуд. Ты сам свидетель: золота у нас не убавилось. Его добывают не меньше, но оно идёт неучтённое за границу. При твоём отце Гордее Фомиче по речке Суенге было всего два золотоприиска, а добывали золота по три пуда с лихвой. Сейчас Концессия Российского золотопромышленного общества добывает золото по речкам Суенге, Берди, Матвеевой, Ур, Косьме и другим, а в ежегодных отчётах неизменная цифра – три пуда. – Он горько усмехнулся. – Вокруг тебя, куда ни ступишь – золотоприиск. Вон их сколько: Бирюлинский, Больше-Тайлёнский, Верхне-Тайлёнский, Верхне-Петровский, Третья Елань, Звончиха, Козинский Брод, Драждный, Лытанский, Матвеевский, Нижне-Фомихинский, Двенадцатый Лог, и почти каждый второй уже принадлежит иностранцам. Пройдут годы. Наши внуки винить будут не только власть, а и нас, старателей. Спросят, что вы сделали, чтобы не грабили нашу Российскую землю, не эксплуатировали нас ради привольной жизни англичан, американцев и прочих? – схватил кружку со стола, глотнул остывший чай. – Так что, Иван Гордеич, твоя радость, что тобой открыта золотая жила, возможно небывалая, уйдёт за океан, а тебе, как и твоему деду, Фоме девяносто лет назад, вручат тридцать два рубля и прикажут покинуть эту землю.

– Посоветуй, Александр, что я должен предпринять?

– Засыпь, заровняй…

– Это не так просто. Участком владеет Остен Сакэн. Я засыплю, другие откопают.

– Я не специалист по добыче золота и конкретно тебе ничего не могу предложить. Думай сам, посоветуйся с Вершининым, Петункиным.

– Сакэн не новичок. Он до нас работал в Новой Зеландии, в Австралии. У него, кроме опыта, есть и чутьё. Не зря он имеет свидетельство управляющего первого класса.

Иванов резко склонился к столу.

– Быстро, Иван, прячь меня. К тебе – нежданный гость.

Щукин открыл голбец, Александр Ильич опустился в подпол.

Когда Иван Гордеевич вышел во двор, увидел, как похозяйски в открытые ворота вёл за узду лошадь кучер Егорьевского прииска Аристарх Артемихин.

– Я тут, Иван Гордеевич, без вас покомандовал, – проговорил Аристарх, – подбросьте овса лошадям и в дом возвращайтесь, дело срочное есть.

В доме Аристарх вежливо, с улыбкой кивнул отцу Максиму, осмотрел стол, глянул на полати.

– Чаёвничали-то не одни, – утвердительно произнёс Аристарх. – Вам ли, отец Максим, с политическими возиться? Видно, напрасно вас матушка Александра в столицах учила. Ну, да, вам, пастырям, виднее.

Вбежал Иван Гордеевич, с порога крикнул:

– Что у тебя, Аристарх, за дело такое срочное? И чем это ты подкупил мою собаку, что она в любое время тебя пропускает во двор?

– Собака ваша умная, Иван Гордеевич. Умные – как человек, так и животные – не покупаются. Благочинному пришла бумага. Велено ему через прихожан узнать, не прячется ли где в Николаевской волости политический. Там сказано, что бежал он с Кольчугинской тюрьмы. Зовут его Александр Ильич Иванов. И ещё одну бумагу привёз благочинному. Барнаульское сыскное бюро сообщает, что Иванов может появиться в селе Егорьевске. Лошади у меня, Иван Гордеевич, добрые. Куда пожелаете, туда и отвезу Александра Ильича…

– Мы и слыхать о нём не слыхивали, – зло проговорил Иван Гордеевич.

– Не теряйте время, мужики, я вон по миске вижу: двое ели, как баловались, а третий уплетал…

– Я уж тебя знаю, Аристарх, заломишь такую деньгу, что мы всю жизнь в кабале у тебя будем, – проговорил Иван.

– И тут осечка, Иван Гордеевич, ни копейки не возьму. Обиду я заимел на благочинного. И вам, отец Максим, – повернулся он в его строну, – хочу сказать. Сорок лет гонял до меня ямщину отец Кузьма Артемихин. Знал вашего прадеда, отца Владимира, деда, отца Каллиника, вашего отца Никодима, и никто из них с жандармерией да полицией дел не имел. Своим пастырским званием дорожили, соглядатаями не были…

Долго у отца Максима в ушах звучали слова Аристарха: «Соглядатаями не были…»

Документ

«МВД
заведующему политической частью
г. Новониколаевска.

Во исполнение отношения от 23 марта с/г № 221 уведомляю, что жительство Александра Ильича Иванова по самым тщательным розыскам в Маслянинской волости не обнаружено и прописанным в полиции не оказался.

Благочинный Е. Смирнов».

Спустя несколько дней пошёл слух по Егорьевску, будто бы на речке Тайлёнке, где Иван Щукин шурф пробивает, завелась нечистая сила. И грозит эта нечистая сила каждому, кто близко приблизится к Щукинскому шурфу костлявой смертью. И будто бы Щукин похудел, пожелтел и кровью кашляет. И ведь придумали, что будто Максим Бальва дважды там молебен совершал, нечистая сила от креста не уходит. На время службы исчезает, потом вновь с огненной косой всё сечёт и сечёт…

Зародилось у отца Максима предчувствие, помнил он тот разговор Александра Ильича с Иваном Гордеевичем. Не выдержал, заполночь отправился в Егорьевск.

Подъехал рано утром к дому Щукиных, смотрит, Варвара двор прибирает. Крикнул с ходка:

– Где отец?

– На охоту пошёл с Егоркой Петункиным. К шурфу нашему. На зайцев, – ответила она.

– Ты почему его больного отпустила?

– Тятя велел.

– Тятя, тятя, – прокричал отец Максим. – А у тебя ума нет… Эх… Но… Пошёл…

Он погнал лошадь в сторону Тайлёнки. Следом за ним побежала Варвара.

На скате, среди кривульного лесочка, стояла кряжистая ветвистая берёза, а чуть правее её холм камней и лошадка с поникшей головой. Отец Максим подъехал к лошадке. Спрыгнул с ходка и замер от жалобного, осипшего голоса:

– Дя-дя Ва-ня, дя-дя Ва-ня.

Мальчонка Егорка, сын Петункиных, лежал на камнях, головой в сторону копани и взывал.

– Варвара, гони лошадь. Бадью наверх! – приказал отец Максим.

Варвара ошалело бросилась к шурфу, потом к лошади. Схватила её за узду.

В проёме появилась бадья. Отец Максим подвернул подрясник, прыгнул в неё и прокричал:

– Давай. Спускай!

На дне, на камнях увидел в неестественной позе Ивана Гордеевича и большую лужу крови.

– Эх, Иван Гордеевич, Иван Гордеевич, что же ты наделал, – в сердцах проговорил отец Максим.

Опустив голову в шурф, Варвара завопила:

– Что с тятей, что с тятей? Отец Максим, что с тятей?

Отец Максим с трудом приподнял Ивана Гордеевича, перевалил его в бадью, сам встал на обод, держась за канат.

– Варвара, – крикнул он, – поднимай бадью. Осторожно поднимай, нас в ней двое.

Видел отец Максим над копанью голову Варвары, бадья по-

тихоньку поднималась. Конь, склонив голову, сам шёл к метке. Они вытащили тело Ивана Гордеевича из бадьи. Отец Максим приложил ухо к его груди, надеясь услышать хоть какой-нибудь вздох. Конь, подняв голову, заржал с переливами.

И хотя отец Максим был уверен, что Иван Гордеевич сам бросился в шурф вниз головой, он совершил над ним молитву, а всех заверил, что Иван Гордеевич неловко ступил на мокрый от дождя камень и упал.

На третий день по настоянию Варвары гроб с телом Ивана Гордеевича опустили в шурф и до сумерек закапывали землёй да камнем. И поставили на могиле крест.



Глава седьмая

Исповедь маслянинского отшельника

Внучек, провели свадьбу. Твой будущий папка, а мой сын Василий ввёл в наш дом нового человека. Господи, как ты мог допустить такое венчание?! Прошёл месяц, а несоглядаемая тайна витает над деревней: как могла небесная красавица дать согласие быть женой непригожего, курносого, скуластого Васьки Огнёва?*

В расстроенных чувствах промолчал всё время свадьбы. Сухо, по-солдатски поздравил молодожёнов и ушёл в себя. Иван Шмаков всячески старался развеселить меня. Всё спрашивал и спрашивал, что со мной творится.

– Ваня, ты не был на фронте, ты не знаешь, как терять за какие-то минуты одного, двух друзей. А те, кто остались живыми, они не друзья – братья. Я в обиде. Всем своим фронтовым друзьям послал приглашения на свадьбу сына. И ни один не приехал. Что стало с полковым врачом Борисом? Не могу поверить, что он забыл нашу дружбу. Болезнь? Он дважды был ранен. Но мог же написать! Не приехал из деревни Боровлянки Вассинской волости Василий Сиротин. Наводящий – богом одарённый. Не дождался и Иннокентия Юдина из деревни Мамлюдки. Иван Князев! Ванька! Я ж его, друга любезного, из воронки, из земли выкопал, отнёс в лазарет. Ладно, они живут далеко, в ста верстах и более от нас. Но наш полковой писарь Андрюшка Высоцкий живёт рядом, в Маслянино!

* Несоглядаемая тайна – тайна, которую нельзя узнать.

Я взял кринку самогонки, кусок говядины, краюху хлеба и пошёл в кузню. Шмаков плёлся за мной.

– Никита Евсеич, я сбегаю домой. У моей Галины в навозной грядке огурчики в твой большой палец вытянулись. И твои любимые пирожки имеются.

Я остановился.

– Ванюшка, что, на свадебном столе огурцов нет или пирогов?

– А пошто взял только говядину?

– Военную закусь вспомнил, Ваня!

Не прошло и недели после свадьбы, пожаловали ко мне крестьяне из села Елбани. В слезах, принесли горькую весть: мой пушкарь Иван Макушин умер. Он не коренной сибиряк. Его отец прибыл из Пензы на пятый год после отмены крепостного права. Его приняли в крестьянское общество, нарезали землю для пашни, отвели сенокосы, отмеряли деляну леса. Трудолюбивая семья поставила двухъярусный дом, кирпичную лавку. Иван уходил на японскую войну холостяком. Отцу каждую неделю писал письма. И мне читал. То просил отца, чтобы покрыл дом железом, то чтобы телеги и сани сделал на полужелезном ходу, то чтобы отец приобрёл кошеву, обитую железом, крашеную и с верхом.

Иван рисковал жизнью, проявлял героизм. И в то же время всё хорошее, что видел в Китае, предлагал отцу творить в Елбани.

Знал я, что Иван три года назад женился, и его жена Екатерина родила ему двух дочерей: Татьяну и Таисью. Знал, что жены нет. Умерла. Вот и его нет. А я его предупреждал, когда он лежал в госпитале во Владивостоке: не ходи быстро, не прыгай, не серчай. Пуля в мешочке лежит возле сердца, пусть лежит. Видно, смерть жены взволновала не только сердце, а и японскую пулю.

Похоронили Ивана.

На следующий день собрали сходку крестьян. Староста Горбунов предложил немедля выбрать опекунов для дочерей Ивана. Предположили отдать сестре Ивана Арине Дормидонтовне. Многие возразили: стара. Намекнули, что племянник Ивана Савелий Дмитриевич молод. Все хором воспротивились. Нет

устойчивого положения в обществе. От своего богатства отрёкся. Всех перебрали. Один не подходит – жаден, другой не чуток к детям, третий с ленцой, четвёртый балаболит много… Остановились на старосте Павле Горбунове. Как ни возражал он, мир велел.

Смотрел на невестку – славная краля. Глаза сияли, как васильки, волосы отливали Егорьевским золотом. Присматривался к её делам. Удивлялся: легка на подъём, ни одного лишнего движения. Без поспешности успевала всё и по дому, и в огороде. Заметил её почтительное отношение к людям. Нежная к нам, старикам. Меня баловала. Каждый день находила время приготовить супчик и всегда необычный.

Любил наблюдать, когда она варила молочный суп с луком. Нарезала мелкими ломтиками лук, поджаривала его в масле, опускала в варёное молоко, а уж в конце бросала туда поджаренных сухариков.

Другой раз варила похлёбку из разнотравья, что росло тут же, в огороде.

Заметил за ней необычную черту: она всегда говорит правду, не задумываясь, что иногда правда нежелательна в семейном кругу, бывает она нежелательна и в обществе. Но стоило ей несколько раз одёрнуть Василия, Пелагею за неправильно переданные суждения и дела соседей, как, особенно Василий, прежде чем раскрыть свои думки, смотрел на меня, на Пелагею, как бы заранее получая наше согласие с его высказыванием.

Её появление в деревне взлохматило баб. Варвара выходила на улицу всегда аккуратно одетой, причёсанной. Шла по улице не спеша, не горбатясь, не крутила головой по сторонам. Когда здоровалась, чуть склоняла голову, а слова произносила чётко, чуть-чуть резковато. Слышал, как первое время бабы в след пускали: «Егорьевская выбражуля». Холостень и женатые искали повода, чтобы перебросится с ней словечками, в чём-то помочь.

Внучек, поразила меня Варвара перед началом страды. Пришёл Аристарх Красава с просьбой подковать жеребца. Я был нездоров. Василий в отъезде. Невестка говорит:

– Через час приводи жеребца к кузне и оплату прихвати. С сего дня кузнецы Огнёвы не станут долги собирать.

Ушёл Красава. Я к невестке:

– Милая, ты не видела его жеребца. Зверь! Ископытит тебя!

Она мне серьёзно:

– Папа, не волнуйся. Пока мой тятька пьянствовал, я всему научилась. Животные – не люди, мне подвластны.

Не выдержал, поднялся и с ней поплёлся. Красава уже ждал. Пегий жеребец теребил землю копытами. В сторонке кучка мужиков курила. Варвара взяла за узду жеребца и просит Красаву:

– Ты, Аристарх, отойди к мужикам-глазопятам. Вдруг жеребец да пожелает высказать обиду на тебя. Пришибёт.

Подтянула Варвара жеребца за узду к себе. Глянула в его глаза, махнула ручкой, конь перестал бить копытом. По шерсти его прошла дрожь. Варвара спокойно ввела его в подковный стан, подтянула на подпругах. Сходила в кузницу, принесла инструмент, подковы, гвозди. Поднимает ноги коня, укладывает на подставы и легко, играючи, пришивает под копыта гвоздями подковы. А он, жеребец-зверь, стоит, только голову поворачивает и смотрит на Варвару. У мужиков закрутки пальцы подожгли.

Освободила Варвара коня, вывела из стана. Аристарх вынул рубль золотом, подал в руки невестки и вежливо, с поклоном, говорит:

– Спасибо, Варвара Ивановна. Давно такого чуда не видел.

* * *

Дворовой купца Туркина Захар Антонов по прозвищу Кочерыга, любитель поважничать, поломаться, открыл парадную дверь, осмотрел Смирнова и, не пропуская его в прихожую, начал, кривляясь, говорить, покачивая плечами:

– Извините-с, Борис Евгеньевич, я поступаю, как приказано хозяином. Вы в этом доме нежелательны. Сударыня Евгения (жена Туркина) излишне оказывает вам внимание.

– Где Туркин? – спросил Смирнов.

– Они на отдыхе.

– Вещи-то мои можно взять?

– Их нет.

Борис повернулся уходить.

– Простите, Борис Евгеньевич, – остановил его Кочерыга. – Тут вам хозяин оставил записку. Мне велено передать её, когда вы, возмущённый, повернётесь уходить…

«Друг! Прости меня за самовольные действия. В благодарность за твою заботу о моём здоровье я купил тебе новый дом. Адрес: улица Асинкритовская, дом Смирнова. Я тебе нашёл и служанку. Велел привезти из Маслянино твою любимую няню Марфу и её приёмного сына. Так как это моя инициатива, за первый год её службы я расплатился.

Если оборудование в личной клинике Смирнова установлено не то и не так, то вини своих костоломов Высоцкого, Новицкого и Платонова. Туркин».

Борис приступил к своим прежним делам. Для него, как до свадьбы Варвары с Василием, так и после, дело врача оставалось самым важным, любимым и незаменимым. Но после приезда он часто ловил себя на том, что нет-нет, да и выплывет образ Варвары, её большие удивлённые голубые глаза и сплетённый в косу сноп пшеничной соломы, её взгляд, когда они случайно встретились в церковном саду, и потом – взгляд, полный таинственного смысла, в церкви.

Он отказался от каких бы то ни было встреч с друзьями. Ни на минуту не задерживался в больнице. Сдав смену или окончив операцию, нанимал извозчика и уезжал к себе, на Асинкритовскую. Ложился на диван и, закрыв глаза, восстанавливал в памяти солнечный день четвёртого июля.

Первым, кто обратил внимание на душевные переживания Смирнова, был врач Николай Платонов. Сын священника, родом из Казани, Николай семь лет назад окончил духовную семинарию и был назначен в Томскую консисторию. Та направила его священником в Баклушевский приход. Но через год Платонов отказался от сана священника, поступил в Томский

университет на медицинский факультет. И вот уже год работал в железнодорожной больнице. Как ни пытался Платонов вернуть Смирнова в обычный ритм молодых врачей – не получилось.

Борис отнекивался и от приглашений на улицу Омскую, 39, где жил со своей семьёй его коллега хирург Константин Новицкий. Последний очень переживал и часто спрашивал себя, в чём он виновен, что Борис охладел к их дружбе.

Был один человек в Ново-Николаевске, к которому Борис после возвращения из Маслянино продолжал ходить, часами наблюдать, как тот работает в своей маленькой лавке-аптеке. Это был Артур Давидович Гасфорт.

До приезда в Ново-Николаевск аптекаря Гасфорта в посёлке работало несколько аптек. Первая, старейшая – железнодорожная – работала на станции Обь, вторая – на переселенческом пункте, третья – Кавнацкого – располагалась в центре посёлка. Эти три аптеки работали уже в 1897 году и за год приготовляли и продавали лекарств на 1370 рецептов. Малюсенькая аптека, четвёртая, принадлежала Исааку Рольбеину. Он прибыл в Новониколаевск в 1907 году. В 1920 году впервые основал аптекарское дело в селе Купино.

В 1912 – 1913 годы городская управа открыла две собственные аптеки.

*В 1914 году в городе Ново-Николаевске проживало **76 012** человек:*

37806 мужчин,
38 236 женщин.

Из них:
95 духовных лиц,
241 коренной дворянин, предки которых в нескольких поколениях были дворянами,
301 личный дворянин, выслуживших дворянство за себя,
509 купцов,
15 999 мещан,
57 512 крестьян.

В 1763 году Екатериной Второй издан «колонизационный» манифест. Русское правительство призывало иностранцев «въезжать и селиться, где только пожелают, во всех наших губерниях». Малоимущим обещалось, что они будут «на иждивении нашем немедленно в Россию отправлены» и, кроме того, «путевыми деньгами удовольствованы». «Соизволялось «всем новоприбывшим» иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам». В 1765 – 1766 годуы из Франкфурта-на-Майне в село Белые Вежи (Украина) прибыло около восьмисот человек. Построили дома, лютеранскую церковь, несколько лавок и три ярмарки. Среди новоприбывших был и пращур Гасфорта из Кенигсберга. В начале XX века, вскоре после образования переселенческих участков в Кулундинской степи, куда не шли даже казахи, пугаясь глубокого залегания грунтовых вод, в феврале 1907 года явились ходоки от немцев из Таврической, Херсонской и Самарской губерний; они тщательно осмотрели запроектированные участки, измерили глубину залегания грунтовых вод и заявили определённое желание занять эти места. В это время Кулундинскую степь объезжал управляющий землеустройством и земледелием России князь Васильков. При встрече с немцами он предупредил их о сложностях с водой. На что немецкие ходоки ответили: «Дайте нам землю, а воду из неё мы достанем».

В 1908 – 1910 году на Капчагульском участке Купинской волости появилось селение Гоффентальский, на территории Мавриного Ляга – Розентальский, на Малышевской заимке – Розенфельский. Тридцать семь семей основали деревню Граничное, восемнадцать – Николаевку, пятьдесят две – Орловку, пятьдесят шесть – Антоновку (Борцово), шестьдесят три – Цветнополье, семнадцать – хутор Нейфельд. Росли немецкие хутора в Каргатской, Алексеевской (Мошковский район), Ояшенской, Кайлинской (Тогучинский район) волостях. Появились немецкие деревни: Неудачино, Берёзовка, Гибнера, Дика, Краснополь, Клюевка, Лесовка, Левен, Тевса, Шредера… Одиннадцать семей переехали в Сибирь на место заброшенной деревни Ливановки и назвали её, как на Украине, – Вежа. Хотя это слово больше связано с хазарскими временами, с шатрами да кибитками. Во-

обще, около 90 тысяч немцев признали Сибирь своей родиной в период 1908 – 1912 годов.

Исследователи экономического положения переселенцев в большинстве отмечали, что наиболее культурной и зажиточной частью населения Кулундинской степи являлись немцы. В посёлках, заселённых немцами, – чистота, прибранность, порядок. Дома светлые, просторные, нередко под железными крышами – выделены в одну линию, часто они выкрашены в один цвет; обычно дома отодвинуты в глубину двора сажень на десять от линии улицы, разбиты палисадники, засажены ароматными сортами цветов (табаки, петунии, гвоздики, левкои). Во многих посёлках в первый же год произвели древесные насаждения. Дворы и улицы подметали и поливали в засушливое время года ежедневно.

Независимо от количества дворов немцы-переселенцы строили школы за счёт своих средств, во многих деревнях молитвенные дома, хлебозапасные магазины. Имели санитарных попечителей, которые наблюдали за чистотой в посёлке, сообщали волостному врачу о появлении острозаразных заболеваний и принимали меры к изолированию домов, где появлялись такие заболевания. Обычно возле этого дома выбрасывался чёрный флаг.

По сравнению с другими народностями, населяющими нынешнюю Новосибирскую область, – украинцы, белорусы, эстонцы, мордва, чуваши, латыши… – немцы были более обеспечены материально и, кроме того, переселившись в Сибирь, они пользовались правом получения денежных кредитов в обществах, откуда вышли. В среднем за пять-семь лет жизни в Сибири немцы удваивали свои первоначальные капиталы.

У немцев на ряд волостей имелись свои инструктора полеводства, огородничества и скотоводства, которые по просьбе домохозяев появлялись у них в любое время года.

Грамотность, культурность, возможность осмысленно ориентироваться в новых условиях жизни приносили большую пользу немцам на новой земле. Их уважали, к их советам прислушивались и коренные сибиряки, и переселенцы других народностей. Немцы постоянно делали опыты с посадкой или посевом различных злаков и овощей и при неудачах не твердили

безнадёжных жалоб на «климат» или «солончаки», а выясняли причины неудач.

Артур Давидович Гасфорт, посетив Ново-Николаевск в 1908 году, познакомившись с аптекарским делом в городе, решил купить дом по улице Асинкритовской и открыть свою аптеку. Гасфорты от поколения к поколению передавали аптекарское мастерство. Артур гордился, что прадед участвовал лекарем в боях с войсками Наполеона в русско-немецком легионе, дед, во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.) лечил в лазарете русских раненых солдат. А дальний родственник с 1853 года служил губернатором Сибири.

Дом Артура был небольшой, но достаточный, чтобы наверху разместить большое семейство, а в подвале – аптеку с перегородкой.

Возможно оттого, что, как в селе Белые Вежи, так и здесь, на новом месте, в Ново-Николаевске, большую часть своего времени молчаливый Артур проводил в сыром и сумрачном подвале, его лицо было мрачным и бледным. Постоянная занятость наложила отпечаток замкнутости.

После возвращения Смирнова с русско-японской войны его пригласил на временное жительство Михаил Востоков, тогда еще участковый врач. А жил он на Асинкритовской в доме под номером 32, наискось от дома Артура.

Однажды Борис заглянул в аптеку, посидел возле фармацевта одетого в чёрный отутюженный кафтан и короткие брюки, понаблюдал, как тот, сидя на табурете, смешивал порошки, заваривал травы, цедил настойки и, не обмолвившись с аптекарем ни словом, поднялся и пошёл к выходу. На пороге его остановил голос хозяина:

– Вы врач? Вас зовут Борисом Евгеньевичем?

– Да, – повернув голову к аптекарю, ответил Борис.

– В Барнауле, на Соборном переулке имеет клинику господин Смирнов. Он вам кто?

– Это родной брат моего отца.

– Я буду рад видеть вас в своём подвале в любое время, кроме воскресенья.

Так началась их дружба. Борис в свободное время прихо-

дил в лавку, садился на табурет напротив Артура и молчал, наблюдая за действиями аптекаря. Иногда за несколько часов они обменивались одной-двумя фразами. Но когда Борис не появлялся несколько дней подряд, Артур скучал, часто выходил, усаживался на широкий порог и в течение пяти – десяти минут подслеповато смотрел на дорогу. В эти минуты у него из носа выделялись капельки и падали на чистые борта кафтана. Несмотря на то, что Артур редко разговаривал с людьми, даже с клиентами обходился двумя-тремя привычными выражениями, он хорошо знал французский и испанский языки, разбирался в живописи и любил музыку. Дружба их ещё более окрепла, когда однажды Артур провёл Бориса в дом, где хозяйка приготовила обед, а после обеда аптекарь достал из сундука скрипку и сыграл несколько пьес. Борис открыл у своего друга тонкий слух и чуткое восприятие музыки. Но сам играть не стал, хотя руки тянулись к скрипке.

И вот, вернувшись из Маслянино, Борис отправился через дорогу к аптекарю, который за месяц ничем не изменился, разве, ещё больше сгорбился, а его голова, на которой недавно командовала жена ножницами, была похожа на высушенную грушу.

После кивка друг другу и скупых приветствий, Борис впервые обратился с просьбой к Артуру:

– Артур Давидович, я хотел бы сыграть на вашей скрипке.

Аптекарь кивнул. Они поднялись по лестнице наверх.

И какой уже раз Борису бросилось в глаза, что, несмотря на большое семейство Гасфортов, никто из них не бродит без дела и не проявляет никакого внимания и любопытства к нему.

Артур вынул из футляра скрипку, смычок и подал Борису. Борис посмотрел в окно, на затухающий поток заходящего солнца и начал играть. Он играл великолепно. Его откровенные чувства любви к молодой деревенской невесте обогащали музыку такими мазками страсти и волнения, что всё двенадцатидушное семейство Артура тихо облепили двери кабинета. Борис играл. Играл, вспоминая. Нет, он не думал и не вспоминал музыку, она сама вела его к совершенству. В его закрытых глазах то приближалась, то удалялась Варвара. Вот и сумерки заволокли кабинет

Артура, и музыка, с последним аккордом будто вырвавшись на бескрайний простор, пропела последний раз о неугасимом чувстве человека любить прекрасное и затихла.

Хозяйка зажгла лампу, дети разбрелись по своим местам. Борис стоял с поникшей головой, а Артур вытирал слёзы. Проморгав глаза, сказал жене:

– Принеси вина.

– Сегодня нельзя. Нас покарает Бог.

– У тебя, Марта, с годами мозги почернели.

Хозяйка вышла, а Артур подошёл к Борису и, посмотрев ему в глаза, спросил:

– Вы влюблены, Борис Евгеньевич?

– Да, – ответил Борис и осторожно положил скрипку в футляр.

– Кто эта красавица, которую вы осчастливите?

– Неграмотная крестьянская девица Варвара Ивановна Щукина.

– Я уверен, если вы полюбили, она достойна вашей любви.

Марта принесла бутылку рейнского вина, два фужера, а на большом красивом китайском блюде слезинками подтекал по прорезям сотовый мёд.

Мужчины выпили.

– Я никогда не давал совета кроме как по своей профессии. Я дорожу нашей дружбой, Борис Евгеньевич, но я нарушаю своё правило, даю вам совет. Сделайте Варвару Ивановну грамотной. Но, вижу, вас другое волнует.

– Она четвёртого июля обвенчалась.

– Нарушив клятву?! Ох, эти женщины! У них никогда нет постоянства. Верно говорится в Библии: от женщины все грехи человеческие.

– Я её впервые увидел четвёртого июля. Она мне не клялась.

– Простите.

Артур Давидович подошёл к сундуку, на котором лежал футляр со скрипкой, взял в руки скрипку и протянул Борису.

– Примите, Борис Евгеньевич. Прошу вас, примите. Она в ваших руках поёт удивительно прекрасно.



Глава восьмая

Исповедь маслянинского отшельника

Господи, прости!

Сон видел ночью. Стою на горе Кокуй, вблизи нашей кузницы. Поднимается оранжевое солнце, украшает берёзки багряным узором. Стою, любуюсь, как задиристая речка Укропка чешуйчатым серебром отделяет деревню от горы. Дальше посмотрел. Речка Амбарка вспарывает деревню, сверкают-отражаются в ней медными ризами иконы-дома. И речка Крапивка рассекает местность; по одну сторону – Сибирский край, а по другую – край Россейский, и переливаются в ней синь небесная и облаков белизна... И дом наш увидел. И себя как бы со стороны. Провожаю сына Василия на фронт. И наказ ему будто пописаному читаю: «Воинская повинность сроднила народ с войском. Народ перестал жалеть солдата. Уж коли идёшь служить, помни, что во имя блага остальных. Вот говорят, что солдат портится среди войска, сноровку крестьянскую теряет, землю ценить перестаёт, отрывается от неё...» А сын меня перебивает: «И ты, тятька, высоко взлетел от земли. Знаешься только с попами, врачами да начальством. Как дед Каллистрат твой помер, всё молчишь да супишься. На нас, домочадцев, смотришь, а глаза-то мутные да неподвижные, словно провинились мы перед тобой чем…» Больно слова эти царапнули моё сердце. «Это всё от болячек», – отвечаю. «Вот и тревога у меня, – вновь заговорил сын. – Без меня возьмёшь котомку да и уйдёшь из дому. Мать с Варварой одних оставишь. На их плечах ещё бабка Шипулиха, дед мой Евсей, бабка Анна.

Это вчера дед на проводах хорохорился. А ночь всю простонал. На руках пришлось его во двор выносить. Об одном прошу: как бы ты себя ни чувствовал, ни настраивал – дом не покидай, пока я с фронта не вернусь».

И пошёл сын от меня. Под ногами сухая трава захрустела, и запахом тлена повеяло. Бросил я взгляд на вереницу подвод с новобранцами и увидел, как розоватая, полупрозрачная плащаница невероятных размеров окутывает их.

Господи! Что за жизнь?

Дед мой Каллистрат воевал, обороняя Севастополь. В гроб его я положил серебряную солдатскую медаль «За храбрость». Отец тоже воевал – и дошёл до Афганистана. Я ещё и ныне от войны полутруп. Теперь и сына проводил.

На Японскую войну земляков моих забрали числом не менее трёхсот, вернулись единицы. Сколько ж на Германскую уйдёт?

…Сон видел вчера. Да сон ли это был? Не всамделишный ли четырнадцатый год?

Не скоро пришло письмо от сына. Хлеб убрали. В хлеву кое-что подновили.

В сентябре Варвара ходила в Маслянино на исповедь. Вернулась. Смотрю, лицо бледное, как посконь, в глазах отрешенность.*

– Что произошло, дочка? – спрашиваю.

– Да случилась, отец. Готова руки на себя наложить… Обнял я её. Прижал к себе и говорю:

– У твоей бабки Шипулихи, у моих стариков, да и у меня, калеки, вся надежда на тебя. Пелагея наша часто руки к груди прикладывает. На ногтях нет-нет, да и появляются белые прожилины. Сердечко её то галопом скачет, то затихает. Прошу, как муж твой Василий меня просил, дотянем лямку до его возвращения. А там – как Бог распорядится.

Принесли первое письмо Василия с фронта. Держу его в руках, а Пелагея торопит:

* Посконь – белый холст.

– Да читай же, отец. Не томи душу…

Я медленно развернул конверт. Домашние замерли. В первых строках письма Василий поздоровался со всеми родными – с каждым поименно.

«Вот я и на войне, – продолжал я читать. – Вокруг то треск ружей, то дробь пулемётов. Веселье, да и только. Я нисколько всего этого не боюсь, а вообще русскому солдату и сам сатана не страшен. Мы ни перед чем не остановимся и сумеем завоевать славу нашему Царю-батюшке и Царице-матушке. А помереть придётся, так это ж за веру святую, за царя и отечество.

Ещё я вам пропишу, что стал разведчиком.

Милая Варварушка, соскучился я по тебе, радость моя, но покуда воюю, долг свой перед родиной исполняю, надо потерпеть. Верь, я вернусь, и мы снова заживём хорошо. А теперь помолись за меня Богу, чтобы Господь дал мне силу, и крепость, и расторопность победить врага. Ох, и наподдаём мы немцу, колбасе проклятому.

Привет передай моим всем дружкам и приятелям.

Ваш Вася.

Писал письмо наш земляк Василий Зверев.

Да, Андросов попал в госпиталь, скажи его родным, скоро будет дома, только не волнуй их.

Тысяча девятьсот четырнадцатый год. Двадцатое октября».

Обмолотили хлеб. Скотину кое-какую зарезали. Варвара посолила почеревочного сальца и отправила посылкой Василию.

Тут второе письмо двенадцатого января пятнадцатого года получили от сына. Прочитал я его и расстроился. Думы одолели. Что-то не так в нашей русской армии. И Василия будто подменили:

«Здравствуй, дорогая моя жена Варвара, здравствуйте все.

Простите меня, что долго не писал. Я жив-здоров, стремлюсь всей душой быть с вами.

Посылаю письмо с Андросовым, он вышел из госпиталя и едет домой совсем. Всё, отвоевался.

Из наших, деревенских, Миша Токарев погиб, и Степан Ульянов погиб, и мой друг Кольша Огнёв, и Иван Марасов. Будь она проклята, эта война. В нашем полку многие уходят в плен к немцам, а немцы, дураки, идут в плен к нам. Вчера ходил в разведку с Григорием Кротовым, он винтовку бросил и ушёл к немцам и ещё матерно обругал меня. А когда я возвращался один на нашу позицию, на меня трое немцев с офицером напали. Я им от злости на Григория так наподдавал, что они беззубые перед нашим полковником появились.

Мне, Варварушка, Георгиеву медаль второй степени вручили. Варварушка, нашему ротному я сказал, что Григорий погиб и я его закопал. Ты это знай. Мать его получит бумагу, но ты её успокой. Скажи, что бумага эта – враки; но меня не выдавай.

Да, дорогая моя жёнушка, тяжело нам, и песни поём только по приказу.

Целую, Василий.

Писал Василий Зверев».

Господи! Это как же?! Наши земляки, молодые парни уже больше не вернутся домой. Господи! Что же это такое творится? Наши русские воины уходят в плен! Когда и кто подменил их души?!

Скоро Прасковья Марасова, жена Ивана, получила документ:

«Волостная земская управа удостоверяет, солдатская вдова Прасковья Николаевна Марасова. Вторично замуж не вышла, в монашество не постриглась, под судом и следствием не состоит и не состояла, а посему прав на получение пенсии не потеряла».

* * *

Кто этот человек, который взволновал Варвару и заставил её своими серыми глазами сомневаться в правильности её выбора, в поспешности её свадьбы?

Это сын благочинного Маслянинской церкви Борис Евгеньевич Смирнов. Через двадцать дней после свадьбы Василия Огнёва и Варвары Щукиной, то есть 24 июля, ему исполнилось 30 лет. Из этих тридцати лет Борис прожил дома только один-

надцать. В 1895 году он был отдан в четвёртый класс Томского епархиального училища, где учился бесплатно на отлично.

Через два года он уже учился в Томской духовной семинарии. Отец был доволен. Из поколения в поколение Смирновы благословляли старшего сына на духовный сан. Так было с отцом Бориса Евгением Романовичем, так было с дедом Романом Ефстафьевичем и так далее.

Но Борис нарушил эту семейную традицию. Через год он ушёл из семинарии и тайно от всех самостоятельно начал готовиться на аттестат зрелости.

Незамедлительно сообщили отцу.

Он прибыл в Томск, отхлестал тринадцатилетнего сына ремнём и отвёл за руку в семинарию.

Через месяц отцу вновь сообщили, что сын покинул семинарию.

На этот раз он хлестал сына дольше и больнее. Но и вторичная порка не образумила Бориса. Тогда Евгений Романович велел своему младшему брату Николаю, купцу, у которого жил Борис, выгнать его и больше никогда, ни при каких условиях не пускать.

Борис собрал свои пожитки, подсчитал деньги – пятнадцать рублей (по тому времени немаленькие) и отправился искать пристанище в рабочих кварталах железнодорожников.

Злой на отца, на всё начальство в семинарии, которые не могли понять, что он не желает быть священником, он всё больше убеждался в верности своего решения. Он ходил по улицам и спрашивал у людей, где можно снять угол для проживания. Женщины и мужчины смотрели на хорошо одетого мальчишку и недоуменно пожимали плечами.

Так он прошёл три улицы и уже через переулок подошёл к четвёртой. Навстречу ему шёл пожилой сухопарый мужчина с баулом. Борис обратился к нему:

– Простите, господин, вы не знаете, где можно снять угол для проживания?

Мужчина остановился, улыбнулся щетинистыми усами и спросил:

– Для кого?

– Для меня.

– А где у тебя отец, мать?

– Они далеко отсюда (хотя отец в то время был в Томске).

– Пойдём ко мне, господин хороший, понравится – будешь у нас жить.

Они прошли два дома, и мужчина показал на деревянный железнодорожный дом с двумя большими окнами, выходившими на улицу.

– Вот сюда, пожалуйте.

В доме их встретила такая же сухопарая женщина. Она поинтересовалась, как прошла поездка, налила в умывальник тёплой воды и, придерживая полотенце, стояла и смотрела то на мужа, то на Бориса.

Муж умылся, предложил вымыть руки и Борису, жене сказал:

– Вот господин хороший ищет угол для проживания. Я думаю, у нас хватит места для него. Как ты, мать?

– Я не знаю, отец, твоя воля, а он что, сбежал из дому?

– Нет, я не сбежал, – заговорил Борис. Ему понравилось в квартире. Не было той роскоши и простора, как у дяди. На кухне стол, печка, лавка, сундук, вот и всё, что он рассмотрел. Но всё было в чистоте и в порядке. – Я хочу получить светское образование, а отец меня в семинарию отправляет.

– Отец кто? Священник? – спросил мужчина.

– Да, он благочинный.

– О, о! И как тебя зовут?

– Борис Евгеньевич Смирнов.

– Ага. Меня Тимофей Нилович, а мою старушку Анастасия Гавриловна. А фамилия наша Кузнецовы. Я ту-ту, машинистом работаю. А детей у нас нет и не было. Вот и живи с нами. Как, мать, прокормимся?

– Да, конечно, отец. И мне веселей будет.

В тот же день Тимофей Нилович с помощью Бориса сделал деревянный топчан. Из кухни сундук убрали в комнату и на его место поставили топчан. Анастасия Гавриловна постелила матрац, простыни, тонкое лоскутное одеяло, пёстрое, как летний луг.

Сели за стол. На столе не было изысканных блюд, не держались в доме вилки. Налила хозяйка по мискам борща да на второе подала жареную картошку. Вот и всё.

Борис сидел за столом прямо и ел не торопясь, степенно, как его учили дома, ложку держал и поднимал её ко рту чудно для хозяйки и для Тимофея Нилыча, но те виду не подали.

Убрали всё со стола. Тимофей Нилыч надел очки с верёвочкой, достал газету и стал читать. А Борис разобрал свой чемоданчик, достал пятнадцать рублей. Один положил себе в карман пиджачка, остальные подал Анастасии Гавриловне:

– Это всё, что у меня пока есть.

Она взяла деньги, положила их в коробочку на столе.

– У нас деньги, если они есть, всегда лежат здесь, в коробочке. Нужно тебе будет, ты не стесняйся – бери.

Хозяин почитал газету, снял очки и сказал:

– Ну, располагайся, завтра утром обмозгуем, а сегодня и я спать хочу, и ты что-то клюёшь носом. Стели, мать, на покой.

Спустя пятнадцать лет Тимофей Нилыч скажет Макаровой:

– Он пришёл к нам, когда у него было пятнадцать рублей денег, три книжки и несколько чистых рубашек, но он внёс в нашу семью не по годам взрослую неуёмную энергию, уверенность, рассудительность и обогатил нас с Анастасией Гавриловной верой в доброту людей. Он ценил нас, а мы, хотя и чужие для него, любили, как родного.

Утром следующего дня Борис выпил стакан чаю и ушёл. Его не было целый день, вернулся он с кипой книг и радостно сообщил:

– С завтрашнего дня буду работать в городской больнице санитаром.

Хозяева от удивления так и замерли.

– Кто тебя примет? – засомневался Тимофей Нилыч.

– Уже всё уладил.

Он не искал своего жизненного призвания. Он шёл по Томску и набрёл на городскую больницу. Войдя в здание, попросил проводить его к заведующему больницей, которому всё и рассказал, но не в деталях, как это делают дети, а сжато и закончил тем, что средний брат отца Владимир Романович Смирнов врач и он хочет быть врачом.

Перевесом в сторону того, что можно взять Бориса на работу, послужило то, что главный врач учился вместе с Владимиром Романовичем в Томском университете.

– Но кем я тебя приму?

– Санитаром в хирургическое отделение.

Главный врач пригласил заведующего отделением. Тот категорически сказал по-французски:

– У меня не детский сад.

Борис поднял голову.

– Я это знаю, – сказал Борис по-немецки.

– А ещё что ты знаешь? – спросил заведующий по-английски.

– У нас дома на английском языке никто не разговаривал, – ответил Борис и покраснел, – но если надо для работы, я выучу.

Разносить пищу, убирать утки, оказывать мелкие услуги можно было и без знания английского языка. Но Борис через день купил учебник и словарь и в свободные часы на дежурстве, когда успокаивались больные, стал изучать английский язык. Давался он ему легко и просто.

…Днём Борису некогда было отдаваться воспоминаниям, он не тратил на работе ни одной минуты на ненужные и бесполезные вещи, не связанные с его деятельностью, а вечером, за книгой, когда у него начинало рябить в глазах, воскресал образ Варвары. Она вторгалась в кабинет, поражая его любопытным растерянным взглядом, словно в страхе, и, удивлённо уставившись в его глаза, разрывая комнатную тишину, спрашивала: «Как его зовут? Как его зовут? Вон того, сероглазого. Вон того, сероглазого…»

Здравомыслящий и серьёзный днём, вечером он превращался в мечтателя и фантазёра.

Вечером Борис Евгеньевич был в театре. Оттуда поехали на обед на дачу к благочинному Николаю Никольскому. Засиделись. И только в четыре часа утра он появился дома. Небрежно сбросив с себя костюм, он лёг на диван. Марфуша постучала в дверь.

– Боренька, я чайку тебе приготовила. Принести?

– Нет, нянечка, не надо. Я сам на кухню спущусь, и мы вместе чайку попьём.

– Ну и хорошо. У меня, Боренька, новость. Не знаю, радоваться ты будешь или плакать.

Борис спустился в столовую, сел за стол и вздрогнул. На подоконнике стояла картина. Он уставился в неё и почувствовал, как горячая кровь бежит по его венам, как всё лицо набухает от внутреннего волнения. Повернув голову в сторону Марфы, проговорил:

– Как появилась Варвара в нашем доме?

– Вот как её зовут! А я целый день на неё смотрю и гадаю… Варварушка-краса, соломенная коса. Боренька, чует моё сердце, девица по тебе. Ах, какая она пригожая!

Марфушка, кто, кто принёс картину? – переспросил Борис.

– Так в ящике она была, что привёз Аристарх от Савелия. Не было там никаких трав. Вот картина и листок.

Борис прочитал: «Дорогой Борис Евгеньевич, картина, что передаю вам через Артемихина, написана священником Максимом Бальвой. Я своим умишком посчитал, что она вам будет дорога. Если я ошибся, то прошу вернуть, но только тайно, чтобы никто не узнал о моём преступлении. Я украл картину».

Борис в тот же день ответил Савелию:

«Милый Савелий Дмитриевич, вы даже не в силах представить, какую радость внесли в мой дом своим «преступлением». Я всю вину беру на себя. Тысячу, тысячу раз преклоняюсь перед вами и благодарю вас.

Я имею небольшие денежные накопления и желал бы открыть школу в деревне Пеньково. Как попечитель хотел бы Вас видеть доверенным лицом. Отпишите, согласны ли вы с моим предложением.

Ставлю одно условие: никто и ни при каких обстоятельствах не должен знать, кто попечитель.

Не дожидаясь вашего согласия, отправляю вам на покупку дома для школы и школьных принадлежностей четыреста рублей».

Борис вместе с Марфой переставил мебель в кабинете. Стол

поставили по правую сторону от дверей, диван передвинули к окну. На глухой стене по центру повесили картину. Отныне где бы ни был Борис – работал ли за столом, отдыхал ли на диване – Варвара сопровождала его удивительно таинственным взглядом. Он подумывал и о том, чтобы заказать в типографии Литвинова несколько репродукций. Одну поместить в хирургическом отделении городской больницы, другую в прихожей. Но не решился. И без того о нём довольно часто плетут небылицы.

Прошла неделя. Борис, посматривая на холст с изображением Варвары, читал новое письмо Савелия:

«Милостивый государь Борис Евгеньевич!

Порыв вашей души мне понятен и потому не сомневайтесь: всё будет исполнено, как вы просите.

По воле Господа Бога на днях я встретил приятеля, что служит звонарём при Ново-Николаевском храме Казанской Божьей матери. Весьма порядочный человек и в церковном звоне понимает суть. Посостязались мы с ним, потешили маслянинцев. Чаёвничая, высказал я ему просьбу, что хорошего учителя надо бы найти в крестьянскую школу. Посоветовал он православную Ираиду, дочь купца Похитонова из Ново-Николаевска. Небезгрешна она в своих любовных похождениях, но заверил меня Евстигней Егорович, что к детям большую любовь питает, учителем будет добрым.

Борис Евгеньевич, знаете, верно, купца Похитонова, отпишите, есть ли у вас сомнения в его дочери.

Дом для школы в Пеньково купил. Приобрёл стол, лавки. Крестьяне подвезли дрова. Есть для учителя подходящий дом, на днях куплю. Из денег, что Вы отправили, потратил только сто двадцать рублей.

Дай Бог Вам здравия. Савелий Кривощёк».

Борис ответил: «Дорогой Савелий Дмитриевич! Если уж Вы догадались о моих чувствах к Варваре, то прошу Вас, никому не раскрывайте их, тем более моим родным.

Благоволите переговорить с Ираидой Похитоновой. Все расходы по переезду и обустройству на новом месте беру на себя. Борис».

Как только Савелий получил письмо Бориса, немедленно

выехал в Ново-Николаевск и стал наводить справки об Ираиде Степановне. За двое суток чего только не наслышался о купеческой дочке.

Девушка воспитывалась в доме, где вкусы и обычаи были перемешаны самым причудливым образом: старозаветные соседствовали с откровенно барскими, а простота уживалась с претензиями на аристократичность. В молодые годы, если бы ей сказали, что будет лишена всего и окажется сельской учительницей, она бы лишилась рассудка.

Жизнь она любила богемную, её неудержимо влекло в общество артистов и литераторов, среди них она чувствовала себя как рыба в воде. Ценила хорошую музыку, классическую и церковную. Но и цыганские песни, гитара, хор трогали её и вызывали восторг – свободой, широтой и непосредственностью чувств.

Ираида Степановна производила впечатление культурной и образованной женщины. Но из современных писателей любимым у неё был искатель социальной правды и новых моральных ценностей малоросс Владимир Винниченко, по любому поводу эпатирующий* почтенную публику. «Ну да, я животное, и ты животное, что же в этом? Когда же, наконец, люди перестанут пугаться этого?» Социальное Ираида пропускала, а вот проблема пола не просто интересовала её. Ради страсти, даже если она проявлялась в самой дикой, безумной, разнузданной форме, – ради такой страсти она могла простить и понять всё, что отвергается общественной моралью.

Вкусы её были небезупречными, а влечения – зачастую минутными, и жизнь её представляла собой цепь причудливых случайностей.

То она увлекалась, самым что ни на есть бесстыдником, и только потому, что видела в нем голову бесшабашную, удальца, властного по отношению к женщинам. Через месяц уходила от него вся помятая, покусанная и в синяках. То впадала в рели-

* Эпатировать – (фр.) поражать, ошеломлять необычным поведением, скандальными выходками, нарушением общественных правил и обычаев.

гиозно-мистическое настроение – с раннего утра до позднего вечера пропадала в церкви. И как следствие – приводила в дом монаха, которого заставляла любить себя столь страстно, что бедолаге пришлось, улучив момент, бежать не только из дома Похитоновых, но и вообще из Ново-Николаевска. Каждое новое чувство захватывало её всю целиком; увлечение вспыхивало внезапно, как пожар. До поры до времени Ираида не отдавала себе отчёта в собственном поведении. И лишь когда очередной её избранник, как тот приснопамятный монах, тоже бежал от неё под покровом темноты, она призадумалась над собственной любвеобильностью. В это время и появился на горизонте Феофан Ксенофонтович Середа – лысый, в солидных уже летах, блондин с губами-ниточками и носом-кнопкой, с бесцветными бровями и маленькими, глубоко посаженными глазками.

Спустя неделю после их знакомства они обвенчались в Александро-Невском соборе и стали жить в купеческом доме, в двух отведённых им комнатах. Три года сидели молодые на шее у родителей Ираиды. И только когда купец Туркин прибрал к своим рукам маленькую фабрику Похитонова, и они остались без средств к существованию, Ираида снова встрепенулась. Оказалось, что муж её не способен к какому-либо занятию, чтобы прокормить её и себя. Никакой надежды не могло быть и на родственников Феофана, был он сыном простого крестьянина из Тобольской губернии. Одолел в детстве приходскую школу и четырнадцати лет был отдан в Омск в магазин Ширяева. Там бесплатно, за одни харчи, служил пять лет, но за нерадивость был хозяином изгнан. Устроился там же, в Омске, в магазин Эринха, через полгода его и оттуда вытурили. Переехал в село Спасское Каинского уезда, где нанялся писарчуком, но и здесь оказался не ко двору. Волостной старшина заподозрил его в прелюбодеяниях с дочкой и отправил на русско-японскую войну. В армии ему повезло. Он окончил фельдшерские курсы и до увольнения в запас служил фельдшером при пограничном штабе…

Почти все эти подробности стали известны Савелию. И совсем не беспочвенные сомнения беспокоили его. Не принесёт ли вместо просвещения эта чета в размеренный деревенский уклад разврат и тунеядство?

Савелий решил посетить дом Ираиды, не выказывая основной причины своего визита.

Служанка Похитоновых показала ему на открытую дверь. Вошёл, поздоровался. Супруги оказались дома. Оба кивнули ему, как старому знакомому, усадили на стул и, не обращая внимания на гостя, продолжили перебранку:

– Знаешь, Фиончик, – так Ираида называла мужа, – нас через день-другой попросят с этой квартиры.

– Холера с ними, найдём другую.

– Денег нет, мой милый!

– Собирай тряпьё, пойду на толчок, продам.

– Ты? На толчок? Позорить наше похитоновское имя?!

– Мадам, – плюнул на указательный палец, провёл им по жиденьким бровям, – неужели вы хотите, чтобы я пошёл жить к купчихе Ларкиной? Она только этого и ждёт.

– Я пойду работать, – предложила Ираида.

– Кем, позвольте полюбопытствовать?

– Да хотя бы учительницей. Девушкой я окончила школу первой ступени с отличием.

– Вот и хорошо, – вмешался Савелий в разговор. – Вот и собирайтесь. В деревне Пеньковой Николаевской волости вам, Ираида Степановна, как учителю уже и дом куплен. На каменном фундаменте школа построена. Учебный инвентарь, как говорится, в полном составе: две классных доски, стол, стул, шкаф, кадка для воды, ковш и восемь пятиместных парт. Кроме этого, имеется пособие по предметам – счёты. Да, самое главное. Попечитель установил вам жалование в сумме трёхсот рублей в год. Деньги, согласитесь, немалые.

До конца сентября деревня кипела. Детей, желающих учиться, две сотни, а школа могла вместить только сорок человек. Пятнадцатого октября приступили к занятиям. Сорок один мальчик и пять девочек уставились глазёнками в городскую учительницу.

До конца октября Савелий квартировал в деревне Пеньково у Якова Борисовича Погодина и ежедневно ходил в школу. Садился возле вешалки на стульчик и слушал. После первых же

двух дней у Савелия исчезли все сомнения. Общаясь с детьми, Ираида Степановна преображалась. Учительская стезя, казалось, была уготована для нее самой природой.

Деревня тепло приняла учительницу, а мужа её через неделю окрестили «Фелончиком в исподнем». Это пошло с лёгкой руки Варвары.

Идёт Варвара мимо дома, где поселились Похитонова и Середа, смотрит – сидит на крыльце незнакомый мужчина в какой-то хламиде, большим и указательным пальцами ощипывает курицу.

Варвара подошла к калитке и спрашивает:

– Мужик, а пошто ты в сарафане?

– Это, мадам, халат. – Бросил на Варвару неприличный взгляд. Потом осмотрел с ног до головы.

Варвара поманила его пальцем. Мужчина поднялся с крыльца, живая, но полуощипанная курица попыталась взлететь, боком перекатилась по ступенькам и побежала в курятник. Феофан подошёл к Варваре, ёрнически склонил голову в полупоклоне:

– Слушаю вас, мадам.

Варвара схватила его за ухо, и давай теребить да приговаривать:

– Это тебе, Фелончик в исподнем, чтобы не развращал наших мужиков бездельем и за истязание курицы, кобель безбровый. Ещё раз увижу в сарафане, оторву не ухо, а что в штанах. – И оттолкнула его от себя.

Феофан завалился на спину, выпучил белесые глаза и закричал:

– Уставом не положено младших чинов русской армии подвергать телесному наказанию. В суд подам!

Варвара вырвала кол из прясла, вошла в калитку – и прямиком на Феофана. Тот соскочил, подтягивая на ходу сползающие кальсоны, опрометью бросился в дом…

Савелий появился в школе в канун дня Введения во храм Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии. Он перелистал журналы – учителя и учащихся, порадовался положительным оценкам. Некоторые ребята уже читали по слогам, могли считать. Поинтересовался, нет ли замечаний истопнику школы Ивану Куклину. Всё было благопристойно. Когда за-

нятия закончились, Савелий перенёс свой низенький стульчик к столу учителя.

– Вы так интересно ведёте уроки, Ираида Степановна. Выражаю вам самую искреннюю благодарность от имени попечителя.

– Полно, Савелий Дмитриевич, это не вы меня должны благодарить, а я вас. Спасибо, что вы, меня не зная, мне поверили. – Ираида Степановна подошла к Савелию и поцеловала его в лоб. – Мне так хорошо. Я родилась заново, и только для детей.

Савелий поднялся со стульчика, взял за плечи учительницу, посмотрел в её карие глаза.

– Ираида Степановна, могу ли я с вами поговорить по очень серьёзному делу?

– Да, конечно, не сомневайтесь. – Женщина едва заметно улыбнулась. – Иногда я бываю даже чересчур серьёзной.

– Попечитель школы интересуется, не смогли бы вы за отдельную, разумеется, плату научить грамоте не ребёнка, а молодую женщину?

– Право, не знаю, – засомневалась Ираида Степановна. – У меня нет опыта репетиторства. И потом, немаловажная деталь: кто эта женщина?

– Попечитель добавляет вам к жалованию ещё пятьдесят рублей в год.

– Не в деньгах дело, Савелий Дмитриевич. Вы мне скажите, кто она, и тогда я подумаю. В деревне я почти со всеми женщинами уже познакомилась.

– Солдатка Варвара Ивановна Огнёва.

– А, это та самая, которая проучила моего Феофана. Чуть ухо ему не оторвала. А вы знаете, Савелий Дмитриевич, он надумал на Варвару написать заявление в волостной суд. Еле отговорила. Согласна.

– Одно условие.

– Какое?

– Я передам вам несколько тетрадей, и только в них должна писать Варвара.

Савелий положил на стол стопку тетрадей, а сверху пятидесятирублевую ассигнацию.

– Заверяю вас, Савелий Дмитриевич, деньги отработаю сполна.



Глава девятая

Исповедь масляninского отшельника

На Покров Богородицы (1 октября) после обеда пожаловал Иван Иванович Шмаков. В сенках уже начал бурчать:

– Надежда исчезла: в этом православном доме не побалуюсь чем-нибудь вкусненьким. Принюхался, нехристи живут…

Вошёл в дом, осмотрел всех. Подошёл к люльке и со смехом скосил лицо. Проговорил:

– Ванька, крестник, дарю тебе два золотых, – положил к изголовью золотые. Продолжил: – Расти, паря, здравомудрым и не голодай. Хоть немножко, чуть-чуть, подслащай свою жизнь. Поднял распашонку и ещё рублёвку на пуп приложил. Это храни под нашу с дедом старость.

Обнимая его, я недовольным голосом отчитал:

– Рано ты, Ванюшка, моего внука балуешь…

– Моё дело: хочу – тёзку балую, хочу – крестничка по попе отстегаю, а захочу – и в столицу отправлю. И послужит он у меня при дворе не казаком, как дед его, а сиятельством.

Пелагея накрыла стол. Варвара принесла из сеней солонину. Я спросил:

– Пошто Галину не прихватил?

– Да ты чё, друг закадычный, куда я без неё? Глянь в окно. Идёт… Запоздала малость. Гуся дожаривала. А мне уж невтерпёж рюмочку пропустить.

Выпили за тебя, внучек, уж который раз. Шмаков полез под рубаху и достал конверт, насупился.

– Рановато проезжал Аристарх Артемихин. Возле твоих

ворот почему-то постеснялся карету остановить, отдал мне письмо, чтобы я тебе в руки, Никита Евсеич, вручил. По писанине я узнал: пишет тебе фронтовой друг, врач. – Подал мне конверт в руки Иван и дальше, не меняя выражения недовольствия на лице, выговаривал: – У меня давно, Никитушка, возник вопрос: почему твой закадычный фронтовой друг не был у тебя в гостях? Ты у него бываешь. Вот и получается вопрос. А возможно, он гнушается?

На войне вы были в одной упряжке, воины. Уверен, в этом письме врач приглашает тебя в гости. Вот поверь моему слову, – он повернулся к Пелагее, – прочитает письмо, оденет свой китель с крестами и отправится в город. Останешься ты, Пелагея, одна.

Я вскрыл конверт. Вслух прочитал:

– Никитушка, друг сердечный, срочно приезжай. Мне очень плохо. Борис Смирнов.

– Да, Никита, мне бы не старостой быть, а провидцем, – похвалил себя Шмаков.

Я ухмыльнулся. Текст письма тревожный, но это условный шифр. Такой текст получили от Бориса Евгеньевича все, кто остался жив из двести пятьдесят восьмого полка Сибирского корпуса.

Навеселе, с ярким солнышком остановился в селе Маслянино возле ворот волостного писаря, согласовать время выезда в город Ново-Николаевск с Андреем Высоцким, бывшим полковым писарем.

Андрей Мартынович опечалил меня, отказался ехать. Сослался на плохое самочувствие. Я уловил, он даже недоволен, что я пожаловал в его дом. Андрюшка, в прошлом всегда словоохотливый, сегодня на мои вопросы отвечал резко, одним-двумя словами. Я попрощался и вышел. В сенках меня за руку поймала Наталья Ивановна, жена его. И зашептала:

– Ты, Никита Евсеич, не держи зла на Андрея. Он сегодня не в духе. Обидел его Борис Евгеньевич…

Я перебил её:

– Что ты выдумываешь? Когда, кого обижал Борис?

– Говорю тебе, обидел. Мы, две семьи – Смирновы и Высоцкие – уже обговорили свадебные дела. Наша дочь Вера и их сын Борис… А Борис при разговоре заявил, что Вера для него молода. А сам… Все видели, как он пожирал глазами в храме дочь Егорьевского старателя Щукина, невестку твою. А она, Варвара, моложе нашей Верочки на целых два года… Ваш лучший фронтовой друг, врач, отверг девицу, дочь фронтового товарища… ждавшего его столько лет. И решился на невесту…

Я перебил её:

– Наталья Ивановна, перестань. Что с того, что кто-то в храме посмотрел на кого-то? Из-за этого рвать фронтовую дружбу?

Она мне:

– Ты, Никита, слепой и глухой. Всё Маслянино после венчания Василия с Варварой только и говорит, что сын благочинного, протоирея Евгения влюбился в твою невестку. И она хороша! Увидела его и скорее фату бросила наземь…

– Наталья, – повысил голос я. – Да не бросала она фату. Она с головы скатилась…

Наталья с вызовом и не шёпотом, а громогласно:

– Ты, Никита, в храме не был. И не видел. И не слышал. А люди видели и слышали. Видели, как твоя невестка отвернулась от протоиерея и пошла за колонну, где стоял Борис. Хорошо, что Василий успел поймать её за руку. Так и сбежала бы она с другом вашим фронтовым. А люди говорят: за храмом их поджидала тройка. И ещё я тебе скажу: не будет выдумывать племянник старосты Михаил. Не будет! А он говорил Семёну Емельяновичу, что Борис упрашивал благочинного не венчать твоего сына с Варварой…

Она дальше уже кричала. Я отвернулся, махнул рукой и выбежал из сенок.

Всю дорогу, пока я возвращался домой, думал про Высоцкого. Не о том, что наговорила мне Наталья… Мало ли что могут придумать бабы? Я думал о нашем полковом писаре.

Андрюшка Высоцкий наделён природой умом, чрезвычайной

хитростью, сообразительностью и высокой оценкой своего житейского предназначения.

Все годы службы он, простой писарь, имел влияние на командира и на его заместителей, особенно на снабженца Владимира Васильевича Ляпина.

Человек необыкновенной памяти, Андрюшка в своей голове держал всё: приказы, распоряжения, тактические и стратегические детали той или иной операции, безошибочно мог сообщить, откуда прибыл офицер или солдат, где, в каком сражении отличился, каким рапортом отмечены его боевые заслуги. Вместе с этим Андрюшка честолюбив, властолюбив и груб. На него часто жаловались командиру полка офицеры и нижние чины.

Помню один случай, когда Андрюшка сильно рассердил командира полка. Командир приказал ему немедленно покинуть полк и выяснить положение с продовольствием в одном из батальонов. Андрюшка на приказ ответил:

– Я вправе управлять сам собой! Для этого дела есть снабженцы… – И дальше дополнил: – Вы, господин полковник, не мешайте выполнять мои обязанности.

Полковник приблизился к Андрюшке, впился глазами, закричал:

– На передовую марш, дармоед!

Андрюшка проворно вскочил, отдал честь. Скоро был в моём расчёте. Вокруг выло, гремело, фонтанами взлетала земля и человеческие тела, а он проворно подносил к пушкам снаряды, подмигивал моим солдатам и кричал мне:

– Он ещё пожалеет, что канцеляриста Высоцкого, истинного русского дьяка, оскорбил.

Несколько раз прибегал адъютант с приказом командира вернуться в блиндаж к командиру, но Андрюшка не покинул батарею, пока шёл бой. Вернувшись в канцелярию, он с вызовом заявил командиру:

– Ваше благородие, когда вы приказали мне отправляться на передовую, вы самоуверенно решили обойтись без меня. Это ваше заблуждение. Таких, как я, нет в нашем полку. Да и кто

вам будет рекомендовать умные мысли? Полковник Ляпин? Он – снабдитель оружия и провианта.

Полковник Владимир Васильевич был здесь же. И тут же отреагировал:

– Унтер-офицер Высоцкий, когда вернёмся домой, я велю вас принародно высечь!

На что Андрюшка ответил:

– Владимир Васильевич, вы не за понюшку табаку сдали управление Егорьевским золотым прииском… Неужели уверены, что в нашей Николаевской волости кто-то послушается вас и начнёт сечь писаря, награждённого наградами «За усердие» и «Анной» второй статьи? Пойдёмте лучше в мою каморку, и я вам посоветую, из какого полка нашего корпуса желательно насытить полк новым обмундированием. А с командиром мы поладим без посторонних.

Внучек, я видел, как побагровел Ляпин и в то же время примирительно проговорил:

– Будь ты, Андрей, на самом деле Соломоном, но субординацию соблюдай. Пойдём, я готов послушать твои соображения…

Писарь Андрюшка лебезил перед полковым врачом Смирновым. Он ему угождал. И как-то, откровенничая, заявил мне:

– Вот посмотришь, Никита Евсеевич, я свою дочку Веру отдам в жёны за Бориса Евгеньевича. И у меня пойдут внуки его благородия, врачи.

Тогда я посчитал это шуткой.

* * *

В конце ноября 1915 года митрополита Московского Макария пригласил император Николай Александрович.

– Мне передали, Ваша светлость, что вы отправляетесь в Сибирь, в Ново-Николаевск, – заговорил Николай Александрович после троекратного лобызания.

– Годы, Николай Александрович, годы. Намерен я просить паству позволить мне удалиться на покой. Монастырь облюбовал, дела кое-какие подвёл к итогам. В старцы иду, в монастырь святителя Николая на Угреше… После вашего посещения го-

рода Томска в девяносто первом году я много путешествовал по своей епархии. Весной девяносто второго года был в лесу, где ныне город Ново-Николаевск стоит. Выбирал место для храма Александра Невского. Потом навестил православных в селе Легостаево, затем в Никоново и в Маслянино заехал. Там рассказал мне молодой батюшка Никодим удивительную историю, будто с ним разговаривала икона чудотворца Николая. По повествованию отца Никодима, икона та старинного письма от времен Ермака в Сибири с правоверными христианами общалась. Пожелал отец Никодим передать икону крестьянину Никите Огнёву, но я попытался убедить его и матушку Александру, что место иконы в Архиерейском храме города Томска. Они не согласились. И только после пожара в городе, когда икона совершила чудо, не дала погореть дому Бальв в огне, матушка Александра передала икону Николая Чудотворца мне. А недавно списались мы с епископом Томским Анатолием. Поведал он мне, что в городе Ново-Николаевске заканчивают строительство часовни в честь Николы Угодника. Малый срок прошёл, как мы с вами, Ваше Величество, по железнодорожному мосту шли через реку Обь, а ныне зазвучал Ново-Николаевск среди городов российских. Предложил я епископу Анатолию икону ту, что передала епархии матушка Александра, поместить в часовне… Думаю отправиться без лишнего шума. Не митрополитом, а просто иноком хочу посетить любимые места, встретится с друзьями. Сопровождать меня будет только послушник Николай Бальва. Устал я от суеты и толчеи.

– Николай Бальва в приёмной? – спросил император.

– Да, Ваше Величество.

– Ваше сиятельство, Павел Емельянович, – обратился император к камер-советнику Кадыгробову, – пригласите послушника Николая к нам.

– Двадцать пять лет назад, ваше преподобие, – говорил между тем император, – мы были ещё молодыми. Я мог позволить себе флирт с дамами, краснел и терялся от их красоты, влюблялся… Как жаль мне отца Никодима…

В сопровождении Кадыгробова вошёл высокий худощавый монах.

– Ваше преподобие, извините. – Император поднялся, сделал несколько шагов навстречу монаху и протянул руку:

– Здравствуйте, Николай Никодимович.

– Здравствуйте Ваше Величество, – ответил монах.

– Давно я вас не видел. Прошу вас, присаживайтесь.

– Ваше Величество, – проговорил митрополит, – я оставлю вас с иноком Николаем…

– Нет, нет, – скороговоркой произнёс император. – Прошу вас, побудьте с нами. При вас я всегда как бы возвращаюсь в далёкий сказочный мир. – Он повернулся к Николаю: – Вы помните ли, как я вас маленького подбрасывал высоко-высоко? Матушка Александра в страхе глаза прикрывала. Вдруг уроню. Помните?

– Как не помнить, Ваше Величество. Если б и уронили, чему удивляться: мальцом я был упитанным, да еще в полушубке…

– Да, да… И шапка была лохматая, всё на глаза сползала. Я велю приготовить гостинец для матушки Александры. Передайте ей, пожалуйста, Николай Никодимович, с наилучшими моими пожеланиями. – Император улыбнулся, протянул на прощание руку. – Очень рад был повидать вас. До свидания.

Послушник покинул кабинет.

Император обратился к Кадыгробову:

– Павел Емельянович, вы приготовили то, о чём я просил?

– Всё исполнено, Ваше Величество, – ответил тот.

– Ваше преподобие, в дни нашего венчания с Александрой Фёдоровной щедрые и бескорыстные россияне прислали большое количество украшений. Недавно великая княгиня Анастасия Николаевна нашла среди подарков две пары одинаковых серёжек. Одну пару она взяла себе. Очень идут ей эти серёжки. А вторую пару, по секрету от Александры Фёдоровны предлагает мне, чтобы я подарил их Александре Борисовне. Князь Владимир Анатольевич Барятинский заверил меня, что большие перламутровые жемчужины, вкраплённые в серьги, очень похожи на те, что дарил мне в Индии вице-король маркиз Лэнсдоун. Его сиятельство вспомнил, что эти жемчужины я ещё в девяносто первом году послал Александре Борисовне. Я согласен с мнением князя Барятинского. Кем они были вкраплены в серьги, я не знаю. Однако мне доложили, что серьги

– подарок от егорьевских золотых дел мастеров. – Император сел напротив митрополита, коснулся его правой руки. – Могу вас попросить, ваше преподобие, помня нашу многолетнюю дружбу, преподнести от моего имени серёжки Александре Борисовне? Я думал поручить моим придворным это щекотливое дело. Мало знаю Александру Борисовну, но почему-то уверен: от них она не примет.

– Ваше Величество, не прогневайтесь: как великая княгиня Анастасия Николаевна узнала о семье Бальв?

– В моём потайном ларчике хранятся фотографии в память о той декабрьской встрече девяносто шестого года в посёлке Ново-Николаевском. Княгиня недавно призналась, что с детских лет тайно пробиралась в кабинет, открывала ларчик и подолгу любовалась матушкой Александрой и её сыновьями.

– Матушка Александра может и не принять ваш подарок.

– Вы уж постарайтесь, святейший.

…За матушкой Александрой приехал сын протоиерея Николая (Никольского) Вениамин. Тройка серых лошадей нетерпеливо подплясывала. Кучер еле сдерживал их.

С улицы Асинкритовской повозка с крытым кузовом свернула на Николаевский проспект и подкатила к дому протоиерея напротив храма Александра Невского. Встретил Александру Борисовну и повёл в дом благочинный Ново-Николаевских церквей отец Николай. Гости, окружив матушку Александру кольцом, разразились аплодисментами. Это был её первый выход в свет после трагической смерти отца Никодима. А прошло с той поры почти четверть века.

Чёрное бархатное платье ласковой волной окатывало её статную фигуру. Льняные волосы чуть проглядывали из-под крепа косынки. Гости, взволнованные столь неожиданной встречей, подходили к матушке поочерёдно. Мужчины целовали ей руку, а дамы прижимались к щеке. Александра Борисовна, тронутая вниманием, от которого отвыкла за годы одиночества, смущенно улыбалась; лицо её разрумянилось, а широко раскрытые голубые глаза, казалось, источали необычное тепло и магнетическую силу. «Само совершенство!» – воскликнул

бы художник. Ничего лишнего в линиях, горделивая осанка, степенность в движении.

За столом, с правой стороны, её ублажал вниманием купец Павел Данилович Маштаков, а с левой – митрополит Макарий. Улыбка не покидала её лица, и не одна светская дама подумала не без зависти в этот вечер: немудрено, что в молодости удостоил её вниманием сам Государь Император. Беседу она вела легко и свободно. Когда обращалась к митрополиту – выказывала знание старославянского, древнегреческого языков и латыни, а с купцом Маштаковым могла перемолвиться и по-французски, и по-английски…

Митрополит Макарий спрашивал:

– Матушка Александра, действительно ли вы держите пуховых коз, сами чешете пух, прядёте, вяжете носки и в большом количестве отправляете на фронт?

Она отвечала с улыбкой:

– Ваше преосвященство, я и вас могу научить прясть, вязать и даже красить шерсть в разные цвета за два урока.

Стоило, однако, кому-то заговорить о сегодняшних событиях, о переносе иконы Николая Чудотворца из храма Александра Невского в часовню, как улыбка покидала её лицо, а глаза печалились. Она не могла ещё до конца осознать, кто руководит судьбой иконы, самой ценной и дорогой для отца Никодима. Мигом в памяти пронеслись события. Разговор иконы с отцом Никодимом? В последние годы она полностью уверовала в то, что этот разговор был на самом деле. Чудесное спасение иконы Савелием во время Ново-Николаевского пожара? Так ведь не один, а десятки очевидцев подтверждали, что огонь до иконы Николая Чудотворца достиг, остолбенел и ушёл вверх. Вот и совсем недавно: кто «предусмотрел», что икону Николая Чудотворца из Томского архиерейского храма перенесут в вагон-церковь, где служит настоятелем именно отец Максим Бальва? И не кому-нибудь, а ему будет доверено преосвященнейшим Анатолием, епископом Томским, зачитать грамоту. И Максим прочитает: «Сия икона древняя и древнего письма». Кому, как не Ивановым, Щукиным, Огнёвым, Бальвам, знать об истинной её древности!

Гостей пригласили в танцевальный зал. Оркестр заиграл вальс.

Никита Евсеевич извинился перед опекающей его Евдокией Петровной, женой врача Иволина, и направился к матушке Александре. Та догадалась, что Огнёв идёт пригласить её на танец, поднялась. Павел Данилович тут же отодвинул её стул. Никита Евсеевич поклонился, приподнял согнутую в локте правую руку и галантно проговорил:

– Матушка Александра, позвольте пригласить вас на танец.

– Извольте, Никита Евсеевич…

Закружились в вальсе. После первых же шагов Александра Борисовна заговорила:

– Мне жаль, что не выполнила я волю отца Никодима, не передала икону Святителя Николая в вашу семью. Вы отсутствовали тогда…

– Не тужите, матушка Александра, а радуйтесь. Сегодня к светлому лику святого Николая припадала многотысячная семья православных чад. Я такое за всю свою жизнь вижу вторично. В пятом году в Харбине после подписания договора с японцами в храме Николая Чудотворца проходила служба. Тысячи наших солдат целовали икону Чудотворца, затепляли свечи за упокой товарищей своих, навечно оставшихся в чужеродной земле. Человек не вечен, память о нём вечна. Икона – наша с вами память. Дай Бог, чтобы молодые её унаследовали.

Ещё в середине 60-х годов старшее поколение наших земляков рассказывало мне, как выбирали почётных людей, кто будет нести икону, к коей, по преданию, касались ратоборец и великомученик Ермолай Тимофеевич, воевода и воин Яков Евстафьевич Тухачевский, первые казаки, кто отдали свою жизнь за береженье окраины России. И первыми несли икону не купцы первой гильдии, хотя многие из них уже были признаны почётными гражданами города, а доверили нести икону и обойти с ней храм благоверного князя Александра Невского каменщику нашего города строителю храма Ивану Покрышкину, плотнику, что рубил церкви Василию Сбоеву, Полному кавалеру Георгиевских крестов Никите Огнёву…

Пятьсот саженей от храма до часовни, а несли три с половиной часа. И мал и велик, горожане считали за высшее блаженство подойти по очереди к иконе, покрытой рушником, что был соткан руками почётной гражданки нашего города Марии Востоковой, и поцеловать икону. Торжественно менялись православные возле иконы, а следом за иконой шёл митрополит Московский Макарий, епископ Томский и Семипалатинский Анатолий Барнаульский, Омский, Бийский…

Возле домов Фёдора Маштакова, магазина Рукина, аптеки Кавнацкого, магазина Фоменко тянулись столы. На них пыхтели самовары, румянились шаньги и бублики, головками лежал сахар. Согрей душу чайком и отведай русское лакомство, православный!

И такая почесть иконе Николая Чудотворца была потому, что святого русские православные считали и считают покровителем в деле собирания Руси, расширения владений, укрепления Отечества.

Разве это не почитание?!

В селе Кривощёково храм, построенный в 1734 году, носил имя Святого Николая.

В селе Бугры храм, построенный в 1881 году, носил имя Чудотворца Николая.

В селе Толмачёво храм, построенный в 1885 году, носил имя Николая.

Да и в храме Александра Невского правый престол носил имя Чудотворца Николая.

Тот, кто предложил назвать наш посёлок Александровским, митрополит Макарий по старости ушёл в старцы и поселился в келии монастыря Николы-на-Угреше, под Москвой.

Вот документ, что писал о нашем земляке Макарии патриарх всея Руси Тихон 12 октября 1918 года, через три года после перенесения иконы Чудотворца и открытия часовни:

«Господин председатель Совета Народных Комиссаров.

Несколько дней назад я обращался в Совет Народных Комиссаров с особым посланием, в котором описывал тяжёлое положение нашей Родины вообще, и в частности, тот гнёт, произвол и беззащитность, коим подвергаются лица духовные

и верующие миряне. Ныне, как живое подтверждение моих слов, препровождаю вам (в извлечении) письмо ко мне бывшего Московского митрополита Макария, проживающего в Николо-Угрешском Монастыре. Свыше восьмидесятилетний старец подвергся не только ограблению, но и прямому физическому оскорблению со стороны лиц, вторгшихся в храм Божий с оружием в руках. Надеюсь, что власть имущие примут, наконец, меры к тому, чтобы прекратить подобные явления и не допускались впредь насилия над беззащитными людьми».

В конце документа дата: 12 октября 1918 г. Владимиру Ильичу Ленину».

Но этим не закончились оскорбления и мытарства старца Макария.

В бывшем Соловецком монастыре решили держать политических. А уголовников куда? Политических подальше от Москвы, уголовников поближе – в Николо-Угрешский монастырь.

И в одну ночь были насильственно изгнаны из монастыря все монахи вместе с нашим земляком Макарием. А в монастыре появилась коммуна уголовников им. Дзержинского № 2.

Я не виню бывших уголовников за то, что они так сделали. Виню ведомых, тех, кто ими командовал. А из бывших уголовников коммуны № 2 вышло много прекрасных граждан нашего Отечества. Один из них – Герой Советского Союза Борис Васильевич Самсонов. В романе «Император» он у меня идёт под своей кличкой – Самсон.

Мне посчастливилось неоднократно бывать в монастыре Николы-на-Угреше, осматривать и даже жить в бывшей келии митрополита Макария. И чувствовал: дух доброты и славы митрополита Макария не иссякнет в старинном подмосковном монастыре, а память о нём должна жить в сердцах сибиряков. «Мы будем гонимы, но не погибнем!»

– Вам часто пишет с фронта сын Василий? – спросила матушка у Никиты.

– Редко, матушка. И письма шлёт жене своей, Варваре, а нам только приветы передаёт.

– И мой Фёдор редко пишет. Скажите, Никита Евсеевич, если полковой священник получает Георгиевский Крест, что это значит?

– Отличился батюшка храбростью. В бою проявил мужество.

– Уж не ранен ли он?

– Нет, – быстро ответил Никита Евсеевич. – Раненому священнику, если он проявил отвагу во время боя, дают орден. А Фёдору вручили медаль. Знать, жив и здоров.

Банкет подходил к концу. Матушка Александра успела пообщаться с дамами, поприветствовать почётного (потомственного и личного) гражданина Ивана Клементьевича Пименова и с нетерпением поглядывала в угол, где, обособившись от других, оживлённо беседовали о чём-то Борис Евгеньевич Смирнов, отец Василий (Посельский) и Никита Евсеевич. Матушка ждала, когда Борис Евгеньевич, наконец, подойдёт к ней, и они смогут отправиться домой. Но никто не желал расходиться. Кучка фронтовиков, не обращая внимания на присутствующих, громко запела: «Дело было у Артура…»

Матушка заинтересовалась мелодией и направилась было по направлению к поющим. Но её взял под руку его преосвященство Макарий и увлёк к дверям кабинета благочинного. Отец Николай шёл следом.

– Друг мой, – обратился митрополит к благочинному, – не будешь возражать, если мы с матушкой Александрой оккупируем твой кабинет?

Матушка Александра уловила, как митрополит умел отделять своё личное отношение к ней от того, к чему его обязывало положение. В его движениях, разговоре присутствовали скромность, сдержанность, сердечность и мягкость.

В кабине митрополит заботливо усадил матушку на диван, присел рядом.

– Матушка Александра, Его Величество Николай Александрович просил передать вам подарок – усерязь.

Матушка покраснела. Тихо начала:

– Ваше высокопреосвященство, я не могу принять подарка. – Откашлялась и продолжила. – Что люди обо мне, вдовству-

ющей матушке, скажут? Не пожелала из-за малых деток уйти в монастырь. А под старость лет надевает на себя драгоценности… Если дарит августейший, таких, конечно, нет в самых богатых домах Сибири… Поблагодарите Его Величество от моего имени, за великую доброту его, за память. Подарок покорнейше прошу вернуть.

– Матушка Александра, мне ли вас учить? Есть обычаи, не нами заведённые. Как можно отказываться от благодати? Это даже не дар августейшей семьи – вам, любезная матушка Александра, милость оказана самим Государем Императором…

Его преосвященство приподнялся, прошёл к двери, приоткрыл её. На пороге появился настоятель Вознесенской церкви отец Гаврила (Лебедев) с небольшим свёртком в руках.

Митрополит взял свёрток, слегка кивнул головой и вернулся к матушке. Протягивая ей свёрток, произнес, как бы извиняясь:

– Ежели что не так, не мой грех. Я выполнял волю Его Величества.

Матушка вышла из кабинета бледная, растерянная. Подошла к отцу Николаю и, сославшись на усталость, попросила, чтобы её отвезли в дом Смирнова. Ждать Бориса Евгеньевича было бесполезно. Ветераны русско-японской войны, не допуская к себе никого, глушили водку и горланили песни. Не отставала от мужчин и щупленькая матушка Мария. Каждую рюмку она сопровождала фразой:

– Васенька, твою рюмку половиню. Тебе половина, мне половина. За Никитой Евсеевичем и Борисом Евгеньевичем не угонишься. Они ж пропитаны кровью и спиртом.

Служанка Марфа помогла матушке раздеться. Обычно быстрая на движения, сегодня матушка переодевалась медлительно, двигалась тихо, не отрывая взгляда от свёртка, который лежал на трюмо.

Марфа прибрала платье, поправила подушки, одеяло. Поклонилась и ушла.

Матушка дождалась, когда закроется дверь, села к трюмо, осторожно развязала бант, развернула свёрток. Почувствовала,

как вздрогнуло всё её тело и тяжело забилось в груди сердце, переполненное кровью. Взгляду её предстал маленький серебряный ларец, отделанный замысловатым узором.

– Господи! – произнесла в волнении матушка. – Это же тот сундучок, что делал Никита.

Она сдвинула замочек, подняла крышечку. И почувствовала головокружение.

В сундучке на алой шёлковой подушечке покоились золотые серёжки с перламутровым жемчугом.

– Никита! – вскрикнула матушка Александра.

В дверях появилась Марфа.

– Изволили звать, матушка Александра?

– Никита Евсеевич ещё не прибыл?

– Нет. Как появится, попросить пожаловать к вам?

– Не надо. Ни в коем случае. – Она умолкла. Ещё раз посмотрела в сундучок. – Передайте Савелию Дмитриевичу, что мы немедленно едем домой.

– Матушка, на дворе ночь. Морозно.

– Домой! Домой!

Через два дня вечером в деревне Пеньково домохозяева в количестве тридцати шести человек долго ругались, смеялись, курили, громко и шёпотом вспоминали, когда и в каком доме играли в самодельные карты, изготовленные Климом Огнёвым: и в дурака, и в поддавки, а Клим и Филончин – в вист.

В шестидесяти километрах от Пеньково, в селе Залесово Савелий по предложению матушки Александры прятал ларец с подарком императора в сундуке.

Далеко за полночь пеньковские мужики по очереди подходили к столу писаря и в конце полуисписанного листа, где Филончик показывал пальцем, кто ставил крестик, а кто неизвестную для пеньковских грамотеев букву. Когда все тридцать шесть домохозяев оставили свой автограф, Филончик прочитал:

«Приговор девяносто пятый. От двадцать первого декабря тысяча девятьсот пятнадцатого года. Пеньковского сельского схода.

Мы, нижеподписавшиеся, Томской губернии, Барнаульского уезда, Маслянинской волости, Пеньковского сельского общества крестьяне – домохозяева, быв сего числа на сельском сходе в присутствии нашего старосты Шмакова в числе 36 человек, что составляет при общем числе домохозяев 54 человека ? голосов – выслушали циркулярное распоряжение господина Томского губернатора от 26 июня 1915 года за № 16362 относительно прекращения в нашем селении азартных картёжных игр и сборищ для таковых игр, посоветовавшись между собой, постановили: азартные картёжные игры и сборища для таковых в нашем селении сим приговором запретить, и в сучае обнаружения таковых виновных привлекать к ответственности. В чём и подписываемся...»



Глава десятая

Исповедь маслянинского отшельника

Моя невестка пошла грабить магазин Красавы. Знаю, у невестки есть золото. Посоветовал:

– Варвара, поезжай в Барнаул или в Ново-Николаевск. Сдай часть золота, что есть у тебя. Поддержи семьи солдаток.

– Не могу, – стальным голосом ответила она.

– Почему? Зачем оно тебе? Если ты сердцем болеешь за голодающих, прояви жертвенность.

– Тятька мой говорил использовать это золото только в случае большого государственного горя.

– Дочка, – наседал я на неё, – у тебя мысли и дела расходятся. На подготовку к своей свадьбе ты потратила почти сто золотников россыпи. Это для себя. Можно. А солдаткам, у которых голодают дети, нельзя. А смерть детей – это не государево горе?

– Отец, не смей обвинять! Я их заработала! – Так грубо она не обращалась ко мне.

– Красава тоже заработал, – не отступал я.

– Обманом! В два, в три раза повышая цены на необходимые товары. Никогда больше не напоминай про золото. Оно не моё. Я чту жизнь и смерть моих родителей. Помню последние слова моего отца.

* * *

Исповедуясь, Пелагея шептала:

– Не знаю, батюшка, что и думать… Грешна я, старая… Видно, не доглядела… Сноха у меня принесла внучонка. Радость большая, да не похож он на мово сына Василия: глазки голубенькие, носик с горбинкой, брови прямые, ленточкой, ротик маленький, губки тонюсенькие… И по времени не сходится.

– Чаду господнему, что появилось на свет, радуйся, – прошептал отец Евгений. – Сомнения всякие выбрось из головы. Младенца окрестили?

– Окрестили, батюшка, окрестили. Отец Максим крестил… Я-то всё понимаю, отец Евгений, но совладать с собой трудно… И не гулящая она у нас, строго себя держит, а вот получилось…

– Каким святым именем окрещена твоя невестка?

– Так Варварой, Варварой, батюшка.

– Щукинская что-ль?

– Да, батюшка.

– А на какой святой день внучек родился?

– На день святого Иоанна.

– Не сомневайся, Пелагея, в своей невестке. Щукинские девицы и невестки всегда строго блюдут честь.

Дома благочинный поинтересовался у матушки Юлии, когда покинул село племянник старосты Михаил Кадыгробов, кто возил племянника в Ново-Николаевск. А на следующее утро отправил урядника в дом Артемихина, чтобы немедленно привести для выяснения причины непосещения храма и отказа от исповеди. Узнав, что Аристарх Артемихин уже полгода на фронте, благочинный расстроился, но ещё больше уверовал, что мысли его направлены по верной тропке. И впервые за последний год он без подсказки матушки вспомнил про сына Бориса. И где-то в глубине души появилось чувство неудовлетворённости, что сын-то, хотя и знаменитый врач в городе, а как мужик – не в него. Растяпа.

Осенью тысяча девятьсот пятнадцатого года маслянинцев «почистили». Прошла реквизиция продовольствия и фуража для армии. И хотя пеньковцы усиленно прятали хлеб, затягивали

сознательно обмолот, в деревню прибыл наряд полиции. Хлеб, овёс пришлось сдать.

В середине ноября спустилась на пеньковскую землю зима с буранами, метелями, сильными морозами сковало всё. К новому, тысяча девятьсот шестнадцатому году, во многих семьях наступил голод. Люди на глазах менялись. Часто по пустякам возникали споры, которые переходили в драки. Каждый день в деревню приходили старухи, старики, дети. Они Христом Богом просили подаяния.

Перед отданием праздника Сретения господня в Пеньково приехал священник Евгений. Он обошёл всю деревню. К дому Никиты Огнёва пришёл в сопровождении старосты Ивана Ивановича. Уставший, он сел на лавку и попросил подать ему на руки ребёночка. Долго, внимательно рассматривал, гладил, целовал. А восьмимесячный карапуз держал благочинного за бороду, ручонками бил по губам, улыбался. Евгений подумал: мог быть и моим внуком, если бы сын умел не только резать и зашивать больных, а и посмелее действовать с красавицами.

Шмаков вышел из волостной избы и прямиком направился в сторону церкви. Савелий разлил по стаканам кагор, вместо закуски насыпал на стол сухие просвирки. Выпили. Шмаков подал Савелию сложенный лист.

– Прочти помедленнее, Савелий Дмитриевич, а то там, – он махнул рукой, – в управе, я больше смотрел, чтобы Варвара не бросилась на Красаву и не задушила его. Если б ты видел, как её красивое личико темнело и зверилось. А глаза? Глаза округлились и вылупились. Я её за руку схватил, как клешнями сдавил, и шептал: «Варварушка, доченька, сынок Ванюшка тебя ждёт… А бабы-солдатки не оставят в беде, да и зажиточные соберут… ну, читай же! Что остолбенел?

Савелий развернул лист.

«Пеньковскому сельскому старосте. Решением Николаевского волостного суда, состоявшегося двадцатого апреля тысяча девятьсот шестнадцатого года, определено: крестьянку деревни Пеньково Варвару Огнёву за нарушение тишины и по-

рядка на улице подвергнуть аресту при каталажной камере Волостного правления на трое суток и взыскать за разбитые двери и разграбленную лавку просителя Аристарха Красавина четыреста восемьдесят пять рублей, а обвиняемую от наказания освободить, потому как сам потерпевший просит.

Решение вошло в законную силу и подлежит исполнению в течение десяти дней.

Потому и на основании сто тридцать девятой статьи общего Положения и Крестьянской двадцать девятой статьи временного права волостного суда, предлагаю вам решение это немедленно привести к исполнению.

Николаевский волостной старшина Кадыгробов.

Волостной писарь Высоцкий».

Савелий сложил лист и подал в руки Шмакову. Иван сунул бумагу за пазуху, впился в Савелия.

– Ну, чё, Савелий Дмитриевич, телеграфируй «благотворителю», надо Варвару спасать. А то через десять дней начнут описывать имущество. Вдумайся, описывать и на торг выставлять имущество самого Никиты, друга мово и героя.

Савелий сел на лавку. Оглядел Шмакова, перекрестился.

– Я что-то вас не пойму, Иван Иванович, о каком вы благотворителе гуторите?

– Савелий Дмитриевич, перестань. Я с рождения от тупых мыслей отошёл. Впервые в люльке поднялся, а тятька в это время скалкой на мамоньку замахнулся. Я в его сторону как закричал: «Замертвись!» Тятька с мамкой пали перед люлькой и давай креститься, да бить пол лбами. Меня ведь, Савелий Дмитриевич, поди слышал, с того момента ни дома свои, ни на улице чужие, окромя как Иван Иванович, не кликали. А потому, как всё вижу, всё секу и на всё имею свои суждения. И тебе говорю, чтоб всё было ясно, на будущее. Я знаю: и кто благотворитель, и по какой причине, и где живёт, и кем работает. Даже знаю, ради кого ты на воровство картины шёл… А жадный ты, Савелий Дмитриевич. Мог бы водочки налить. И не проявляй душевное беспокойство; мои потаённые мысли и познания у меня в котелке под большим замком. Даже с другом Никиткой не делюсь. В затруднениях бываю: всегда ли

откровенность пользу приносит. Потому больше шутками отделываюсь, боюсь ненароком загадить добрые порывы души. Благодарствую за угощеньице… Получишь деньги, так ты не жадничай, на остаток купи семенного зерна и развези по нашей деревне, по солдаткам. Сев начался, а в некоторых семьях ни пудика в амбарах…

Вечером того же дня Борис получил телеграмму из Маслянино: «Варвара разгромила лавку Красавы. Суд присудил взыскать с неё четыреста восемьдесят пять рублей. Савелий».

Смирнов возмущался. Ходил по кабинету и разговаривал сам с собой.

– До каких пор это может продолжаться?

– Ты что-то сказал, Боренька? – В дверях показалась Марфа.

– Возмущаюсь, нянечка. Варвара меня загонит в сумасшедший дом. Каждый год что-нибудь, да выкинет…

– Боренька, без страданий любовь – баловство.

– Я не брал на себя обязательства каждый год выручать её…

– А ты и не выручай, и не помогай. Ты же любишь её, вот и будь душевно с ней.

– Нянечка, миленькая, прости. Я возмущаюсь, а сам перебираю друзей, у кого занять деньги. Я, наверное, уже не смогу жить без сюрпризов Варвары. Понимаю: её заставили обстоятельства пойти на разгром лавки. Больные мне часто жалуются на трудности с продуктами, перебои в выдаче пособий…

– У меня, Боренька, в сохранном месте на худой день тридцать рублей… – Она посмотрела на книжную полку, вынула шестой том Глеба Успенского. – Здесь у тебя двести восемьдесят рублей…

– Я их туда не клал.

– Это я сберегла от покупок. Время военное. А ты в деньгах понятия не имеешь. Не хватает двух сотен. Сходи к благочинному Николаю. У него и деньги есть, и к тебе благосклонен…

Покинув сто сорок шестой сводный эвакуационный госпиталь, Борис пожаловал домой к благочинному Николаю (Никольскому). Тот, не церемонясь, отчитал пришельца.

– Что за воспитание? Если стал знаменитым врачом, так принимай его в любое время. А у меня своё неотлагательное дей-

ство. – Он показал на диван. – Сам виноват. Сиди в одиночестве.

Благочинный писал:

«Прошу полицейское управление города Ново-Николаевска объявить Авдонкиной Варваре Тимофеевне, проживающей по улице Александровская, дом шесть, что вызывается мною в мою квартиру на двадцать второе августа сего года для пасторского увещевания вследствие нарушения брака прелюбодеянием.

А также жена коллежского секретаря Таловского Ксения Ивановна, проживающая по улице мостовая, дом семнадцать.

И Тищенко Анастасия Даниловна, прелюбодействующая с мещанином Василием Яковлевичем Саватеевым. Анастасия проживает по улице Кривощёковской, дом двадцать один.

Убедительно прошу на двадцать третье августа сего года пригласить в мою квартиру почётного гражданина города Ново-Николаевска, купца первой гильдии Петра Алексеевича Радюкова и Софью Фёдоровну Радюкову, до замужества Маштакову. И мещанина Алексея Никифоровича Архипова, проживающего по улице Томской, дом два. Для пасторского увещевания как двоеженца, вследствие предписания Томской духовной консистории. О. Николай Никольский».

Благочинный передал письмо матушке для передачи служанкой в полицейское управление и подсел к Борису.

– Можешь ничего не рассказывать. Я всё знаю. Тебе нужны деньги. – Он повернулся к матушке и, подмигнув, предложил: – Принеси нам по чарке вина.

– Нет, дорогой мой. Я велела накрыть стол. – И чуть показала кончик красного язычка.

– Мы с Борисом Евгеньевичем не возражаем. – Благочинный взял правую руку Смирнова. – Сколько операций проводят эти руки?

– Когда как. Сегодня только одну.

– Борис, напоминаю: займами не проживёшь. Богат не будешь. Сегодня порадуешься, что я тебе дал, завтра заплачешь, что пришлось отдавать.

– Без проповеди можно. В прихожей видел вашего сына

Вениамина. Хорошо смотрится в шинели. Будущий генерал. А руки у него не хуже моих. Только я своими оперирую, а он своими должен играть…

– О, ещё один провозвестник.

– Кто первый?

– Был до тебя отец Василий (Посельский). Сам так бросил пастырство и бежал на русско-японскую, и не пожалел божественную красавицу Марию, сговорил с собой. А тут, на твоём месте сидел и меня упрашивал, чтобы сын мой не ходил в маршевую роту. А если сын желает за Отечество постоять, почему я должен препятствовать? Сколько просишь?

– Двести рублей.

– Почему не пятьсот?

– Кто осведомитель?

– Твой отец. Предупредил, что не стоит поддерживать твои выдумки, через благотворительность изменить нравственность крестьян…

– А вы?

– Скажешь пятьсот, дам пятьсот. И с сегодняшнего дня буду считать, что ты сто рублей мне уже вернул. Я всегда готов благословлять тебя на все порывы твоей души. Хотя ты и не ходишь на исповедь, не причащаешься, безразличен к церковной службе, душа твоя, Боренька, истинно русского православного человека. Умоляю, не принимай за обиду отцовские попытки предуведомить, оберечь тебя. Благотворительные дела не всегда откликаются добротой.

Отправляя деньги в Маслянино, Борис поймал себя на мысли, что по всей вероятности не выдержит до осени. Месяца за три рассчитается с благочинным – и к родным. И сам ужаснулся. Перед глазами не выплыли образы отца, матери, братьев, сестёр. Вместо них он видел растерянное лицо Варвары.



Глава одиннадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Шёл ноябрь шестнадцатого года. Я лежал за своей перегородкой и корчился от боли. Осень всегда обостряла мои раны. Неожиданно меня обдало холодным воздухом. Я знал: в этот ранний час женщины управляются в хлеву. Ты, Ванюшка, спал на бабкиной кровати. Я поднялся. Взял посох, с трудом вышел из-за перегородки. В проёме двери стоял Савелий Дмитриевич. Он осматривал книжную полку.

Увидел меня, снял шапку, низко поклонился. Ласковым голосом заговорил:

– Никита Евсеевич, прошу прощения, что побеспокоил вас. Мне велено, если вы не возражаете, отвезти вас в город. Врач Борис Евгеньевич беспокоится о вашем здоровье и желает подлечить. На сборы даётся десять – пятнадцать минут.

Пришли в дом женщины. Начали готовить стол, но Савелий остановил их:

– В Никоново нас ждут батюшка Василий и матушка Мария. Они также приглашены для осмотра и лечения.

Я сложил в вещмешок запасные кальсоны, рубашку. Надел китель, полушубок. Вышел из избы.

Женщины последовали за нами. За воротами я обнял Пелагею, затем Варвару. Невестка мне говорила:

– Ты, папа, не беспокойся. Не торопись домой. Лечись. Я обещаю вести себя хорошо.

Я полез в повозку с крытым кузовом. От удивления расширил глаза. Скороговоркой проговорил:

– Ба, вертоград! Откуда такое неуважение?*

Борис не смотрел на меня. Он пожирал глазами женщин.

Я толкнул Бориса в грудь:

– Здравствуй, дружище! Подвинься.

Он не отреагировал на моё приветствие. Я толкнул его ещё раз:

– Ты пьян? – спросил я. – Пожалуйста, дай мне местечко.

Я повернулся к женщинам, чтобы попрощаться. Они стояли рядом с повозкой и следили за действиями Савелия. Он неторопливо подтянул супонь хомута, поправил колокольчик на дуге, поправил седёлку. Дважды перебросил вожжи справа налево. Услышал голос Варвары:

– Савелий Дмитриевич, ты в доме выразил поспешность и отказался от угощения. Сейчас время тянешь…

И тут изнутри кузовка послышался волнительный голос:

– Савелий Дмитриевич, спасибо… Поехали…

Я повернулся на голос. Борис склонил голову мне в полушубок. Всю дорогу до Никоново ехали без слов.

В доме Посельских хозяева устроили Борису расспрос:

– Ну, хвались! Не разочаровался? – спрашивал отец Василий.

– Такая же красивая, желанная? – не дожидаясь ответа, допытывалась матушка Мария.

– Ты всё скрытничал? – опять разведывал отец Василий.

– Ты же обещал нам поговорить с ней! – наседала матушка Мария.

Я вмешался в разговор:

– Вы это о ком? О Вере Высоцкой?

– О ней, о ней, Никита Евсеевич, – с волнением в голосе говорил отец Василий. – Только чую, нам с тобой, Никитушка, на свадьбе не придётся гулять…

– Васенька, – перебила мужа Мария, – напредки не загадывай: Бог даст.

У меня, внучек, вылетело:

– Наталья мне говорила, что Андрюшка в обиде на тебя,

* Вертоград – лекарь.

Борис. В храме на мою невестку взоры бросал… И противником был…

Матушка вскочила, подбоченилась. Даже ростом вытянулась. И на меня с криком:

– Ты что плетёшь, Никита?

Я, старый дурак, продолжил:

– Наталья и про фату напомнила, и про карету…

– Господи! – взмахнул руками отец Василий. – Лучше бы Наталья молчала, чем говорила. Машенька, разливай по рюмочкам. Давай за негласную встречу осушим по фронтовой…

Отец Василий первым поднял рюмку. Мария перекрестилась:

– Боренька, милый, мы всё передумали. Живи не как хочется, а как Бог велит.

Матушка с батюшкой потянулись с чоканьем к Борису.

Я, обидевшись, прогундосил:

– Я тут как бы ни при чём. Призываю в свидетели присущего Бога! Мои фронтовые друзья скрытничают от меня… – Помолчал. – В какое-то серьёзное дело не посвящают… За покойника признают. – Я повернулся к молчащему Савелию. – Ты, звонарь, – честный человек. К тебе они тоже с чоканьем не потянулись. Ну, выкладывай: что это ты надумал перепрягать лошадь возле мово дома? Что это Борис не впускал меня в повозку и отстранял от себя, чтобы не загораживал ему видимость моей усадьбы? И за что тебя благодарил Борис?

Савелий склонил голову. Я посмотрел в лицо Бориса. У него в глазах росились слёзы. Посельские замерли.

– Да-а, – протянул я, – верно отец Никодим говорил: у вас в жилах течёт не только русская светлая, открытая кровь, но и тёмная, с потаёнными мыслями татарвы.

Я поднял рюмку, выпил и ушёл в горницу. Встал на колени и отдал душу и тело молитве. Молитвословием погасил обиду на друзей.

В тот день и вечер мы говорили обо всём, но Высоцких не вспоминали.

Ночью пели. Вспоминали военных друзей. Подшучивали друг над другом.

Перед сном скучковались возле моей лежалки и долго говорили, как они любят меня и желают здоровья.

В городе Ново-Николаевске, в доме Посельских топилась печь, пахло только что проскобленными и помытыми полами. Из поварни расстилался запах наваристых говяжьих щей. Нас встретил Степан – приёмный сын Марфы. Он подрос. Поставил на стол готовый самовар, сладости. Чётко проговорил:

– Мама Марфа скоро будет.

Незаметно ушёл.

Борис сел напротив меня.

– Ты, Никита Евсеевич, не обижайся. Жить будешь у Посельских. – Посельские кивнули. – Мой дом превратился в постой для раненых офицеров. Не я один такой… Война многих заставила посмотреть на себя другими глазами…

Рудольф Шалль передал свой дом по улице Вокзальной под военный лазарет. Яков Левин покинул свой дом на Обском проспекте (ныне Комсомольский проспект), передал его под госпиталь. Самуил Самсонов отдал свой дом под местный лазарет. Фёдор Маштаков разрешил занять его дом по улице Асинкритовской под госпиталь. Мой друг Николай Туркин перевёл инвалидному дому на Николаевском проспекте (ныне Дом офицеров) тысячу рублей. Многие, многие… А с фронта всё везут и везут раненых. Каждый день оперирую. Честное слово, признаюсь, плохо поступил: на время сбежал в Маслянино навестить своих… Младшие чины, солдаты не выражают неудовольствия, а офицеры с большими претензиями. У меня их в моём доме пятнадцать человек. Беру самых слабых. В доме не под ранеными только Марфушина каморка и мой кабинет. Стёпке в моём кабинете поставили кроватку. И Марфуша, и Степан – мои помощники. Они готовят офицерам обеды, кормят, перебинтовывают, проводят процедуры, что предписываю больным.

Тебя и матушку Марию лечить будет Анна Алексеевна, моя медсестра. Она имеет буйный нрав. Её единственную выгнали из университета за грубость и высокомерие. Все процедуры, которые будет предписывать, не ставь под сомнение. По глазам твоим увидит твоё недоверие к её методу лечения – обругает. Может и бранными словами.

Я соглашался с Борисом – время тяжёлое. Какая мне разница, кто будет меня лечить: свирепая тигрица или зазнайка Борис? Сомневался в другом: почему уже второй год Борис не допускает меня в дом, который купил ему Туркин? Пока мы ехали в Ново-Николаевск, он хвастался, что имеет самый лучший хирургический инструмент, а мне не показывает? Говорит, что в городе слишком много раненых, а меня не приглашает в помощники? В госпитале Владивостока на каждую операцию приглашал. А здесь? Возможно, сомневается, что я после стольких лет болезни разучился? А я с большим удовольствием принял бы его приглашение.

Вечером к Посельским пожаловала худая высокая курносая женщина лет двадцати пяти. Грубо спросила:

– Кто Никита Евсеевич?

Я поднялся.

– Мне передал Степан, что баня натоплена. Пойдёмте.

Господи, что за женщина! Она мыла меня всего! Всего! На мои возражения показывала кулачок. Несколько раз парила, обливала холодной водой и внимательно осматривала всё моё тело. Потом уложила меня на лавку и начала ощупывать тело.

Внучек, я такого чуда не встречал. Анна своими длинными нежными пальцами ощупывала почки, печень, перебирала брюшную череву в поисках телесных изъянов. Прощупала и задний проход. Она надавила на поперечную мясистую перепонку, отделяющую грудную полость от брюшной. Полезла в лунку пупа. Я подумал: «Там-то что искать?»

От Анны услышал:

– Ты, дед, перестань вмешиваться в мою работу.

Недовольный её репликой, ответил:

– Я не вмешиваюсь, я подумал…

– Дай мне распознать и определить твои болячки. Думай про невестку Варвару и внука…

Анна Алексеевна каждый день лечила нас. От меня переходила к матушке Марии. А от неё ко мне. В этой худой курносой недоучке сочеталось всё: и ум, и интуиция, и природный дар.

Через две недели мы с матушкой Марией свободно ходили по городу и наслаждались тем, что чувствовали себя превосходно.

К этому времени вдова Анна Васильевна Рейхзелигман передала свой дом в Закаменской части под лазарет. Учитывая, что врач Смирнов ежедневно занят в городской больнице, возглавляет врачебный консилиум и ведёт безвозмездно приём ветеранов войн, Городская дума решила: офицеров, лечащихся в доме Смирнова, перевести в лазарет Анны Васильевны. Надеялся, уж в этот раз Борис пригласит меня в свой дом. Но приглашения не поступило.

На девятое ноября наметили моё возвращение домой.

Восьмого гуляли.

Анна Алексеевна не отходила от Бориса. Стоило ему что-то пожелать, она в то же мгновение бежала выполнять каждую прихоть.

Посельские оставались в городе. Савелий нашёл мне попутчиков, двух врачей, которые направлялись служить в маслянинскую лечебницу. Это были Михаил Павлович Ястребов и Александр Ананьевич Бердышев.

Девятого утром мы заехали в Закаменскую часть к дому Полевик. Лекари с чемоданчиками нас ждали.

Вот, внучек, как меняется время. До девятьсот четвёртого года на четыре волости – Никоновскую, Егорьевскую, Елбанскую и Маслянинскую – был один фельдшер Ананий Петрович Бердышев. Он обслуживал Егорьевский прииск.

В 1904 году в Маслянино появился свой «фершель» – Тюрин. Он должен был обслуживать три волости с населением в тридцать тысяч человек.*

А сегодня в повозке со мной сидели два врача – выпускники не какой-то военной фельдшерской школы, как Тюрин, а Томского университета.

Я попросил Савелия проехать по Телеграфной улице (ныне Кирова), пересечь речку Каменку по новому мосту и остановиться возле храма Александра Невского. Удивился, когда пере-

---

* «Томские губернские ведомости» № 40 за 1904 год писали: «Имеющий звание военно-медицинского фельдшера Моисей Яковлевич Тюрин, согласно прошению, допускается к временному исправлению должности маслянинского участкового фельшера, Барнаульского уезда».

секали улицу Александровскую (ныне Серебренниковскую. – Прим. авт.). Всюду кучковались чем-то недовольные женщины. Они шумели, ругались, кого-то проклинали…

Мы еле пробрались к храму. Я предложил попутчикам пройти со мной в храм. Они отказались. Я плохо подумал о них. Потом передумал.

Мой друг Борис, его друзья, врачи Новицкий, Платонов… индеферентны, как любит говорить Борис, к религии.*

Я вошёл в храм Александра Невского. Перед кафедрой стоял благочинный Николай. Он провозглашал:

– Третий год идёт великая война, война за правду Божию, за свободу народов.

Сколько горьких слёз пролито, сколько пламенных молитв вознесено к Творцу Вселенной во дни тяжких испытаний нашего Отечества. И Господь Бог не оставляет нашей Родины без своего небесного покровительства. Настоящая война, по свидетельству непосредственных участников её, переносящих все ужасы и невзгоды, ведётся под особым покровительством Божественного промысла, Божьей Матери и Святых Угодников – наших заштитников – и вся наполнена проявлением чудесной помощи свыше.

Кто из нас не знает, например, о чудесном явлении Божьей Матери на небе под Августовым, о чудесном видении Креста в Кутаиси или о чудесном перемещении мощей русского святого Иоанна из Турции в Россию для благословления русского оружия и обратного возвращения их в Турцию?

Современная война даёт массу героев-мучеников, которых мы никогда не можем забыть, ведь они отдали свою жизнь за честь и целостность нашей Родины, за наши святыни, за наше благополучие, за наше общее счастье, за нашу жизнь.

Вечная память пусть будет наградой этим почившим героям – мученикам…

---

* Индеферентны – безразличны.

И тут в храме раздался громкий женский голос:

– Батюшка Николай, там, на Гудимовской (ныне Коммунистическая. – прим. авт.) и Воронцовской (ныне Свердлова. – Прим. авт.) ногайками бьют солдаток, конями топчут… Бабы! Айда на помощь солдаткам!

По храму пронеслись тревожные голоса. Страшно оживились прихожане. Видел: у многих, даже у старух, глаза засверкали. Волнами зашевелились прихожане.

Началась давка. Верующие устремились к выходам. Я оказался подхваченным женщинами и мужчинами и почти вынесен на церковную площадь. Я не шёл, не бежал, а словно пушинка перенесён был в гущу свирепых женщин на Воронцовскую улицу. Вокруг сыпались ругательства. От дома Молчанова с гиканьем рысью летели на лошадях жандармы. Слева от дома Машкова наседали на толпу вооружённые полицейские. Улицы и Старобазарная площадь поднялись единым голосовым дыбом. Я видел, как на толпу, в большинстве женщин, устремились полицейские. Они врывались в гущу и били ногайками всех подряд, мордами лошадей сбивали с ног. Вокруг трешало, звенело, ревело; по булыжным улицам сверкали разными цветами ручейки, озёрца из рассыпанных крупы, муки, сахара. Одна баба кричала мне в лицо:

– Смотри, отец, как нас благодарят за то, что мы мужей отправили на бойню…

Вторая схватила меня за полушубок и шипела:

– Мой погиб, а у меня пятеро. Слышишь, дед, пятеро…

В первой шеренге женщин, которые приняли на себя удары, я увидел необычно одетую женщину, точнее сказать, девушку, непохожую на других – в зипунах, демисезонных пальто, в поддёвках. Она стояла, как заворожённая, показывая всем, что она ничего не боится. Её беличья голубая шубка ниже колен облегала стройную фигуру, беличья пепельная шапочка, не подвязанная голубой лентой, открывала прядь её седых волос. Она звонким голосом призывала:

– Женщины, не отступайте! Бейте жандармов!

Повернувшись к полицейским кричала:

– Вы кого бьёте? Жён, матерей! Подумайте, кто вас будет отпевать, молитвословить, поминать? Присмотритесь! Нет ли в толпе ваших сестёр, невест?

Полицейские смутились. Для них оказалось необычным видеть среди плохо одетых баб нетрусливую барышню. По правую сторону стояли молодые мужчины с вещмешками. Видно, призывники.

Вижу, девушка повернулась в их сторону и, почти надрывая голос, закричала:

– Мужики! Вы что ротозейничаете? Жандармы готовы растоптать ваших матерей, а вы? Матери вас родили! Защищайте их!

Внучек, призываемые барышней, как я потом узнал, новобранцы из сельских мест заколыхались, побежали к ней, по пути хватая всё, что попадало в руки. Другие выворачивали булыжники из мостовой, вырывали камни из фундамента строящегося Дома науки.

В полицейских полетели не только плевки, ожесточённые ругательства, оскорбления, но и предметы.

Господи, внучек, как страшны и неуправляемы бывают бабы! Стоило барышне в голубой беличьей шубке протянуть правую руку в сторону уздечки лошади, на которой сидел жандарм, как десяток женских рук потянулись к жандармам. Они хватали их за ноги, за руки, не страшась ударов, вырывали нагайки.

Полицейские под натиском баб и новобранцев стали отступать. Барышня исчезла из виду. Неужели её сбили, втоптали? Осмотрел площадь и невольно вскрикнул:

– Василий! Сынок!

Да, да, на правой стороне площади, внучек, я видел, как в гущу толпы, расталкивая всех, пробиваясь, махая руками, приближался к полицейским твой отец, скуластенький зеленоглазый мой сын Василий. Подумал: показалось, призрак.

И тут совсем близко раздался приказ:

– На плечо! Пли по бунтарям!

Я узнал голос полицмейстера Висмана.

Многократный выстрел прокатился по улицам и площади.

В воздухе зажужжали пули. Несколько женщин и новобранцев повалились на булыжную мостовую.

У баб вылупились глаза. Бабы увидели лежащую с выпученными глазами-тарелками мёртвую, завопили и от страха побежали на солдат.

Душераздирающий рёв, зычные, раскатистые голоса заполонили всё. Полицейские сомкнулись. Исподлобья взглядывали на полицмейстера. Вновь прогремел приказ. Огненная вспышка окутала толпу. Возле меня оказались благочинный Николай и священник Гаврила. Николай спросил у меня:

– Ты в кителе? При крестах?

– Да, – ответил я, недоумевая.

– Сними полушубок. Пойдём вперёд, на жандармов. Остановим убийство.

Я стянул полушубок. Гаврила взял его в руки. Благочинный, толкая меня в спину, выдавил меня из толпы навстречу жандармам, поднял крест и крикнул:

– Рядовичи, остановитесь! Умоляю, остудите свой гнев. Жандармы, не палите в баб, детей. Не от хорошей жизни они возмущены…

Ему не дали досказать своё духовное слово. Полицмейстер приказал стрелять. Раздался залп. Из первой шеренги бунтующих упали трое.

Возле меня и благочинного появилась барышня в голубой шубке. Она кричала:

– Солдаты! Жандармы! Отступите! Дайте женщинам и новобранцам разойтись по домам. Просим вас мы: благочинный Ново-Николаевских церквей Николай, прославленный герой русско-японской войны Никита Огнёв и я, врач Макарова…

Солдаты карательного отряда и жандармы опустили свои винтовки. В это время полицмейстер достал револьвер и, размахивая им, приказал стрелять в толпу. Хаотично прогремело несколько выстрелов.

Ко мне прибился Савелий. Неведомо, как ему это удалось. Схватил меня за рукав кителя, заорал:

– Никита Евсеевич, айда из этого ада! Ты же болен! Надо домой…

– Уйди! – крикнул я. – Не могу спокойно видеть, как наших баб бьют. Что получается?! Их мужей там, на фронте, немец бьёт! Их жён, солдаток – наши. Приказываю: беги, Савелий, вези попутчиков в Маслянино! Мой вещмешок передай Пелагее … Я сам доберусь…

Я вырвал рукав и остолбенел: всего шагах в тридцати стоял скуластый мой Васька, твой отец. Ошибся? Он же на фронте! Наваждение…

– Ва-си-лий! – крикнул я. И услышал голос твоего отца. Он в солдатской форме призывал бросать камни в полицмейстера и его окружение. Полетели камни. Висман упал. Упал и пристав. И в это же время грянули выстрелы в сторону новобранцев. Повалился сын мой и ещё несколько молодых парней. Я бросился расталкивать толпу, устремился к сыну. Упал. И помню, как спину мою и голову утрамбовывали в булыжники. Густой мрак охватил мой мозг.

Очнулся. Возле меня сидел священник Гаврила. Площадь пуста. Дворники подметают её. В мешки собирают помятые кастрюли, тряпьё, кусочки сахара.

– Что, закончилась бойня? – спросил я

– Да, – ответил отец Гаврила, – всех развезли. Ранены двадцать пять женцин, семнадцать юнцов. Досталось и жандармам. Полицмейстеру в трёх местах пробили голову, приставу перебили руку. Ещё с десяток жандармов пострадали…

– А мой сын? Василий?

– Никита Евсеевич, ваш же сын на фронте!

– Я его видел здесь. Видел в солдатской шинели. Его ранили. Он упал!

– Ошибка, Никита Евсеевич. Из солдат карательного от-

ряда есть четверо раненых. Но под фамилией Огнёв покалеченного нет. Вам показалось. Пойдёмте, я вас провожу в дом Посельских, а сам навещу все госпитали и лазареты. Если он действительно был на площади, я обещаю вам, найду его.

В доме отца Василия я, помню, разделся. Прошёл в горницу, упал перед божницей и почувствовал, как моё сердце отказалось ритмично стучать.

Сколько суток пролежал без сознания, не знаю. Когда открыл глаза, увидел курносую Анну. Она подала спадобницу, наполненную жидкостью, и улыбнулась. Оказывается, эта девчонка умеет улыбаться. После ощупала и прослушала меня. Поставила три укола. И давай бить по щекам!*

Я с возмущением:

– Ты что, девка, белены объелась?

Она мне с вызовом:

– Дед, это твой друг чего-то в Маслянино объелся, а точнее, пересмотрелся. Картину осматривает, а живого человека, кто рядом, не видит. Выиграла я, дед, у него пари. Ты ещё лет сорок проживёшь. Заверяю: все раны затянет. Сердце в ритм вошло… Как у молодого стучит. Слышишь, дед, велено тебе передать: сын твой Васька дома, в деревне… И надо же было тебе наметить свадьбу на четвёртое июля…

– Да ты что, девка… Да, я завидую твоему мастерству. Таких чувствительных пальцев, как у тебя, по всему городу не сыщешь. Но я тебе не давал повода так вести разговор… Благодарю за лечение. А свой трёп оставь при себе.

Ворвалась в горницу матушка Мария. Она с порога крикнула:

– Анна Алексеевна, Никита Евсеевич болен!

– Поверьте моему слову: он и меня переживёт, – ответила она.

---

* Спадобница – аптечная склянка.

Анна ушла, но видел в её глазах слёзы.

Узнал я от Посельских, что против бабьего бунта 9 ноября участвовал карательный отряд солдат и жандармов в количестве 800 человек. Арестовали 87 женщин и призывников. Женщины самовольно в лавках и магазинах забрали продовольственных товаров на 100 тысяч рублей. Сорок пудов сахара и семь пудов колбас. Винно-водочный магазин Фёдора Машта-кова был открыт, но ни одна бутылка не исчезла.

Фёдор Данилович смеялся: наверняка мне стоило стоять в дверях магазина и приглашать бунтующих женщин или вручать каждой по бутыли. А как стыдно! От меня требуют акт ущерба. Голова Беседин готов возместить мои потери. А что писать?



Глава двенадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Вернулся в деревню. Радуюсь! Эта грубиянка Анна Алексеевна сотворила с моим телом чудеса. Иду по деревне твёрдым шагом. Совершаю встречным низкий поклон и бодрым голосом желаю здравия. Иван Иванович идёт на шаг от меня, бормочет:

– Ты, Никита Евсеевич, с Васькой – сыном покруче, покруче… он без тебя задумал до истины докопаться про рождение твоего внука. И, шалопай, к кому правду пошёл узнавать? К Красаве… Тот и наплёл ему что-то. Васька пришёл домой – и с кулаками на Варвару! Ты сам понимаешь, что было. Варвара одним взглядом успокоила Ваську. А Красаву в его лавке так избила нагайкой, что тот приполз ко мне и написал жалобу. Я его похвалил. Наметил день, когда приглашу потерпевшего и ответчицу. Ушёл он от меня довольным. Да через полчаса прибежал и потребовал жалобу свою обратно. А я смеялся. Уходил он от меня с синюшным лицом и не хромал. А прибежал кособоким и хромоногим. Узнал: Красава твоей невестке давал слово, что жаловаться не пойдёт. А пошёл. Встретила она его и заявила:

– Ты своё слово не выдержал. Плохо. А я своё слово всегда держу…

Я зашёл в прикалитку. Сын рубил дрова. Почувствовал, что кто-то на него смотрит, повернулся, подбежал, обнял. И не спрашивал меня о здоровье, о дороге, начал с вопроса:

– Отец, как это почти десять месяцев сын-то мой в утробе созревал?

Я оттолкнул его от себя.

– Жена твоя самостоятельная. Спроси у неё. Она тебе всё расскажет. Если задумаешь разборки творить, то знай: в огнёвском дворе тебе никогда не быть.

* * *

После утомительного субботнего дня, когда на приёме у Бориса Евгеньевича побывало более десятка пациентов, Анна Алексеевна объявила забастовку. Она сняла халат, повесила на вешалку, легла на диван и, будто сама себе, спокойно проговорила:

– Хватит, господин доктор. Я объявляю забастовку и не поднимусь до тех пор, пока вы меня не поцелуете или не заверите, что примете себе помощника.

Борис Евгеньевич посмотрел на неё, но не на продолговатое белое лицо и дугообразные брови, а на синее платье, прикрывающее острые коленки, на её чувствительные молодые руки.

Он подошёл к ней, опустился на колени и уловил в глазах молящую, плачущую надежду. Он склонил голову, а его медсестра, приподняв свою, прильнула к нему своими розовыми губами и потянула к себе, будто мешок.

Медсестра прижимала его к себе, теребила, выражая этим сердечную истому и желание. Он холодно подставил губы и думал только об одном: «У Василия кончился отпуск. Что-то не заехал на обратном пути. А я его просил».

Поцелуи медсестры были всё жарче и жарче, и он, Борис, сам стал осознавать, что загорелся этой наслаждающей истомой.

Он прижался к ней, к живому человеческому существу, и ему стало лестно, что он в объятиях преданного человека. Медсестра отбросила руки, прикрыла веки, а грудь, высоко поднимаясь, всё толкала и толкала на гибель и торжество безгрешного Бориса и девицу Анну.

Они не помнили, кто из них двоих был инициатором решающего падения, но он принял твёрдое решение: пусть не сегодня, а завтра он обязательно поговорит с Анной обо всём прямо,

как между собой говорят врачи, и какое она примет решение, так и будет.

Утром, прежде чем поговорить с Анной, он отправился в редакцию газеты «Голос Сибири» и дал объявление, что примет в свою клинику за плату по договорённости врача, сдавшего государственный экзамен или окончившего университет.

После редакции он не смог поговорить с Анной, так как в приёмной клиники его ждали Николай Туркин и протоиерей Николай Никольский.

Дружки были навеселе, перебивая друг друга, рассказывали, как хитро обстряпал Туркин этого богатого мукомола Кадыгробова.

– По миру он у меня пошёл, слышь, спаситель мой, по миру, – обнимая Бориса Евгеньевича, с улыбкой кричал Туркин.

– А куда деваться? Мельница, когда работает? Когда пшеничка есть. Нет её – и мельницы нет, подпевал Туркину Никольский.

– Но и это не всё, милый ты мой. Посылал я своего приказчика в Кисловодск – дачку подобрать. Да я тебе об этом на Новый год говорил. Присылает он мне сегодня телеграмму, что купил за двести тысяч рублей у самого Кадыгробова. Ха-ха-ха. Значит, мельницу к рукам прибрал и дачку. А сейчас поехали! Поехали и никаких разговоров! На дачу поехали!

– Куда? – Сморщив лоб, спросил Борис Евгеньевич.

– На дачу!

– В Кисловодск?

– А что, благочинный, может быть, и вправду, не в Сосновку, а в Кисловодск двинемся?

– Не время, дети мои, в Кисловодск не время, а в Сосновочку хорошо!

Борис Евгеньевич не стал возражать, он натянул на себя шубу, перевернул табличку «Доктор в отъезде» так, что она каждому бросалась в глаза, и пошёл за Туркиным.

Прохожие, пока они добрались до саней, низко кланялись, целуя руку благочинному и вежливо, с уважением, здоровались с Николаем Алексеевичем и Борисом Евгеньевичем. У дружков вид был степенный, важный. И не подумаешь, что они минуту

назад дурачились, как гимназисты, в прихожей Бориса Евгеньевича.

На даче Туркина гуляли. Здесь был весь свет города: городской голова Беседин, полицмейстер Висман, предприниматель Винокуров, владелец магазина Второв, наш герой Борис и запевала Николай (Никольский).

А на скором поезде в Москву в отдельном купе ехали двое: Прохор Емельянович Кадыгробов и его сын Михаил Прохорович.

– Туркин думает, что меня обвёл вокруг пальца, но он глубоко ошибается. Это я провёл самого Туркина и время. Через несколько дней мы будем в Бельгии, а там, Бог даст, и капитал пристроим. Чую, России скоро не будет…

– Как приедем, я, отец, в университет пойду.

– Нет, сынок, ты со Степаном в Россию вернёшься.

– Зачем это?

– Долгое время егорьевское золото скупали Капитонов и Сковородин, но кроме них ещё двое. Я и мой брат Семён. Поровну мы с ним делили золото. Я своё золото в оборот пускал, а он на нём сидел. Никому не показывал, никуда не пускал. Вернёшься, посмотри у него на пасеке, в доме, в баньку загляни. Глядишь, и найдёшь. А золота должно быть не менее, как полпуда. Вот и приедешь с ним в Бельгию.

– Отец, у меня сын растёт.

– Сын – хорошо, береги сына.

Только через три дня Борис Евгеньевич, удобно усевшись в кабинете, сказал:

– Анна, давай поговорим, как нам дальше жить и работать.

Анна, промывая склянки, вздохнула и полушёпотом ответила:

– Зачем пустые разговоры? Вчера приходила дама по объявлению. Вы давали объявление?

– Да.

– Вот и весь разговор. – Она подошла к нему, поцеловала его в лоб. – Борис Евгеньевич, вы не для меня. Вам нужна другая.

Вот хотя бы та, что сегодня вечером придёт. Вам нужна жена-красавица. А то, что у нас произошло… Я так хотела! Всё, милый доктор, всё! Но я ей не завидую. Спать будете с ней, а смотреть на картину, что висит на стене.

В шесть часов вечера потемнел город. В прихожую тихо постучались. Анна Алексеевна была рядом. Она, ещё рассерженная тем, что не то сказала, не так поговорила с Борисом, всё скомкала и, как дура, только и сказала, что всё, не надо, жена-красавица нужна. Открывая дверь, буркнула:

– Что это вы так робко стучите? Не окажись я рядом, так и не услышала бы.

– Простите, это от волнения (на самом деле это была привычка многолетней подпольной работы. – *Прим. авт.*).

– Проходите, Борис Евгеньевич вас ждёт.

Девушке в беличьей голубой шубке ниже колен, в пепельной шапочке и с муфточкой тоже из беличьих пепельных шкурок на вид было не более восемнадцати лет. Она сняла шубку и, оставшись в одном розовом костюме с белым шарфиком, походила на актрису. Черты её лица настолько были правильными, что, посмотрев ещё раз на неё, Анна почувствовала к ней неприязнь и необъяснимую ревность.

– Трюмо налево.

– Оно мне не нужно.

«Какая самоуверенная в своей красоте, – подумала Анна, – краля с дипломом».

Девушка поправила причёску, и Анна Алексеевна с удивлением разглядела у неё в висках седые волосы. «Что это она так рано поседела? Жила в достатке. Это видно по туалету. Я бы в таком костюме только раз в год на людях появлялась».

Анна открыла дверь и с порога громко произнесла:

– Борис Евгеньевич, к вам пришли-с.

Девушка посмотрела на Анну своими большими голубыми глазами, прищурила один глаз, но ничего не сказала.

Борис Евгеньевич поднялся с кресла, подошёл к девушке, поклонился, поцеловал руку и пригласил к столу. Сам сел напротив.

– Я прочитала объявление в газете.

– Борис Евгеньевич Смирнов!

– Ах, простите. Клавдия Степановна Макарова.

– Где учились?

– В Томском университете. Вы знаете, нам, студентам, о вас так много говорили профессора, что я, как только прочитала объявление – немедленно к вам…

– Далеко живёте от клиники?

– Очень близко. На Колыванской. У знакомых.

– Клавдия Степановна, не хочу дальше играть спектакль. Если мы с вами не встречались, то это не значит, что я ничего не знаю о вас по слухам. Вы служите терапевтом в госпитале при доме Самуила Самсонова. Отзывы о вас замечательные. В чём причина, что вы откликнулись на обьявление?

– Нуждаюсь в дополнительных средствах.

– В городе имеются частные терапевтические клиники Иволина, Горизонтова, Каплан, Крапинской, Полянского…

Каждый из них с радостью примет вас.

– Я желаю специализироваться в хирургии. А практику получить у вас, Борис Евгеньевич.

– Но, позвольте, почему? Совсем недавно открыл частную клинику хирург Фарфанов. Со мной вместе работают в городской больнице хирурги Востоков, Диц…

– Я хочу к вам.

– Двести рублей в год. На это жалование вы согласны?

– Я и мечтать об этом не могла…

Борис Евгеньевич поднялся. Поднялась и Клавдия Степановна. В душе у неё застрял ком обиды: «Сухарь ужасный. Хоть бы раз посмотрел на меня. Всё смотрит куда-то вбок, на какую-то мазню - картину».

– Завтра в одиннадцать.

Второго марта в одиннадцать часов состоялось более подробное знакомство. Макарова была поражена первым приёмом и беседой. Борис Евгеньевич спокойно, не как вчера, нежно улыбнулся, предложил чаю.

– Я с детства, Клавдия Степановна, привык пить чай, и потом, с кем бы меня судьба не сводила, все любили чай. А вы как? Что предпочитаете?

– Макарова посмотрела в его серые глаза, и их взгляды встретились.

– У нас дома любили пить чай, но я предпочитаю кофе.

«Неплохо на первый случай, – подумал Борис. – Льстить не будет, свою точку зрения всегда защитит».

– Расскажите немного о себе. Простите, я не из любопытства, нам с вами работать…

– Я понимаю и готова…

Анна принесла на подносе чай, печенье и поставила на стол.

– Анна Алексеевна, наша коллега предпочитает кофе. Попросите приказчика Второва, чтобы он нам выделил отменного кофейку.

– Хорошо, Борис Евгеньевич. В приёмной ждёт солдат…

Поднимаясь, Борис Евгеньевич с волнением спросил:

– Какой солдат?

– Тот, кто жил у вас в ноябре прошлого года, помните, такой… – она хотела сказать «скуластый», и она бы сказала, но при этой крале…

– Борис Евгеньевич скороговоркой извинился перед Макаровой, прикрыл картину голубой материей и быстро вышел из кабинета.

В приёмной, разглядывая себя в зеркало, стоял Василий. Он увидел Бориса Евгеньевича и покраснел.

– Вот, второй раз вижу такое большое зеркало и всё думаю: как это его таким смастерили? – Он отошёл от зеркала и посмотрел на взволнованного Бориса Евгеньевича, подумал: «Неужели он?» А сам сказал:

– Мать моя, Пелагея Семёновна, и жена Варвара, и отец Никита Евсеевич, и сын Иванушка передали вам большое спасибо и поклон.

Он поклонился.

Борис Евгеньевич взял его за руку и с улыбкой произнёс:

– Полно, Василий Никитич, здравствуйте!

– Ох, а я и забыл поздороваться…

Они пожали руки. Борис Евгеньевич ввёл его в кабинет и громко произнёс:

– Дамы, знакомьтесь, это мой земляк Василий Никитич Огнёв. Анна, снисходительно скривив губы, поздоровалась, а Макарова подошла к солдату, протянула руку и крепко пожала.

Борис Евгеньевич снял с Василия шинель, повесил её прямо на чистое полотенце, отчего у Анны что-то ёкнуло в груди. Посадил на своё любимое место, а сам сел рядышком на диване.

– Ну, рассказывайте, как там?

Василий стеснённо сидел в кресле, опустив глаза.

– Так рассказывайте, рассказывайте, – теребил его Борис Евгеньевич.

– По-видимому, крестьянам трудно? – Спокойно спросила Макарова.

– Трудно, трудно, – повернувшись к ней, заговорил Василий. – Зажиточные мужики по осени, когда хлеб дешёвый был, поскупали весь, а сейчас втридорога продают. Трудней всего семьям, у кого мужья воюют. Варвара, так по весне прошлого года бунт устроила: у Красавы всю лавку бабы разгромили.

– Смелая она у вас, – сказала Макарова.

– Да уж, смелости-то не занимать. Да что толку? Судили её.

– Судили? – возмущённо произнесла Макарова.

– Судили. Да ещё как! Судьи-то кто? Те же кулаки. И присудили ей выплатить четыреста восемьдесят рублей.

– Как же бедненькая она? – с тревогой спросила Макарова.

– Да люди добрые помогли. А то бы ведь всё описали, даже лохань помойную.

– Да, люди у нас хорошие, всегда из беды выручат… Но бунт ничего не даст… Бабы побуянили, разграбили, а с них ещё больше взяли. Ведь так?

– Это верно! Варвара говорит, если всё посчитать, рублей на двести будет, что по домам растаскали. А он что написал? Четыреста восемьдесят…

Борис Евгеньевич был удивлён, как просто Макарова разговаривает с Василием, заметил, что Анна сидит и украдкой зевает в свои длинные пальцы.

– Я пойду, велю Марфе обед приготовить.

– Да, да, Анна Алексеевна, не забудьте водки, шампанского.

– Время буйное, крестьянам нужна грамота, – как бы себе сказала Макарова.

– И это верно, – поддержал её Василий. – Не поверите, я с Варварой два года не виделся. Приезжаю, а она мне ни слова о хозяйстве… Обычно ведь как: кто отелился, опоросился… Кто свадьбу сыграл. А она одно – меня встречает и говорит: «Война эта, Вася, грабительская, империалистическая», – посмотрел на Макарову, на Смирнова. – Подумал: «Что-то я разговорился, а её-то совсем не знаю. Она красивая. С ней просто. И, видно, понимает нашего брата».

Макарова продолжала:

– Уже и наши женщины-крестьянки начинают понимать, что к чему. Свершится революция, все за учебники сядут.

– Верно, верно, революцию надо. Наши солдаты только об этом и говорят.

– А вы сами как?

– Я-то? – «Вишь, опять в душу лезет». – Я-то что? Как все, так и я. – И он скосил глаза на Смирнова.

Борис улыбнулся.

– Революция – это ломка старого. Сломают всё, а вместе со всем и мою клинику разграбят.

– Нет, нет! – быстро произнёс Василий, – ломать этого ничего не надо. Людей лечить всегда надо. Я так думаю, что это всё может и остаться, а царя – долой! Почувствовав, что зашёл слишком далеко, он поднялся.

– Вы что поднялись, Василий Никитич? – спросил Борис.

– Надо итить.

– Я вас никуда не пущу. Поужинаем, а завтра я вас сам отправлю.

– Так билет надо?!

– Всё будет: и билет, и всё.

Подёргивая плечом, вошла Анна.

– Борис Евгеньевич, к вам слуга городского головы, господина Беседина пожаловал.

– Ах, как некстати. Что у него там?

– Внучка больна больнешенька.

– Уважаемая Клавдия Степановна?

Анна помрчнела, насупилась.

– Хорошо, я готова.

– Как у вас?

– Не беспокойтесь, Борис Евгеньевич, я была лучшей ученицей у профессора Недолюбова.

– Поезжайте, мы вас будем ждать.

– Борис Евгеньевич, ведь там ждут вас, – с вызовом произнесла Анна.

Он посмотрел на почерневшее и злое лицо Анны и сказал:

– Клиника Смирнова вправе любого врача отправлять по вызову. Только мне потом Клавдия Степановна расскажет, что с внучкой и что предписали.

Мужчины остались вдвоём.

– Вы смотрите на меня, Василий Никитич, с загадочным выражением. Вы хотите о чём-то меня спросить?

– Я… Я… Да…

– Спрашивайте. Если я знаю, рад буду ответить вам.

– Подарки всем оказались впору…. Он смотрел на Бориса с мольбой и тревогой.

– Я, Василий Никитович, не Кадыгробов. Я Смирнов. А о том, что у Варвары родился сын, мне сообщил Савелий Дмитриевич.

Борис Евгеньевич подошёл к шкафу, открыл дверцу, достал шкатулку, вынул оттуда несколько писем. По цвету конверта отобрал одно и протянул Василию.

– Почитайте.

Василий увидел, как потемнело лицо у Бориса Евгеньевича, он весь сделался серьёзным, жёстким.

– Я не умею читать, – сказал Василий. – Извините, я вас обидел.

– А Варвара умеет читать?

– Да, умеет. Я и забыл сказать, она очень хорошо читает.

– Я рад за неё и за вас, Василий Никитич.

– Скажите, а кто такой Кадыгробов? – спросил Василий и вспомнил своего штабс-капитана.

– Его нет в городе. Он уехал на днях в Бельгию.

– У нас командовал ротой разведчиков господин Кадыгробов.

– Да? Он и есть.

Василий поднялся.

– Разрешите, господин доктор, закурить?

– Кури, кури, и заверни мне, я ведь не умею…

Василий завернул две козьи ножки. Одну протянул Борису. – Достал из кармана кресало.

Борис остановил его рукой, а сам крикнул:

– Анна Алексеевна, будьте так любезны, пепельницу и спички.

Придвинулся к Огнёву:

– Василий Никитич, – произнёс тихо, душевно, – между нами должна быть ясность.

– Я вас вспомнил, Борис Евгеньевич. Это вы были в Маслянино в тот день, когда мы с Варварой венчались. И я на вас подумал, когда Иван…

Вошла Анна, поставила на стол хрустальную пепельницу и подала спички Василию. Когда увидела в руках у Бориса Евгеньевича самокрутку, охнула.

– Принести папиросы?

– Нет, не нужно. Помогите Марфе Кирилловне.

Анна поняла, что её выпроваживают и быстро ушла, плотно закрыв за собой дверь.

– В бою ранил меня Кадыгробов, – произнёс Василий и покраснел.

– Не может быть!

– Он! Мы остались живыми в том бою трое: Аристарх, Кадыгробов и я.

– Вы говорили кому-нибудь об этом?

– Нет. Я был удивлён. Он ведь у нас считался членом солдатского комитета и так красиво выступал. Всегда за свободу, за равенство. А я всё думал: почему он меня ненавидит? Теперь всё ясно.

Борис затянулся самосадом. Раз, другой – и отложил самокрутку в пепельницу.

– Как Иванушка, сынок?

– Мальчишка шустрый. Меня с первого дня: «Папа, папа». Я, правда, дома немного побуянил…

– Что?

– Да пошумел дома чуточку. Красава меня…

– Кадыгробов мне в этом кабинете всё рассказал. Всё! Сидел там же, где вы сидите.

Василий быстро поднялся.

– И вы!

– Я имел право только отхлестать его по щекам и выгнать, что я и сделал.

– Так, значит, это вы дали Савелию Дмитриевичу пятьсот рублей?

– Почему вы так подумали?

– Деньги передал Варваре Савелий Дмитриевич. А откуда у него такие деньги?

– Только не говори ничего Варваре Ивановне…

– А вы, если что со мной, не обижайте её…

Борис Евгеньевич, как ошпаренный вскочил с дивана.

– Да вы что, Василий Никитич! Они стояли друг перед другом и смотрели в глаза. Борис Евгеньевич не выдержал и отвёл глаза.

– Что-то долго Марфуша с обедом возится, – сказал он.

– Я неграмотный, Борис Евгеньевич, но я нутром чувствую человека. Вот здесь, – он показал на сердце, – кто-то сидит и говорит мне: это – враг, это – друг, этот тебя любит, этот – ненавидит, этот – ревнует. Вы любите Варвару и полюбили её тогда, в саду в церкви. Когда я вам сказал: «Нехорошо так смотреть на чужую невесту, сударь». Вы и школу организовали в Пеньково специально. Дали поручение учительнице каждую среду с Варварой заниматься.

Он достал кисет, закрутил новую козью ножку и, затягиваясь, сказал:

– Вот и думал я на вас. И Варвару доводил… Извините, по глупости я, а не по нутру… Только у меня к вам просьба: пока я живой, не встречайтесь с Варварой, не надо…

– Василий Никитич, я никогда ничего предосудительного не сделаю.

– И я так думаю. Но Варвара – женщина. Он хотел сказать: «Когда я ей намекал на вас, сказала: «Если бы он»».

Вошла Марфа и с порога ласковым голосом пропела:

– А у меня ужин готов.

Увидела Василия и проворно подошла к нему.

– Солдатик-касатик, Василёк-мужичок! Вот для какого барина я старалась! Если б знать, что ты, я бы ещё и пирог с клюквой испекла. Да и то ладно, в обиде не будешь, а завтра я тебе всё что могу приготовлю.

Василий стоял возле неё и лицо его, словно солнышко, расплылось в улыбке.

– Да я и не проголодался. Поди, от жены возвращаюсь.

– Ну, от жены, не от жены, а стол накрыт. Боренька, а кто ещё пятый будет?

– Моя помощница. Клавдия Степановна Макарова.

– Это та, в голубой шубке?

Борис Евгеньевич кивнул.

– Серьёзная уж очень женщина. Опасная.

– Марфа Кирилловна, мы задержимся минут на десять, пятнадцать. Подождём её.

– Хорошо, хорошо, а я пока для солдатика постельку приготовлю.

– Я и на вокзале переночую.

– Так уж и на вокзале. Да Борис Евгеньевич вас ни в жизнь не отпустит. Он у меня сколько дней спрашивал: «А не приехал ли Василий Никитич»?

Макарова пришла раньше. Раздеваясь, она сообщила, что ничего страшного, и не стоило родителям беспокоиться.

За столом все вели себя просто и непринуждённо. Анна, довольная тем, что Макарова села по левую руку от Василия, а она оказалась по правой стороне, рядом с Борисом, успокоилась и вместе со всеми шутила над Марфой, которая изо всех сил старалась перекормить Василия.

Когда Марфа стала разливать чай и кофе, Макарова снова увлекла на свою сторону Василия. И они заговорили о войне, о положении русской армии на фронте, о работе армейских комитетов

и о многом другом, отчего у Бориса наступили минуты какой-то необъяснимой неприязни к своей новой помощнице. Больше всего эта неприязнь появилась от того, что не даёт она ему поговорить с Василием и расспросить его о жизни в Пеньково. Хорошая ли учительница, готовит ли она Варвару к немецкому языку? Он же специально просил Савелия подобрать такую учительницу, чтобы она знала в совершенстве один из трёх иностранных.

В приёмной послышался звонок. Анна вышла из-за стола. Спустя некоторое время она вошла в гостиную и недоумённо сказала:

– Там несколько мужчин спрашивают какую-то Катерину.

Макарова, отчего-то волнуясь, быстро поднялась и произнесла:

– Позвольте мне выяснить, что за Катерину они ищут?

Она вышла. В гостиной стало тихо. Томительно прошла минута, вторая.

– Может, мне выйти, а? – спросил у Бориса Василий.

– Нет, лучше я, – поднимаясь, сказал Борис.

В прихожей четверо мужиков окружили Макарову и слушали её. Она говорила приказным тоном о каких-то адресах, называла какие-то фамилии. Увидев Смирнова, сказала:

– Простите, Борис Евгеньевич, у меня неотложные дела. Идите в гостиную, я через минуту буду.

Он сделал поклон мужчинам и вошёл в гостиную.

Действительно, не прошло и минуты, вошла Макарова. Все удивились, как она изменилась. Василий даже встал. Она с высоко поднятой головой подошла к столу и, опустив кулачком правую руку на стол, произнесла:

– Товарищи! Позвольте поздравить вас! Свершилась революция. Царь отрёкся от престола. Власть перешла к временному правительству.

Приподнялись все.

– Василий Никитич, откройте шампанское, – обратилась Макарова к Василию.

– Я не умею.

Борис Евгеньевич взял со стола бутылку и быстро отвернул проволоку, Марфа Кирилловна поднесла ему фужеры. Пробка

стукнулась о потолок. Борис Евгеньевич разлил шампанское. Макарова подняла фужер.

– Ещё раз поздравляю вас с победой. Но не с основной.

Она выпила без остановки фужер вина. Все последовали за ней, словно загипнотизированные.

– Борис Евгеньевич, я вынуждена покинуть вас на время, а вам, Василий Никитич, предлагаю немедленно возвращаться не в полк, а к себе в Пеньково. Делайте то, что я вам советовала. До свидания!

Она поклонилась и вышла из гостиной… Василий, словно копируя Макарову, так же сделал поклон и пошёл к дверям. Но Борис Евгеньевич остановил его.

– Сегодня вы уже не уедете. Завтра утром! Идёмте в кабинет, я с вами кое о чём хочу поговорить.

Пока в кабинете Борис ведёт с Василием разговор «кое о чём», поближе познакомимся с Клавдией Степановной Макаровой.

Родилась Макарова в 1892 году в городе Пермь. Отец её с образованием ниже среднего служил в то время санитаром при Александровской больнице, а мать Нина Семёновна, женщина хрупкая и болезненная, помогала ему своим трудом – шила «на людей», воспитывала четырёх дочерей. Мать имела свидетельство об окончании четырёх классов ещё существовавших тогда прогимназий. В доме из всех углов торчала нужда. Отец любил выпить и был несдержан, крут нравом. Мать свою Клава помнит плохо. Осталось в памяти только бледное, худое лицо, большие глаза и тонкая, костлявая рука, изредка гладившаа её по голове. О чём разговаривала с ней мать, как относилась к ней – ничего не запомнила.

В пасмурный осенний день 1895 года при родах мать скончалась. А сестрёнка, пятая, её и назвали в честь матери Ниной, осталась жить. В дом нагрянули родственники. Приехала бабушка – мать умершей, приехали тётки – сёстры умершей и разобрали детей. Клаву взяла бабушка и увезла к своему сыну.

У дяди для Клавы было всего вдоволь, не хватало только тёплого участия и материнской ласки. У неё было много игрушек, хорошие платья и шубки, картинки и лаковые книжки, но всего этого ей было недостаточно.

Когда у дяди появились дети, Клава часто плакала, видя, как их ласкают и нежат. Бабушка по-своему воспитывала её, за непослушание драла розгами, за добрые дела читала ей книжки. Клава радовалась, когда у неё накапливалось много хороших дел, тогда она садилась на диван и слушала. Бабушка научила её вязать, штопать бельё, надвязывать чулки. Она же сделала из Клавы аккуратную до мелочей и расчётливую до минуты в коротких сутках барышню.

Бабушка стала учить её грамоте с четырёх лет по своему методу «Буки, из-ба и т. д.», а когда ей исполнилось шесть лет, отдала её в школу, где Клава ученицей не числилась, а только получила разрешение учительницы сидеть за партой и слушать.

В тот год отец женился во второй раз. Служил он тогда писцом в управлении Пермской железной дороги. Мачеха работала учительницей. Она настояла, чтобы Степан Иванович взял к себе всех пятерых детей. И вот спустя четыре года все пять девочек съехались в новое жильё. Клавдия отвыкла от отца и сестёр.

Мачеха ей не понравилась. Она наотрез отказалась оставаться в этом чужом для неё доме. Но строгий взгляд отца и настойчивость мачехи покорили её. Она осталась. С плачем она провожала бабушку, с ненавистью смотрела на мачеху, которая, как ей казалось, разбила всю её жизнь.

Долгое время Клава не сближалась с мачехой и сёстрами, не хотела слушать мачехины наставления и не понимала её добрые намерения. Но мачеха (тётя Даша, потом мама Даша, а потом уже и мама) вся ушла в новую для неё семью: старалась сблизить сестёр, смягчить нрав отца, поддерживать семейный уют. Она учительствовала в селе Лядах, это в тридцати верстах от Перми. Там поселилась и вся семья.

Если первое время Клава страшно не любила мачеху, то когда стала ходить в школу, то смягчилась, так как сидела за партой на уроках мачехи. Правда, это было редко, многое изменилось. Учитель, с которым занималась Клава, не позволял пропускать уроки.

В классе учителя царила железная дисциплина, чувствовалась подавленность какая-то и злость. Дети часами простаивали на коленях возле стола Ивана Петровича и не смели поднять

глаз. Каждый думал, о чём ему хотелось, а не о том, что навязывал им он. Она часто вспоминала, как стояла «на ногах» и с любопытством и ужасом рассматривала громадное ухо учителя и поражалась тому, как много в ухе волос и чёрных точек.

Мачеха, видя что из её учения в школе ничего не получается, взяла из второго отделения и стала сама готовить в гимназию. Клава упрямилась, оскорбляла мачеху, своими капризами доводила до слёз. Но терпеливая и настойчивая тётя Даша блестяще подготовила её в первый класс пермской Александровской гимназии. Ей приходилось вставать в пять утра и полчаса идти на станцию. В нетопленных вагонах, в темноте добираться до Перми, а там на вокзале ждать больше часа, когда будет восемь часов, чтобы идти в гимназию. Целый день она проводила в городе и только в шесть часов возвращалась домой, промёрзшая и голодная.

Снять квартиру семья не имела возможности. Старшие три сестры тоже учились. Так Клава училась до пятого класса. По рекомендации начальника гимназии Клава получила несколько уроков репетиторства. На заработанные деньги она сняла угол у знакомых мачехи. От платы за учение её освободили за отличную успеваемость.

В старших классах она увлекалась словесностью. Боготворила учительницу Лидию Петровну Уварову, которая интересно говорила, хорошо знала свой предмет. Когда Клава окончила семь классов, то непременно решила, что сама будет учителем словесности и русского языка.

В то время восьмых общеобразовательных и девятых специальных классов ещё не было. Она поступила в восьмой педагогический, избрав специальность «ðусский язык и география».

В 1910 году, успешно окончив полный курс гимназии, она поехала к дяде, у которого жила в детстве. Тем более что бабушка ещё была жива.

По пути до станции Иссык-Куль в купе она познакомилась с Прасковьей Матвеевной Сидоровой, которая добровольно следовала за мужем в Нарымскую ссылку. Это знакомство привело Клаву в том же 1910 году к большевикам в городе Томске.

Наступила новая полоса в её жизни. Учёба в университете, партийные поручения.

С фамилией Смирнов она познакомилась в семье Кузнецовых, когда получала последнюю инструкцию для будущей работы в городе Ново-Николаевске.

Ей посоветовали любым путём найти дорожку к Смирнову. Рассказали о том, что он – личный врач самого крупного купца в Ново-Николаевске Туркина и его друг. Предупреждали, что Кузнецовы, как ни старались привить элементы политической борьбы Смирнову, он остался глух к их длительным беседам. Вспоминали и один штрих из жизни Бориса Евгеньевича – лето 1908 года, когда он предупредил членов Ново-Николаевского комитета РСДРП о готовящихся арестах.

Как только Борис принёс объявление в газету «Голос Сибири», большевики, работающие в газете, дали знать Макаровой.

Но поработать с Борисом Евгеньевичем ей не удалось. Свершилась Февральская революция. В Ново-Николаевске наступил период митингов, собраний. У здания Городской думы торжественный парад воинских частей, демонстрации. В несколько дней изменились приятели Бориса Евгеньевича.

На экстренном заседании городской Думы полицмейстер Висман опустился на одно колено и сдал свою шашку.

Городской голова Беседин снял с себя знак городского головы и покинул зал заседаний. Управляющий банком, директор «Алтайской фабрично-мукомольной компании», председатель администрации «Южно-Алтайской мукомольной компании» и т. д. Туркин снял с себя соболью шубу и надел демисезонное пальто, а на правую руку повязал красную повязку, но тайком от всех, ночью, за молитвой проклинал горбоносого Кадыгробова и совал ему ещё один горб в… И прятал баулы с драгоценностями.

Только один остался спокойным и не предпринимал никаких действий – это благочинный Николай.

Утром третьего марта Борис Евгеньевич проводил Василия в Маслянино. Посоветовал Анне найти другое место работы. Снял вывеску «Клиника доктора Смирнова и К°» и, оставив Марфу и Степана смотреть за домом, уехал в Кисловодск, на дачу Туркина, предупредив об этом по телефону Николая Алексеевича.



Глава тринадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Внучек, сын мой – отец твой Василий – узнал, что свершилась Февральская революция. По совету какой-то женщины, не вернулся на передовую, а приехал в деревню.

Разве когда позволил бы мой дед, отец или я совершить подобное? Покинуть полк! Русскую армию по своей воле оставить без своего присутствия!

Смотрю на него, и ум раздваивается: кто он? Предатель? Патриот?

На мои обвинения он утвердительно заявил:

– Побратаются без меня русские и немецкие солдаты.

Я ему:

– Сынок, уже несколько столетий у немцев свои интересы, у нас свои. Братание приведёт к ослаблению России. Этого и желают россейские враги. И твои солдатские комитеты – это лазейка к развалу армии.

Он мне:

– Отец, ты живёшь старыми понятиями. Сейчас новые времена. Весь мир будет жить одной семьёй, в одном отечестве.

Ладно бы буянили в столице, им мало. И Сибирь толкнули выйти из повиновения. Быстро повсеместно росли сельские комитеты, Советы.

Началось то, что потом будет называться полной или частичной конфискацией имущества.

Дресвянский сельский комитет отобрал у лавочника Неупокоева более трёх тысяч рублей и поделил между беднейшими крестьянами.

Егорьевский волостной Совет крестьянских депутатов объявил себя единственным исполнительным органом в волости и постановил конфисковать все казённые, церковные и частновладельческие прииски.

Землевладелец Елбанской волости Кочегаров просил принять меры против самочинных действий и насилий со стороны местных жителей Петра Мареева, Алексея Рогожина и Ивана Меновщикова, которые производят выпас скота на его лугах и подвергли сына избиению.

Деревню пришельцы из города атаковали. Усердствуют. Каждый из них – истинно ходячая, говорливая книга. Крестьяне зашатались, уверовали слухам. Вот и сын мой закричал: «Землю – крестьянам!». Я ему говорю: «Сынок, у кого она ныне, как не у тебя? Тебе мало пятнадцати десятин – возьми больше. Я уходил в армию, мы убирали шестьдесят пудов с десятины. Вернулся – ты убрал восемьдесят пудов с десятины. Палкин – сто. Красава – почти сто десять. Не земля тебе нужна, а умение, как китайцы, на клочках всё выращивать. Под Мукденом мы проходили мимо просяной нивы. На стебли проса бросали шинель, а на неё клали пушечные снаряды, и они не проваливались из-за тучности колоса и прочности стебля».

Но где там! Митингуют! Царя свергли! А я когда-то его охранял…

Мужчины и бабы, больные славолюбием, златолюбием и дерьмовой одежонкой, досаждают: «К нам, в строй! К нам, в строй!» И пополз брат Владимир на первого русского гражданина Николая прицеливаться. Виню Николая, который допустил, взрастил кучку горлопанов – мировых вождей, не ценивших Россию и её народ. И наступило время, когда малая кучка росейского народа великого одолела, юные сопляки – старых, а бесчестные, алчущие – честных.

Шёл на закат май восемнадцатого года.

Свергли Советы. Какой-то чехословацкий генерал утвердил Сибирское правительство. Читаю «Народную газету». Бог ты мой! Сибирское правительство – и ни одного сибиряка!

Опять землетрясатели митингуют. По нашим деревням иноземные тати пошли. 150 лет деревне Пеньковой, а такого не видывали: грабят нас поляки, чехи, венгры, австрийцы…

В городе Ново-Николаевске у моего приятеля Василия Ивановича Ежова, в его собственной гостинице «Россия» польские войны срубили лопатами плафоны, лепки и росписи самого мастера Николая Посаженникова, а Василий платил лепителю по сто рублей за каждую потолочную красу. Увезли в Польшу. Освободители!

Французские варвары под командованием капитана Кане вырвали резные из дуба дверные ручки. Грабят шедевры. Сами не способны на уникальность в красоте, так воруют у тех, кого называют дикарями, кому внедряют «свободу», «демократию» æâà÷êó и порнографию.

Новая власть пришла – адмирал.
Не пойму, что за власть. Все кричат, кричат.
Одни кричат: ум – имущим.
Другие: малоумным – труд.
Третьи: нет пророка, есть вожди.
Четвёртые: превысочайшему – по способности.
Пятые: православнейшему – по нужде.
…

Враждебные руки их и лживые слова всех опутывали злотворным обещанием. А мне прекратили давать пособие, как герою Русско-японской войны. Выгоняя из волостной управы, отчитали: «За что тебе давать? Ты же за Отечество воевал, а Отечества у нас нет». Разожгли в народе ярость, оклеветали веру, утвердили неизвестно что: не от Бога и не от Человека.

Власть устанавливала по своей воле закон, а народное право заглушили.

Я болен, раны ноют, страсти покинули меня, то, что делается в России, угнетает. Новые порядки поглотили всю привлекательность в жизни.

Вижу: не ведают, что творят антихристы, – губят исконно русское, и красоту народа они готовы оплевать и оплёвывают. И ещё я подметил их неудержимое стремление, разозлившись, нанести досаду не Ивану, не Сидору, а всему народу русскому.

Ярость не тает, а ещё пуще отрыгается. Сосед соседа варваром кличет, свою общую землю делят, обиду ей наносят. Старожилов, что веками на этой земле жили и веками Русь почитали, – изгоняют, неведомо куда.

Мысли мои витали над деревней Пеньковой и над Россией. Открылось мне: антихрист навладычествуется над всеми, порешит всех и над прахом не панихиду проведёт, а зубоскальство устроит.

Восплакала Русь, на колени пала перед антихристами-иноверцами. Когда поднимется? Доживу ли? Надо жить!

Внучек! Не благоговей перед человеческим порывом! Рано! Познай, что выйдет потом. Вот надо же вошла в голову человека фантазия разрушить все вековые устои и традиции, перевернуть весь дом! А чтобы не судили его, как прохвоста, он ещё и основание подыскал. И кричит: всё научно, всё обосновано, так весь мир будет жить.

И вот она лежит, Родина моя, своими же ублюдками изувеченная, повреждённая.

Господи, и из какого только чрева выходят эти потрясатели земли? Верно в народе говорят: злоначалие в начальствах.

Вижу у противоборствующих сторон самосткие стремления к власти, необузданность и возмущение против того порядка, который предлагала враждующая сторона. И ни красные, ни белые не задумывались над тем, чтобы объединить то, что в радость будет людям, приостановить хаос, войну. А тут ещё язва мести окольцевала сердца крестьян.

Да, внучек, как мало надо для счастья простому крестьянину! Мы откормили двух бычков, трёх нетелей, несколько десятков гусей, кур… радовались. Имеем четыре рабочих лошади, жеребца, шесть жеребят разных лет. Веселимся. От шести

дойных коров в достатке запасли пудовок с маслом. На зиму хватит. Наслаждаемся скотским и льняным маслом.

Убрали неплохой урожай. Василий с Варварой хорошо поработали в кузнице. Они за работу брали не деньги, а хлеб, мясо, масло.

Как только управились с уборкой хлеба, Иван Шмаков собрал сходку домохозяев. Напомнил реквизицию продовольствия в шестнадцатом году, июньское нашествие на деревню польского и чехословацкого отрядов этого года. Посоветовал в каждом дворе мастерить потайные лари для зерна, погребочки для масляных пудовок. В огородах и на заимках тайно закапывать двадцативедёрные бочки, где в кадочках, пудовках хранить солёное мясо, масло.

Закончил он словами: «Не хотите, чтобы ваша семья умирала с голода от новой непонятной власти, не хотите, чтобы ваш летний труд достался иноземным дармоедам, с завтрашнего дня думайте и делайте. И соседу не показывайте свои тайные хранилища. Сегодня Ванька твой друг, завтра может стать твоим свирепым злорадцем».

Я поддержал Шмакова.

С того дня в каждом доме да и у нас шла тайная работа. Делали потайные лари для хлеба. Прирубали к стенам вторые, а пространство засыпали овсом, пшеницей. Иные хозяева в амбарах прирубали вторые полы, потолки. Все помнили набеги иноземцев. Бумажками – свидетельствами, что давали хозяевам за реквизицию хлеба, скота – сыт не будешь.

Закатывался день Апостола и Евангелиста Матфея (16 ноября). Моя молодь прибиралась в хлеву, мяли лён в бане. Пелагея пекла хлеб. Вошёл в дом невысокого роста с рябинкой на лице мужик, с порога закричал:

– Кто здесь Никита Огнёв?

Я поднялся с лежалки. Возмущённо пробурчал:

– Зачем кричать? Зачем выказывать свою глупость? Дал бы я тебе костылём по горбыляке, да вижу, в годах ты. Чего надо?

– У горбыляки есть хозяин. И не из трусливых. – Пришелец

выставил грудь, выпучил злые глаза, крутанул головой. – Ищу его второй день, а он ещё стращает… Я – Кочерыжка, придворный купца Николая Алексеевича Туркина. Велено тебя привести к умирающему дохтуру Смирнову. Был в селе Никоново. Батюшка Василий и матушка Мария уже выехали. Звонаря Савелия повёз какой-то извозчик Артемихин. Ещё велели писаря Высоцкого привезти, но он отказался. Сам лежит пластом.

Марфа помогла раздеться. Стёпка – её приёмный сынок – разуться. Марфа прижалась ко мне, с улыбкой спросила:

– Ты, Никитушка, что желаешь к столу: солдатскую закусь или постный супчик с грибами?

– Чем богата, Марфушенька, тем и подчуй, – ответил я и подмигнул. – Больной-то где?

– В кабинете. Пятые сутки пьёт и спит. Чёрт толстощёкий Кольша Туркин вчера приволок ему ещё две четверти водки… Сам не пьёт, о здоровье своём беспокоится, а Бореньку отравляет. – Она повернулась к подростку. – Сынок, проводи Никиту Евсеевича и у братика интерес прояви, где обедать изволят?

Борис лежал на диване, смотрел в потолок. Я кашлянул. Он вскочил, схватил лоскут голубого цвета, накрыл картину, висящую на стене, и сжал меня в объятиях.

– Никитушка, милый, что так долго? Я уже три дня тебя жду. Хотел снова отправить за тобой сани.

Он жулькал меня, целовал в щёки и кричал: – Марфушенька, солдатскую закусь подними в кабинет. Кто бы ни пришёл – я занят. Отца Василия и матушку Марию не гони… Савелия Дмитриевича не гони…

Я осмотрел Бориса и расстроился. Тощий, с кудлатой бородкой, а серые глаза смотрели как у покойника, без блеска и живинки.

Мы сели на диван. Борис обнял меня.

– Никита, я очень устал. Очень.

Стёпка поставил на стол нарезанную кусками говядину, ржаной хлеб, миску солёных груздей. Спросил:

– Вам налить в стаканы, дядя Боря?

– Мы с этим делом сами управимся. Проследи, братик, чтобы те, кто появится в нашем доме, не беспокоили нас. Скажи Марфушеньке, чтобы она угощала их в столовой.

Борис предложил мне пересесть к столу. Налил в стаканы водки.

– Никита, Никитушка, друг мой фронтовой, я в этом восемнадцатом году побывал в аду. – Отпил из стакана, посмотрел на завешенную картину, встал, и, не снимая голубую материю, коснулся стаканом картинной рамки. – В феврале я бежал из города на отдых. Решил месяц-другой отдохнуть на даче Николая Туркина в Кисловодске. Всё разграблено. Прислуги нет. Неделю просидел в тюрьме. Арестовали как бродяжку. Узнали, что я врач, мобилизовали в санаторий. Никитушка, к больным водили, как арестанта. Несколько месяцев меня сопровождали два солдата. Даже спали рядом. Измаялся. Истосковался по этому кабинету. Напоил солдат до соплей, чудом вырвался – бежать в Сибирь.

На Урале меня сцапали представители большевистской власти. И только узнали, что я врач, приказали возглавлять санитарный поезд. Я прошёл по вагонам: сущий ад. В Челябинске, кроме пятисот раненых, погрузили ещё двести. Представляешь, я один врач и две санитарки… В Кургане и они убежали.

По дороге узнаю: к нам присоединили несколько вагонов миасского лазарета, а потом и бригадный госпиталь. Никита, больные валялись прямо на полу. Я ходил по вагонам и оказывал самую необходимую помощь. В одном вагоне больные валялись на полу в своих экскрементах, без белья. Меня от усталости бросало из стороны в сторону.

В Ишиме вышел из вагона уже с тросточкой. Ещё не огляделся, как ко мне подбежал старичок в офицерской форме и при погонах полковника. Я в замешательстве спросил: «Что за ночь пока я спал, власть поменялась?»

Полковник суёт мне в лицо револьвер, кричит: «Где врачи? Где санитары? Как вы везёте людей? Хуже скота! Я перестреляю вас всех»!

Я спокойно ответил: «Я единственный врач. Санитары

разбежались. И кухарки разбежались. Убивай! Хоть отдохну».

Он схватил меня за руку, привёл в буфет, велел накормить по высшему разряду. Я поел и заснул за столом. Комендант разбудил, когда уже стемнело. Слышу, говорит:

«Борис Евгеньевич, все вагоны перемыты, больные перемыты, перебинтованы, переодеты. И в каждом вагоне постельная принадлежность обновлена. Пришлось самовольно открывать военный склад и всё необходимое экспроприировать. За питание раненых приказано отвечать штабс-капитану Михаилу Кадыгробову. Каждый вагон укомплектовал санитарами. Врачей нет. Извините, что я накричал на вас».

Я спросил у полковника:

«Откуда вы меня знаете?»

Он схватил меня за руку и потянул из буфета. На свежем воздухе он обнял меня, засмеялся. Я с удивлением смотрел на старческое лицо с козлиной бородкой и никак не мог вспомнить: кто он и когда мы с ним встречались.

«Так ответьте же мне, кто вы»? – вновь спросил я его.

Полковник насупился. Вытянулся: «Позвольте представиться, Борис Евгеньевич, я комендант станции Ишим Владимир Васильевич Ляпин…»

Меня подбросило. Этот шустрый старичок, мой дядя, снабженец нашего полка на русско-японском фронте, в прошлом управляющий Егорьевским прииском. Я обнял его. Мы долго стояли. Я прослезился.

Дядя шептал мне: «Борис Евгеньевич, Михаилу Кадыгробову поручено сложное дело. Он должен сопровождать в безопасное место двух сестёр Байдуковых. Они по документам ваши медсёстры. Находиться будут в вашем вагоне, в соседнем купе. Заметите за ними слежку – предупредите Кадыгробова. Он постоянно будет находиться в соседнем вагоне. На время отбросьте вашу личную неприязнь к Кадыгробову. – Он легонько оттолкнул меня. – Надеюсь, Боренька, мы ещё встретимся. Передай всем новониколаевцам большой привет».

Никита, я поднялся в чистый вагон.

Что делает время с человеком! Не представься дядя, я бы его ни при каких обстоятельствах не узнал. Когда-то статный, упитанный, с густой шевелюрой красавец превратился в сельского сухопарого дьячка. Хватка хозяйственника, командный голос – всё, что сохранилось.

В моём купе сидели две дамы в белых халатах и косынях с крестиками. Я с поклоном представился. Высокая, с продолговатым лицом девица слегка наклонила голову, соседка её чуть пониже, заикаясь, начала: «Я – Байдукова Мария, а это, – она кивнула головой на девушку, – моя сестра Настя. Мы будем послушны и готовы получить наставления».

Я сел напротив них. Положил руки на стол. В это время, Никита, случилась первая неожиданность. Высокая девица впилась глазами в перстень, который подарил ты мне ещё во Владивостоке, подняла на меня воспалённые глаза и тревожным голосом спросила: «Как к вам попал этот перстень»?

Я был удивлён и взволнован видом девицы и трепетным голосом и глазами; они смотрели на перстень, а зрачки наливались слезой. Я, чуть помедлив, ответил: «Мне подарил его фронтовой друг».

«Он живой?» – спросила она и провела пальчиками по изумруду.

«Да», – ответил я.

«Прошу вас, сударь, верните подарок ему. Он вам не идёт. У вас серые глаза, а у хозяина зелёные. Да, да зелёные!»

Больше она ничего не произнесла. Поднялась с лавки, следом быстро вскочила «сестра Мария». В дверях появился Кадыгробов. Они вышли из купе.

Так что, друг мой Никитушка, я снимаю с пальца перстень с изумрудом и вручаю тебе. А ты уж не обижайся. Отдай мой перстень. И действительно купчиха Настасья права. Ваш перстень подходит вам, а мой – к моим серым глазам.

– Ты что, Борис, – возмутился я, – какая-то сумасбродная девица, возможно, больная, ляпнула, что взбрело ей в голову, и ты уже отказываешься от обмена?

– Сумасбродная! А откуда она знает, что у тебя зелёные глаза? Видно, ты с ней встречался. И ещё тебе раскроюсь: я видел твои чуски.

– Борис, ты плетёшь чушь! Ты пьян. Этого не может быть! Показалось. Ошибся. Когда ты видел чуски в доме Ляпина, тебе стукнуло сколько? Десять лет. А прошло после этого четверть века. Мог ошибиться.

– Твои! Их невозможно забыть.

– И где же ты их видел?

– На той купеческой дочери… Когда она повернулась уходить, косынка чуть сползла, и я увидел серёжку. Тот же жемчуг, те же сплетения…

– Борис, хватит ерунду молоть! Поди ещё увидел в какую сторону сплетения?

– Да. Паутинки сплетены слева направо.

– Всё равно не поверю. За все годы службы в Петергофе я не видел своей работы. И как это из августейшего двора, подарок императрице оказался в ушах какой-то дочери купца. Как её там, Байдукова… Настя…

– Твои, твои, твои, – талдычил Борис.

– А чёрт её знает! Возможно, какой-то мастер мыслил как и я. И сотворил подобные.

– Никита Евсеевич, фельдфебель, я, как старший по званию, заявляю: у купеческой дочери видел серьги твоей работы и привожу доказательства.

– Ух ты, Боренька, как тебя развезло. Пожуй телятинки и успокойся…

– Не успокоюсь, пока ты не поверишь. Помнишь время, когда переносили твою икону из храма Александра Невского в часовню?

– Как можно забыть!

– А что тогда митрополит Макарий передал матушке Александре?

– Откуда я могу знать, мы ведь с тобой до утра у Миколы пьянствовали. А когда пришли, Марфуша нас с порога ошарашила: «Матушка Александра уехала!»

– Вот слушай, Никитушка, и запоминай.

– Боренька, сколько тебя знаю, ты никогда так длительно не говорил. Давай выпьем и помолчим.

Борис разлил по стаканам, подал мне. И поторопил:

– Ты, Никитушка, поспешай. А то нагрянут Посельские, не дадут нам пошептаться, увезут тебя на всенощное бдение.

– Ладно. Буду слушать. Давай, выкладывай свои доказательства.

Борис поднялся. Подошёл к закрытой картине, чуть приподнял голубую материю, подмигнул и опять закрыл.

– Что ты там прячешь? – спросил я.

– Потом покажу. Время ещё не наступило. И не вздумай самовольничать!

Снизу послышались голоса: баритонил отец Василий, сопранила матушка Мария, щебетала, но дерзко переходя на крик, Марфуша. Голоса затихли. Борис продолжил:

– Три года назад, когда митрополит Макарий передал матушке Александре подарок от императора, она тут же покинула апартаменты благочинного Николая Никольского. Со слов священника Гаврилы (Лебедева) горожане знали, что в свёртке «нащупывалась не то шкатулка, не то сундучёк, не то ларец, или просто баульчик».

Прошло два месяца. Пожаловал Савелий. Он в большой тревоге передал, что матушка Александра при смерти. Я в тот же день выехал в Залесово.

Осмотрел, прослушал матушку. Пришёл к выводу: организм дал сбой на нервной почве. Матушка Александра жальничала, как по покойникам, по своим сыновьям. От Фёдора она более двух месяцев не получала писем с фронта. Максима с вагоном-церковью отправили на фронт прямо после открытия часовни Николая. Николай прислал последнее письмо не из Москвы. И, хотя он пишет, что у него, слава Богу, всё прекрасно, а на письме – штемпель города Кишинёва.

Напрасно страдала матушка о судьбе своих сыновей. Скоро сельский почтальон принёс долгожданные вести, что все они живы, здоровы.

Матушка пошла на поправку. Пожаловали из Егорьевска брат Лазарь Борисович с сыновьями Михаилом и Петром.

Вечером, когда мужики осушили четверть, несдержанный Лазарь начал обвинять сестру, что она последние годы, после смерти Никодима, совсем забыла родственников. Зазналась. За последние десять лет не нашла возможности навестить родное село и упокоище родителей. В селе над Вершининым смеются. Сестра красуется в императорских подарках, а он даже не знает, что за подарки.

Сын Лазаря Пётр начал урезонивать отца. Лазарь вскочил и закричал: «Не смей перебивать! Пришибу!»

Савелий поднялся, схватил в охапку Лазаря, сдавил и спокойно проговорил: «Лазарь, тебя сколько уговаривала матушка пойти в Егорьевскую школу? Ты из-за лени отмахивался. Когда она училась в Барнауле, не тебя ли уговаривала приехать к ней и поступить в заводское училище? Ты отверг её предложения. Тебя зависть грызёт. Сестра живёт в доме под железной крышей, уважаема в уезде, получает подарки от императора. По твоим способностям и ты бы сейчас не мыл золото, а при дворе его сиятельства, как Семён Кадыгробов, был бы. Не буянь и свою глупость не показывай».

Лазарь закричал: «Я не завидую, я хотел только посмотреть подарок».

Матушка Александра окинула взглядом всех сидящих за столом и тихо-тихо предложила: «Савелий Дмитриевич, отпустите брата и вынесите ларец. Пусть полюбуются чусками. Прошло двадцать пять лет, как Никита Евсеевич сотворил чудо. За прошедшие годы покинули нас навсегда Никодимушка, Иван с Евдокией Щукины, Екатерина Иванова».

Через малое время в гостиную вернулся Савелий с сундучком в руках. Он поставил сундучок на стол, открыл крышку. Матушка осторожно вынула чуски, подала в руки Лазаря: «Любуйся, братик, подарком императора».

Лазарь робко, трясущимися руками принял серьги и с дрожью в голосе проговорил: «Что, эту красоту сотворил Никита? – Он впился глазами в серьги. – Как это жена императора и его дочери разрешили Николаю подарить тебе это украшение,

сестрёнка? – И, не дожидаясь ответа на свои вопросы, ткнул Петра в бок, предложил: – Сынок, налей за такое дело».

Лазарь передал серёжки Петру. Пётр долго катал их в ладонях, подносил близко к глазам, облизывал жемчуг.

Брат Михаил протянул правую ладонь и ждал, когда Пётр передаст ему украшение. Поторопил: «Петя, ты не один за столом.… Вон и лекарь глаза растопырил…»

Никита Евсеевич, милый мой, я не только долго и внимательно любовался твоими серёжками, я их хорошо запомнил. Заверяю: у матушки Александры на серёжках паутинки сплетены слева направо. Это может подтвердить и Савелий Дмитриевич…

А у купчихи Байдуковой – справа налево.

Внучек, я налил себе водки и, не приглашая Бориса, выпил. Мои серёжки вернулись в Сибирь, на родину. Видно не ко двору они оказались в столице, не понята их красота августейшим домом. Ну и что! Сам себе говорил: «Никита, радуйся! Твоя работа не валяется в сундуке, она украшает дочь российского купца. Уверен, придёт время – и матушка Александра наденет их и пойдёт в общество светских дам или крестьянских сударынь».

* * *

В это время в Ново-Николаевских тюрьмах находились 4067 больных сыпным тифом, 55 возвратным, 28 брюшным.

И в это же время афиша оперетты приглашала на «Идеальную жену». В кино крутили фильмы: «Душа Волжанина разбита», «Былые радости, забытые печали», «Розы завяли, грёзы исчезли», «Люби мужа своего больше всего».

Рабочие завода «Труд» требовали от новой власти зарплату за проработанное полугодие восемнадцатого года. Порфирий Хлыновский, главарь по разоружению Красной гвардии, в мае 1918 года отвечал на их требования: «Вы на Ленина работали, у него и получайте». Рабочие требовали: «Дайте пропуск к Ленину в Москву!» Всех рабочих чехословацкие солдаты под

конвоем препроводили к председателю следственной комиссии Александру Шиша.

Купечество города ходатайствовало о возмещении убытков, понесённых за время пребывания в руках красных. На стол головы города стопками клали тетради с точными суммами ущерба. А от купцов, не отходя от стола, требовали немедленного добровольного жертвования на дело победы над большевизмом. От каждого купца по тысяче рублей.

Купцы Туркин и Луканин возмутились. Туркин показал кукиш, а Александр Луканин достал рубль и положил его на стопку тетрадей.

В это же время в актовом зале городской управы вновь назначенные начальники отделов давали клятвенные обещания. Плавно текла их речь:

«Обещаюсь и клянусь вемогущим Богом перед святым его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным Российскому государству как своему Отечеству.

Обещаюсь и клянусь служить ему не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью и памятуя единственно о славе, о процветании Российского государства.

Обещаюсь и клянусь повиноваться Российскому правительству, возглавляемому Верховным правителем, и законным распоряжениям начальников, от правительства поставленных.

Возложенный на меня долг службы выполнять по доброй совести и с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительную пользу государства.

В заключение данной мной клятвы осеняю себя крестным знамением и целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».



Противостояние

Глава четырнадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

На Сибирь, как на всю Россию, надвигалась тёмная и страшная ночь. Одним засветло ставили памятники, других в темноте прятали в клетках, где рушились их мечты и не осуществлялся естественный ход человеческого рода, прерывалось производство людей. И никто не знал, как долго протянется ночь.

Когда Народная армия (колчаковская) отнимала скот, реквизировала овёс и съестное, крестьяне роптали, но не очень. А вот когда прошёл польский отряд и деревня лишилась трех лошадей да пяти супоросных свиней, крестьяне уже не роптали, а выжидали случая. Случай появился – чешский отряд вошёл в деревню. И мало того, что почистили остатки, но ещё и воспротивников добровольно лишиться своего имущества шомполами побили.

Обмакнулись в сметану берёзки, покрылись инеем. Побелели лица у мужиков.

Позёмка вьёт дуги да колёса, как новая власть наматывает соплей на морду крестьянина. К ночи завыла метель, и деревня застонала. Заметались, закружились головы мужиков. Слушают тех, кто шомполами был бит. Слушают, отжимают нуж-

ное, а рассказчики голосом быстро свои внутренние чувства передают, но томительно долго глотают слёзы. Ни прадед, ни дед, ни отец не лежал на лавке с задранной задницей, а вот его положили. И били-то кто? Чехи! Откуда они такие? И кто им дал волю уничтожать сибиряка?! Двойным рядом пронеслось: «А что Никита Евсеевич скажет?»

А что я могу сказать? Да никто, никогда, с основания деревни Пеньковой отцом Евдокимом, не был бит. Не выставляли крестьянина в срамном виде на обозрение. Я не был бит, но душа разъедается неведомой обидой за земляков. Душная тьма обволокла сердце. А где просвет? И я добавил: месть. Вот что естество требует от нас. Посморкались мужики в подолы овчинных тулупов и разошлись. А с рассветом, если бабы собрались у проруби с вёдрами – где ещё им посудачить, посплетничать, крикливо пожаловаться на грабежи новой власти, то мужики у нас в доме собрались. Фёдор Шемякин, Терентий Огнёв, Михаил Огнёв, Сергей Огнёв, Василий Романьков, Андрей Ульянов, Иван Шмаков, Василий Волков и сын с невесткой.

Вспомнил я им партизанский отряд подполковника Мадритова. Под его командой было полтысячи нижних чинов, а действия его в тылу японцев велики. Солдаты действовали самоотверженно, гибли геройски, не боялись вступать в бой с большими силами противника и побеждать его. Пошли собирать пики да берданки.

Опять в нашем доме сборище. Решили командира партизанского отряда выбрать, надо бы грамотного, такого нет. Волков предложил Варвару. Шум подняли такой, что чуть не разбежались. И вспомнили её безпощадность, крутость, бесчеловечность. Внучек, смеюсь, вспоминая это. Решили найти большевика и у него спросить, кто должен быть командиром отряда и кому рапортовать о победах. Делегировали на поиски большевика старосту Ивана Шмакова.

Две недели путешествовал Шмаков. Отчитался: «Â Егорьевской волости один большевик Александр Ильич Иванов. Он в бегах. В Елбанской волости большевиков нет. В Никоновской волости нет. В нашей. Николаевской один. Ни смейтесь, это учитель Давыдов. Ничем он меня не порадовал. Сказал, что какая-то первая большевистская областная конференция выступила против партизанского движения среди крестьянства. Они не желают междоусобной бойни».

Внучек, ты должен помнить тот день. Пелагея начала менять гнойные повязки на ногах и плече. Ты выбежал на улицу. Я распластался на лежалке. Только наложила новые повязки, на пороге появился ты. Закричал:

– Деда, деда, там, у сборной избы мужиков арестовали, кто добровольно не отдал овёс, масло. Старосту Ивана Ивановича арестовали. Требуют от него сказать, кто ушёл в партизаны. Его уже раздели. Нагайкой будут бить.

– Ох, они, разорви их пауты, – сказал я и стал одеваться. Надел китель. Нацепил шашку, посмотрел в зеркало и, опираясь на костыль, пошёл к сборной избе.

Подошёл и ужаснулся. Лежали с голыми задницами на лавках: Семён Волков, Егор Ульянов, Иуда Куликов, Иван Шмаков. Я подошёл к офицеру и гаркнул:

«Штабс-капитан, приказываю прекратить порку мужиков!

Солдаты замерли. Офицер замешкался. Я ещё сильнее крикнул:

– Вам что, штабс-капитан, не знакомы традиции русской армии? Почему первым не отдаёте честь кавалеру полного Банта Георгиевских крестов?

Офицер козырнул:

– Прошу прошения, господин фельдфебель, растерялся. Не ожидал в глухой деревушке встретить такого героя… Солдаты, выполнять приказ фельдфебеля. Крестьян развязать, отпустить.

Офицер поднял руку к козырьку и спокойно произнёс:

– Позвольте представиться, штабс-капитан Вениамин Никольский.

– Что ты говоришь, – удивлённо произнёс я. – Благочинного Николая сынок! Ну, здорово! – Я подал руку. – Всех твоих братьев знаю, а с тобой не приходилось встречаться. Когда я у вас гостевал, ты в Петербурге учился. Будешь дома, передай отцу привет от фельдфебеля Огнёва.

– Вы – Никита Евсеевич Огнёв»? – расширив глаза, с изумлением протянул Вениамин.

– Так точно! Что ты делаешь, русский офицер? Меня, оказывается, знаешь по имени и отчеству, а моих земляков грабишь, на поругание выставляешь… приказываю немедленно реквизированный скот овёс и масло крестьянам вернуть и покинуть деревню».

Я подошёл к Ивану Шмакову и громко, чтобы слышали все, закричал:

– Как вы, Иван Иванович, позволили унизить себя? Не вы ли пили вино из той же рюмки, из коей пил император Николай Второй? Не вы ли спали в той постели, в коей спал Его Величество Николай Второй? Не вы ли, Иван Иванович, последние пять лет гарцуете на жеребце – подарке Николая Александровича Романова? Офицеры и солдаты, не знаючи, позволили себе неслыханное оскорбление? И ваша вина есть в этом. В будущем не забывайтесь. Им всем не приснится то, что вы с радостью пережили… Одевайся, староста, и проверь, всё ли в целости вернули крестьянам. Позор! Позор!

С этими словами я направился домой.

* * *

В воскресный день, по прошествии литургии, молча прошли отец Евгений с отцом Василием в дом благочинного, сели друг перед другом в кабинете.

– Божественного страха окаянные большевики не ужасаются. Поверьте мне, большевики введут в школах вместо закона Божьего митирогнозию*, – начал отец Евгений. – И вы, отец Василий, негласно потакаете им. Почему не выполняете распоряжение Епархиального Совета, при всяком сношении с прихожанами не показываете вредное влияние идеи коммунизма? Почему не располагаете к повиновению Колчаковскому правительству? Вы так и не поняли, что брюхо большевиков непомерно большое, оно готово всё съесть. И даже Россию.

– Я категорически против любой власти, кто допускает грабежи моих чад, кто наказывает их безвинно шомполами, – ответил отец Василий.

– Их надо не шомполами наказывать, а скорпионами. Вас смущает, что народная власть (колчаковская. – *Прим. авт.*) кое-где теряет свои позиции. Это временно. Нам поможет Европа, американские соединённые штаты…

– Отец Евгений, брат Ионафан**, смотрит, как бы нас с потрохами съесть. А то, что я не разъясняю вредного влияния большевизма моим чадам, это оттого, что не хочу вражду сеять между ними. Пусть они сами, без моего словесного насилия разбираются, кто прав, а кто виноват. Одно скажу: я, отец Евгений, ни одного из своих чад господних не благословляю на убийство друг друга. Крестьян затыкали. Одни силой мобилизуют, другие сладкими словами вербуют. Где истина? Я не знаю. А вы знаете?

– Вы творите поблажку безбожникам. Вы мечете бисер перед антихристами.

– Хватит, отец Евгений. О какой поблажке вы говорите? Я с некоторыми крестьянами моего прихода на поле брани куском хлеба делился. Моя матушка Мария с поля боя их выносила. И что? Третьего августа колчаковские каратели расстреляли семь человек. Да, я их наставник, их пастырь, но сегодня я сам себе говорю: пусть без моего ведома разбираются, куда им примы-

---

* Митирогнозия – матершиноведение.

** Брат Ионафан – шутливое прозвище США.

кать. Я сам не разобрался в этой вакханалии, где Божественная власть, а где антихристова.

– Больно мне слышать это, отец Василий. Я вас выбрал на пастырскую Стезю. Вам отдал не один год, посвящая вас в *тайны пастырского дела, а что* вижу? Змея обвила моё тело. Кого винить? Я сам её вскормил.

– Если я и змея, отец Евгений, то особая. Я сею только добро. А вы с головы до ног облеклись в красное одеяние. И кровь капит. Капит не чужеродная, а наша русская, православная. Остепенитесь. Не вскармливайте язву мести у мирян. Придёт время. Какая мирская власть придёт – меня не интересует. Власть от Бога. Мы давно с матушкой Марией посвятили свою жизнь Богу. А вы при любой власти будете страдать от дел своих. Вы – тигр, тигр в сутане с крестом, а это облачение не православное.

Отец Евгений поднялся.

– Ищите, отец Василий, себе работу. Возвращайтесь в учительство. Я отлучаю вас от церкви.

– Пошто так? – Удивлённо вскрикнул отец Василий.

_ Мне нужен в Никоновском приходе пастырь, который бы не сегодня, так завтра сорганизовал отряд Святого Александра и пошёл в Черепаново на соединение с народной армией громить партизанские отряды Степанова, Чистякова, Чанкина. Вы на это не способны.

– Дай подумать, – как бы сам себе проговорил отец Василий. – Дело серьёзное. То, что мы друг другу наговорили, гроша ломанного не стоит. И то, что вы меня отлучаете от богословия, лепет. Меня епископ Макарий, ныне митрополит Московский, рукоположил во священники, архиепископ Анатолий вручал награду… и поставил настоятелем Никоновского прихода…

Отец Василий прошёлся по кабинету. Почесал затылок. Поправил крест, сползающий влево. Вытянулся, как солдат, по стойке смирно.

– Подумал и твердо решил: возвращаюсь в село Никоново, и завтра к вечеру «Святой отряд» двинется в Черепаново. Кто из военных будет прикреплён к отряду?

– Я благословляю вас быть командиром.

– Хорошо, отец Евгений. Благословите отца Василия и на ратное дело.

– Благословляю, отец Василий. Пожалуйста, без выкрутасов.

Посельский рывком поклонился и вышел.

Отряд «Святого Александра» в селе Никоново сформирован на сходке в считанные часы. Кто-то предложил выбрать командиром дружины Ивана Бирюкова. Священник твёрдо начал:

– Дети мои, я ваш духовный отец. Я буду и вашим командиром. Идите седлать лошадей, и через час тронемся в Черепаново. Скажите вашим родным, любимым и восприемникам, что отец Василий никого из дружины в обиду не даст и все вернутся домой со славой героев.

Дома отец Василий велел Марии собрать вещи и немедля выехать в Ново-Николаевск, ждать его там.

– Милая, не волнуйся, я сделаю так, как требует время и Господь Бог.

Тринадцатого августа отряд «Святого Александра» прибыл в Черепаново. Отец Василий по военному отрапортовал командиру батальона, что его ратники готовы с этой же минуты идти в бой и разгромить антихристов-большевиков.

Командир решил ради сохранения своих солдат отряд «Святого Александра» пустить в бой против наступающих с трех сторон партизан.

Тут же прибывший отряд «Святого Александра» вооружили винтовками и пулемётом. Отцу Василию полковник вручил револьвер.

– Нужен ли вам офицер? – спросил полковник.

– Я прошёл, господин полковник, всю русско-японскую войну. Разбираюсь в военной ситуации.

Отряд «Святого Александра» галопом, с гиканьем направился в сторону Бочкарей. Спустились в овраг. Отец Василий

приказал прекратить погоню и спешиться. Сам оставался в седле. Оглядел никоновцев, поцеловал крест.

– Дети мои, – начал говорить отец Василий, – перед боем мы должны совершить молитву. Бой близок. Мы должны просить Бога о спасении нашем плотском и духовном. В бою всегда кто-то погибает. Погибнет кто-то из нас. Это возможно. Все просят божьей милости и божьего здравия, но не всех Бог наделяет своей милостью и не каждого защищает от пули…

Но молитва молитвой, а умирать никогда никому не хочется… Если суждено нам сложить свои головы, то вправе каждый из вас спросить: за что, за кого? Те, кто идет с пиками на Черепаново, – партизаны. Но кто они? Там наши никоновские сыны: Константин Моргун, Василий Полечук, Иван Татаринов… Там наши барсуковские сыны: Иван Тряпочкин, Артём Мазур, Иван Шаманаев, Василий Шаманаев. ..Там наши петропавловцы и пайвинцы: Сергей Марьин, Сергей Жуков, Иван Попов, Иван Москалёв, Иван Рожков, Пётр Лучшев. Там пеньковцев двадцать четыре мужика и две женщины. Они для меня, как и вы, дети. Почему мы должны умирать, убивая их? «Нет!» – говорит вам ваш отец Василий. Мы своих земляков, друзей, братьев, убивать не будем. А те, кто нам приказал преследовать их, не они ли недавно шомполами драли наших отцов и нас? Не они ли ограбили наши деревни и сёла так, что у многих дети пухнут с голоду? Не они ли, дети мои, расстреляли более тридцати наших мужчин, которые только и виноваты в том, что хотели лучше жить? Вот с кем мы будем воевать. Вот кого мы будем убивать. И если суждено будет кому-то из вас погибнуть, с честью примем смерть. Кто не согласен со мной, может сейчас же возвращаться в Черепаново. Но предупреждаю: когда вместе с партизанами захватим Черепаново, отдадим на суд Господний всех колчаковцев и вас не забудем, кто против моего слова пойдет.

Отец Василий, сжимая в руке револьвер, подъехал к Ивану Бирюкову и крикнул ему:

– Отправь парламентеров навстречу отряду партизан Гриш-

ки Чанкина. Передай ему, что батюшка Василий предлагает совместным отрядом наступать против колчаковцев и, зная о том, что в его отряде только две винтовки, по-братски решил поделиться оружием, полученным у полковника.

Священник приказал пулемёт установить в сторону Черепаново и на всякий случай занять оборону.

Парламентёры вернулись вместе с командиром партизан Чанкиным. Отец Василий встретил его с громким смехом:

– Ты, Гришка, так сразу и поверил, что отряд Святого Александра перешел на сторону партизан и предлагает совместными действиями разгромить в Черепаново колчаковцев?

– Батюшка Василий, дайте я у вас руку поцелую. Благословите грешника Григория на наши совместные действия. – Чанкин встал на колени: – Таким помазанником Божьим, как вы, Василий Алексеевич, не верить невозможно.

Отец Василий придвинул правую руку к губам Чанкина:

– Целуй, товарищ Чанкин, да поезжай в отряд. Готовьтесь брататься. – Отец Василий положил руку на плечо Григория, склонился и прошептал: – Я хотел бы видеть партизанку Варвару Ивановну Огневу…

– Батюшка, – так же шепотом заговорил Григорий, – сейчас её нет в отряде. Она выехала к командиру Степанову согласовывать совместные действия трех отрядов. Я предлагаю наступление на Черепаново совершать с трёх направлений: мы с Бочкарей, Степанов с тридцать первого разъезда, Чистяков с деревни Инской. Наступление наметили на три часа ночи. Как только Варвара появится в отряде, немедленно отправлю её к вам.

Партизаны отряда Чанкина бежали из лесу по мосту через речку Тальменку, радостно кричали. Навстречу им бросились никоновцы.

– Сынки мои, – крикнул священник, – братайтесь! Воля Господа Бога свершилась. С сей минуты вы все партизаны.

Дружинники отряда Святого Александра бросились навстречу партизанам. И уже через мгновение слышались выкрики:

– Из Барсукова есть?

– А из деревни Пайвиной?

– Ташкина Анна, сестрёнка, да я тебя знаю, ты из Пенькова.

– Верно. А ты из Стрельни, бабки Марфы внук!

– Ой, и встреча!

– Пермские, айда ко мне. Вас Иван Босых ждёт!

Чанкин посмотрел на священника, присел от удивления. Батюшка достал кисет, умеючи закрутил «козью ножку» и с наслаждением выпустил облачко дыма. Чанкин рассмеялся.

– А вы, отец Василий, случайно не пьёте?

– Каждый день, сын мой, кагорчику стаканчик пропускаю. И уже так лет пятнадцать. На войне, друг мой, я солдат учил Отечество защищать, любить друг друга, а они меня – самокрутки из махры заворачивать и жидкостью душу теплить. Один раз в году напиваюсь до чёртиков, в октябре, за память погибших, за жизнь уцелевших, за Русь.

В ночь с 14 на 15 августа партизаны захватили село Черепаново. Полураздетые белочехи бежали в сторону тридцать первого разъезда. Днем пятнадцатого маршировали радостные партизаны: щеголяли кто в сапогах, кто в ботинках, оставленных чехами. Некоторые партизаны разгуливали с бутылками, распевая песни.

Отец Василий прогуливался и думал: зачем нужно было захватывать село? Белочехи не защищались, трофей – всего два десятка винтовок. В плену ни одного офицера. К нему приблизился длинный, худой, косматый, в железнодорожном мундире мужик. Тихим голосом попросил:

– Благословите, отец Василий.

Батюшка осмотрел жердину. Благословил.

– Тебя, чадо Господнее, я где-то встречал. Точно встречал. А вот где? Припомни?

– Разрешите представиться: телеграфщик Сибирского корпуса Степан Трубников.

Батюшка обнял Трубникова.

– Вот сейчас, чадо Господнее, вспомнил. Ты вел дружбу с нашим полковым писарем Андрюшкой Высоцким.

– Да. А мы и сейчас с ним в дружбе. А вы, батюшка, что в нашем селе?

– Ночью с отрядом освобождал село от белочехов.

– Батюшка, вы что партизан?

– Как бы так.

– И сколько в вашем отряде мужиков?

– Где-то сотен шесть. У меня, кроме никоновцев, есть ребята из десятка других деревень.

Трубников склонился к батюшке и зашептал:

– Батюшка Василий, вас, дорогой мой, весь Сибирский корпус уважал… Как вы оказались с бунтарями? Побьют же вас всех. А мне вас жалко. И Андрюшка мне не простит… Погибну я. Честное слово погибну. Слушайте, это ловушка. Я получил несколько секретных телеграмм из Барнаула. К нам приближается два бронепоезда, эшелон польских солдат. Отдельный эшелон «голубых уланов» атамана Анненкова с приказом: «Всех партизан расстреливать без суда». Уводите своих ребят, скорее уводите! То что я вам говорю, это правда. Клянусь и крест целую.

Трубников взял в правую руку крест отца Василия, поцеловал и быстро растворился в толпе мужиков.

В ставке командира партизанского отряда Антона Степанова состоялось заседание. Отец Василий рассказал всё, о чем поведал ему Трубников. Поднялся шум. Большинсто высказались против, чтобы покидать село. Батюшка не вытерпел перебранку.

– Мужики, я выполнил волю благочинного, организовал отряд. Выполнил свое слово. Из моего отряда только двое раненных. Я верю словам фронтовика. Свой отряд на убиение не

оставлю. Подумайте, каким оружием вы будете воевать против бронепоезда и артиллерии?

– Это предательство, – послышались голоса.

– Трубников пожертвовал своей жизнью, ради наших жизней. Благословляю вас на разумные действия.

Батюшка покинул ставку. А уже через два часа колонна партизан ведомая отцом Василием покидала село. Вечером она проследовала село Ганюшкино Зимовье, а там разошлась по деревням и селам. Многие ушли на соединение с Чумышскими партизанами.

Всё, о чем поведал Трубников, свершилось. Белочехи завалили трупами улицы Черепаново. Одни насчитывали две тысячи, другие больше… Белочехи убили и телеграфиста Трубникова.



Глава пятнадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Дождались!

Прошла по нашим землям Двадцать шестая Красная дивизия, перевалила за Салаирский хребет, оттаяла душа крестьян, но ненадолго. Утвердили Ревком. Хотели свергнуть с престола неугодного новым властям старосту Ивана Ивановича Шмакова, да мир не дал. Председателем ревкома выбрали. В сборной избе день и ночь митингуют. Решают, кого нуждой обложить. Спустя малость появились в деревне мшелособиратели и мытоимцы**, всё взяли на учёт – от пуда ржи до яйца, а новая власть дала этому новое название – продразверстка. Мечтали: наступят всекрасные лета, род от рода не оскудевающие. Наступило царствие зависти, истребление породы крепкой. Человеческую огненную искру в пепел погребли. Обещали волю дать – дали! Ноги не обвенчаны цепями, но не убежать. Несочтенное всенародное множество говорило: не быть тому! Их думы чужды власть имущим. Они утверждали: молчат – наши дела поддерживают. Их крикуны трезвонили: «Что слаще благоговейного молчания!» Но мы-то знаем: бессловесны – скоту подобны.*

И уже восемнадцатого января двадцатого года поднялись крестьяне Черепановского уезда с лозунгом: «За Советы, но против коммунистов». «Чего ради, – кричали на сходке мужи-

* Мшелособиратели – корыстные сборщики.

** Мытоимцы – сборщики пошлины.

ки, – мы будем кормить стаей слетевшееся в город вороньё? Между нами непролазная стена: они приказы издают, а мы в дерьме возимся».

Возглавили восстание Сергей Виноградов да Михаил Кадыгробов. Мой сын с невесткой берданки за плечи – и за Советскую власть в один отряд с коммунистами. Как бывало и как будет, дали приказ русским мужикам уничтожать восстание русских. Благоумен православный, но, дай Бог, чтобы ещё и был благоразумен. Разобщённость и бессловесность твоя всегда магнитом притягивала к тебе иноверцев. Господи, прости! Руками русских уничтожали русских.

Мятежники быстро погибают!

Главари восстания убегли, а мужиков – кого на месте расстреляли, кого в концлагерь отправили. Затих мир. Только утомлённые в убийстве люди – несчастные люди – от самогона горланили. Только бабы от слёз поисхудали, да детишки никак не могли в толк взять: пошто тятька домой не возвращается. Несчастные дни!

Ещё круче закрутили узду над крестьянами. В деревнях солдатские отряды расквартировали. Большевикам винтовки выдали. И пошёл раздел, грабёж, самосуд. По обеим сторонам – ненависть и ненависть. Полтора столетия жили пеньковцы, друг друга почитая. А тут! Разделили, раздвоили людей, словно шашкой рассекли.

Я страдаю телесно не от рукобиения русского, а иноземного, оттого, что во славу России, за царя-батюшку и за царицу-матушку воевал. А им каково? Друг друга бьют и потом калеками доживают старость.

Иду по деревне. Вижу, сидят за маленьким столиком во дворе Филиппа Феофановича Огнёва мужики. Филипп в колчаковской дружине воевал. Напротив него сидит Александр Андреевич Огнёв – он в партизанах был. Рядом с ним Григорий Михайлович Огнёв – руководитель колчаковской дружины. А на краешке лавки примостился Фёдор Давидович Огнёв – бывший партизан. Его брат Терентий убит под городом Черепаново, а Фёдор инвалид. И слышу, Фёдор говорит: «Ты, Филипп, ты мне ногу прострелил». – «Не помню, – отвечает Филипп. – Помню

одно. Последним, кого я видел, это тебя, Фёдор, и твою винтовку. И не отнекивайся. Ты меня ослепил».

Сидят, толкуют, за какую такую радостную жизнь друг друга инвалидами сделали.

Я за державу свою покалечен, и землю свою не осрамил, и на брата итить не помышлял, и слёзный источник мой закрыт; душа не стонет за прошлые мои дела, сердце не разрывается от неугодных Богу поступков.

Я ничего повреждённого не приносил в жертву Отечества, но всё самое лучшее, что было у меня: телесную силу, душевное мужество, трудолюбивые руки, трезвый разум. Не за это ли я в бегах?

Чаёвничаем с Красавой. Аристарх Яковлевич гуторит:

– Ловко придумали большевики, Никита Евсеевич. Землю нам, а хлеб им. А землю есть не будешь. Вот я и думаю: на дармоедов не наработаешься. Пусть хоть своё семейство поест, а то всё равно отберут.

– Ты, Аристарх Яковлевич, зачем мне всё это говоришь? От солдата за свои Богу неугодные дела добро не получишь. Двое осталось вас, двое. А ты три коровы зарезал. В десять горл есть будешь или как? Порадуй мои изгнившие телеса, отдай часть Арине Ташкиной. Вишь, сирота. А на руках бабка Федосья да сестра Матрёна.

– Не примет.

– Верно. Гордая деваха. А ты найми её хлев почистить, дом побелить. Ей хоть пятнадцать годков, а она всё умеет. Рассчитай по большому расчету. А то говорили мне, по утрам собаке по два фунта мяса бросаешь.

– Я к тебе пришёл за сочувствием, Никита Евсеевич, а ты вот как дело повернул.

Повадился к нам Афонька Коптелов из села Залесово. Когда бы он ни ехал в Черепановский уисполком или обратно, обязательно нагрянет. И всё агитировал моих молодых коммуну сорганизовать. И ублажал их: всё-то хорошо. Работаем вместе, едим вместе, песни поём вместе. Приводил пример:

вон, Давыдов коммуну «Сатурн» создал, и дела идут отлично. Срамец. А сам каждую неделю в Черепаново ездит. То одно просит, то другое. Отлично – это когда в доме всего в достатке.

Из коммуны «Сатурн» прибыли с председателем Давыдовым «красные свахи» – агитаторы по организации артели. Ходили по дворам, пели песни, плясали. Хвалились, как привольно живут единой семьёй. Пробыли пять дней. Многим затуманили мозги. Особенно Петровану Огнёву. Они у него в доме жили. Уехали. А мать его возмущалась: свахи съели ведро капусты и два пуда картофеля.

Веретеном завертелся Петрован Огнёв – коммуну «Светлый Путь» создаёт. Человек он ума необыкновенного, отличный хозяин, трудолюбив и деятелен в высшей степени; высокочтимый, бескорыстный, но что за напасть, хочет он непременно повелевать всеми и везде. Напрямую спросил: «Пётр Иванович, что тебе единолично не жить?! Всё-то у тебя есть, а главное, посмотри, какое уважение имеешь от односельчан. Повремени мужиков в артель сзывать, дай им окрепнуть. Новое это дело – коммуна. Осторожность нужна. Поди, помнишь, как отец тебя учил: осторожность совершенствует ум, справедливость – волю». Он мне ответил: «Никита Евсеевич, нутром чувствую: в коллективном труде наше крестьянское счастье. И знаю, за мной пойдут».

Рядом с ним и старик Хиба крутится, бравой походкой красуется, грудь впалую выпячивает, а ведь вся деревня знает, что в голове у него дерьмо. И человек он без трудолюбия, только великая ябеда. Наградил же Господь Бог человека: по нраву один, по характеру другой, а поступки от жены. В сборной избе собрание, Хибу прочат в казначеи коммуны. Я им говорю: «Да как можно его в казначеи выбирать, если он делает то, что старуха Суза говорит, а курит то, что выпросит у соседа. Если он всю жизнь прожил придорожным, обочным – негодной щепкой». Поржали, как козлы ногами, так они руками похлопали. Но послушались, не выбрали. Мои сын с невесткой в коммуне первые. Из общего котла мясное едят, а мне бы супчику постного.

И пошли у меня с сыном да невесткой споры, раздоры и непонимание.

И пошли мои дети по соседям. Стал наш дом проходным вокзалом. От самокруток дышать нечем. Шум, галдёж, спор. Через неделю глянул: они скотину начали в одно место сгонять. Горе, горе, Алексей Ташкин корову за верёвку тянет, а жена его Наталья за хвост уцепилась и орёт, как свинья. Фёдор Кошаев гонит овец, а мать его Марфа Ильинична упала на колени и просит:

– Федюня, ну погодь, дай хоть мне остричь их. Зимой без носков ходить будем!

Иуда Куликов с Аксиньей да сыном Павлом втроём корову вели, а за ними четыре девчонки. Смех. И мужики-то деловые, работящие: Егор Ульянов, Тимофей Андросов, Пётр Остапчиков, Семен Волков, Петрован Огнёв. Как-то глядь в окно, вижу: Арина Кошкина свою корову в коммуну погнала. Эту девицу понимаю. Не по годам ей дом держать. Отец и мать погибли в партизанском отряде Григория Чанкина.

Многократно заводил разговор с молодыми. Говорил им: – Артелью хорошо. Наши старики ещё при отце Евдокиме все основные работы артелью делали. Но чашки, ложки не собирали, дома не отбирали. Каждая семья домом жила. И у всех всё было. А что вы делаете? Губите нашу крестьянскую жизнь.

Говорун Петрован Огнёв отвечал мне:

– Вы по старым меркам мыслите.

Всё рушится, всё! После Пасхи ездил в село Костыли фронтовика проведать. Узнали крестьяне, что в грамоте сноровку имею, большой делегацией ввалились в дом Прокопа, упросили написать епископу Барнаульскому жалобу. Они диктовали, а я писал: «Священник наш Трифон Москаленко ходит в церковной ограде до ветру, отворотясь к храму. Держит собаку в ограде, которая лежит на церковной паперти. Во время крещения собака лежит под столом, на котором находится ребёнок.

Службу служит редко. Лентяй страшный.

Накакуне Пасхи, в нощное стояние, закрыл плащаницу и не дал приложиться. Народ плакал. Дал приложиться за десять минут до звона, произошла давка.

В крестильном ящике зелень, нечистоты. В купели держит воду долго. В одной воде крестит до десяти детей.

Куринные яйца и коровье масло держит в алтаре и жрёт перед престолом. В Великий пост исповедь проводил сидя.

Загадил всю церковь».

И дома у меня непорядок. Сын мой в моё отсутствие заклеил икону Николая Мирликийского портретом Ленина. Дожили! То, что столетиями было свято, оскверняем. Решил: напишу то, что думаю. Нашёл рамку, вырезал бумагу по её размеру. Рамку застеклил, а на бумаге написал печатными славянскими буквами. Первую половину каждой фразы писал красными, а вторую чёрными чернилами. Получилось у меня так:

«Грех – умер.
Правда – пропала.
Истина – охрипла.
Совесть – хромает.
Кредит – обанкротился.
Вера – в Иерусалиме осталась.
Надежда – на дне моря с якорем.
Любовь – больна простудой.
Невинность – под спудом.
Добродетель – таскается по миру.
Благодеяние – под арестом.
Помощь – оглохла.
Совет – с ума сошёл.
Честность – умирает с голоду.
Кротость – в горячке.
Искренность – убита.
Правосудие – в бегах.
Справедливость – из света выехала.

Благодать – на небо взята.
Труд – питается милостынею.
Ум-разум – на каторжной работе.
Закон – лишён прав состояния.
Терпение – осталось одно, и то скоро лопнет.
Аминь».

Повесил я эту рамку на почётное место около образов.

Пелагея спросила:

– Молитву «Отче наш» написал?

Я ей ответил:

– Молитву на сегодняшнее время.

Внучек прибежал, крикнул с порога:

– В рельсу бьют! Коммунары на обед зовут. Бабаня, дедуля, айдате, а то не достанется!

Прасковия быстро набросила косынку, я не поднялся.

– Иди, дорогая, иди. Не хочется мне.

Вижу, будто обидел жену. Опять уголком косынки по глазам провела.

Мне бы постненького супчика, а у них, срамников, то каша с бараниной, то говядина с кашей. О чём думают? Загадили и души, и желудки. Да никак не соображу, что они летом-то будут жрать? Овец почти всех поели. Шкуры поздавали. Шерсти в домах – ни шерстинки. Ходить-то в чём будут? Ташкину корову зарезали, будто она больна. Следом пошла корова Егора Ульянова. А лето только начинается. Будет и покос, будет и хлебная страда…

А как любят собрания проводить!

Вечером сын спрашивает:

– Что это, тятя, за новая рамка появилась?

– Молитва.

– О чём?

– О нашем времени.

– Из газеты «Крестьянская правда» выписал?

– Из неё, сынок.

Да не поверил он мне.

Невестка вернулась домой. Он к ней:

– А ну, прочитай, что за новую молитву батя написал!

Невестка начала бойким голосом, да на «Советах» осипла.

– Мама, – обратилась невестка, – я принесла баранью голову, давай приготовим из неё отцу картофельного супчика.

Сын взглянул на меня, как волк на овцу, взял рамку, вынес во двор и об угол дома разбил. Это была последняя капля моего терпения. Но куда я, убогий, пойду? Монастыри разогнали. Виню себя, что, пока на ратной службе был, сыну моему голову набили мякиной.



Глава шестнадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Господи, прости!

Люди рассудок теряют, ума лишаются. Безбожники лживыми лозунгами и обещаниями государственную власть присобили. Повсюду слышу: бей, не робей, царя убили, Бога нет.*

Иноверцы, опутав цепями власти Россию, тешатся, на высоту суетной славы желают подняться, ещё более наши души унизить, а не ведают: не чтя свою Родину, не найдут и другой. И будут они прокляты Богом, скитальцы.

Внучек мой, не обленился крестьянин, связали его руки, словно веригами, – запретами: это нельзя, то нельзя, это старо, это языческий пережиток. Артели создавать, то бишь коммуны, командовать крестьянами стали те, кто овсюг от овса не отличает. И, как цыплёнок от недолупки в яйце задыхается, так и крестьянин в тисках неразумных запретов.

Всё отняли: и семью, и землю, и былую славу. Вижу, солнце скоро в обратную сторону пойдёт, ибо крестьяне стали непрекословно повинны, самопослушны, кротки. Вот и нож точат, чтобы заколоть их, а они не сопротивляются, ждут своей участи. От горести мужик утеснён и тернием одолён. Нуждой и безысходностью вынуждают его бросить землю, дом, и влиться в армию нетрудовых предпринимателей. А безумцы не чувствуют боль человеческую.

---

* *Присобили – присвоили себе.*

Как дерево крепится своими корнями, так и дом. Ты видел когда-нибудь, чтобы берёзка пушилась от чужих корней? И от отцов зависит: сотворил ли ты всё тебе предназначенное или оставил крышу некрытой. Но подумай здесь: ты научил того, кто закончит твоё несовершенство?

Горе! Горе! Землю нашу растлили, души наши иноверием попленили. Антихристы корысть свою паче веры поставили. Прародителей своих чтят и законы свои блюдут, а о наших только и слышишь: все они были лентяи, бездари, пьяницы. Человек мраком покрылся, земля застонала. Всё, что было на ней, дьяволу-разрушителю отдали. Вот уж и не сжата нива – серпов нет, коровёнка орёт – сено то на лугах, а чтобы по-бурлацки – верёвки не купишь: за один аршин длины надо сто тысяч рублей отдать. Всё разрушили, всё разваливается. Они, внучек мой, всё обличают, обличают – и покойников, и живых, кто за державу жизни лишился, здоровье подорвал. Власть имущие это не возбраняют, а кликуны без боязни всё хулят, топчут. Неверие в людей лепят – неисцелимую болезнь в душу вкрапляют. В песочную дробность растирают красоту и лепоту русской жизни. Заклепали, словно голубку, слово мира, а тот на самотечность своё бытие пустил: не ропщет, не глаголет, в набат не бьет, а смиренно гасит лучину и тайком преклоняет колени пред образами в молитве, прислушиваясь, не идёт ли кто мимо дома. Не молитва это – ложный шёпот. У многих одно: день прожил – и ладно. Не догадываются: равнодушие людское приведёт антихриста к вселенской власти, и набросит он узду смерти на всех. Большинство от страха повинуются бессловно, иные в лесах попрятались, хлеборобское дело забросили и молчат, как рыбы безгласные. Вот такие – сладкие, тихие, кроткие и податливые – продали Россию! И как были русские люди подъярёмными, да так и остались.

За что такое наказание? За что Российская земля, как от великого землетрясения, вся потрясается? А над Россией все коварствуют: от души ли, от лукавства ли, от злейшего умысла, миру пока не дано понять. Но, внучек, если мир не уз-

рит сегодня пагубные дела антихриста, то он увидит завтра. И помни: никогда сердце русского человека не забудет лета скорби. И непоколебима вера моя в русского человека. Пока же вижу: находится мой народ в столбовидном состоянии, а рабогубители и мирогубители от чумы радостью пополняют свои тайномысливые души и жаждут забвением покрыть Русь. Но меня больше одолевают мысли не об убиенных русских мужиках, а о душевном сломе живых. Верю, придёт время, придёт, и мы, россияне, воспрянем духом, ибо будет среди нас тот, кто к венцу приложится, изрядным благочестием освятит родину мою. Сожалею, не выросли ещё на моей земле тучегонители. И плачу! От древней крепости в худость свернули.

Пока нас худым многословием учат не рассуждать, а осуждать. И говорят-то они, прости Господи, вопреки или назло обычаям вежливости или учтивой речи – языки сквернословием изнашивают. Издавна на Руси говорили: богатые разумом добры, богатые словом лживы. Забыли: многошумен водопад, а вода больше блаженствует от плавности и спокойствия.

Часто первые из первейших говорили друг другу – в уши шептали или в сторонку от народа отходили, и непонятно народу: или жену делили, или о вечеринке соображали. Мало праведного в утаении; не о доброте шепчутся шептуны. Правда есть правда, она всегда дождется своего дня.

Думаю: куда катится Русь? Посуди трезво! Наша Николаевская волость только одного дармоеда писаря Высоцкого кормила. Старшина волости Кадыгробов жалования не получал. Судья не получал. Урядник был. Так он на четыре волости. Ныне в Николаевской волости, то бишь с 1920 года – Маслянинской: уполномоченных по продразвёрстке десять дармоедов, Волисполком – двадцать дармоедов, Волревком – десять дармоедов, Волпартком – двадцать дармоедов. А контролеров.... И ещё, и ещё... Их же кормить надо! И случилось невероятное: не тати, а ревкомы пошли грабить дома и имущество в них. Не ночью, а днём весь дом, хлев и землю в огороде штыками продырявят, обнаруженное изымут, а на слёзы баб зубы с налётом

от самокруток выставят. Чужим имуществом восхищаются, по своим домам растаскивают. Забыли: кто чужого желает, своего лишится! Забыли: и в злате можно увязнуть!

Ещё пару лет назад уважение к чужому хозяйству было законом. Никто никогда не захватывал чужое добро, не косил чужие покосы, не занимал чужие поля, не учинял потравы. Для беглых каторжников и блуждающих переселенцев хозяева прорубали в сенцах окно с подставкой, куда по утрам клали каравай хлеба, соль, пару яиц, головку лука. По праздникам ставили чарку с вином. Вблизи нашей, огнёвской кузницы, рядом с дорогой, была избёнка для приблудных. При отце Евдокиме её ставили, а вот недавно сожгли: не дети от шалости, не тати по пьянке, а военком Босых; избёнка ему бородавкой показалась.

Вот и дети в ревком начали играть. Ты, внучек мой, помнишь, поймал Стёпку Палкина, прижал к частоколу и приказал: «Отдай бабки! Не отдашь, к стенке тебя поставлю!» И два юродивых, умалишенных, оделись в солдатские шинели и прямиком на Бухтуевскую заимку. Ворвались в дом Шубина, в один голос кричат! «Мы члены Ревкома! Реквизируем у вас одну овцу, две курицы и каравай хлеба. Добровольно не отдадите – к стенке поставим». И стали у нас говорить: «Дурака одень в шинель, научи ходить петухом, дай в руки ружье – сам будет сыт и дом имуществом завалит».

Солнце на закат пошло. Берёзки под окном чуть взгрустнули, не хочется им так рано укладываться на покой. Ветер шалун не теребит их листочки-сердечки. Тихо, безветренно. Мрак всё больше и больше обволакивает беспредельной паноломой их и мою ставку. Но нет тишины в моей душе, клокочет она внутри, мечется, рвётся. В одиночестве думал найти себе покой, а и ночи не проходит, чтобы с кем-нибудь не пообщался из прошлых встреч…*

Вот и опять не нашли мы общего языка с сыном. В субботу

* *Паполома – покрывало.*

он велел коммунарским бабам сесть за прялки. Они воспротивились. Мать Фёдора Кошаева Матрёна Ильинична прибежала с мольбой: «Да уймёшь ли ты когда своего сына?» Пришёл в коммунарский дом. Бабы и девки сидят, как на поминках, пряжу еле-еле пальцами перебирают. Не стал я отзывать сына в сторонку, при всех сказал: «Сын, не суди русскую бабу за то, что она в чистый четверг всё в доме вымоет, в пятницу полотно ткёт, в субботу за прялку не сядет. Не причуды это её, а жизнь. Так очень давно повелось и так должно держаться, и правильно всё это. Человек имеет свою судьбу, нитки и пряжа в своё время». – «Так босиком ходят», – ответил сын. – «Но разве только одна суббота в неделе? Есть и другие дни», – сказал я ему и вышел. Как жаль, что русскому человеку приходится напоминать его обычаи.

Рассказывали мне: снял с божницы Фёдор Кошаев икону Николая Чудотворца, а в дверях появилась еле живая мать Матрёна Ильинична, худая, жёлтая, она, шатаясь на ногах, хрипела: «Не тронь Чудотворца, погань ты этакая! Убивай нас всех, а Николеньку не трожь! Мы с отцом твоим, царствие ему небесное, перед этой иконой клялись любить друг друга. Этот дом ставили. Икону первой занесли».

Свадьбу отвели коммунары, меня коробит. Всё не так. В прошлом-то, ведут на свадьбу невестины родители подарок: корову с телёнком, лошадь с жеребёнком. А в коммуну привёл невесту Стёпка Токарев с миской да двумя черпаками, а невеста, что плоский ржавый гвоздь, – не прячь на запас, а выбрось. И без таинства, и без благословения… Только: «Ура! Ура! Ура…» Счастлив ли будет народ – не видно. Время покажет.

Но жизнь у моих односельчан пошла тягостная, суетная, безнравственная, безумная и нагишом.

Внучек, а отцу твоему я говорил: «Если вы строите счастье для человека, то вы должны быть мягче, добрее, ласковее и рассудительнее, а от вашей власти слышу, читаю и вижу только одно – угрозу расстрелом за неподчинение любому предписанию. Доможительство в тихости! Кто не знает: там,

где царят страх, неизбежное принуждение, не может быть свободы, выбора. Начинается не что иное, как бесконечная запутанная игра с совестью человека. Игра эта приводит к гибели, к гибели людей. Пойми меня, я не за то, чтобы люди остерегались бедности, не за то, чтобы сторонились развлечений. Я за то, чтобы человек, как соловей, и в сумерках, в густой тени кустарников заливался песней. За то, чтобы человек жил надеждой на утреннюю зарю.

Догадываюсь, тебе не раз будут говорить: дед твой шёл против коллективного труда. Да нет же. Я не отвергал и не отвергаю коллективный труд. Он приводит в соприкосновение с другими людьми, с действительной жизнью в том настоящем виде, как она есть. Но в коллективе всё должно быть зрело, обдуманно, с осмотрительной мудростью, а не по лозунгу. Ещё отец Евдоким учил пеньковцев большие дела творить артелью и, бывалоча, сам шёл впереди. Артельность всегда возносилась русским человеком. Но когда творение не радует душу, противно мыслям, а на длительный спор сил нет, не лучше ли одиночество. Да и какая же это артельность: один пуп рвёт, другой спину чешет. Вспомнил слова моего отца – они к месту: «Непосильная работа никогда не приведёт к счастью».

Многие приспосабливаются. Лукавствуют духовно, малой лжи подслуживают. Взрастет от этой малой лжи ещё большая. И вот уже могучую истину в ложь превращают. А обязан ли человек терпеть неправду? Нет. Так как он не обязан терпеть гнёт, выносить телесное истязание. Надо помнить: неправда ещё больше закабаляет человека. Неправда унижает человеческое достоинство, уничтожает взаимное доверие. А прохвосты, будто сарафан шьют, лоскут к лоскутку ложь сшивают. Корысть свою сильней веры почитают. Господи, затворённые в клетки словоблудия, могли ли они думать о свободе?

Дошло до меня: в Егорьевском прииске разграбили и сожгли музей, посвящённый не только посещению этих мест цесаревичем Николаем Александровичем в 1891 году, но и первым

старателям. И грабили и жгли дети тех, чьи имена были записаны золотыми буквами в историю освоения этого богатого золотом и платиной места. Разграбили и надсмеялись над православными храмами в Егорьевске, Елбани, Маслянино. В Елбани не только мазали сажей лики святых, но и специально завадили в храм скот и, довольствуясь, зубоскаля, ждали, когда скот начнёт опорожняться. А в Маслянино первым делом вынесли икону Чудотворца Николая, подарок цесаревича Николая Александровича, и бросили в специально разведённый костёр. «Гори, окаянная мазня». И никто из кощунствующих не брал в толк призывы старших: «Не над доской глумитесь, а над памятью своих пращуров, что прославляли Россию и вас, выродков, нарожали».

Узнал я, что мой фронтовой друг полковой священник Василий Посельский с матушкой вернулись в Никоново. Первым делом собрал он сходку и объявил:

– Миряне, грешен я перед Богом, грешен перед церковью. И знаю, Господь Бог покарает меня. Но сейчас я вам говорю: я возвращаюсь в лоно церкви. Она меня призывает. И говорю вам: не позволю, чтобы над ней и над святыми внутри надсмехались. Кто посмеет какое глумление – бить буду насмерть, а матушка Мария заупокойную служить.

Братья и сёстры, вы нас с матушкой знаете. Мы слову своему всегда верны.

Хвала Господу нашему.

Уверен, вы сохраните в этой общественной сумятице духовное наследство отцов и природное побуждение к жизни.

Благословляю вас. Аминь.

Вчера вспоминал полкового священника Василия, а сегодня он пожаловал, да с матушкой Марией. Батюшка долго обнимался с Варварой, целовал Пелагею, играл с Ванюшкой. Односельчане, бывшие партизаны, колчаковцы, сбежались к нашему дому. Удивлялся я. Очередь соорганизовали, чтобы получить благословление. За мужиками пришли женщины. Пришли и коммунары. Следом за Петрованом Огнёвым, моим сыном Ва-

силием пошли целовать руку попу остальные. Единственным, кто не подошёл к священнику, был председатель ревкома Иван Иванович Шмаков. Он сидел под черёмухой за столом. И через определённое время повторял одни и те же слова: «Я, как председатель ревкома, обязан остановить этот опиюм. Но, с другой стороны, у меня нет указа, чтобы запретить одному человеку выражать уважение другому. А чтобы не было нарушения общественного порядка, я здесь…»

Пришёл Аристарх Красавин с женой Марией. После лобызания руки отца Василия Аристарх заплакал и, заплетаясь, проговорил: «Если бы ты, батюшка, уговорил и сынков моих пойти за тобой, они бы остались живыми…»

Мария заревела.

Шмаков поднялся с лавки. Подошёл к отцу Василию. Хитро подмигнул ему. Мир замер. Он прокашлялся.

– Если Василий Алексеевич и Никита Евсеевич не откажутся от моего предложения попить чайку в моём доме, я не откажусь получить благословление от батюшки…

– Иван Иванович, – в ответ заговорил отец Василий, – благословляю я вас и желаю: наделяйте сельчан миром и согласием, а вам с Галиной Петровной, супружницей вашей, дай Бог счастья, добра и любви. Я с радостью принимаю ваше приглашение.

Мы вышли на улицу. Видно, по наущению отцов, матерей по улице от нашего дома до Шмакова растянулась петлявая вереница детей от семи лет и старше. По очереди дети подходили к отцу Василию, протягивали ручонки. Робко целовали руку священника и, получив благословение, пятились назад, уступая место следующему своему сверстнику.

Я радовался. Я посчитал, что дети, получившие благословление, тоже возрадовались.

В доме Шмакова я молчал, говорили они. Батюшка Василий ругал большевистскую власть, доставалось и православному миру. Иван Иванович защищал власть: и мирскую, и божественную. Предлагал отцу Василию:

Батюшка, давай помиримся. Мы своим спором ничего не

добьёмся. Вот до меня дошёл слух, что обыватели деревни Большой Изырак собирают деньги на строительство божественного храма. Ты понимаешь, батюшка? Власть рушит, мир строит. И в Барково заложили храм. Камень для фундамента возят из Пеньково.*

Новое сообщение дошло до меня: повсеместно разоряют храмы, вот скоро до часовни Николая Чудотворца, что стоит в центре города Ново-Николаевска, доберутся. А там наша икона, что воодушевляла на ратные дела святого Ермолая Тимофеевича и многих моих пращуров. Не дам надсмеяться!

Украду!

И кто-то мне проговорил в уши: «Никита, делай скорее. И не борозди свою совесть. Это не есть преступление. Это ещё один фронтовой подвиг в твоей жизни».

Запряг я своего Игреньку и в ночной темноте отправился из Пенькова в город Ново-Николаевск. Сомнение было: согласится ли со мной пойти на такое благое дело отец Максим?

Еду по городу Новониколаевску, удивляюсь. Где я? Содом и Гоморра. Только хотел вожжами направить свою лошадку с Николаевского Проспекта (Красный Проспект. – Прим. авт.) на Воронцовскую улицу (Свердлова. – Прим. авт.), остолбенел. Навстречу идёт голая баба. Игренька остановился. У меня глаза сковородками вылупились. Показалось? Да нет. В правой руке ридикюль, на ногах туфли. Подумал: юродивая. Что с неё возьмешь? Бабу остановил мужик. В разговор пошли. Баба нестарая, лет двадцать пять, не больше, титьками трясёт, а левой рукой нижние волосы кудряшками заплетает. Возле будки, напротив дома купца Фёдора Даниловича Маштакова, милиционер стоит, не на неё голую смотрит, мне кричит: «Деревня, что рот разинул, проезжай!»

Тут ещё три бабы идут голые-голёшенькие, у одной через плечо повязка, пригляделся, прочитал: «Долой стыд».

Паскудники! Паскудники! Вот уж и забыли целомудрие

---

* Жители деревни Большой Изырак построили храм в 1921 году. Многие годы настоятелем был отец Виктор (Лавров).

православных девиц. Обнажили весь стыд женский и на обозрение выставили. Видно, доказывают: красоту открываем русскому человеку. Было ли когда такое? С пелёнок учили русского человека: бесстыдность не от ума, а от душевной пустоты. Будут ли влюблённые с трепетом ждать чуда после венчального вечера? Чуда нет – тело женское открыто. А ненасытное тело слепо. Какая разница, кто его наполняет! Разум не воспротивится, язык не возразит. Над всем будет главенствовать жажда плоти.

Внучек, если всё так пойдёт, то возьмутся за перестройку дел Создателя; сердце в нижней части поместят, ближе к влагалищу.

Милиционер подбежал ко мне, схватил лошадёнку за узду и потянул направо.

– Тебе, старый, что неясно?! Освободи Старобазарную площадь. Видишь, с храма Александра Невского демонстрация попов-коммунистов движется?

Между домами, где раньше жил Владимир Васильевич Ляпин и Иван Тимофеевич Суриков милиционер остановил лошадку. «Повремени. Пройдут попы-коммунисты, тогда и дальше трогай».

Я от услышанного рассудком зашатался. Попы-коммунисты. Подумал: до деревни ещё такого декрета не дошло.

И вижу: Идёт впереди колонны епископ Григорий (Блинов) с красным знаменем, а за ним священники, дьяконы, толпа верующих. И горланят:

– Тот не верующий, кто не большевик!

– Нет попа – некоммуниста!

– Да здравствует Вавилонское освобождение!

Я в сердцах сплюнул и поехал к дому Бальв.

Отец Максим встретил меня с распростёртыми объятиями. Сели чаёвничать. Много он поведал мне о городской жизни.

Говорил он: «В страхе живём, Никита Евсеевич. И днём, и ночью в страхе. В доме Фёдора Даниловича Маштакова разместилась ЧК. Дух злобы вселился в мирян. Вражда обволокла душу православного человека. Враждует духовенство.

Сумятица среди верующих. С амвона льются злобствующие речи. – Отец Максим поднялся. Взял со стола несколько жёлтых продолговатых листов бумаги. – Вот послушай, Никита Евсеевич, что пишут в листовке сторонники епископа Григория: «Епископ Софроний продался советской власти, мы Софрония не признаём». – Отец Максим отбросил листок, приблизил к глазам следующий. – Послушай, что сторонники епископа Софрония пишут: «Смерть самозванцу Блинову (епископ Григорий. – Прим. авт.), несущему разложение в русскую церковь, назначенному для этой цели политической властью большевиков. Проклятия на его голову и анафема на вечные времена псу окаянному». – Максим отложил вторую листовку, взял следующую. – Не буду я вас, Никита Евсеевич, утомлять десятками этих пасквилей, но вот ещё одну зачитаю: Протоиерея отца Порфирия (Буслаева). Вот что он пишет: «Я, имеющий сан благочинного православной церкви, во всеуслышание заявляю, что духовенство и старое и новое и её служители – контрреволюционеры по своему существу и по своей конечной цели…» – Максим отпил глоток чая, с волнением продолжил: – По ночам город Новониколаевск спит тревожно. В центре горят костры. Бодрствуют в бывшем доме купца Маштакова. Не утихают допросы. Горят огни у соседей, через дорогу Воронцовской улицы, в Новониколаевской епархии и рядом, в храме Александра Невского, не до сна клиру Тихоновского направления, не почивают и Обновленцы.

В доме Маштакова разоблачают врагов Советской власти, в домах епархии, всеми путями клеймят друг друга. Дух злобы вселился не только в белых, красных, сочувствующих, равнодушных к идейной борьбе, но и в пастырей, в прихожан. Взаимная вражда в православном духовенстве взрастила сумятицу среди верующих – с кем быть? Эпископ Софроний требует подчиняться патриарху России Тихону, эпископ Григорий требует всем верующим вступить в партию большевиков.

С амвона льётся злобствующая речь. По заказу клира типографии выпускают тысячи обвинительных листовок.

В тревожные ночи православные, от простых мирян и старше, строчат доносы друг на друга и посылают, относят, передают (тайно) в дом Маштакова, в ЧК.

Не ведают православные в злобе своей, что все их доносы складываются в отдельные папочки, пройдёт время, они (доносы) послужат определённым доказательством в обвинениях».

«Вы с кем, отец Максим?» – спросил я.

«С православным человеком», – ответил он.

И тут я его напрямую спросил:

«Пойдёте со мной на кражу иконы Николая Чудотворца в Никольскую часовню?»

«Пойду, – ответил отец Максим. – И не мешкая».

Из городского ада вернулся в деревенский. Новая власть отрывает детей от отцов, мужей от жён. Вижу я в этом большой умысел. Разорвётся цепь поколений, легче будет друг против друга настраивать. Зло иметь на сына я не хочу. Тягаться с сыном, позорить род – не этого ли требует Сатана? Вижу, Русь мраком покрывается. Зло и злоба по лестнице вверх ползут, добро отпихивают.

* * *

Утром Никита надел гимнастёрку, прикрепил к ней четыре Георгиевских креста, Святого Станислава III степени, Святую Анну III степени, светлую бронзовую медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых и вышел на улицу. Следом за ним шёл Иван с туеском, откуда торчало горлышко четверти, а в рушнике кусками нарезанный хлеб, ломтиками сало и дольками огурцы. Возле дома Ташкина Никита остановился.

– Алёшка, – крикнул он, – выходь. В скиты иду. На прощание давай по чарке выпьем.

Первой вышла из дома Мария Исааковна, мать Алексея. Трижды поклонилась Никите, ещё ближе подошла и опять

совершила три поклона. Перекрестилась, обняла Никиту, прижалась щекой к бороде.

– Неуж-то кто-то тебя, Никитушка, обидел?

– Не в обиде дело, мать Мария. От человеческой суеты устал. Хочу наедине с Богом пообщаться, хочу истину узнать: как случилось, что отцы и дети не стали друг друга понимать.

Отошла Мария Исааковна от Никиты, склонилась в поклоне. Из дома вышел Алексей Федулович. Крестясь и совершая поклоны, неторопливо подошёл к Никите и, троекратно лобызая, провёл рукой по своим глазам, будто обтирая слёзы. Отступил от Никиты, глянул на Ивашку.

– Это, знать, ординарец?

– Наш будущий российский защитник.

– Може, собраться в сборной избе? – предложил Алексей. – Вон, вишь, все старики повыходили и подносы бабы держат...

– Нельзя. Новая власть разрешает в сборной избе только собрания проводить. И дома нельзя. Затаскают моих, что я при царских наградах в окружении односельчан сидел. А невдомёк им, сукиным детям, что я эти награды за Отечество получал, которого, как они говорят, нет у нашего человека. Будто бы Россия есть, и её нет. Если её нет, за что я молодым потерял здоровье, а Иван Каллистратович Марасов – жизнь? Если Оотечество есть, то пошто оно своих защитников заставляет скрывать, что они за Россию воевали, страдали и потом на всю оставшуюся жизнь инвалидами остались? И если нельзя своему сыну, своему внуку, не таясь, сказать: царь-батюшка мне медаль вручал, то лучше в ските, в глухом лесу, неразумным птахам да зверюшкам рассказать всё это…

С поклонами подошли Иуда Куликов с женой Аксиньей, Тимофей Андросов с женой Домной, Пётр Остапчиков с женой Александрой, Семен Волков с женой Сохфией, Пётр Горшков с Екатериной, Аристарх Красавин с Марией, Кузьма Платонов с Серафимой, Егор Палкин, Иван Шмаков и вдова Прасковья Марасова.

– Не поминайте меня, люди добрые, плохим именем. Не был

я плохим, ибо по православным законам жил. И не судите, что покидаю вас.

И ходили мужики с бабами весь день по деревне; с Пензенского края в Марасы, и пели они про царя-батюшку, и про разлуку-долюшку, и про жизнь сиротскую, и про старость горькую. С темнотой разбрелись по домам.

Чересчур стемнело. Чистое, звёздное небо обтянуло деревню. Тишина и покой. Никита перекрестился, сотворил низкий поклон дому, ветвистой черёмухе. Подумал: вот так бы с восходом солнца пришёл покой в деревню, в души людей.

Расквартировали по домам солдат. По-хозяйски требуют провиант для себя и лошадей.

Никита вывел из конюшни коня, запряг, посмотрел на входную дверь дома. Осторожно уложил несколько наполненных мешков в телегу.

Петли ворот не скрипнули.

Он сел в телегу и взмахнул вожжами.

Привычные к запаху Никиты деревенские собаки не устроили перекличку.

Он проехал по мосту через речку Укроп, подкатил к кузнице, ныне уже ни Каллистрата, ни Евсея, ни Никиты, а коммунарской. Спрыгнул на землю, опустился на колени. И зачастил поклоны. Ему показалось, что от кузницы идёт запах пота далёкого прапрадеда его.

Губы Никиты шептали молитву в память о прошлых поколениях, их имена. Если пращур Ерофей слыл отменным плотником, а потом и его сыновья, то Никон и дети его пошли по кузнечному делу.

В их имена в голове Никиты прорывалась обрывочно перезвоном молотков мысль: не из-за вакханалии ли в Отечестве раньше времени ушёл дед Каллистрат, следом отец Евсей. Не из-за неуважения ли к кузнечному делу в последнее время отошёл от кузницы его сын Василий. И внука Ивана силой не затянешь в кузницу. В ревтрибунал, ревком играет внук, с палкой «винтовкой» бегает по деревне.

Никита поднялся с колен, приложил щеку к срубу кузницы, погладил ладонями брёвна.

– Прощай, дом-кормилец.

Он шагнул к телеге и замер. Перед ним стояла Пелагея.

– Что, отец, покидаешь нас?

– Прости, Пелагеюшка. Думал так… Не прощаясь лучше…

– Ладно дети, они принесли тебе много расстройств, обид. А я… Я… В чём моя вина, Никитушка, перед тобой? Я все свои молодые годы ждала тебя. Шесть лет служил – ждала. Два года воевал – ждала… В лазарете лечился – ждала. Сына без тебя вырастила. Половину родителей твоих и своих без тебя похоронила. Сейчас ты покидаешь меня? За что? Разве я в чём-то давала тебе повод усомниться в моей верности? Ты терзаешься душой, что слаб здоровьем. Для меня ты и такой люб.

Никита с поникшей головой говорил:

– Не от тебя ухожу, от общества…

– Общества! – громко крикнула Пелагея. – Ты, Никита, дюже грамотный стал. И людей можешь лечить, и о политике своё мнение выражаешь. Но основного не освоил: общество – это наша деревня и мы, Огнёвы. Понимаю, тяжело тебе. В молодости ты умел творить прекрасное, силой и ловкостью одолевал любого. Тебя это гнетёт. Но не я виновата, что за годы службы у тебя руки превратились в крюки. Никитушка, нет вечной молодости, нет вечной жизни. Оставайся. Давай вместе старость доживать.

– Я ухожу к Богу.

– К какому, Никита? К Богу, который допустил антихристов до власти?

– Не кощунствуй, Пелагея.

– Ты не к Богу идёшь, ты от него удаляешься. Не ищи в пустынножительстве адамова блага. Не отделяйся от мира. Прими душой и сердцем мир, какой он есть.

– Не могу.

– Господи, и пошто грешникам приходит под старость озарение приписывать себя к святым старцам? Не хочу тебя обидеть, Никитушка, но покажи мне ныне бабу, которая в молодые годы не уводила тебя в черёмушник?

– Напраслина это, напраслина, – прошептал Никита. – Ох, узнать бы, кто тебе это наплёл, сковал бы я обе челюсти кольцом.

– Да не виню я тебя о прошлом. Прошу тебя, раскрой глаза. Посмотри: все грешники, мучители, благодетели, творцы, все ходят по одной земле, сидят за одним столом и молятся одному богу. И всё творимое – от человека: и зло, и добро. Не убегай, подожди чуток… Я во сне видела, что скоро придёт соизволение Господнее, с утробы отделять мучителей от благодетелей. Мучителей поселять на благодатной земле, где бы пагубные их желания совершались в миг, как они пожелают. А благодетелей Господь будет поселять на болоте. Ты, Никитушка, заранее, не дождавшись Господнего соизволения, покидаешь нас. Но поверь моему предсказанию: на твой запах и в глуши баба придёт к тебе. И там ты будешь маяться, что удаль твою молодецкую в казармах прожил…

– Пелагея, не забудь меня поминовением.

Пелагея обняла Никиту, прижалась к нему, поцеловала и почувствовала, как резкая боль пронзила сердце, и она, чтобы не выдать Никите своё отходящее от мира состояние, нашла в себе силы шепнуть:

– С Богом, Никитушка.

Очнулась Пелагея от солнечного тепла. Открыла глаза. Сидит она, облокотившись об стену кузницы, а вблизи на берёзе цокает сорока.

– Что, уехал Никита? – спросила она. – А мне, видно, суждено ещё в одиночестве пожить. Господи, обделил ты меня бабским счастьем, так надели хоть других.



Глава семнадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Уехал. С сыном и невесткой и с тобой, внучек, не простился. Не пожелал. Попросил Пелагею: «Не забудь меня поминовением». Поехал в Салаирскую глушь. Через хребет перевалил, остановился. Лесонепроходимое место окружало меня, родник влагой ублажал. Девственная глушь и тишина. Пал на колени и помолился. Закончил молитву такими словами: «В твои руки, Боже, предаю дух мой».

Отрёкся от всех, но не отрёкся от жизни. Безбеден путь отшельника. В постничестве да в молитвах, с коленопреклонением провожу день и ночь. Первое время, стоило мне закрыть глаза, как видел Пелагею. И хоть вдали от неё, только смерть разлучит нас. Вернусь из отшельничества или нет, – это Божья воля. Молитвами к Богу от противных наветов отнесло меня, для худого человека тропинки не было к моей келии.

Догадываюсь: не одни уста взыграют про меня напраслину. Внучек, помни: всяк слух суетен, достоверна жизнь. Да, не вписывалась моя жизнь в толпу, не отчаиваюсь. Не в том ли суть: мои дела, моя судьба. Я да Бог мне судья и закон. А место моё пусто, непроходимо. И только одно мне осталось: чтить своего святого угодника Николая и общаться с ним.

Не хотел бы разлучаться с Пелагеей нигде и никогда, но жизнь, суета, пороки человеческого тщеславия разорвали нас. Господи, прости. Святорождённую супругу оставил в одиночестве. Ах, в какой печали и страданиях живёт Пелагея в милой моей деревне Пеньковой!

Вблизи речки Суенги, вдали от дорог и тропок человеческих, не надрываясь, повалил вокруг моей будущей кущи два десятка сосен, распилил, ошкурил: разметил по пням две сажени с севера на юг и две с половиной с востока на запад; комли связал в первый венец ласточкиным закрепом да и пошёл вверх подниматься. Пол тонкомером настелил, глиной замазал, так и потолок смастерил. За три недельки всё это сделал, а, отдав Богу воскресенье, и печь русскую сбил. Погода меня баловала. Дождичек иногда моросил, но тут же лучи солнца слизывали влагу с меня и моей постройки. Лошадёнка моя, почитай, помогала. Пощиплет травку – и мордой мне в плечо. Я чувствовал: она больше меня переживает одиночество. Иногда говаривал ей: «Не дури, иди, набирай жир, к зиме всё одно тебя на мясо пущу. Ты что думаешь, я только для себя два пуда соли привёз? И на тебя хватит».

Просохла печь, протопил её чуть-чуть, для воздуха, и вознёс: «Здесь моё лоно Авраамово».

Замечал я за собой: чем больше обращаюсь к Богу, тем крепче становится моё тело, тем явственнее ощущаю в себе необычный наплыв душевных сил. Я, созерцая эту природную красоту: берёзки, травку и родник, ухожу с удовольствием в воспоминания, возвращаюсь и оглядываю мою жизнь без тени сожаления. Живу. Порвал всякую связь с личным благополучием, личным наслаждением, живу в одиночестве. Душа удовлетворена. Я живу в том миропорядке, который устанавливаю сам. Мои чувства радости в земных обновлениях, утешение в радостях будущего дня, как сном успокаиваю будни.

* * *

В апреле 1920 года Аристарх Артемихин и Михаил Сбоев – солдаты первого эскадрона 51-го конного полка 51-й дивизии – в полном обмундировании, на осёдланных конях, вооружённые винтовками и шашками, самовольно оставили свою часть и поехали в свои родные места. Михаил Сбоев приехал в деревню Мамоново, отлёживался в доме деда Вавилы. Аристарх Артемихин отправился в деревню Костыли, где жили жена и дети

у родного брата. Через неделю в Костылях появились красные войска, и Аристарх бежал в лес, ближе к Елбани, в места под названием Черни. Дальше шёл полк Ляпина, очищая леса от бандитов. Дальше бежал Аристарх и девятнадцатого мая он был в Мамоново, где они с Мишкой Сбоевым встретились.

В Маслянино в церкви на всенощной к ним подошёл Михаил Кадыгробов.

Через полчаса они сидели в доме Семёна Шеманаева и пили чай. Семён большими шагами мерил кухню и передавал приказ Рогова: громить комячейки, убивать коммунистов, грабить, сколачивать более мощный отряд. С солнечными лучами подключились два штабс-капитана: Вениамин Никольский и Сергей Виноградов да житель села Егорьевска Михаил Капитонов и житель деревни Пеньковой Иван Красавин.

Деревня Костыли медленно утопала в сумерках. Крестьяне, уставшие от полевых работ, не зажигая лучин, укладывались спать.

Раздался стук в дверь коммуниста Гордея Зоркого. Стук повторился. Гордей медленно встал, поправил на жене рубашку-нательницу и пошёл в сенцы.

– Кто там?

– Отряд красных солдат. Нам нужен председатель ячейки. Сквозь сон Гордей ответил:

– Ну, заходи, сейчас лучину зажгу.

И только он дёрнул дверной крючок, как на него набросились трое. Скрутили руки, холщовой тряпкой зажали рот и вывели во двор.

Михаил Капитонов крикнул:

– Сторонись!

От Гордея отскочили, Михаил опустил шашку на голову первого председателя комъячейки. Сын Гордея Степан, тринадцатилетний паренёк, услышал шум и выскочил во двор. Его тут же шашкой уложил Михаил Сбоев.

По наводке Аристарха бандиты стучались в дом второго коммуниста, Василия Огнёва. Он почувствовал что-то нелад-

ное. Дверь не открыл, а разбил окно и выскочил в темноту. Артемихин ударил его, но Василий продолжал бежать. Тогда Кадыгробов выстрелил, Огнёв упал. Подоспевший Виноградов дорубил его. Уже рассветало. Хором запели птицы, застучали двери. Вышла на крыльцо мать Максима Кротова Прасковья. И тут же скатилась с крыльца. Кадыгробов вошёл в дом и выстрелил три раза в спящего Максима Кротова. Так не стало первой ячейки в деревне Костыли.

Кровь продолжала литься.

К Кадыгробову подошёл Афиноген Некрасов, быстро заговорил:

– Это не все. С ними якшались ещё трое.

– Сказывай, кто?

– Я слышал, подали заявление в партию Феоктист Елахов, Иван Белолобов и Фёдор Токарев.

Согнали крестьян к сборне. Кадыгробов инструктировал, как надо бороться против коммунистов. Крестьяне сидели понурые. Заканчивая речь, Кадыгробов крикнул:

– Феоктист Елахов, Иван Белолобов, Фёдор Токарев выходите из толпы!

Они вышли.

– Коммунисты? – спросил Кадыгробов.

– Коммунисты! – ответил Елахов за всех.

– Да какие же они коммунисты, – крикнули из толпы.

Но вышел из толпы Алексей Нечаев и крикнул:

– Убить их. Они замышляли создать коммуну!

Феоктист Елахов схватил за руку Кадыгробова и стащил с лошади. Фёдор Токарев, Иван Белолобов бросились на вооружённых Михаила Сбоева и Аристарха. Елахов, прижав под себя Кадыгробова, рванул с него наган и, отскочив, только прицелился, как почувствовал сильную боль в голове и упал. Нечаев ещё дважды выстрелил в Токарева и Белолобова.

– Айда с нами, – предложил Нечаеву Кадыгробов.

– Нет, мы тут нужнее. У меня есть интерес к их хозяйствам.

Банда из семи человек стала рыскать по Николаевской волости, уничтожая коммунистов и сочувствующих.

В коммунарской избе проходило собрание. Василий предлагал вблизи кузницы поставить сушило. С ним не соглашались. Шумели. Ещё неизвестно, будет ли, что сушить. Из-за засухи стебель короток, колос мал. Дай Бог убрать то, что посеяли…

Затрещали стёкла. Коммунары оцепенели. Варвара, глянула в окно и крикнула, что взбрело в голову:

– Сколько тебе, Аристарх, в этот раз Кадыргобов заплатил?

Грянуло два выстрела. Повалился Василий. Варвара схватила берданку со стола, взвела курок, выстрелила в окно, но тут вновь прогремели выстрелы. На Варвару прыгнул мальчуган Ванька Ташкин и повис на её руках. Закричали коммунары. Завыли бабы. Мужики бросились к выходу. Иван Иванович наклонился, посмотрел на лежащего Василия. У того из горла бежала кровь. Шмаков крикнул:

– Убили.

И тут же, сражённый пулей, упал рядом. Мужики выломали дверь. Бросились к окну, откуда стреляли. Но только услышали топот коней удаляющихся всадников.

Варвара положила на стол залитого кровью Ваню, наклонилась над Василием.

– Василько, не хотел ты сегодня проводить собрание. Чувствовал… Я за тебя, и за Ванюшку, и за Шмакова отомстю. Василько, отомстю! – И она заревела, ударяясь головой в грудь Василия.

– Надо бы погоню организовывать? – услышала она над собой голос Ульянова.

– Нет, Егор. Хороните мужиков. Я поеду мстить. Хватит, трёх мужиков потеряли.

Варвара вбежала в дом и крикнула:

– Мать, Василий убит, Шмаков Иван убит, Ташкин Ваня… Похорони тут без меня и посмотри за Ванькой. Я скоро вернусь.

Она натянула на себя брюки Василия. Думала, куда могли поехать убийцы. По большаку в сторону Черепаново не посмеют. Там стоят дозорные двести тридцать второго полка. По направлению Маслянино тоже не поедут. В Стрелинке расквартирован отряд солдат. Могут только в Петропавловку.

Набросила зипун, достала мешочек с патронами и побежала к поскотине. Вывела Буланку, села и пустила его вскачь через Морасы вверх по берегу Укропки. Через час она была в деревне Петропавловке у старика Пахома Шмакова, расспрашивала его, кто проходил через деревню в ближайший день в сторону Пеньково. Старик чесал бороду и называл всех, кого видел.

– Вооружённые проезжали?

– Таких не видел, – ответил старик.

– А что случилось, Варвара?

– Мужа мово убили, Шмакова – твоего брата – председателя ревкома и Ивана, пацана, за то, что меня прикрыл…

– Так кто же это? Вот слышал я, что в Костылях всю ячейку поубивали, и в Гунихе, и в Мамоново. А до нас ещё не доходило… Говорили, что в Мамоново видели Мишку Сбоева, внука Вавилы. Конечно, он прячется от солдат. А где? Я думаю, на заимке, в Усть-Травянке. Посмотри. А где Мишка, там и разбойничья ватага.

В Пеньково, в конюшне Шмакова, жеребец Счастливчик разнёс в щепки загон, выбил ворота, вырвался на волю и прискакал к коммунарскому дому.

На земле лежал его хозяин Иван Иванович, вокруг люди. Жеребец, подплясывая ногами, мотал головой, оскалив ртище, пробирался к Шмакову. Из гортани жеребца вырывался чахоточный кашель. Он склонил голову к лицу Шмакова, облизал его и пал на колени. С одной стороны Галина Петровна, жена Ивана, ревела, прижимая мужа, с другой конь лил слёзы на косоворотку хозяина.

Вынесли из избы Василия. Развели костёр. Пелагея ревела. Вой возносился к звёздам.

Последним вынесли из сборни Ташкина. Его несли отец Алексей Федулович, мать Наталья Дмитриевна, младший брат Ивана Михаил и бабка Марья Исааковна. Они положили его на землю рядом с Василием. Сбежалась вся деревня.

В сторонке стояли Аристарх Красавин и Ксенофонт Огнёв. Аристарх шептал:

– Эх, надо бы Варьку! За моих: Иллариона и Иосифа. Ивана

Шмакова можно бы оставить. Он мне ничего плохого не делал. Вместо него Варьку! И Ваньку можно бы оставить в живых. Он что? Сосунок! Варьку надо бы. Баба в последнее время хуже мужа, сатана…

...Вечером в доме Смирнова появилась Макарова, обнимаясь с Марфой, говорила громким приказным голосом:

– Марфуша, если есть что поесть, ставь на стол. Если есть, чем графинчик наполнить – наливай. Я от усталости умираю, с голодухи умираю. Где Борис, Степан?

– Боренька вот-вот подойдёт. А Степашка у Артура. Немец учит его на скрипке пиликать. А ты что, Клавдия, нечасто нас навещаешь? Вспоминаешь только, когда приспичит.

– Права, Марфушенька. Не моя в этом вина. Дела, дела...

Смирнов тихо вошёл, внимательно осмотрел Макарову. Она, не стесняясь Марфы, обняла Бориса, стала целовать и приговаривать:

– Хорош ликом, да жаль душа пришита к другой. Хоть обними, скальпель ржавый. Я здесь, а она далеко…

– Здравствуй, Клавдия Степановна…

– Ух, как ты официально…

– По-другому не можем. Не имеем права. – Борис освободился от объятий Макаровой, повернулся к Марфе: – Нянечка, давайте ужинать. Коль Клавдия Степановна появилась, знать, и постельку уж готовь, и найдите, во что её переодеть…

– Боренька, так я её наряды перестирала, перегладила…

– Правда? Марфушенька, спасибо! – Макарова бросилась к Марфе и обняла её. – Как бы я хотела, чтобы у меня была такая мама…

После ужина Макарова взяла под руку Бориса.

– Разреши мне пройти с тобой в кабинет. Нужно поговорить.

– Опять будешь искать изъяны у Варвары?

– Клянусь, о моей сопернице не произнесу ни слова.

Клавдия плотно прикрыла за собой дверь. Села на диван, рядом с Борисом.

– Милый, несколько часов назад состоялось заседание Сибревкома. Анализировали секретную карту губернских и уездных границ, где в цветах разрисованы уезды: от доброжелательного настроенного к власти Сибревкома населения, до сочувствующих, выжидательных, революционных, неопределённых, враждебных. В этой карте, охватывающей Сибирь и Среднюю Азию, в «революционный» красный цвет окрашен Иркутский уезд. Синий «враждебный», – там, где находятся Черепановский и Славгородский уезды. В Черепановский уезд входят Егорьевская, Елбанская, Маслянинская, Никоновская, Залесовская волости… Сформирован отдельный двести тридцать второй полк. Он влит в двадцать шестую дивизию. Он должен навести порядок в Черепановском уезде. Разгромить банды…

– Клавдия Степановна, зачем вы мне это рассказываете?

– Дайте досказать. Я вам сообщаю секретную информацию…

– Мне незачем забивать голову вашей секретной информацией. Я очевидец, что принесла революция на мою родину, что принёс Колчак и его народная армия…

– Командиром, – перебила Клавдия Бориса, – двести тридцать второго полка назначен полковник царской армии Владимир Васильевич Ляпин. Вы знакомы с ним, – она посмотрела в глаза Бориса.

– Да, – твёрдо ответил Борис. – Это мой дядя. Двоюродный брат моей мамы…

– Вот как! Вы его хорошо знаете?

– Плохо. За всю жизнь мы встречались всего несколько раз.

– Ему можно верить? Каковы его убеждения?

– Клавдия Степановна, вы спрашиваете у человека, который безразлично относится к политике. Тем более не интересуется убеждениями человека. Я интересуюсь состоянием здоровья человека. У вас вон в разноцветной схеме не нашлось цвета краски, к которой приписали бы меня. Я отношусь с безразличием к власти Сибревкома. В отношении дяди могу сказать: как офицер интендантской службы на русско-японской войне он своевременно снабжал наш полк боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Есть ли у него убеждения, помимо

как сохранить целостность России, не знаю. Если он согласился быть командиром большевистского полка, значит, есть.

– Борис, его полк отправлен на разгром банд Рогова и Новосёлова…

– Клавдия Степановна, ещё раз спрашиваю: зачем вы это говорите мне?

– Банды терроризируют весь Салаирский край, разрушают золотые прииски, грабят мирное население, убивают только что избранных членов сельских ревкомов, руководителей артелей, большевиков. Рогову подчиняются десятки летучих отрядов и ещё организовывают…

– Я не солдат.

– Ты был знаком с Николаем Роговым. Вместе работали в Томской городской больнице.

– Клавдия, да, я знаком с Роговым. Но мы не были друзьями. Он работал санитаром в терапевтическом отделении, я в хирургическом. Мне было двенадцать лет, а ему четырнадцать. В университете мы с ним общались только один год. Он из-за материальных трудностей бросил учёбу. Прошло столько лет.

– Боренька, мы отправляли в отряд Рогова двух чекистов. Они на связь с Чанкиным не вышли… Рогов очень осторожный. Окружил себя телохранителями. Они к нему не подпускают никого. У него авторитет среди бандитов великий. Члены Сибревкома считают, что, если ликвидировать Рогова, полк Ляпина успешно справится с бандитизмом по всему Салаирскому краю.

Борис засмеялся. Поднялся. Подошёл к картине, провёл рукой.

– Вот так, моя дорогая Варварушка. Твоя соперница когда-то предлагала передать только бумажку – распоряжения подпольного комитета. Сейчас на убийство толкает. Потом прикажет отца осудить. Он же у меня священник. Эксплуататор.

– Ради того, чтобы сохранить жизнь сопернице. И не только ей. Представитель ЧК в Черепановском уезде сообщил, что видели летучие отряды Рогова в Елбани, Костылях, Дресвянке, Залесово, Егорьевске. Могут появиться в Пайвино, Петропавловке, Никоново, Пеньково. А в Пеньково кто руководители? Василий Огнёв, Варвара, Иван Шмаков…

Борис взял стул, поставил его напротив Макаровой, сел.

– Зачем ты так, Клава? Я тебе три года назад распахнул свою душу. Я не давал тебе повода спекулировать моими чувствами.

– Я не спекулирую, – жёстко ответила Макарова. – Идёт борьба. Я понимаю, всё может случиться. Для тебя Варвара – это твоя жизнь. Для меня ты – самый дорогой человек. Но кроме нас есть ещё люди, которые надеются жить в мире, любить, радоваться.

– Я стрелять не умею.

– А полковник Ляпин говорил обратное. Среди медицинского персонала Сибирского корпуса ты первый был награждён Орденом Станислава…

– Нет, первый орден получила медицинская сестра Мария Посельская. Больше ничего не говорил этот старик – перекати-поле?

– Говорил. Он заверял, что ты из винтовки можешь убить с расстояния сто, сто пятьдесят метров.

– Фронтовой винтовки у меня нет.

– Никогда не ври мне, Борис. Представитель ЧК по Масляниской волости сообщил нам, что ещё в шеснадцатом году, будучи в селе, ты с Кривощёковым ходил на охоту. Убил двух косачей и подстрелил зайца.

– Но тогда, возвращаясь с охоты, я почувствовал, что через четыре года власть перейдёт к большевикам, поэтому винтовку бросил в реку Бердь.

Макарова рассмеялась:

– А наш представитель заверяет, что винтовка находится у Кривощёкова в сторожке под кухонным столом. А патронов двадцать семь штук – в твоём медицинском бауле.

– Боренька, можно я вас побеспокою, – послышался голос Марфы. – Я для Клавдии Степановны водичку тёпленькую приготовила. Предложи ей чековскую грязь смыть. А то она в этой кожанке и на даму не похожа.

– Иду, иду, Марфушенька, – откликнулась Макарова.

Борис поднялся. Отставил стул.

– Неужели я такая страшная, Боренька, что ты боишься прикоснуться?

– Клава, мне надоело повторять…

– Прости, я завтра уезжаю в Москву. Сколько проучусь, не знаю. – Она поцеловала его в лоб. – Ладно, пойду мыться, а ты думай о моём предложении. Да, Боренька, сама говорю, что люблю, и сама на смерть спроваживаю. Но сегодня такова жизнь.

Прошёл час, второй. Макарова не появлялась. Борис вышел из кабинета. За столом сидела Марфа и всхлипывала.

– Что Клавдия ещё моется?

– Она ушла.

– Как?

– Помылась, переоделась в светскую даму... Всплакнули мы с ней. – Марфа показала на стол. – Оставила тебе оружие и бумажки.

Борис схватил лист и впился глазами:

«Боренька, я знала, что ты согласишься. Давно знаю: для тебя Варвара дороже жизни. Паспорт на Захарова возвращаю… потому как Чанкин знает тебя как Захарова. От неприятностей нашей власти во внутреннем кармане кожанки красная тряпочка. Бесфамильная. Это удостоверение, что ты работник ЧК. Это моё удостоверение. Мы с тобой одинаковой комплекции, так что кожанку дарю.

Твой знакомый Чанкин будет ждать тебя в Маслянино возле моста через Бердь по понедельникам и четвергам с пятнадцати ноль-ноль.

Представитель ЧК Вершинин ждёт тебя по средам в семнадцать ноль-ноль в Егорьевске, возле амбаров Капитонова.

Остаюсь на всю жизнь твоей поклонницей и другом.

Макарова».

Борис задумался. Марфа взяла со стола лист, смяла.

– Клава велела бумажку сжечь в печи. Боренька, сердцем чую: она опять тебя куда-то отправляет. Когда поедешь?

– Завтра утром. Всем друзьям и знакомым говори, что я поехал в город Томск.

«Донесение в Ново-Николаевское ЧК.

Из общения с Захаровым сообщаю: руководитель бандитов Рогов был ранен, затем сам себя застрелил. Телохранители Рогова Васильев и Новосёлов с трупом Рогова переданы командиру 232-го полка Ляпину. Красноармейцы успешно очищают Салаирский край от бандитов.

12 июля. Вершинин».

«Информация в Ново-Николаевское ЧК.

По моей просьбе Захаров ездил в посёлок Вагайновский. Там бесчинствовала банда Туза. Отряд Захарова ликвидировал банду. Крестьяне возвращаются из урмана в деревню. Обстановка спокойная.

17 июля. Чанкин»

«Донесение в Ново-Николаевское ЧК.

Летучий отряд «Романовцы» из банды Рогова за июнь по Елбанской волости убили пятерых крестьян, трёх милиционеров, одного коммуниста, одну коммунистку.

Попросил отряд Захарова помочь Елбанскому ревкому расправиться с бандитами.

21 июля ликвидированы 12 бандитов. Вершинин».

«Информация в Ново-Николаевское ЧК.

Отряд Захарова на Харюзовской заимке столкнулся с бандой Луппы. В перестрелке убит бандит – житель Дресвянки фабрикант Неупокоев. Банда скрылась. Захаров преследует бандитов.

27 июля. Чанкин».

«Донесение в Ново-Николаевское ЧК.

В деревне Пеньковой бандитами убиты председатель ревкома Иван Шмаков, председатель коммуны «Светлый путь» Василий Огнёв, комсомолец Иван Ташкин. Ранена председатель комячейки Варвара Огнёва.

В Усть-Травинской заимке убито пять человек. Кто совершил убийство? Кто убит? Устанавливаем.

Захаров в явочные дни не явился.

30 июля. Вершинин».



Глава восемнадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Внучек, прошел месяц моего отшельничества. На день страстотерпца Бориса (24 июля) всё из рук валилось. Перед глазами видения: то батюшка Максим укоряющее смотрит на меня, то грубыми словами попрекает: ты не достоин званья кавалера полного Георгиевского банта. Я залился слезами. Господи, Максим! Как ты там, в каталажке? Каюсь! Каюсь! Виноват. Я тебя подбил на кражу иконы, и я тебя оставил антихристам на растерзание.

Перед глазами темная ночь десятого мая. Я останавливаю повозку на углу Николаевского проспекта (ныне Красный проспект) и Тобизеневской (ныне улица М. Горького. – Прим. авт.). напротив дома Веры Ивановны Маштаковой. Взял из рук батюшки Максима запирочный снаряд и приказал: « Батюшка, оставайся в повозке». Он возразил. Я убедил его: «Свою икону я узнаю по запаху, по чуть подгоревшему нижнему правому углу. Были бы рядом отец Никодим или Савелий Дмитриевич, я остался бы в повозке. И не вздумай самовольничать». Я легко открыл замок. Дверь без скрипа разошлась. В темноте вошел внутрь, перекрестился. Поднял руку, чтобы коснуться пальцами висячей лампады. Шагнул вперед, узрел: меня с трепетом рассматривал Чудотворец. Я приблизился, втянул носом воздух, провел пальцами по краям иконы. Моя! Я снял её, пригубился. Господи! Никола, ты в руках моих! Завернул в холщевую материю и вышел на воздух. Я закрыл замок, с поклоном перекре-

стился и быстро пересек улицу. До меня донеслись крики с двух сторон. Оттуда, куда я бежал, кричал отец Максим. За мной хриплые голоса и брань. Подбежал к повозке, положил икону на телегу. Чудотворец, прости! Отца Моксима держали два солдата. Он отбивался. Я налетел на служилых и разбросал их. Со стороны часовни раздались выстрелы. Я скомандовал отцу Максиму быстро садиться в повозку и уезжать. Он мне поспешно: «Никита, поезжай. Богом прошу. Поезжай с Николой. Я задержу их». Я великий грех взял на себя. Против моей воли, я взял вожжи и погнал Игреньку на улицу Кабинетскую (ныне Советская. – Прим. авт.). За мной – последовали выстрелы. Одна пуля прожужжала возле уха. Я свернул с Кабинетской налево, на Асинкритовскую (ныне Чаплыгина. – Прим. авт.). Что я делаю? И я ли? Игренька повернула вправо, и мы въехали в открытые ворота. За мной проскрипел и закрылся разводной проём. Прислушался. Тихо. Решил выйти на улицу через прикалитку и замер. С Николаевского проспекта в мою сторону громыхал локомобиль, а за ним шум, крики, стрельба.

Внучек! Грешен! В душе горело желание любым путем, даже своей свободой, смертью, бежать на выручку отцу Максиму. Вместо этого, я сел на повозку, взял в руки Николая Чудотворца и прижал к груди.

Почувствовал как меня дёргают за пиджак и спрашивают:

– Никита, что не заходишь в дом?

Я открыл глаза. Перед повозкой стояла Марфа Кирилловна. Я торопливо спросил:

– Марфушенька, что, я въехал в ваш двор? Она кивнула.

Господи! Случайность? Или неведомая сила заставила Игреньку въехать во двор Бориса?

– Марфуша, а нет ли у тебя старенького чемоданчика, куда бы я поместил икону?

– Заходи в дом. Найду я тебе все что надо.

Я с иконой вошел в дом и тут же услышал голос Бориса:

– Няненька, а что за шум?

– Да Никита Евсеич пожаловали.

Скоро я был в объятиях Бориса, поспешно рассказывал, что случилось с нами, в слезах проклинал себя за малодушие. Борис грубо обозвал меня «верующим фанатиком». Кричал в лицо:

– Что ты натворил? Мыслимо ли за разрисованную деревяшку рисковать жизнью? Чекисты всё могут подумать. Решат, что епархия в часовне хранила оружие или драгоценности. Вы всю епархию поставили под удар. На кой леший Максиму нужно было заканчивать духовную академию, если с разумом не в ладах? Представь, что будет с матушкой Александрой? Никакими молитвами ты, Никита, свой грех не отмолишь. И я отцу Максиму ничем не смогу помочь.

Мы поднялись на второй этаж. Вошли в кабинет. Бросил взгляд на глухую стену. Картинка не занавешена. Я внимательно посмотрел, и от волнения затряслись руки. На меня смотрел нежный, неизъяснимо привлекательный образ моей невестки Варвары. От неё веяло удивительно таинственным очарованием. Я стоял перед картиной, вглядывался в черты, внучек, твоей матери и с восторгом отметил: картина не только отражает её красоту, она вносит необычную сказочность.

Возле меня оказался Борис. Он тихо проговорил:

– Не вини, что скрывал от тебя картину и мои чувства к Варваре. Надеюсь, вернешся домой и от своих родных утаишь видимое. – Он подошел к картине и пригубился. – Помнишь, я рассказывал тебе о прожитом аде восемнадцатого года. Кто давал мне силы выжить? Твоя невестка! Я вспоминал эту картину и заверял себя: все вытерплю, а буду дома, буду общаться с Варварой. Ты сегодня совершил кражу иконы. Она для тебя дороже всего на свете. Прости, что назвал тебя верующим фанатиком. Я сам такой же. Для тебя икона дороже жизни, для меня картина. В душе мы с тобой одинаковы. Что скажешь, друг мой фронтовой?

– Хочу только предупредить: не вверяй умную голову Егорьевской красавице, она по характеру – сущая сатана.

Это было в мае двадцатого. Сейчас заканчивается июль. Я отшельничаю с Чудотворцем. Общаюсь, наделяю любовью,

бережно протираю каждое утро и удивляюсь. С его омоложением крепнет и мой дух. Закрепляюсь в убежденеие, что икона Чудотворца наделена не меньшей силой, чем слово Божье.

Внучек, закатился день Страстотерпца Бориса. Я пригубился к Чудотворцу и долго молитвословил о мученике Максиме.

* * *

Вздохнул новый день, осветилась Маслянинская земля. Вышел отец Евгений в рясе на крыльцо, и глазам не верит. Его ходок впряжён в пару, на облучке Савелий, в ходке сын Борис. Левее посмотрел: дорожная повозка, солдаты, председатель волисполкома Бердышев, чекист Вершинин.

– Доброе утро, отец Евгений, – спокойно, с уважением, проговорил Бердышев.

– Здравствуйте, – ответил благочинный. Глянул на сына. – Ты в Маслянино и в дом не заходишь? А Елизавета Герасимовна достала из сундука смертное для матери.

– Ты зачем, отец, Зою в свои дела впутал? Зачем в руки бандитов, во главе с Михаилом, оружие дал? Как ты посмел велеть расстрелять даже тех, кого знаешь, я люблю?!

Заскрипело под ногами благочинного крыльцо, спустился на землю. Мутным взором осмотрел сына.

– Ты сел, сын мой, за один стол с филистимлянами, – крикнул он. – Виню, а смерть свою приму достойно. Зоя – это моё семя. Ты, предатель отца, не мой сын. Ты – Иуда. Ты шатающийся лекарь: ни к большевикам-сатанистам не пристал и от православия откололся. Идейно ты некрепок и семя оставишь, не достойное Смирновых. Знаю, моё творение не забудется тебе в будущем, но и твоё предательство отца не покроет тебя венцом славы. – Отец Евгений шагнул ближе к ходку. – Любимых тобой, говоришь, велел убить! – Священник положил обе руки на грудь, прикрыл крест. – Михаил не любил, но владел, ты любишь, но, как мне рассказывали, то из сеней подглядываешь, то из каталажки освобождаешь… На прощание скажу слова Иеремии: «И придёт, и поразит землю… Кто обречён на

смерть, предан будет смерти; и кто в плен – пойдёт в плен; а кто под меч – под меч…», ты, сын, сгоришь…

Медленно, держась за перила крыльца, вышла матушка Юлия. Священник, заложив руки назад, подошёл к тарантасу, сел. Матушка Юлия, вскинув голову, проговорила:

– Сбывается речёное, Евгений. Сбывается: «на реках вавилонских сидели мы и плакали…»

– Ю-ли-я, ос-та-но-вись! – крикнул благочинный.

– Забыл ты, Евгений, слова пророка Цефония: войте, живущие на мельнице, ибо все лавочники погибли и все копящие деньги истреблены.

– Изыди, Юлия! – махнув руками, закричал священник.

– От твоей кровожадности, Евгений, прав был пророк Даниил: распалась семья и сонм низвергнут…

– Трогай, солдаты, трогай! – прокричал протоиерей.

– Не спеши, Евгений. Ты же со мной не простился… Обвинял сына нашего в недостойности семени Смирновых… Кто будет говорить о достоинстве или недостатках семени тех мужиков, которые погибли? Кто скажет матерям о семени, когда они в одиночестве? От твоих дел, Евгений, они доживать будут век без мужей и сыновей! – Юлия Порфирьевна подняла руки и медленно свалилась на крыльцо. Борис приподнялся, чтобы спуститься с ходка, его остановил Бердышев.

– Прошу вас, Борис Евгеньевич, поезжайте. Вам нельзя медлить. Наши сельские врачи и я, всё сделаем, чтобы восстановить здоровье матушки. Савелий, – повысил голос Бердышев, – гони лошадей!

Вечером в дом благочинного пришла Елизавета Герасимовна, жена старосты. Она, не церемонясь, обьявила:

– Дуся, не вздумай перечить. Пока ты больна – я твоя служанка.

– Елизавета, Семён-то твой тоже хворый.

– Я не дура. И служанку, как ты, не отпустила. Хотя по-человечески ты поступила верно…

– Я не отказываюсь, Елизавета, подруженька. Видишь, за

сутки дом опустел. За Евгением арестовали Зою, Владимира. Савелий увёз в город Бореньку. Я в тревоге. Я видела, как он хромал, садясь в ходок. Где? Кем? За что? И отца обвинял. Плохи мои дела, Елизавата. До твоего прихода задремала и впала в призрачность. Икона Спаса на божнице выросла в человеческий рост, лико очеловечилось, из уст полилась речь. Говорит он мне: «Здравствуй, Евдокия Порфирьевна».

Я ему грубо вместо приветствия говорю: «Вспомнил, каким именем меня крестили. Спасибо. Что, уже за мной пожаловал?»

Он мне говорит:

«Пришёл спросить, от чего у тебя в голове мешанина? В одно время ко мне обращаешься за помощью, чтобы я спас детей твоих, и тут же думаешь, как бы Савелия попросить, чтобы рушничком прикрыл меня».

Я ему отвечала: «Не суди. От тебя всё идёт, Спаситель наш. Сколько просила угомонить, образумить отца Евгения, сколько делилась с тобой тревогами за семью… Ничем ты мне не помог! – крикнула я ему. – Не кощунствуй над материнским горем».

Елизаветушка, грех-то какой! Он мне ничего не ответил.

В первой хирургической больнице хирурги Константин Павлович Новицкий и Николай Карлович Диц ампутировали у Бориса правую ногу до колена. На операции присутствовал Михаил Павлович Востоков – заведующий городской больницей, толковый врач, друг Бориса. Ещё до операции Борис попросил Востокова, чтобы он передал Марфе Кирилловне, что он в больнице. Но прошла после операции неделя, затем вторая, а Марфуша не появлялась. Всё это время медицинской сестрой при Борисе была жена Востокова Мария. Не выдержал Борис, спросил Марию:

– Машенька, я просил, чтобы вы передали Марфе и брату Степану, что я в больнице. Почему их нет?

Мария потупила взгляд:

– Прости, Борис Евгеньевич, все врачи договорились до определённого времени тебя не волновать.

– Что, Марфушеньки нет?

– Слава Богу, жива. В июле, когда тебя не было в городе, шла

национализация частных домов собственников, кто сбежал из города. Около двухсот домов национализировали, в том числе и твой. Артур по просьбе Марфы отвёз её и Степана в село Залесово к матушке Александре.

– А мой хирургический инструмент, вещи, картина?

– Что-то Марфуша успела взять. Из твоего кабинета ей ничего не дали.

– Почему ни разу не появился Артур?

– Его нет в городе. Перед началом национализации он продал дом фармацевту-провизору Борису Васильевичу Елькину и уехал неведомо куда.

Марфа передала, что перед отъездом Артур для Бориса оставил два чемодана с лекарствами и несколько книг.

Прошёл месяц. В палате появился столяр домовладельца Василия Ивановича Ежова Мефодий Шмаков. Он долго лил слёзы, измерял рост Бориса, его ноги и говорил, шмыгая носом:

– Вы, господин Смирнов, не обессудьте, если костыль и деревянную ногу сделаю с изъянами. Большого опыта у меня в этом деле нет. Правда, за последние пять лет по заказу нижних чинов вырезал с десяток ходуль. Жалоб нет. По просьбе Константина Новицкого я вам вырежу пару. Какая лучше подойдёт, на той и будете ходить. Сделаю и поясные ремни, и крепёжные. Для костылей заготовку припас. Вот, мерку снял. Через недельку-две постараюсь всё изладить.

Но не прошло и недели, как Шмаков принёс и костыли и две деревянницы. Одну он вырезал из кедра. Расхваливал:

– Лёгкая, но непрочная. Она на первое время, пока привыкнете ходить. Вторая берёзовая, прочная, на долгое время. Первое время, как подвяжете ходульку, без костылей не ходите. И потом без тросточки лучше не рискуйте.

В тот день, когда Востоковы везли в повозке Бориса из больницы к себе домой, в ЧК поступило письмо:

«Товарищ председатель ЧК.

Пишет вам больной из 1-й хирургической больницы Иван Фёдоров, уроженец села Елбань, Елбанской волости. Я болен. Скоро умру. Не хочу со смертью унести тайну, когда на нашей советской земле ходит и бесчинствует враг мирового коммунизма, врач Борис Евгеньевич Смирнов. Он убийца. 30 июля этого года он в Маслянинской волости на Усть-Травинской заимке рассрелял и ограбил пять моих земляков-дровосеков. Я, раненый, смог убежать. А недавно видел его в городской хирургической больнице. Он отростил бороду, ходит на костылях. Его отец, благочинный, служит в храме в селе Маслянино и является ярым антисоветчиком. Он возглавлял отряд «Святой крест», и они бесчинствовали на территории Черепановского уезда.

Я нахожусь в 1-й хирургической больнице. Палата № 3.

Иван Фёдоров».

Ещё солнце не разыгралось, только слегка бросило лучи на осеннюю пестроту Маслянинского полуострова, Савелий уже суетился в доме благочинного: наносил водицы, подоил корову, почистил хлев. Вытирая слезливые глаза, вошёл в спальню матушки. Юлия поприветствовала кивком головы.

– Ты уж прости, Савелушка, что весь дом на тебе. Наверное, не надо было отпускать Марфушу.

– Что вы, матушка? Мне всё это не в тягость, наслаждение. И хорошо мне помогает Елизавета Герасимовна.

Матушка внимательно осмотрела Савелия, заметила:

– Ты что, плакал? Переживаешь за отца Евгения? Не переживай. Дружки освободят.

– Я не об отце Евгении скорблю…

– Так что за причина?

– За день до ареста отца Евгения в деревне Пеньково убили мужа Варвары Ивановны – Василия, старосту деревни Ивана Ивановича Шмакова, малолетку Ваню Ташкина…

– Всё убивают… И в этом вина Евгения?

– Не знаю, матушка. Но в селе говорят, что у Бердышева

есть записка, которую писала Зоя Евгеньевна… В этой записке приказывают какому-то Михаилу убить председателя коммуны «Сатурн» Давыдова, членов волисполкома Новосёлова, Чанкина, председателя коммуны «Светлый Путь» Огнёва и его жену Варвару Ивановну…

Матушка ещё пристальней оглядела Савелия.

– У тебя вон и руки трясутся, и вся рубаха на груди от слёз мокрая. Что с тобой? Помню, неделю назад ты мне сообщал, что в деревне Костыли убили всех членов комячейки: Гордея Зоркова, Василия Лимонова, Максима Кротова, Феоктиста Елахова, Ивана Белоногова и Фёдора Токарева. Ты прослезился и затих. Сегодня у тебя и ноги порывами дрожат. Кто-то из убитых тебе родственник?

– Матушка Юлия, все они мне в какой-то мере родственники. Больше всего Варвара Ивановна…

– Её же не убили.

– Жива она, жива, но долго ли проживёт... В лечебнице она.

Савелий, не скрываясь, всхлипывая, заревел. Юлия, поправляя халат, поднялась с постели, подошла к Савелию, взяла правую руку, положила себе на грудь.

– Савелушка, миленький, не скрывай от меня ничего. Грех берёшь на себя. Я долго не протяну. Я должна всё знать. Рассказывай, что случилось.

– Не могу, матушка. Я Борису Евгеньевичу клятву дал, что всё будет в тайне.

– Бореньке дал клятву! Что-то новенькое. И когда ты дал клятву?

– Ещё в четырнадцатом году.

Догорал день. В Народный дом уже закрадывались сумерки. Ульянов сидел за столом и смотрел в окно. Горели в закате верхушки берёз на Кокуй-горе, ребята гурьбой спускались с горы Пантюхи к берегу Укропа. Сорока стрекотала возле дома Андросовых. Он всё это видел, воспринимал, а мысли были заняты другим.

Коммуна трещит по швам.

Ташкин подал заявление о выходе из коммуны. Но Ульянова

больше беспокоило другое. Вчера поздно вечером к нему приходили двое: Палкин и Лысов. Они ему передали заявления о приёме их в коммуну. Из-за этих заявлений он всю ночь не спал. Оно, конечно, хорошо, что людей в коммуну идёт больше, чем уходит, но тревожно на душе.

После убийства двадцать девятого июля Василия Огнёва и исчезновения Варвары в коммуну пошли зажиточные мужики, или как о них в газетах пишут – кулаки.

И вроде бы отказать нельзя, всё по правилам, а на душе кошки скребут. Лысов полностью передаёт в коммуну мельницу, Палкин все восемь коров и пять рабочих лошадей.

Но что-то тут не то… Ульянов в тысячный раз ругал Варвару, что она где-то запропастилась.

Он знал, что через два часа, когда соберутся все коммунары на собрание, в первую очередь спросят его: он, Ульянов, за или против? Если он скажет «за», то и многие будут на его стороне. Но не будет ли это «за» во вред коммуне?

Утром он ездил в волость к председателю. Бердышев ему ничего конкретного не сказал.

«Решайте сами».

И про Варвару ничего…

Старуха Суза встретила Хибу возле моста через Амбарку. Осмотрела его руки, общупала карманы, небрежно открыла рот и посмотрела на его беззубые дёсны.

– Ничего не дал? – спросила она.

– Что там… Вот, предложил, сделаешь дело, тогда приходи. Сколько на бричку накладёшь, всё твоё, – ответил Хиба, почёсывая спину о перила.

– А что за дело? – сузив глаза и чуть свесившись, спросила она.

– Да надо кому-то порошочек подсыпать, – улыбнувшись в правую сторону, произнёс Хиба.

– Ты, конечно, согласился?

– Куда денешься. Если я не соглашусь, Филончик согласится. Тогда нам один конец – смерть.

– Несчастная нам с тобой доля досталась, Хиба.

– Да, Сузана, несчастная. – Он положил ей руку на плечо, и они так, обнявшись, шли к своей избе. Из окон на них смотрели с открытой неприязнью односельчане.

Выполнил своё слово Аристарх. В бричку Хибы погрузил мяса не менее пуда, два мешка муки, масла пудовку. В придачу к продуктам вручил в руки с благодарностью четверть водки.

– Ешь, Хиба, на здравие. Только помни: у нас с тобой никакого уговора не существовало…

Суза нажарила свиного мяса большую чугунную сковороду, напекла пресных лепёшек. До петухов ели, пили.

Проснулся Хиба от головной боли. С трудом встал. Опохмелился. Крикнул:

– Суза, поднимайся!

Посмотрел на лежащую жену. В недоумении закричал:

– Сузиха, дьяволица, пора лошадке сенца подбросить!..

Жена не откликнулась.

Он подошёл, стукнул её кулаком в грудь. Повалился на пол. Рывком вскочил, начал трясти холодное тело и завыл…

Варвара смотрела тигрицей на Тимофея Андросова. Казалось, бросится и перегрызёт ему глотку. Она смотрела в упор, и в её глазах сверкало пламя. Тимофей отвёл взгляд, встряхнулся, выпрямился и сказал:

– Наперво виноват я. Байку тут мне ночью пришла рассказать старуха Суза. А отравил наших свиней никто другой, как старик Хиба. Я его, честно сказать, не видел, но, когда ушла Суза, я пошёл в свинарник и среди свиного запаха учуял запах старика Хибы. Нос защекотало. А у меня лет тридцать, как Хиба рядом, так нос щекочет. Вот всё, Варвара Ивановна.

И он с искренним огорчением опустил голову, растерянно повернулся и пошёл в сторону своего дома.

Варвара приказала всех свиней вынести из помещения, промыть всё, побелить заново, а сама пошла догонять Андросова.

Андросов шёл и проклинал себя. За всю свою жизнь нико-

му плохого слова не сказал, а тут пришлось прямо. Может, не он? Нет, он. Его запах. Вот только как он в свинарник попал? Двери-то были напротив. В них никто не заходил. Если в окно, то, значит, ему кто-то помогал.

Тимофей повернул назад. Тут увидел Варвару. Остановился.

– Зачем надумал назад идти? – жёстко спросила Варвара.

– В окно, видно, он залазил. А ему одному в окно не залезть. Решил осмотреть.

– Не надо, Тимофей Григорьевич. Не надо возвращаться. Я потом сама посмотрю. Пошли ко мне в дом.

Варвара взяла его за руку, повернула в обратную сторону.

За столом Варвара села напротив Тимофея:

– Под корень нас кулаки режут. Вчера заезжал из Залесово председатель коммуны «Красный пахарь» Афанасий Коптелов. Вредят им кулаки. На что мужик умный, а вот, поди ж, плачется. И Давыдов свой «Сатурн» собирался на днях распустить. Я его переубедила.

На следующий день комячейка проводила своё открытое партсобрание в пять утра. Вопрос обсуждали один: что делать с Хибой. Одни предлагали передать его в суд, другие требовали спалить дом и его вместе с домом. Варвара предложила ограничиться деревенским презрением. Её предложение все единогласно поддержали. Арина Ташкина написала решение комячейки на листе бумаги и повесила на дверях Народного дома.

Вечером председатель Совета Ульянов провёл собрание и объяснил крестьянам, как нужно понимать решение комячейки. Всем – и старикам, и малым – запрещалось разговаривать с Хибой, интересоваться его жизнью. Мужикам категорически запрещалось давать старику махорку или огоньку для козьей ножки. Решение комячейки обрадовало старика Хибу: всё же не тюрьма. Но эта радость была короткой. Как он ни старался со встречными елейно здороваться, плакаться, что в доме Суза-покойница, какие ни делал поклоны, почти уминая землю лбом, для деревни он не существовал.

Когда надо было приступить к жатве хлебов, зарядили дожди: упорные, затяжные. Коммунары измаялись внутренними переживаниями. Домна Андросова винила коммунистов, кричала: «Забыли Бога, вот он и наказывает всех». Дожди, наконец, прекратились. Вся коммуна выехала в поле. Домна Андросова кашеварила, а все остальные серпами жали пшеницу. Ночью обязательно выставляли дозор.

На пятый день уборки возле шалашей, где жили коммунары и скирдами стояли снопы, дежурил Прохор. Этот забияка и драчун всю ночь ходил мимо скирд, мимо шалашей, и особенно мимо того, где спала Варвара, прислушиваясь к шороху. Вокруг было тихо. Уже забрезжил рассвет. Прохор по нужде пошёл в березняк. Натягивая кальсоны, он вдруг услышал за спиной непривычный треск. Повернулся и обомлел. Он увидел пламя. Горела нескошенная пшеница. Он рывком поднял с земли берданку и выстрелил в воздух. Быстро завязав тесёмку на шароварах, бросился к пластавшей ниве. Подбежав к огню, он выстрелил ещё раз и, сняв зипун, стал им сбивать пламя. И тут совсем рядом услышал выстрел и почувствовал боль под лопаткой. Прохор повернулся и увидел ликующее в злобе лицо Красавы. При падении до его сознания дошли слова:

– Это тебе за Ивана, Прошка, за него.

Коммунары, услышав выстрелы, повыскакивали из шалашей. Пламя быстро загасили. Мёртвого Прохора перенесли к стану. Несколько мужиков, распутав лошадей, поскакали во все стороны. Но через час, так никого и нигде не встретив, вернулись обратно.

Матрёна первая в деревне узнала о том, что Ташкины решили уехать из Пеньково. Сообщая эту новость всем, кто ей встречался, она закатывала глаза и, наигранно всхлипывая, приговаривала:

– Что будет, что будет?

Действительно, это было необычно для пеньковцев. Они, привыкшие из поколения в поколение врастать в землю, дорожить своими насиженными местами, гордиться красотой своей деревни, не могли воспринимать сообщение Матрёны

всерьёз. Но когда Алексей Ташкин предложил Ульянову купить дом и всё, что там есть, для коммуны, всем стало ясно – это не выдумка Матрёны, а факт. С основания деревни, с 1766 года в Пеньково только приезжали. Приезжали из Пензы, из Вятки, из Украины. Но уезжать…

В доме было давно не топлено, пахло прогорклой затхлостью и потом.

Хиба сидел на лавке в зипуне прямо и неподвижно, руки его лежали на коленях, а взгляд был устремлён в одну точку – на стол, покрытый пылью и крошками хлеба. Иногда у него на лице появлялась ироническая улыбка, а вслед за ней единственная фраза: «Я не один». Так проходили дни.

А деревня будто изменила своим правилам. До смерти старухи Хибы деревня всегда проявляла внимание к горю любого.

Даже когда у Красавы впервые заболела жена, и слухи пошли, что болезнь не из лёгких, в дом Красавы шли люди. Старухи предлагали свои проверенные рецепты. Молодые бабы пели песни возле кровати больной. Деревня не хотела смириться со временем, она Марию запомнила той весёлой девчонкой, которую Красава привёз из Пайвино в 1891 году. Девчонку приняла деревня, а бабы были все без ума от неё. Как ни славилась Домна Андросова своим голосищем, с приездом Марии ей пришлось уступить первенство.

Казалось бы, Суза безвредная была старуха, и всё же страшное равнодушие сковало деревню. Будто и не жила старуха, будто и не ходила она на речку полоскать бельё, и будто не имела по всей деревне ни одной товарки.

Даже любопытная сплетница Матрёна, и та не крутилась возле дома Хибы. Любопытство её толкало подойти ближе к дому и узнать, что там делает «убивец», но она, выйдя на улицу, в первую очередь бросала взгляд на окна Варвариного дома и, съёжившись, возвращалась назад в избу.

Да, деревня не могла простить Сузе преступление старика. Когда старик Хиба вёз старуху на кладбище, улица будто вымерла, из-за занавесок внимательно наблюдали не за тем, как понуро плетётся кобыла Хибы с гробом, а не появится ли на

улице Варвара. Она не появилась. Она отложила беседу со стариком Хибой на другое время.

Прошла неделя после похорон старухи и столько же после падежа свиноматок. Старик Хиба осмелел и стал выходить из дому. А однажды, это было поздно вечером на десятые сутки от той трагедии для коммуны, Варвара возвращалась домой от учительницы Похитоновой. Проходя мимо дома старика, она услышала странный разговор. Остановилась и прислушалась. Голос раздавался с крыши. Она присмотрелась и увидела возле трубы Хибу. Тот, обняв трубу, кричал:

– Сузанька-толстушенька, вернись! В доме мясо есть, мука есть, масло есть, и самогонки полчетверти. Только не могу жевать, не могу пить. Все меня возненавидели! И плюют в мою сторону, и бранятся. Сузанька-толстушенька!..»

– Мужики и бабы! Меня волпартком командировал в те места, где шуровали белогвардейские банды. Была в селе Гуниха. Там всех мужиков поубивали, кто сочувствовал советской власти. Пришлось организовывать комячейку из одних баб. В Костылях и Горяевке на четырёх баб приходится по одному мужику. Работала в сёлах Елбани, Суенге, Егорьевске. В них организовала три коммуны.

Все живут в нищете. Вы сами очевидцы, по неурожайности этот год превосходит девятьсот первый. Повсеместно засуха. Травы не дали и четвёртую часть, что брали в прошлом. Пострадали и суходольные покосы. Трудно придётся зимовать. Голодно. А тут ещё без меня Егор Ульянов принял нахлебника – лекаря. Потому говорю: ты, Егорка, взял его, ему и скажи: согласен одну четвёртую пуда ржи получать в месяц и лечить нас – пусть лечит. Нет – завтра же отвези его, куда пожелает…

– Так не по-человечески, – подал голос Волков. – Он же хромой. Дрова на зиму приготовил. И скот кастрирует…

– Семён, запомни, к весне в нашей деревне половина с голоду подохнет. Не хотела стращать, но придётся. В Елбанской волости по переписи этого лета проживают десять тысяч четыреста семьдесят шесть человек. А убрали хлебов тридцать тысяч пудов. Такого не припомнят старожилы. В нашеи Маслянинской

волости обмолотили и в амбары засыпали сорок две тысячи пудов. Сорок две. А проживают тринадцать тысяч семьсот человек. Вот и получается на едока чуть больше трёх пудов.

– У нас-то, Варвара Ивановна, в среднем на коммунарскую душу приходится по десять пудов, – с вызовом проговорила Анна Ташкина.

– Это без учёта, что мы четыреста пудов должны вернуть ссуду государству. Тридцать шесть пудов вдовам, у кого мужья погибли в империалистической и в партизанщине.

Напоминаю, как говаривал наш Иван Иванович, на природу вся надежда. Пока зайцы не подохли, ловите и солите. Пока сохатые не ушли в места, где нерадивые хозяева оставили сено на покосах, убивайте и солите. Пока косачи в берёзовых колках устраивают посиделки, ловите. Мы тут решили с Егором, написали указ: резать домашний скот только по нужде, которую мы признаем.

Матушка день на день собиралась навестить больную. И когда уже посчитала, что сил у неё достаточно ближе познакомиться с Варварой, кряду несколько дней лил дождь. А когда небо просветлело, Савелий передал, что Варвара Ивановна, не поправившись, покинула больницу. Опять какая-то беда в Пеньково.

Утром, отпивая маленькими глотками из чашки куриный бульон, матушка обратилась:

– Савелушка, а нельзя ли найти какую-нибудь лошадёнку? Хочется мне в Пеньково побывать.

– Лошадку я, матушка, добуду и ходок, осилите ли вы дорогу?

– Должна, Савелушка. Я чувствую, это будет последнее моё путешествие по Маслянинской земле.

– Матушка, мы подъехали, – проговорил Савелий.

Юлия приподнялась.

– Как легко мне. Даже задремала. Вижу сон. Несёшь ты меня на руках, несёшь по крутым ступенькам, а они из плах широких, проструганы хорошо, духом смолы дышат, в ушах

звон «Камаринской»… Помнишь: точно такой, как в тот день, когда ты вернулся в Маслянино… Мы где?

– Возле дома Огнёвых, матушка.

– Что народу так много? Опять не успела? Опять беда?

– Нет беды, матушка. Посмотрите, лица коммунаров радостью светятся.

– Помоги мне сползти с ходка и сумочку прихвати.

Матушка выпрямилась, чуть приподняла голову. Неторопливо, чересчур степенно приблизилась к воротам. Перекрестилась.

– Боренька не будет меня винить… От души делаю…

– Матушка, не тревожьтесь, он не узнает.

– Мне ты его тайну раскрыл. Вот и ему возьмешь да всё расскажешь.

Савелий промолчал. Открыл калитку, пропустил матушку вперёд. Крестьяне, в большинстве мужчины, низко поклонились.

– Здравствуйте, господа, – проговорила твёрдым голосом матушка.

– Здравствуйте, Юлия Порфирьевна, – хором ответили мужики и бабы.

– По какому случаю собор? – спросила матушка, слегка улыбнулась.

– Так вот, – вышел вперёд Егор Ульянов, – отец Василий приехал навестить больную Варвару Ивановну, а мы его, пожалуй, полгода не видели. Пообещал он малость погодя выйти к нам, поговорить.

– Уважаете вы отца Василия. А на отца Евгения, когда везли мимо вас, поди, плевали…

– Почему же… – ответил Егор. – Некоторые из нас чайком его напоили, благословились.

– В душе у многих было: самосуд организовать…

– Матушка, в душу каждого не залезешь. По мне, зачем самосуд, когда ревтрибунал имеется.

– Вот, вот, – проговорила матушка.

На крыльцо вышла Пелагея. Удивлённая, посмотрела на матушку, на Савелия. Поклонилась несколько раз. Матушка Юлия повернулась к Савелию.

– Савелушка, а эта женщина кто? И почему нас не встречает Никита Евсеевич?

– Это жена Никиты Евсеевича – Пелагея Семёновна. Самого нет. Он еще до убийства Василия ушёл в отшельники.

– И поди не знает, что сын убит?

– Не знает.

Юлия подошла к крыльцу, перекрестилась с поклоном.

– Я, дорогая Пелагея Семёновна, не знакома с вами, но я тоже мать и приехала выразить вам соболезнование. Я – Юлия Порфирьевна Смирнова. – Матушка ещё раз низко поклонилась. – Как себя чувствует Варвара Ивановна?

– Прошу вас, матушка Юлия, проходите в дом. И вы, Савелий Дмитриевич, пожалуйста. Варвара с отцом Василием беседуют, но вы им не помешаете.

– Нет, Пелагея Семёновна, в дом мы не пойдём. Намерена я ещё кое-кого навестить…

На крыльце появились отец Василий и Варвара. Отец Василий забаритонил:

– Бог ты мой, Юлюшка-голубушка, – он обнял матушку. – Простите за прямоту суждений, но прибыл я полчаса назад в этот дом и первым делом спросил: не была ли матушка Юлия?

Матушка бросила быстрый взгляд в сторону Савелия. Он кивнул несколько раз и поник. Матушка легонько оттолкнула от себя отца Василия.

– Часто мы с вами, Василий Алексеевич, встречались за последние семь лет. О чём только не беседовали… Чьи только косточки не промывали… А вы от матери основное скрывали…

– Простите, Юлия Порфирьевна. Не в оправдание ради скажу: я оберегал их. Зная тайны души обоих, не позволял им пасть в грех или растерять чувства…

Семён Волков шёпотом спросил у Егора Ульянова:

– О чём это они гуторят?

– Я тоже не пойму. Слова русские, а смысл иноземный, – ответил Егор.

– Вы, Василий Алексеевич, обещали с крестьянами поговорить… А я в сторонке с Варварой Ивановной пообщаюсь.

– Не надо в сторонке, Юлюшка. Зайдите в дом, – как бы приказывая, произнёс Посельский.

– Болит голова? – спросила матушка.

– Болит, – ответила Варвара.

– Надо бы в лечебнице полежать. Там врачи.

– Это верно, матушка, да дома дел много. Пока отсутствовала, кто-то всех свиноматок отравил. И даже не посчитались, что все они супоросные. Было ли когда такое, чтобы крестьянин у крестьянина скот изводил?

– Я вам принесла шестьдесят рублей золотом. Купите свиней.

– Это что, как бы откуп за смерть мужа?

– Нет, Варвара. За смерть отвечать будут убийцы. Я вам вручаю эти деньги за другое…

– За что? – вскипела Варвара. – Кому не лень, все вредят нам. Все кричат, что это ненужное крестьянам дело. А мы за год обулись, оделись, мельницу свою заимели, мясо и колбасу в трёх волостях продаём. Новый Народный дом построили. А ваш муж, матушка Юлия, вместо того, чтобы радоваться, вон как артельно зажили, решил поубивать руководителей, а имущество извести. А ведь отец Евгений меня крестил. Он меня и венчал… Не обижайтесь. Не приму я от вас деньги. Вот отец Василий привёз – приму с радостью. Всем накажу, чтобы детишкам зарубили: отец Василий помог нам восстановить артель. От вас не приму, – продолжала с мрачным упорством Варвара.

Матушка прошлась по горнице, внимательно осмотрела самодельную книжную полку, книги. Достала одну, толстую в кожаном переплёте. Перелистала. Остановилась на семьдесят восьмой странице. Почувствовала как кольнуло в сердце. Прочитала вслух:

– Дочурке Юлии от папы. Порфирий Ляпин. – Приподняла голову.

– Эту книгу, дочка, мне дарил папа – Порфирий Григорьевич. Я рада, что она у тебя… Деньги, дочка, ты от меня примешь. Кроме денег ещё кое-что… На сегодня вот эти чуски… Матушка раскрыла сумочку, высыпала на стол четыре золотых

пятнадцати рублевки. Осторожно достала шкатулку. Открыла. Вынула серёжки. – У меня, дочка, не было и нет более ценного украшения, чем эти чуски. Арина Дормидонтовна, мать Савелия Дмитриевича, подарила их мне двадцать пять лет назад. – Матушка положила шкатулку рядом с золотыми, добавила: – Они, конечно, не такие великолепные, как те, что делал Никита Евсеевич императрице, но память. Это и тебе, дочка, от меня память… – Матушка Юлия достала из сумочки маленькую иконку Казанской Божьей матери, приподняла правую руку с иконкой и, еле сдерживая слёзы, прошептала: – Благословляю тебя, дочка, на счастливую жизнь. – Положила иконку в ладонь Варвары, обняла, внимательно осмотрела все её черты лица. – Красивая ты у меня. О такой я и мечтала. Жаль, что не придётся нам пожить в одном доме. Прощай.

Варвара, поглядывая на матушку, на стол, на икону в руках, охваченная роем догадок и мыслей, спросила:

– Так это вы благотворительница нашей школы? Это вам Савелий Дмитриевич отвозил мои исписанные тетради? Это вы дарили мне эти книги? Но за что? – скороговоркой задавала вопросы Варвара.

– Нет, не я. А мы, – ответила матушка.

Она держалась из последних сил.

– Савелий, – протянула она. Савелий подхватил её под локоть. – Пойдём. Я выполнила Божью волю.

Под кустистой черёмухой на земле сидели мужики, а на лавке отец Василий. Увидев матушку, все поднялись.

– До свидания, добрые люди, – с поклоном проговорила матушка.

– А вы, Василий Алексеевич, были правы: не дело пастырей давать мирянам в руки оружие. Не свижусь я с вами больше, так вы исполните просьбу матери: оберегайте их, чтобы они не растеряли чувства…

– Юлюшка, голубушка, не беспокойтесь, пока живу, как отец присмотрю за ними, а матушка моя как мать…

Усадив матушку поудобней в ходке, Савелий спросил:

– Домой поедем, матушка Юлия?

– Нет, Савелушка. К Аристарху Красавину пожалуем.

– Так их дом через дорогу. Вон, – махнул рукой Савелий, – под железной крышей.

– Я в ходке посижу, а ты пригласи Аристарха к нам.

Матушка полусидя-полулежа примостилась в ходке.

Аристарх прибежал, взял руку матушки Юлии, поцеловал. Юлия Порфирьевна начала неспешно, но голосом, от которого ноет в зубах:

– Тебе напомнить, Аристарх, о чём вы беседовали с Евгением Романовичем за несколько дней до убийства мужиков и до падежа свиней? Или рассказать это артельщикам?

Аристарх побледнел, ноги подкосились. Он пал перед ходком на колени.

– Матушка Юлия Порфирьевна, что пожелаете?

– Что пожелаю я – это не в твоих силах и возможностях. Что нужно коммунарам – это ты сделаешь. Пока я сижу в этой повозке, – повелительным голосом говорила матушка. – Ты отнесёшь ассигнациями свой долг за свиней.

Что-то дрогнуло на лице Аристарха.

– По сегодняшним ценам это сотня миллионов! У меня таких денег отродясь не бывало, – хрипло взмолился Аристарх.

– Ты напрасно со мной рядишься. Не тяни время, – назидательно, с презрением говорила она. – Поспеши домой, перенеси жену на диван, а из её матраса насчитай ровно сорок золотых, по два золотых за свиноматку. Отнеси в дом к Варваре Ивановне. Да смотри: вручи артельщикам при свидетеле, отце Василии, и не забудь попросить прощение. Люди наши добрые – простят. Я тут посмотрю…

Под раскидистой черёмухой наступила тишина. Отец Василий и крестьяне с любопытством и интересом смотрели как мелкими шажками, словно на ногах висели жернова, с протянутыми дрожащими руками семенил через дорогу Аристарх. В ладонях у него сверкали золотые рубли. Мужчины смотрели на Аристарха, а он на отца Василия. Приблизившись вплотную к

Посельскому, Аристарх склонился, поднял покрасневшие глаза, осмотрел затуманенным взором.

– По воле матушки Юлии, передаю артельщикам сорок золотых, по два золотых за свинью. Вы свидетель, отец Василий. По воле матушки Юлии, – кричал Аристарх, – простите. А-а-а!

Он высыпал золотые на лавку, несколько монет скатилось на землю. Он махнул рукой, отвернул пожелтевшее, сморщенное лицо от коммунаров и направился к калитке. Его в прошлом статная фигура уменшилась наполовину. За несколько минут он одряхлел. Матушка Юлия следила за ним. Аристарх шёл как пьяный. Он понял: в этой жизни он полностью разорён. Столько лет трудился на поле, в хлеву, в лавке, столько лет, ещё до безумного волнения, он откладывал эти золотые на будущее своих сыновей. Никого и ничего нет. Какое унижение?! Попу-расстриге и голодранцам пришлось совершать поклон. Аристарх очнулся от своих мыслей возле ходка. С изумлением посмотрел на матушку Юлию. Она восседала в ходке, как на троне. На её лице играл румянец, а за ней, за пределами ходка шло излучение. Аристарх обомлел, глаза налились слезами. Там, откуда он вышел – нет усадьбы Огнёвых, нет высоких ворот, нет открытой калитки, нет шалевой черёмухи – ничего нет. Мрак. Всё померкло. Освещена только матушка Юлия. Аристарх, поражённый видимым пал на колени. Его нервы не выдержали, он горько зарыдал:

– Княгиня, исполнил я волю вашу.

Матушка Юлия тронула Савелия за плечо.

– Поехали, Савелушка, домой. Аристарх помешался от содеянного.

Аристарх почувствовал, что его зазнобило, лихорадка затрясла тело. Он ползком на коленях пополз через дорогу.

В приподнятом настроении возвращался домой Посельский. Исполнилось его желание: матушка Юлия познакомилась с Варварой. Дома, обнимая и целуя матушку Марию, он торопливо рассказывал, как его встречали крестьяне, о чём вели разговор. Как матушка Юлия осчастливила коммуну пожертвованием

золотых. Наслаждаясь чаем, не забыл поведать, что Аристарх Красава, видимо, тронулся от содеянного.

И тут громко, не иначе как прикладом, постучали в дверь.

Посельский отбросил щеколду. Вошли в сенки двое солдат.

– Простите нас, – произнёс один. – Мы тут подневольные. Приказ выполняем. А ваши крестьяне желают нас побить. Вы есть Посельский Василий Алексеевич?

– Да, это я. Проходите в дом.

– Нет, мы тут-ка постоим. Даём вам пять минут на сборы. Вы арестованы. Мы по приказу обязаны вас этапировать в Ново-Николаевский ревтрибунал…

– Чада господние, в чём моя вина?

– Нам кратко сказали, что вы в девятнадцатом году сорганизовали в селе Никоновом вооружённый отряд «Святой крест» и воевали против красных партизан.

Мария вышла к ним.

– Солдатики, вы заходите в дом. Самовар горячий. Чайку попьёте. Батюшка быстро соберётся. А в отношении крестьян не беспокойтесь. Я выйду на улицу и успокою.

Солдаты внимательно посмотрели на маленькую женщину, пошли в дом.

Мария положила в тарелку шанег, налила чаю.

– Пейте. Ешьте шаньги. День-то постный… Вы правы, солдатики, мой Васенька в девятнадцатом сорганизовал отряд. – Она повернулась к мужу. – В горнице под божницей твой солдатский вещьмешок. Я заранее приготовила всё. Иди, помолись, пока я солдатиков угощу. Ну вот, солдатики, отряд только назывался не «Святой крест», а имени Александра Невского. И против красных партизан он не воевал. Васенька, ты тогда кого-нибудь убил? – спросила Мария.

– Не успел. Пока мы обнимались, целовались с Гришкой Чанкиным, пока покурил, все закончилось…

– Зря ты тогда меня не взял с собой. Я бы обязательно кого-нибудь пужанула. Правда, солдатики?!

– Матушка, а вам сколько лет? – спросил солдат, сидящий справа, – вы смотритесь гимназисткой первого класса.

– Соколик! За участие в Ррусско-японской войне я получила орден Станислава третьей степени и медаль. А с того времени прошло уже пятнадцать лет. Ну, ладно. Василёк, выходи. Давай на время попрощаемся.

Посельский вышел из горницы. Поднял Марию, прижал. Так они и вышли на улицу: в одной руке Василий Алексеевич держал вещмешок, а на второй – жену.

Мария спрыгнула и жёстко заговорила в сторону собравшейся толпы.

– Вы, мужики, не шумите. Солдаты подневольные. Что им приказывают, то и выполняют.

Василий сел на бричку, крикнул:

– Никанор! Никанор!

– Слушаю вас, батюшка, – из толпы вышел Кириленко.

– Я тебе, дорогой мой, дарю библиотеку. Сейчас же перенеси книги в свой дом. Поспеши, а то эти антихристы пустят их на закрутки. И продолжай учить детей. У тебя это хорошо получается. А остальных, – он повысил голос, – благословляю. – Отец Василий перекрестил толпу. – Без меня матушку Марию соберите, упакуйте и отвезите в Ново-Николаевск.

В ночь, когда отца Василия везли из Черепаново в Ново-Николаевск, вблизи деревни Пеньковой, за волчьим увалом, там, где была заимка Аристарха Красавина, где на берёзе висел старый медный чайник, служивший умывальником, над ним свисали грязные голые ноги, а на земле, на вымоине от соска чайника, лежала упитанная собака. Изредка псина поднимала морду и выла. А вокруг заимки от дуновения ветерка тихо-тихо хрустальным звоном вели разговор нескошенные тучно налитые колосья пшеницы.

Ночью шалун-ветер качнул тело Аристарха. Берёзовый сучок испустил резкий скрип, нива пшеницы зашуршала, земля охнула, сожалея, что руки крепкого сохаря не коснутся её теплоты и блага.

Четыре письма священника Смирнова матушке Юлии

«Здравствуй, моя голубка Юлюшка!

Слава Господу Богу, жив я и здоров. Но жизнь строгая и монотонная. Посуди сама. За полчаса до утренней поверки, по звонку, а иногда и по свисткам, я встаю, моя голубка, и немедленно приступаю к уборке постели. По второму свистку становлюсь в ряд и ожидаю поверки. Меня окликают, и я кричу: «Я»! После этого срамного дела мне выдают кипяток и дневную порцию хлеба.

Милая Юлия, голубка ты моя ненаглядная, солнышко ты моё весеннее, не виню я тебя, что ты наговорила мне с крыльца. Всё бы хорошо, да место моё возле параши. Это так называется лоханка для нечистот. Прёт от неё до тошноты.

Дозволено мне держать обручальное кольцо, я его и держал, да вот дьявол какой-то снял его у меня ночью. Один дурак, а в прошлом крупный купец, придумал акционерное общество «Туркин, концлагерь и К°». Все посходили с ума. Днём и ночью только и слышишь: «Президент компании сообщает: на полдень камера пять подняла свои акции на пять фунтов хлеба, две селёдки и одно золотое кольцо». Срамники и только.

Придёт Борис – в дом не пущай! Гони антихриста, гони!»

«Здравствуй, моя голубка Юлюшка.

На утреннюю поверку акции на фунт хлеба поднялись эквивалентно одному золотому кольцу. Я быстро в своей камере создал конкурирующую компанию: «Смирнов, дети Иисуса Христа и К°» и с молотка за свою золотую цепочку приобрёл всю туркинскую компанию. Наша камера торжествовала, но на прогулке выяснилось, что Туркин уже давно создал второе акционерное общество вместе с надзирателями. И тю-тю моя золотая цепочка. Будь он проклят этот Туркин и его выдумки. При встрече с Туркиным я сказал ему: «Вы, сын мой, своими коммерческими шалостями причинили мне боль». На что он ответил: «Я куда-то должен тратить свой ум».

Меня немного «пожурили» дети Иисуса Христа, ну и поделом.

Ура! Наша компания зарегистрирована. Я пускаю в оборот рублёвку».

«Дорогая Юлия!

Посылаю тебе письмо через проверенного человека. Знаю, попадёт только тебе!

На днях встретил священника Николая (Николай Васильевич Виссонов) из села Гутово. Он был приговорён к ответственности за выдачу советских сторонников к десяти годам. Но знакомый тебе О. В. Сафроний сделал так, что он попал в Сибирскую областную психбольницу и с диагнозом старческого слабоумия отправлен домой.

Врач концентрационного лагеря, узнав, что я отец Бориса, пообещал поместить меня в больницу с таким же диагнозом. Богу ведомо – сын посадил, но его имя освободило. Верные люди мне сказали, что через неделю я буду на свободе.

Юлия, передай с этим человеком двадцать рублей золотом».

«Дорогая Юлия!

Не отчаивайся. Любовь ко Христу делает нас сильными.

Теперь по порядку.

В воскресенье 20 марта в нашем концентрационном лагере были поставлены две пьесы: «Герой коммунист» и «Поцелуй Иуды». Перед поднятием занавеса я исполнил пролетарский гимн. Заведующий нашим лагерем Соловьёв сиял, а шантрапа просила меня спеть: «А на кладбище, а на кладбище повезут меня урки мои…» Сунули мне листок с текстом. Я спел и сию срамную песню. Комендант лагеря антихрист Киш всплакнул. А ворюга Кремков, который украл у меня золотое кольцо, благодарил администрацию за заботу о заключённых. Прохвост и только. На следующий день меня перевели в сумасшедший дом. Вот откуда я и пишу тебе.

Милая Юлия, через два-три дня меня выпустят».

Матушка Юлия таяла на глазах. В День Святого Духа она

не поднялась с кровати. Елизавета неотлучно сидела возле матушки и, часто всхлипывая, повторяла:

– Боренька обязательно приедет, обязательно. Весточку мы ему, матушка, отправили.

Ночью матушка попросила Елизавету пригласить в её комнату Савелия. Елизавета воспротивилась, посоветовала наперво позвать отца Николая Бальву, чтобы матушка успела исповедаться. Но Юлия резко потребовала:

– Сейчас мне нужен Савелий.

Савелий сел на краешек кровати, положил руку на грудь матушки.

– Тяжело мне, Савелий, тяжело. Вот-вот умру…

– Матушка, не надо думать о смерти, – успокаивал он. – Ещё поправитесь. Вон как погода разгулялась…

Матушка взяла руку Савелия, приложила к щеке, произнесла:

– Чую я, Савелий, чую, мой соколик… Зою и Василия забудь – они все крови жаждут, как и протоиерей… Погибнут, панихиду по ним не вели устраивать. Хоть и мать я им, но не мои они дети. Савелий, как на том свете я буду смотреть в глаза убиенных Ивана Шмакова, Василия Огнёва, Вани Ташкина, убиенных Порфирия Кокорина, Николая Ударцева, Егора Марамзина, Агафона Хребтова, Михаила Большакова? Многих я помню ещё по тому колокольному звону… Сколько их, Господи?! Как? Они спросят у меня: «Матушка Юлия, это вы воспитали кроволюбов? Каким молоком вы их питали, что они не иноземных варваров порешили, а своих же, русских? Что я им отвечу, Савелий? Не нужен мне исповедник. Не приму я святое причастие. Не достойна я этого великого таинства. Савелушка, отец Василий ещё осенью восемнадцатого предупреждал: «Юлюшка-голубушка, остепени благочинного. Не пастырское дело оружие в руки чад Господних вручать». – Матушка замолчала, прижала руку Савелия к губам. Слегка отстранила. – Посмотри всё имущество наше. Что может пригодиться в домах прихожан – раздай. Матушке Александре вручи сто рублей золотом. Михаила Кадыгробова гони калёным железом. Жаль, что Боренька не поспел, знать, плохи дела у него… Бог

свидетель, Савелушка, любила я тебя и люблю… Но нельзя матушке уходить от батюшки, нельзя. А жаль… Обними меня, Савелушка… Дай я тебя поцелую… А ты прости меня, мой соколик… Я знаю, ты так много перенёс страданий и мук….

Савелий наклонился, прижался к матушке Юлии губами и почувствовал, как её губы вздрогнули. Юлия тяжело вздохнула, голова качнулась от необычного удара сердца, тело вытянулось. Савелий обхватил её, приподнял, прижал к себе и долго-долго сидел на кровати, обнимая и целуя свою незабвенную. Елизавета, прижавшись лицом к стене, приседала на пол, громко причитала:

– Ох, да на кого же ты нас оставила, матушка Юлия…

На Маслянинском кладбище, где над свежей могилой высился крест, изготовленный руками Савелия, губы его шептали:

– Милая моя, я никогда тебе не произносил слов любви. Это было невозможно. Я знал: ты сердцем и душой чувствовала мою любовь. Матушка Юлия, матушка Юлия, я люблю тебя. Я всегда буду рядом с тобой. Ты, и только ты в моём сердце. Дьявол толкает меня на преступление – быть быстрее рядом с тобой. Пока не пойду на грех. Кто ж будет следить за местом твоего вечного упокоища?!

Потянулись безрадостные дни.

Успели Савелий с Елизаветой раздать имущество по мирянам, матушке Александре – нет. Она в это время в Ново-Николаевске через знакомых пыталась освободить сына Максима. Скоро Савелия выгнали из дома благочинного. Прижилась там военная комендатура. Поселился он в церковно-приходской сторожке. Ночью, укладываясь спать, Савелий клал на подушку, свёрнутую мячом, посечённую от старости цветную шаль с бахромой, говорил:

– Юлюшка-голубушка, у меня всё хорошо. Ты отдыхай, а я тебе песенку спою.

Время проходит, время летит,
Время проводит, ничто не льстит.

Освободили отца Евгения, вернулся в село Маслянино. Принял его в свой дом Козьма Шахтырин. Поплакал отец Евгений на могиле Юлии Порфирьевны. Спустя два дня к воротам Шахтырина прибили бумагу: «Отец Евгений, убирайся из Маслянино. Не уедешь – спалим дом Козьмы».

Поехал отец Евгений в Барнаул. Епископ направил его настоятелем в село Гуниха. Но и здесь через неделю встретили его два старика и заявили: «Извини нас, отец Евгений, не место тебе быть нашим духовником. Уезжай. Не хотим мы сжигать храм. Наши отцы его строили».

Опять поехал отец Евгений в Барнаул. К этому времени Маслянинская волость перешла в Черепановский уезд. И храмы божьи перешли в ведение Ново-Николаевской епархии.

Сердечно встретил отца Евгения епископ Сафроний. Долго беседовали. Много тёплых слов высказал епископ о покойной матушке Юлии. Обещал приложить все усилия для освобождения детей отца Евгения – Василия и Зои – из застенков ЧК. Воздержался от благословления настоятелем в приход. Предложил уехать подальше от города, в глухую деревню. раствориться среди крестьянства.

На сороковину по матушке Юлии нагрянули в церковную сторожку солдаты. Военком Босых требовал, чтобы Савелий немедленно отдал чемодан, который передал на хранение лекарь Захаров, ещё по весне этого года. Кто такой Захаров, Савелий не знал. Тем более, какое он имел право передавать имущество самого Бориса Евгеньевича. Толстяк Босых злобно велел солдатам вывести Савелия за церковную ограду и расстрелять. Он кричал:

– Последний раз требую: отдай ящик! – А жирное тело его колыхалось, как подошедшее тесто в квашне.

Савелий отвечал:

– Кукиш тебе, обмазанный дерьмом, а не ящик! Нет его у меня! К ним подошёл мужчина на костылях. Савелий осмотрел его и не узнал: лоб пересекали морщины, густая широкая борода покрывала лицо. Воспалённые глаза тускло смотрели на

Савелия. Старенький серый пиджачок мешком висел на живых мощах. Тихим, очень знакомым хрипловатым голосом мужчина произнёс:

– В Пеньково несколько человек заболели тифом. Один мальчик при смерти. Савелий Дмитриевич, вся надежда у меня на мой ящик. Вспомни, где он?

Савелий стремительно бросился к Борису, отчего солдаты сбросили с плеч винтовки и направили на сторожа. Увидев, что тот обнимает хромого, успокоились.

– Матушки Юлии нет. Преставилась наша любимая… Нет, Борис Евгеньевич. Мамы нет…

Борис с силой оттолкнул Савелия, крикнул:

– Плакать будем потом. Сейчас мне нужен ящик с лекарствами. Где он?

До солдат донеслось что-то вроде перебранки.

Савелий поспешил в сторожку, шлёпая босыми ногами по лужам, потом к храму. Открывая висячий замок и обтирая о коврик ноги, посмотрел в сторону Бориса, кивнул, перекрестился и исчез в храме. В малой ризнице открыл потайной люк, спустился вниз по лестнице и за ящиками, где и до сегодняшнего дня хранилось несколько винтовок, схватил чемодан и полез наверх. Выскочил из церкви, осмотрелся вокруг: ни солдат, ни Босых, ни Бориса Евгеньевича. Он обежал храм и за углом увидел Бориса, обнимающего лиственницу, а рядом Босых. Савелий посмотрел наверх, на колокольню, и у него кольнуло под сердцем. Он вспомнил: именно здесь, под лиственницей, семь лет назад стояла невеста Василия Огнёва Варвара.

– Всё здесь, всё, товарищ лекарь, – проговорил Савелий.

– Спасибо вам, Савелий Дмитриевич. Приезжайте в Пеньково, нам вдвоём будет веселее. Спросите, где живёт лекарь Захаров, вам покажут.

Ночью пожаловал в деревню Пеньково Савелий. Но прожил в доме Бориса всего несколько дней. Убёг в Маслянино, туда, где сам могилу копал, крест ставил, и где каждая пригоршня земли слезами пропитана.

Вскорости и из сторожки выгнали Савелия. Бездомным бродягой бродил он от села до кладбища и обратно с узелком, в котором жулькалась свёрнутая шаль с бахромой. Старушки, загодя, до появления Савелия на кладбище, оставляли на могиле матушки узелки с провиантом – тем и кормился. Недели через две взяла его за руку вдова Зоя Евдокимовна Москалёва, по мужу Абраменко, и ввела в дом. На следующий день видели сельчане, как в сторону кладбища шли трое: Савелий, Зоя и её шестилетний сын, и не удивлялись. В первых числах сентября Савелия арестовали. Нашли в малой ризнице винтовки в ящиках. Кто их там хранил? Конечно, Савелий. Зачем? Для передачи бандитам Рогова и Новосёлова. И когда везли Савелия по селу, под конвоем, удивлён был он. Почти всё село шло за телегой. И каждый подходил к нему и заверял: «На могиле матушки Юлии цветы никогда не завянут, могилка будет прибрана, молодой стебелёк сирени полит». А Зоя Абраменко и её сын Георгий шли, держась за телегу, и плакали.



Глава девятнадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Шёл шестой месяц моего отшельничества. Не скажу, что в полную силу телесно окреп, но кашель малость прекратился.

В полдень, когда по привычке отдыхал в своей келье, послышались удары в дверь. Вошёл мужчина в кожанке. Поприветствовали мы друг друга. Я рад был гостю. Встретил его по чести. Угостил вяленой кониной, мочёной брусникой, грибочками. Вели мы разговор, промеж которого интересовался он: кто я и откуда.

– Старец, – ответил ему, – старец – вот и всё.

Прошёлся он по келии, в красный угол глянул. Быстро, с удивлением, повернулся в мою сторону. По глазам его понял: он узнал меня.

– Я эту икону Николая Чудотворца, в детстве видел у матушки Александры, а она мне тётушка, малая сестра отца.

Я ему говорю:

– Так вы, значит, Лазаря Вершинина сынок?

– Верно, дедушка, Пётр Лазаревич.

– А в каком чине служите?

– Я работаю по борьбе с контрреволюцией.

– Значит в ЧК, – произнёс я. – Ну, а знаете ли вы что о своих двоюродных братьях?

Он склонил голову и отвернулся.

– Меня отец Максим интересует, – спросил его напрямую.

Он ещё больше склонил голову к иконе, посмотрел на ситцевую тряпку, что свисала с подставки киота до пола, отдёрнул

её и увидел мою гимнастёрку с фельдфебельскими погонами, Георгиевскими крестами и медалями. По-доброму коснулся моих наград.

– Верно, Никита Евсеевич, вы старец… Я вас не смогу часто навещать. Нельзя. Но есть у меня два верных товарища. С братом Михаилом в одном партизанском отряде воевали… Место вы выбрали чудесное. Вот бы где пасеку развести, а?

Через неделю прибыл на подводе и привёз мне пару ульев с пчёлами и всю утварь для пчеловодства. Поспешил я ему сказать: спасибо! Мёртвый не услышит.

Вершинин распряг лошадку.

– Дедушка, – обратился он. – Я бы хотел с тобой ночку у костра посидеть.

– Только рад буду, – ответил, – шесть месяцев не общался с людьми. Как не стремился к отшельничеству, а по общению скучаю. Ты тут сушнячка подготовь, да из кущи моей столик с лавочками вынеси. Я на полчасика отлучусь. Глухаришку на ужин подстрелю…

Налил Вершинин в берестяные стаканчики водки. Подал мне.

– Давай, дедушка, помянем.

– Из моих кто? – спросил я.

– Сын Василий, – ответил он. Правая рука моя со стаканом затряслась. Руки опустились. Сердце сжалось.

Вершинин поднял мой стакан с земли, наполнил вновь. Подал в руки. Я принял стакан, выпил.

– Ещё кто? – спросил, давясь от слёз.

– Иван Иванович Шмаков и мальчонка Ваня Ташкин.

– Всё убивают, – протянул я. И упал на землю, рыдая.

Рассказал Вершинин, как бандиты затемно, когда шло собрание коммунаров «Светлый Путь», разбили окно в сборной избе и тремя залпами сразили их насмерть.

Рассказал Вершинин, что приказ убить большевиков в деревне Пеньковой, в коммунне «Сатурн» и в Маслянино написан рукой Зои Смирновой. Она призналась. На предваритель-

ном допросе не отрицал свою вину и благочинный Евгений.

Всякое говорили про отца Евгения до гражданского беспорядка. Вспомнил, как он приказывал во всех деревнях создавать «святые» отряды. Раздавал им оружие.

Отец Евгений изгонял из храма сатану ладаном и молитвами, а сам был дьяволом. В храме Божьем должна быть чистота! Забыл об этом. Мирогубители находят для себя святое место и себе подобным. В их устах СЛОВО приобретает силу сильнее человеческой жизни. Через СЛОВО они изменяют устройство мира, отправляют человека в ад, награждают себя благом всезнающих богов. Но, главное, я виню отца Евгения за то, что он дал в руки мужикам право в каждой деревне создавать лобное место. И как большевики, вместо укрепления мира стал его разрушать.

Доколь это будет: чем больше человек приумножает мудрость свою, тем чаще он наносит ущерб ЗЕМНОМУ существованию и человеческому бытию.

И решил я: встречу Евгения Романовича – отцом не назову. Он с Богом на устах, но вдали от божественного слова. Он, как дятел, выискивал в здоровом дереве Святого писания места пристанища червяков и этих червяков ставил в основу постижения мира и законов деяния.

Вот бежит человек куда глаза глядят, от большевиков и от попов. Наступило время: одни цепляют на головной убор звезду, а в руки встречным дают оружие. Другие вешают на груди крест, а в руки – тоже оружие.

– Поймали убивцев? – спросил у Вершинина.

– Не поймали. Но на Усть-Травинской заимке нашли пять трупов. Крестьяне из деревни Мамоновой признали среди убитых Михаила Сбоева и жителя Егорьевского прииска Михаила Капитонова. Один из вашей деревни – Иван Красавин.

– Господи! – Перекрестился я. – У Аристарха Красавы было три сына. Три. Двое – Иосиф и Илларион – погибли непонятно от кого. Рассказывал он мне, как они с женой Марией, в Черепаново вытаскивали из горы трупов сыновей… И этот…

– Аристарх Ивана похоронил. А жену его Марию на кладбище на бричке везли.

– А тех-то, кто пятерых порешил, поймали? – спросил я.

– Нет. Мы и не знаем, кто. Слухов много: Прохор Шмаков, брат Ивана Ивановича, мне высказывал свою догадку, что это дело рук твоей невестки. И пеньковский председатель Совета Егор Ульянов заверял, что Варвара имела замысел, но это всё слухи. Не могла она одна. Там среди убитых – двое военных.

Оплакиваю друга Ивана Ивановича. Вспоминаю, по какому бы поводу ни собирались пеньковцы – свадьба, крещение, приезд гостей; какой бы разговор ни шёл, живой или вялый – все нет-нет да и прислушивались к шуму в сенях. Любил задерживаться Иван Иванович. Сам он, когда его отчитывали, говорил: «Не люблю на скачках бывать, а первые минуты за столом – это скачки. Хозяин готов быстрее гостей с ног сбить и льёт по первой, по второй, по третьей. А я прихожу, когда скачка кончается, и хозяин с хозяйкой не стоят над душой. Люблю я, грешник, тянуть жидкость из стакана медленно, чтобы она согревала меня, а не рвала внутренности».

Как только в сенях слышался шум, все умолкали. Шмаков долго раздевался, находил место для тяжёлой шубы, валенок, сморкался, поправлял косоворотку, кушак, вот тогда и заходил со словами: «Мир и веселье вам, дорогие пенькодралы».

Ему отвечали хором с радостью: «Здравствуйте, Иван Иванович»!

Он разглядывал присутствующих, дружески приветствуя мужчин и женщин. Иван Иванович подходил к жене Галине, бережно целовал её в щёку. Приговаривал:

«Рад за тебя, Галина Петровна, что любят тебя земляки, приглашают. Ты уж за эту любовь с Аксиньей попой, попой…»

Потом он разглядывал женщин и по ему только известному ритуалу шёл целовать ручки. Если на торжестве присутствовала Варвара, он шёл к ней, а когда её не было, он начинал с Серафимы, жены Платонова. Целуя руку, он говорил приятные слова и весело хохотал. В эти минуты он

был на редкость симпатичным и милым. Когда Шмаковы возвращались домой, Галина ему говорила: «Ваня, ты у меня самый красивый. Вон и Варвара на тебя сегодня хорошо посмотрела». Они в обнимку шли домой. Дома бабка Степанида ставила на стол плотный ужин, наливала четыре стакана медовухи. Слазил с печи отец Иван Григорьевич. И за своим семейным ужином до глубокой ночи пели, забывая все неприятности жизни.

Шмакова интересовало всё в жизни людей, даже мелочи. Он внимательно выслушивал всякие рассказы, самые незначительные, и всегда умел вызвать, обнаружить хорошие стороны рассказчика. А если кто-то жаловался на соседа, то тут Шмаков, копаясь в своей памяти, напоминал рассказчику несколько примеров, показывал, каким хорошим был сосед. Ему было хорошо, когда уходили от него с улыбкой. Для Ивана в деревне не было зверья, жили люди. Он умел добро судить внутренние мирские соплетения.

Оплакивал Ваню Ташкина. Он в свои четырнадцать лет был серьёзным, умным, как взрослый, в то же время трогательным, как ребёнок. Он с десяти лет обращал на себя внимание своей бодростью, быстротой и обстоятельностью. Все три зимы, посещая школу, он был первым и самым любимым учеником Ираиды Похитоновой. Её часто поражали некоторые черты Вани, особенно добросовестность, пунктуальность, граничащая с педантичностью, и скупость на разговор. Он говорил то, что нужно, и ни слова больше. Пробыв три месяца партизаном-разведчиком, Ваня, насмотревшись на раненых и убитых, не раз сам побывавший в таких ситуациях, что только миг отделял его от смерти, не почерствел, не огрубел, а стал ещё нежнее и чувствительнее. Он был трогательно привязан к отцу и делился с ним мыслями, душевными переживаниями. Мечтая о своём будущем, этот бледный высокий юноша чаще всего хотел быть солдатом.

Сколько вечеров провели мы в беседах! Я и сейчас слышу его голос: «Дядя Никита, а правда, наши русские солдаты бессмертны…»

Вчера, внучек, у меня была гостья. Пожаловала медведица. В десяти саженях остановилась, села на задницу и давай осматривать мою келию, мыльню, меня. Я рубил сушняк. Решил не проявлять к ней интереса. Спокойно продолжал своё дело. Украдкой посматривал на неё. Заметил опухшие титьки. Подумал: знать ты матуха!

Она смотрела, смотрела, поднялась на задние лапы и пошла ко мне. Примерно в пяти шагах остановилась, давай хватать носом воздух. Вижу, надо бросить топор. Прибросил: успею ли я до ружьишка дотянуться. Она, бестия, опять села на задницу и лапами вокруг себя давай землю рвать. Я спокойно сказал:

– Матуха, не шали. Пришла знакомиться. Давай. Меня зовут Никита, а ты будешь Матрёной.

Я отбросил топор и пошёл в избёнку. Взял со стола ломоть хлеба. Вышел. Прошёл в беседку и на стол положил краюху. Вернулся в землянку. В отдушину стал смотреть.

Медведица встала, прошла в беседку, взяла со стола ломоть. Понюхала и сунула в пасть. Я вышел. Она обошла мыльню, вернулась, обнюхала топор и ушла в пихтач.

* * *

Возле кузницы Никиты поставили временные сушила для просушки снопов. Первый десяток пудов зерна хорошо провеяли, просеяли и в мешках отвезли на мельницу Лысова. Вынул он клин из колеса, полетела вода на мохи, зашуршали жернова. Побежала ручейком мучка.

Первый мешок муки отвезли в дом Огнёвых, второй – Ташкиных. Бабки поставили квашню. Мужики в усадьбе Огнёвых под черёмухой сбили доски на козлах. Получился длинный большой стол. Расставили лавки.

Дети то и дело кричали:

– Баба Пелагея, у тебя квашня не ушла?

От дома Ташкиных прибегали и недовольно бурчали:

– И у бабки Федосьи квашня ещё не надышалась.

Коммунары сидели за столом и бойко разговаривали, шутили, вспоминали тревоги посевной, страды. Егор Ульянов спросил у Варвары:

– Варвара Ивановна, а соседа пригласила?

– Ково это? – Спросила и машинально бросила взгляд на дом Алексея Ташкина.

– Лекаря? – Егор загасил закрутку. – Что ты его невзлюбила? Ну, то, что я без тебя его принял в деревню, так лекарь он неплохой.

– Эта контра, как и Филончик, так и смотрит, как бы нашему коллективному труду навредить. Тебе как советской власти разрешаю ломоть хлеба отнести. Но только потом, когда мы и дети наши наедимся.

Дождались!

Егор Ульянов взял рядом лежащий каравай, поднёс к губам, поцеловал.

– Вот и наш праздник! Чувствуете, как пахнет! Это от него идёт пар и пот нашей колективной работы. Хлебушек жгёт руки. Видите, какой бухонец шероховатый, бугристый. И у каждого из нас, пока мы его растили, руки огрубели, покрылись мозолями. Но, мои родненькие, мозоли наши появились от работы не на мироедов, а на себя. Мы вырастили хлеб. Он наш.

Пелагея и Федосья разнесли мужикам и бабам по стакану медовухи.

Анна Ташкина разлила детям калиновый кисель. Мужики медленно, с важным видом разламывали каравай на ломти и уважительно раскладывали по столу. Кошаев Костя схватил со стола кусмень и, склонив голову к столу, стал торопливо жевать. Мать его Марфа ударила в ладони:

– Вы посмотрите, мой-то без отца совсем потерял приличие. – Фёдор, – она обратилась к старшему сыну, – ты там рядом, прижми его челюсти… А я хочу к Варваре Ивановне обратиться, к Варварушке… – Марфа подтянула косынь. – Без тебя, дорогая, повымирали бы мои шестеро детишек и я с ними. Ты последние четыре года была нашей спасительницей. Ты и мужа потеряла, и самую покалечили, а с нами… Скажи нам словечко за первый артельный хлеб.

– Это правильно, – поддержал Марфу Пётр Остапчиков.

Варвара поднялась с лавки, взяла в руки кусок чёрного хлеба…

– Вот так, дорогие мои, и живём. Трудно нам было. Вредили нам. По весне по сусекам собрали всего пять пудов для посева. А кто нам пришёл на помощь? Большевики. Нам дали ссуду на все наши коммунарские посевы. Наш хлеб пропитан не только потом, но и кровью. Помянем нашего Ивана Ивановича Шмакова. Помянем Ванюшку – Ивана Алексеевича Ташкина, мово Василия и гармониста нашего, верного партии комсомольца Прохора Лимонова. Если бы не он, за пустым столом сидели бы мы сейчас. – Варвара отпила глоток медовухи, откусила от ломтя, прожевала. – Прошу вас, будем помнить голодное прошлое, будем строить светлый путь.

К середине ночи закружилась метель, завыла. Варваре не спалось. Она услышала какой-то стук. Подумала, что сын не закрыл за собой калитку. Набросила шаль, надела полушубок, вдела босые ноги в валенки, вышла во двор. Мыслями порадовалась, что успели до метели всю солому подвезти к скотскому двору. Завтра можно роставить котлы и заварить солому для корма коровам. Прибросила мысленно, на какое время хватит сена, соломы. Скот уже начал тощать. Среди воя метели она уловила музыку. Играли не на балалайке, не на гармони, на инструменте, который она слышала в Егорьевске. Она вспомнила, как называется инструмент. Матушка Александра называла его скрипкой. А тогда играл на ней управляющий прииском Владимир Ляпин. Но откуда этот инструмент в Пеньково?

Незакрытая калитка от ветра шаталась, постукивала. Она уже набросила калиточный рычажок и вдруг замерла: музыка лилась от дома Ташкина. «Фельдшер-то, как бы глухой, разговаривать не умеет», – подумала Варвара.

Она отбросила рычажок, вышла за калитку и, сгорбившись от бьющего в лицо снега, подошла к дому Ташкиных. В окне трепетал тусклый огонёк, виднелся силуэт.

Скрипка заливалась слезами. Варвара замерла. Внутри что-

то поднималось, летело в бездну, сопротивлялось необычному наплыву чувств, вырывалось на простор.

Варвара очнулась от смеха. Совсем рядом шуршал снег. Она бегом бросилась к своему дому, встала за воротами и почувствовала, как сердце готово разорвать грудь, в голову ударила кровь. «Господи, – подумала она, – если видели, что подумают?»

Утром, очищая ограду от снега, она несколько раз смотрела на дом Ташкина. Сосед не появлялся. Когда очистила приворотную площадку, увидела фельдшера. Она подошла, поклонилась.

– Сосед, я вчера слушала, как вы играли. Многое я из своей жизни вспомнила. Расстроилась. Всю ночь не спала.

Он не произнёс ни слова. Повернулся и пошёл.

Варвара покраснела. Такого ещё с ней не бывало. Она, Варвара, разговаривает с мужчиной, а он будто не понимает, неуважительно отворачивается и уходит.

Она плюнула, в сердцах произнесла:

– Борода с ворота, а ума с прикалиток.

Он остановился. Повернулся. Уже что-то хотел сказать, разомкнул губы, но тут же повернулся, костыляя, скрылся за воротами.

Варвара не уходила. С возмущением проговорила:

– Надо бы повесить твоего учителя за твою бороду. Играть научил, а ума не прибавил.

Огорчённая неуважением, смущённая незнанием, как ей поступить, Варвара наклонилась, собрала снег в комок и бросила в его калитку.

Больше скрипка не играла. Измаялась Варвара. Не выдержала.

Увидела в окно, как фельдшер вышел из калитки, оделась и выскочила во двор. Она быстрой походкой подошла к нему и, не здороваясь, спросила:

– Почему не играете?

У него от неожиданности упал костыль. Он, чтобы не упасть, схватился за калитку. Опершись спиной на калитку, он смотрел не на Варвару, а на противоположную улицу, на дом Красавина. Тихо, старческим голосом, проговорил:

– Вам противопоказано расстраиваться.

– Ты, лекарь, не глухонемой… На будущее не придуривайся. Скажу: «Играй!» – будешь играть. А то вторую ногу покалечу.

– Я бы вам, Варвара Ивановна, посоветовал ко мне зайти! Надо осмотреть вашу рану на голове…

– Откуда знаешь? Деревня не знает…

Она шагнула к нему. Он склонился, поднял костыль, как и в прошлый раз ушел, неуважительно не попрощался и не ответил на её конкретный вопрос. Она дернула плечами.

– Ну подожди, контра… Я тебе всё припомню!



Глава двадцатая

Исповедь маслянинского отшельника

Внучек, день Николы Вешнего радовал меня. Сам посуди: исполнился год, как я жил отшельником. Тело моё не старело, а крепло. Може от того, что я с утра до вечера был в движении. Душа в спокойствии. Часто думал: какие великие целебные свойства имеет природа. Она укрепляет тело, очищает душу. С достоинством готовился отметить день моего Чудотворца. Вынес икону на свет божий. Прислонил к стене.

На петлю поймал зайца. Снял шкурку. Обрабатываю и слышу в чаще, с востока, тяжкое брюзжание, переливистый рёв. Я взял топор и направился на неутихающий звериный звук. Слышу, рёв приближается. Я встал за пихтой. И тут совсем рядом, кроме ворчания, послышался шорох. Я замер. К моей землянке шла медведица, волоча заднюю правую лапу. Она проковыляла мимо меня, приблизилась к дверям землянки, села на задницу. И протяжно заревела. Я увидел у неё на ноге большой капкан. Что делать? Матрёна пришла ко мне за помощью. Струсить, не выйти? Так она же, бестия, возле двери села. Решил: я и так достаточно пожил, всё повидал. Многим людям жизнь продлял. Видно, Господь Бог предназначает мне и зверю помочь. Выхожу. Хотя поджилки тряслись. Приблизился к ней. Она кивнула мне несколько раз головой, как лошадь. Я склонился к её лапе. Осмотрел капкан, захватные дуги и осторожно, чтобы не поранить опухшую лапу, начал сгибать топором пружину, помогая рычажком. Я с большим трудом расширил щипцы.

Внучек, я возился с капканом, а мне на шею капала слюна медведицы. Когда выкабанил Матрёнину лапу, ладонью вытер пот и повернулся к ней. Внучек, я видел! Видел, как слёзы сочились из её глаз. Я пошёл в келию, вымыл руки, отломил краюху хлеба, вышел и протянул кусмень страдалице. Она осторожно взяла хлеб обеими лапами. Я удивился: она обнюхала кусмень, высунула язык, провела им по краюхе и сунула в пасть. Господи! И животные с трепетом относятся к хлебу! Я пошёл в беседку, сел на лавку. Она прожевала хлеб, долго сидела, облизывая пораненную лапу, и смотрела на Николая Чудотворца. Господи! Неужели и животные чувствуют святость?

Поздней осенью пожаловал мужчина из села Егорьевска. Чудный такой. Обо мне интереса не проявил. Привёз соли, муки, и так ещё кое-что. Ещё рыболовную снасть, – на птицу и зайца пригодится. В низком поклоне поблагодарил я его. Он мне своё:

– Нам надо вас благодарить, дедушка. И внимание проявлять такое, чтобы наперёд молодь знала, как мы дорожим своими героями, что отечество не дали по клочкам растащить.

* * *

Смирнова ввели в кабинет заместителя председателя ЧК. Борис от удивления присел. Перед Яковом Гомовым стоял Николай Туркин и, не обращая внимания ни на конвоиров, ни на Бориса, кричал чекисту в лицо:

– Вам должно быть стыдно. Во что вы превратили город? В мусорную помойку!

Увидел Смирнова, подбежал к нему, обнял.

– Вот Борис Евгеньевич, он свидетель. Там, где некогда было болото, мы молодыми заложили Александровский парк. Все жители посёлка строили беседки, гроты, прокладывали прогулочные аллеи. Я, как своего ребёнка, лелеял Сосновский парк на Фабричной улице. Благочинный Ново-Николаевских церквей протоиерей Николай Никольский со своим клиром обихаживал Туруханóвский парк. Железнодорожники опекали Парк òранспортников. Купцы Пименов, Жернаков, братья Маш-

таковы содержали парк «Альгамбра». А знаешь ли ты, представитель власти, что я вместе с городским головой Владимиром Ипполитовичем Жернаковым отвоёвывал у генерал-лейтенанта Гудимы, для отдыха горожан: лесную дачу у речки Горбылихи, Ельцовку до Ганюшкиного лога, Мочищенский бор, Ломоносовскую лесную дачу, Огурцовский лес, Инюшинский бор? А вы что делаете? Уничтожаете! Под корень уничтожаете леса!

– Не могли бы вы, господин Туркин, поубавить свой пыл?

– Не могу. Я гражданин России.

– А вы что молчите, господин Смирнов? – обратился Гомов к Борису Евгеньевичу.

– Мне нечего говорить. Я полностью согласен со словами своего друга Николая Алексеевича.

– Так он вам друг? – спросил Гомов.

– Да. Вернулся я с Русско-японской войны. Ни кола, ни двора. У него квартировал несколько лет. А потом он купил мне дом, медицинское оборудование для частной клиники.

В это время вот что происходило в Пеньково.

Едва Варвара открыла калитку, как новое беспокойство пронеслось в голове: не просто стоит Пелагея на крыльце с непокрытой головой. Заторопилась к ней. На ходу спросила:

– Что ещё?

– Варварушка, у нас гость, – упавшим голосом ответила Пелагея.

– Кто? – рывком спросила Варвара.

– Военком Босых.

– Пьян?

– Ага.

– Чего ему надо?

– Говорит, пришёл переночевать.

Варвара вошла в дом первой.

– Вот и слава Богу, хозяюшка пришла, – заговорил, улыбаясь, Босых. А я решил у вас заночевать. Не выгоните? – Босых поднялся, поправил гимнастёрку.

– Места хватит. Мама, – Варвара посмотрела на Пелагею, – постелите ему в горнице.

Скоро Пелагея вернулась на кухню, кивнула. Варвара села за самопряху. Предложила Босых:

– Идите отдыхать, а то, видно, устали.

– У тебя найдётся бумага и карандаш?

– Завсегда.

Варвара достала лист бумаги и карандаш, подала Босых. Тот долго мусолил карандаш, писал. Потом подал записку Варваре. Она прочитала:

«Товарищ Огнёва, просьба к вам. Будте добры, удовлетворите меня сегодня ночью. Если желаете в будущем, я не возражаю, и ваше имущество и имущество ваших соседей будет в полной сохранности. Босых».

– Нет, – громко ответила Варвара, – идите спать или я вас выгоню.

Он вырвал у неё записку и на обратной стороне написал: «Если не согласитесь, то я вас арестую за убийство Усть-Травинских лесорубов и укрывательство врага советской власти лекаря Захарова».

Варвара спокойно сказала:

– Вы, мама, ложитесь спать, а я через полчаса вернусь.

Босых расплылся в улыбке. Она подошла к двери, подняла руку, пошарила за верхним косяком, достала оттуда наган, наставила его на Босых.

– А ну, кобель, поднимай-ка свою задницу – и вперёд!

Босых вскочил с табуретки и завопил:

– Ты что, ошалела? Да я тебя в порошок сотру, – он сделал шаг к ней.

Она взвела курок, тихо произнесла:

– Босых, не балуй. Ты знаешь, я не одного такого уложила. Выходи! – и сама, отступая назад, вышла на улицу.

Босых примиренчески заговорил:

– Ладно, Варвара Ивановна, я пошутил. Знаешь, думаю, дай проверю, правду ли говорят, что ты самостоятельная…

– Давай вперёд, к Сельскому совету.

– Да ты что удумала, позорить меня на всю деревню, подрывать мой авторитет? Или забыла, что я член волисполкома. Волостной военком Босых.

– Иди… пока я тебя здесь не…

В стороне шли два парня – дежурные по деревне. Варвара окликнула их. Они подбежали.

– Ребята, прощупайте его. А ты подними руки вверх. Подними, говорю.

Один из дежурных вытащил нанан, подал его Варваре.

– Отведите его в сельский амбар и там заприте. Мне говорили, что с ним ещё кто-то приехал. Найдите его – и в амбар.

– С ним уполномоченный Фроликов. Он у Красавина пьёт.

– Действуйте, ребятки. Я утром раненько приду.

Утром комячейка была в сборе. В Народный дом под арестом привели Босых и Фроликова.

Варвара поднялась:

– Вот, товарищи коммунисты, два представителя волости. Большое начальство. У нас в деревне они трое суток. Что они делали? Помогали нам проводить продналог? Нет! Помогали нам убирать урожай? Нет! Провели разъяснительную беседу с крестьянами? Нет! Что же они делали? Днём пьянствовали с кулаками, ночью, пользуясь своими полномочиями, развратничали со вдовами. Вот у меня записка от Босых Нюське Сергеевой. Смотрите, что он пишет: «Товарищ Сергеева, или вы удовлетворите меня сегодня ночью, или я конфискую весь ваш хлеб как у жены врага народа». А вот и мне записка.

Своими действиями они позорят нашу партию и звание коммунистов. Предлагаю расстрелять военкома Босых и уполномоченного Фроликова. Кто за это – прошу голосовать.

– Это самоуправство! – пискляво крикнул Босых.

– Шантажировать баб, пьянствовать с врагами советской власти – это как понимать?

– Мы признаёмся, мы виноваты, – со слезами на глазах сказал Фроликов. – Передайте нас в волостной суд.

– Ишь, чего захотели! В волостной суд! А там волокитчики те ещё! Туда-сюда да оправдают. Ты, Фроликов, хорошо знаешь, кто в волостном суде. Там элементы без классовых понятий. Голосуем. Кто за моё предложение, прошу поднять руки. Молодцы! А ты, Ташкин, чего не голосуешь?

– Да уж, наверное, хватит крови, Варвара Ивановна.

Она опустила руку.

– Я согласна с тобой, Алексей Фёдорович. Но ведь надо проучить хоть кого-нибудь, а то что получается: как начальство, так пьянка, разврат… Чёрт с тобой. Значит, за расстрел тринадцать, один против. Выводи, ребята.

Арестантов повели через речку Амбарку к мельнице и тут услышали, как сзади кто-то крикнул:

– Стойте!

Варвара повернулась и увидела Красавина.

– Ну что кричишь, Красава? Вместе со своими дружками на тот свет желаешь? Айда, и для тебя пули хватит.

– Нет, нет, я вместе не хочу. Тут другое дело.

– Что ещё за дело?

– У Фроликова мои деньги. Тридцать рублей золотом.

Волков присвистнул:

– Тридцать рублей золотом? Вот это деньги. В жизни не видел столько. Эх, чёрт Фроликов, что ж я тебя ночью не прощупал…

– Прекрати, Семён. А ты, Красава, скажи нам, за что это ты ему такие деньги дал?

– Кое-что купить, – закрутился Красава.

– Что именно?

– Запчасти к сенокосилке и жатке.

– На эти деньги, Красава, можно новенькую сенокосилку купить. Знаешь такие: «Мак Кормик», «Диринг» или «Джон Тривз». А ну, не крутись и становись рядом с ними.

Она вытащила наган и подняла его.

– Мужики, копайте яму, да побольше. Я тебя, Красава, последний раз спрашиваю, мусолить язык не буду: за что передал Фроликову деньги?

– Тут…

– Нет, он врёт, врёт! – закричал Фроликов.

– Заткните Фроликову глотку, а то Красава ещё ничего не сказал, а етот уже боровом заревел. Продолжай, Красава.

– Он мне пообещал привезти завтра квитанцию, что я сполна рассчитался по продналогу.

– Вон оно как. А ну, Фролик, где золотые? Давай!

Фроликов трясущимися руками протянул портфель. Варвара

расстегнула ремешок, достала тяжёлый мешочек, развязала тесёмки, вытащила одну монету. Улыбнулась.

– И вправду золото! За эти деньги, Красава, тебя тоже надо в расход. Но если вот при честном народе ты скажешь, что эти деньги жертвуешь в пользу коммуны для приобретения сенокосилки и жатки, мы тебя отпустим. Как, Красава?

Он закивал головой.

– Ташкин, – предложила Варвара, – пиши бумагу.

– У меня нет ни бумаги, ни карандаша.

– Пошарься в портфеле Фроликова…

Ташкин вытащил из портфеля какой-то бланк и карандаш.

– Что писать, Варвара Ивановна?

– Вот что. Расписка. Я, житель деревни Пеньковой Масляниинской волости Черепановского уезда Аристарх Яковлевич Красавин, понимая трудности коммуны «Светлый путь», дарю по собственнону желанию тридцать рублей золотом на приобретение сенокосилки и сноповязалки. Красавин. Написал? Дай подписать Красавину.

Тот быстро подписал.

– Ульянов, печать Сельсовета с тобой?

– Да.

– Шлёпни печать и сам подпишись, что подпись Красавина удостоверяешь. И твой секретарь Ташкин пусть распишется для пущей важности. Ну вот, давай бумагу и портфель сюда, а ты, Красавин, проваливай домой. Когда следующий уполномоченный по продналогу приедет, то не забудь про эту тридцатку…

– Варвара, Григорий Чанкин едет! – крикнул Волков.

– Тьфу, чёрт! И всегда его несёт не вовремя.

Она сунула Волкову портфель и шепнула:

– Быстро скройся. Спрячь портфель и расписку у меня в предбаннике.

Чанкин подъехал и вылез из пролётки.

– Здравствуйте, мужики. Что у вас тут за сборище?

– Да вот, – вышла вперёд Варвара, – думаем, как быть. Тут начальство ваше волостное, а у нас, как на зло, ни одной лошади.

– Ты что-то, Варвара Ивановна, не то говоришь. Для

волвоенкома и для уполномоченного выделены личные лошади.

– Оно так. Но вот беда: они их пропили.

– Что ты говоришь?

– Вот спроси наших деревенских. Все, как один, скажут – пропили. Правду я говорю, мужики?

Все закричали: «Варвара Ивановна верно говорит».

– А вы что молчите? – обратился Чанкин к Босых.

Босых и Фроликов стояли, опустив головы.

– Под суд их за это, – предложил Чанкин.

– Вот и мы говорим, – поддержала его Варвара, – да тут ещё одно дело… Босых изнасиловал нашу Нюрку. Запужал, что всё конфискует и… Бумага есть. А вчера ночью и меня хотел. Тоже бумага есть.

– Значить, думали, как их в волость отправить? – спросил Григорий.

– Верно, – согласилась Варвара. – Да вот ничего не придумали. Хорошо, что вы подъехали, поди не откажете и подвезёте их?

– Ладно, увезу.

– Ульянов, отведи их опять в амбар и запри. А когда передашь Григорию Акимовичу, возьми с него расписку, что арестованные были целы и в своём уме. Эх, други, жаль что до мельницы не дошли… там, в Маслянино, у них дружков много. Отвертятся.

Чанкин пригласил Варвару пройтись. Они подошли к пруду. Сели.

– Ты, Варвара, до каких пор будешь с берданкой ходить?

– Пока всю контру не уничтожу.

– И этих вела на расстрел?

– Вела.

– Судить тебя за это надо.

– Меня, товарищ Чанкин, раз при царе судили. Другой раз при Колчаке. Так что я привычная. Вот что вы мне скажите: если коммунист пьёт с кулаками, насильничает баб, продаёт мужикам квитанции о сдаче продналога и всегда действует от имени советской власти, думаете, сколько же он нам вреда приносит? Как крестьяне думают о советской власти? А?

– Кто это квитанциями торгует?

– Фроликов.

– Не может этого быть!

– А ты проверь. Я от баб знаю, а они мне байки не сообщают. В Пайвино кулаку дал квитанцию, что тот сдал по продналогу пятьдесят два пуда. А он и воза не отвёз. В Стрелинке Сухушину дал квитанцию на сорок восемь пудов. Вот и здесь хотел Красавину нашему продать, да мы не дали.

– Но устраивать самосуд никому не позволено. И вообще, на тебя есть жалобы. На той неделе ты арестовала писаря – мужа учительницы – и продержала его двое суток. Было это?

– Было. Почему он не выполнил решение партячейки? Ему было велено контре разъяснять текущие дела на мировом фронте – изволь выполнять.

– Он не способен.

– Но вы бросьте. Шесть лет назад Похитонова да он, Филончик, были грамотными в деревне. То, что посидел в амбаре, это ему же на пользу. Я вон за ту ночь чуть жизнь свою не отдала за коммунарский скот. А он, контра, в амбаре песни пел.

– И всё же, я тебя должен предупредить: разбирать на бюро волпарткома мы тебя будем.

– Гриша, миленький, прости. Это всё по молодости и по неопытности. Вот честное партийное слово, больше не буду.

– Я, знаешь ли, не для этого приехал. Ты лучше скажи: как ты была ранена возле Усть-Травинской заимки? Кем?

– Кадыгробовым.

– Ты это точно знаешь?

– Ну как же, я когда пятого уложила, тут он, Кадыгробов, из избушки выскакивает, и я что-то растерялась. Он в меня и саданул пулю.

– Так это ты пятерых уложила?

– Что? Кого уложила? Ты меня, Чанкин, на слове не лови. Никого я не укладывала.

– На тебя есть бумага у представителя ЧК. Знаешь, что там пишут?

– Знаю. Вот почитай вчерашнюю записку Босых. – Она достала лист и подала Чанкину. Тот прочитал, покрутил головой.

– А кто такой лекарь Захаров?

– Да как-то без меня, я ещё в больнице была, приехал к нам инвалид. Одной ноги нет. Купил дом. На сходе договорились до уборки платить ему полпуда ржи в месяц. Моим соседом был. Ничего я за ним вражеского не замечала. Напротив, в коммуну свою лошадь отдал, добросовестно лечил людей, обходительный. В Народном доме устроил концерт в пользу голодающих Поволжья. Собрали сто восемьдесят тысяч рублей. Эту сумму сдал в волостную комиссию Помголода.

– Что он пел?

– Почему пел? Он на скипке играл.

– Имя его как?

– Борис Евгеньевич. Деревня его сразу Борисом Евгеньевичем…

– Борис Евгеньевич, говоришь?

– Да.

– Коммунист?

– Нет. Беспартийный.

– Беспартийный? Где он сейчас?

– Так ты велел отправить его в Ново-Николаевск.

– Кто велел?

– Ты. Ведь ещё телеграмму с запиской отправил.

– Дура, дура, – вскочил Чанкин. – Кто ж отправляет инвалида? Я-то ведь не знал, что он инвалид, что он без ноги…

– Ты, Чанкин, не кричи и не обзывайся, а то и я начну. Так вся рыба в пруду над тобой смеяться будет, – зло сказала Варвара. – Ишь, умник нашёлся. Я вот почти без ошибок пишу, а в твоих бумагах, в каждой по сто и одной ошибке, и всё топором.

Она поднялась.

– Где твой сын, Варвара?

– О! А меня дурой обозвал! А я, оказывается, не дура. Жалобу эту на меня написал Кадыгробов… Больше никто не видел, как я тех порешила. И к сыну моему у него интерес. Попомни моё слово, я с ним рассчитаюсь. Ивана Шмакова, мово Василия и

Ванюшку Ташкина он, Кадыгробов, убил. Тут нет ошибочки. Я хорошо его видела, когда он в окно стрелял.

– Дело, Варвара, серьёзное. Я обязан тебя передать в суд.

Рано утром Бориса Евгеньевича допрашивал следователь Маслов. Он задавал ему всё те же вопросы: где взяли удостоверение ЧК, за что убили дровосеков на Усть-Травинской заимке. Смирнов отвечал не задумываясь: «Не брал, не убивал».

Неожиданно следователь заговорил о другом. Смирнов насторожился.

– Вы неплохо жили. Ваш перстень о многом говорит, – он дотронулся указательным пальцем до перстня.

– Я врач. По оценкам моих коллег – один из лучших. Много лет работал заведующим хирургическим отделением. Кроме этого, имел свою клинику. Согласен, хорошо жил. Не по карточкам мы тогда жили.

– Проявили бы милосердие и передали перстень в помощь голодающим.

– Не юлите, господин Маслов. Вам перстень я не передам. Желаете его у меня конфисковать – ваша воля. Пишите акт, я распишусь.

– Как ты, вражина, разговариваешь? Вор! Убийца! Не иначе как с покойника снял перстень.

– Трибунал определит, кто я.

Маслов побледнел, схватил телефонную трубку, покрутил рукоятку, крикнул:

– Соедините с заместителем председателя ЧК.

Презрительно посмотрел на Смирнова.

– Яков, это я. Предлагаю в два часа дня собрать всех членов Трибунала второго состава и решить дело с врачом Смирновым. Все факты подтвердились. – Он приподнял подбородок, улыбнулся губами. – Я проект постановления написал: в расход его.

Смирнова вывели из камеры, провели на первый этаж, влево по коридору. Открыли дверь, пригласили войти. Смирнов удивился. Впервые за несколько месяцев ареста его не впихивают, не вталкивают, а приглашают.

«Всё, – подумал он, – конец. Перед моим «расходом» проявляют вежливость».

За большим столом сидел усталый мужчина высокого роста в чёрной кожаной куртке. Он гладил щетину на подбородке.

– Извините, Борис Евгеньевич, что вас принимаю небритым. Много чего я не успеваю делать. Садитесь.

Смирнов замешкался.

– Садитесь, пожалуйста, – повторил мужчина.

Смирнов сел. Бросил взгляд на хозяина кабинета. Вспомнил их встречу. Это было здесь, в Ново-Николаевске, два года назад. Помнит ли он эту встречу?

– Я член коллегии Губчека Александр Ильич Иванов. Хочу с вами побеседовать.

Открылась дверь. Женщина внесла поднос с двумя полными стаканами жидкости и несколькими сухариками. Поставила поднос перед Смирновым.

Смирнов приподнялся, сделал поклон женщине. Тихо произнёс:

– Премного благодарен.

Сел на стул, взял в руки стакан, отпил глоток. Почувствовал, как во рту всё обожгло.

– Вы знаете, Александр Ильич, так много людей со мной беседовали за последнее время, но такого гостеприимства не припомню. Коньяк отменный. Один два стакана не осилю… я пивок некудышний. Один выпью. Борис поднял стакан и выпил до дна.

– Может быть, пью последний раз в жизни…

– У меня, Борис Евгеньевич, мало времени. Позвольте задать вопрос: вы были знакомы с Макаровой?

– Отвечаю: да. Одно время она у меня работала в клинике. По вашим нынешним меркам, я использовал наёмный труд, эксплуататор. Когда я вам делал операцию, простенькую, она ассистировала.

– Потом вы поехали в партизанский отряд Чанкина вместо меня как представитель подпольного комитета.

– Был грех. Я сам напросился. Случайно узнал, что в отряде Чанкина партизанит один человек, которого я очень хотел

видеть. Вот ради него и поехал. Не ради идей большевизма.

– Борис Евгеньевич, как к вам попало удостоверение ЧК под номером сто тридцать, по ведомости принадлежащее Макаровой?

– Товарищ Александр Ильич, эти месячные допросы об этой красной тряпочке! Вы знаете, в ваших делах я ничего не понимаю. Вот сейчас вы назвали Макарову, и я вспомнил про эту красную тряпочку, но я её ни разу в руках не держал. Сколько пытали!.. Могли спросить: что оставила вам Макарова, уезжая в Москву?

– Следователи не знали, что вы знакомы с Макаровой. А вы молчали.

Борис приблизился к Иванову:

– Слушайте, когда она в прошлом году уезжала на учёбу в Москву, убедила меня совершить акт возмездия. Убить бывшего командира партизанского отряда Рогова. В записке предлагала, где и с кем я должен был встретиться. Что-то писала и про красную тряпочку, но я не помню.

Меня допрашивали десяток следователей, пытаясь от меня получить ответ: откуда, откуда? Намекнули бы про Макарову, и я бы им всё рассказал. Она мне этот паспорт подсунула, когда в девятнадцатом отправляла в отряд Чанкина. Вернулся я в город, она отобрала паспорт. В июле двадцатого принесла и отправила меня на убийство друга детства Николая Рогова. Он своей бандой, насчитывающей более пятисот человек, терроризировал весь Салаирский край и Черепановский уезд.

Мы прибыли в Чёрную Гарь на место дислокации штаба Рогова двадцать пятого июля…

– Вы, Борис Евгеньевич, сказали «Мы»?

– Да. Савелий Дмитриевич и я. Когда я в начале июля прибыл в село Маслянино, это был четверг. Я немного пообщался с Савелием и направился к мосту через Бердь. Он проследил за мной. И видел мою встречу с Чанкиным. А когда на следующий день я пришёл за винтовкой и патронами, он убедил меня, чтобы я взял его с собой.

– Так это вы убили Рогова?

– Нет. Я его только ранил. Дело было так. От жителей Средней Матрёнихи мы узнали, что штаб Рогова находится в деревне Мокрушиной. Благополучно миновали его кордоны. Встретил он меня с большой радостью. Вспоминали Томскую больницу, учёбу в Томском университете. Помня о том, что Чанкин просил меня передать командиру двести тридцать второго полка Рогова живым, когда его телохранитель Васильев возился возле костра, поджаривая на углях тетёрку, я выстрелил. Рогов упал. Васильев бросился на меня, но Савелий двумя ударами сбил его с ног и связал.

Раненый Рогов поднялся, вынул револьвер из кармана, улыбнулся, направил на меня ствол и тихо произнёс:

«Боренька, я любил тебя, как брата. Радовался, когда доходили до меня слухи, что ты – прекрасный хирург…»

И выстрелил себе в висок.

Васильева и труп Рогова мы передали в Петенях командиру красных Владимиру Ляпину. Там же, в Петенях, Владимир Васильевич сам, направляясь с основными силами в Салаир, упросил меня и Савелия расправиться кое с какими бандитами. Но на Усть-Травинской заимке я лесорубов не убивал.

– Я, Борис Евгеньевич, внимательно проанализировал протоколы допросов и пришёл к выводу: вы действительно не убивали лесорубов на Усть-Травинской заимке, но вы знаете, кто совершил это преступление.

– Александр Ильич, я много раз на допросах повторял: никаких там лесорубов не было. Там были бандиты. Вы правы, я знаю, кто убил бандитов.

– И кто?

– Хороший человек. А я вас вспомнил, Александр Ильич Иванов. Вспомнил мальчишкой. Когда проходило торжество в доме Владимира Васильевича. Помните особняк Ляпина в Егорьевске? Серёжки императрицы! Вы сидели рядом с Аристархом, сыном кучера, много ели. Вам Ольга Викторовна подарила жёлтую рубашку…

– А вам, Борис Евгеньевич, золотой крестик…

– Я, Александр Ильич, его потерял.

– А я рубашку износил. Красивые изготовил Никита се-

рёжки. Часто вспоминаю детство и так хочется ещё раз посмотреть.

– Надо бы от большевиков подальше держаться… Вот я сторонился всех большевиков, и судьба преподнесла мне наслаждение дважды зреть и радоваться работе Никиты.

– Правда? Борис Евгеньевич!

– Правда. Останусь живым – встретимся. Нальёте стаканчик, как сегодня, и я вам расскажу…

– Вы свободны, Борис Евгеньевич.

– Свободен! Я не хочу свободы. Для чего она мне, свобода, в несвободной России? Дайте свободу отцу Василию Посельскому! Вашему учителю. Он вас учил в Егорьевской школе. Что, забыли? Дайте свободу отцу Максиму Бальве. Дайте свободу Савелию Кривощёку. Дайте свободу русскому человеку. Вы затыркали его, унизили. Прикажите расстрелять меня. Потратьте на меня пулю. Я, Александр Ильич, с двенадцати лет ходил с поднятой головой. В Томской больнице работал санитаром – радовался. Учился в Томском университете – радовался. На Русско-японской войне спасал солдат и офицеров от смерти – радовался. Пришли вы – и голова поникла. Хожу в ремках, ем баланду. Пальцы трясутся. Какой с меня хирург, а мне всего тридцать шесть лет.А-а-а! Что будет, то будет! – Борис поднял стакан с коньяком. – За встречу, Александр Ильич Иванов! – Выпил. Поднялся и, не прощаясь, сгрёб сухарики со стола и пошёл.

По Николаевскому проспекту прохаживались нарочито неряшливо одетые солдаты. Та же шинель, что носил солдат русской армии, но без пуговиц, вместо ремня – верёвка. Шапка как попало висела на голове. Борис долго стоял на углу Николаевского проспекта и Воронцовской, размышлял, куда пойти. Стоять возле бывшего дома купца первой гильдии Фёдора Даниловича Маштакова ему не хотелось. Надо бежать. Бежать.

Закончилось его многомесячное заключение. Позади допросы. Он свободен. Он вправе идти, куда ему заблагорассудится, но идти некуда. И Дома нет, клиники нет, карманы пусты.

Член коллегии Губчека Александр Иванов пригласил в кабинет следователя – докладчика Маслова. Разговор был коротким.

– Я председателем Трибунала назначен наблюдателем за вашими действиями. Да, Смирнов – сын священника, да он служил лекарем в царской армии, но это не даёт вам права нарушать Основное положение о Революционном трибунале. Статья тринадцатая гласит, что только Трибунал в распорядительном заседании может поставить вопрос о немедленном назначении дела слушанию. А вы уже обзвонили всех членов второго состава Трибунала и назначили самовольно слушание дела на завтра. Этим самым превысили свои полномочия. Вы пошли на нарушение и семнадцатой статьи. Там чётко написано, что допущение к участию в деле обвинения и защиты всецело зависит от Трибунала и разрешается в распорядительном заседании. Для вас дело Смирнова настоль ясно, что вы уже приготовили и проект приговора. Не много ли вы на себя берёте, товарищ Маслов? Я отстраняю вас от дел. Вашими неправомерными действиями будет заниматься коллегия Губчека.

Укладываясь отдыхать на лавку в зале ожидания, Борис уложил под бок трость, чтобы не украли. Освободил ремни, стягивающие ходульку. Он думал и думал, к кому обратиться за помощью, чтобы освободили Варвару. Её осудят. Что может в оправдание сказать Савелий? Его там не было. Зачем он напросился свидетелем? Ещё больше отягчает своё положение. Господи, а как матушка Мария проживёт без отца Василия? Самого обвиняют в борьбе против партизан, а он просит, умоляет, чтобы его заслушали и как свидетеля убийства дровосеков.

Борис был готов вернуться завтра же в ЧК и просить, чтобы его допросили как свидетеля. Нет, он ничего не скажет. Зато увидит, кивнёт Варваре. Прошло несколько месяцев, как он не видел её. Лёг, вытянул ноги и моментально заснул. Во сне он в комнате Марфы поднял половую доску, которая лежала между стеной и печкой, убрал. Рукой полез за брус и почувствовал, как его кто-то теребит. Он проснулся. Исчезла русская печь, но в голове всплыли минуты восемнадцатого года. Он проводил

Никиту, Посельских, Савелия. Марфуша пригласила Бориса в свою комнату. Степан читал книгу.

– Боренька, – начала Марфа. – Был Кольша Туркин. Принёс десяток золотых пятирублёвок. Велел спрятать. Я и Степашка решили спрятать их в моей комнате. Ты не будешь возражать? В тряпку завернули твои два ордена, светло-бронзовую медаль и твои часы с золотой цепочкой…

Рядом стоял мужчина, одетый в чёрное на меху пальто с воротником, в собольей шапке. От тщательно побритого лица несло духами. Борис опустил правую ногу с лавки, застегнул ремни на деревяшке и, взяв трость, поднялся. Мужчина протянул руку. Борис нерешительно протянул свою.

– Я не ошибаюсь, – заговорил мужчина на ломаном русском, – вы господин Смирнов?

– Да, – ответил Борис и слегка поклонился.

– Я германский консул. Моя фамилия Гросскопф.

– Чем обязан?

– Мне поручено предложить вам переехать в Германию.

– Чем я буду там заниматься?

– Заведовать клиникой.

– Господин Гросскопф, разве вы не видите, я инвалид?

– Господин Смирнов, наши специалисты сделают для вас протез, и никто не догадается, что у вас вместо левой ноги железное приспособление.

– Благодарю вас за приглашение, но моя родина – Россия.

– России нет. Посмотрите на себя: вы наделены всевышним талантом, а ходите в ремках, голодный, спите на вокзале, как бродяга. Неужели вы лишены самолюбия и гордости? Неделю назад вас выпустили из ЧК. Пройдёт время, и вас опять арестуют.

– И буду умирать в России.

– Мы знаем, вчера вас пригласили в Томский университет на кафедру теоретической хирургии. Отказываетесь от нашего предложения – поезжайте в Томск. Вы должны жить, лечить людей, учить молодых хирургов.

– Мне приятно слышать от иностранца заботу о моей пер-

соне. А где же мои сограждане? Почему они равнодушно смотрели, как меня травили, таскали по кабинетам чрезвычайки, втаптывают в грязь? Может быть, вы, иностранец, ответите мне: в чём моя вина?

– Борис Евгеньевич, ваша вина в том, что вы во весь голос не заявили, что целиком и полностью с большевиками. И не отреклись от отца.

– Не в этом дело. В городе сейчас более четырёх десятков врачей и фармацевтов и только один член большевистской партии. Это Борис Елькин. У моего отца свои понятия, заблуждения. Второго отца не будет. Во всех своих страданиях виню себя. Одна старая сибирячка мне говорила: Любовь без страданий – баловство. Я у себя на родине буду страдать и бороться за любовь к Родине, за любовь к женщине, за любовь к семье.

– Наше консульство, господин Смирнов, размещается на улице Октябрьской, дом шестьдесят семь. Все документы на ваш отъезд в Германию готовы. Они находятся у моего секретаря, господина Тюбнера. Я вам советую лучше подумать, прежде чем не воспользоваться.

Борис заснул. И видит, золотые пятирублёвки катятся по полу, часы тикают и ордена поблёскивают. И во сне спрашивает новых хозяев моего дома: «Где картина?»



Глава двадцать первая

Из уголовного дела

«1921 год. 11 декабря. Сессия Ново-Николаевского Губернского Революционного трибунала по военному отделению в составе: председателя Чудновского С. Г., зам. председателя Тулаева Б. Т., члена Иванова А. И., при секретаре Михайлове в г. Ново-Николаевске в 11 часов утра открыла судебное заседание для рассмотрения дела 185/25 по обвинению крестьянки деревни Пеньковой Маслянинской волости Огнёвой Варвары Ивановны в убийстве лесорубов в Усть-Травинской заимке Маслянинской волости 30 июля 1920 года: жителя деревни Мамоновой Маслянинской волости Михаила Сбоева, жителя города Ново-Николаевска Вениамина Никольского, жителя села Егорьевска Михаила Капитонова, жителя деревни Пеньковой Маслянинской волости Ивана Красавина, жителя города Каинска Сергея Виноградова.

Открывая заседание, председатель огласил состав присутствия суда и затем, удостоверившись через коменданта о доставлении подсудимой, предложил ввести её в зал заседания, что и исполнено комендантом.

Подсудимую водворили на скамью подсудимых, и председатель приступил к выяснению, кто из вызванных лиц явился в суд, причём оказалось, что явились общественный обвинитель товарищ Набелкин, обвиняемая Огнёва, общественный защитник Оболенский, свидетели:

Посельский Василий – село Никоново, числится за ревтрибуналом;

Кривощёков Савелий – село Маслянино, числится за ревтрибуналом;

Артемихин Аристарх – числится за городской милицией города Ново-Николаевска;

Горская Нина – село Маслянино.

Не явились свидетели:

Чанкин Григорий – житель села Маслянино;

Босых Иван – житель села Маслянино.

Секретарь доложила, что повестки свидетелям были посланы через начальника Черепановской горуездной милиции и вручены. Но из отношения Маслянинского волостного исполкома видно, что явиться на суд не могут по причине командировки.

Заслушав мнение сторон, Трибунал постановил: неявку свидетеля Чанкина считать законной и ответственности не подвергать. Принимая во внимание, что факт отъезда после вручения повестки свидетелем Босых не может служить законным основанием неявки его на суд, Трибунал постановил гр. Босых подвергнуть денежному штрафу в пользу голодающих Поволжья в сумме трёх миллионов рублей.

На запрос председателя к сторонам о возможности слушать дело в отсутствие не явившихся свидетелей, последние ответили, что находят возможным дело слушанием продолжать ввиду ясности и категоричности материала.

Явившиеся свидетели были удалены в особую комнату. Присутствующий в зале судебного заседания лекарь деревни Пеньковой Захаров заявил Трибуналу, что он хочет, чтобы его допросили в качестве свидетеля, так как он тоже был очевидцем этих событий.

Председателем было предложено высказаться по поводу допущения Захарова в качестве свидетеля по данному делу – стороны возразили мотивируя тем, что свидетелей-очевидцев достаточно.

Председатель приступил путём опроса к установлению самоличности подсудимой и поверке представленного ей права

ознакомления с предъявленным ей обвинением, на что подсудимая ответила:

Я, Огнёва Варвара Ивановна двадцати трёх лет, происхожу из деревни Ново-Лушниковой Егорьевской волости, Черепановского уезда, Новониколаевской губернии. Грамотная. Член Рабоче-крестьянской партии большевиков. Дочь старателя Егорьевского прииска. В старой армии не служила. При Колчаке была в партизанском отряде. Сейчас работаю председателем коммуны «Светлый Путь». Являюсь секретарём комячейки. Обвинительное заключение мне вручено 12 октября 1921 года».

Затем трибунал приступил к проверке имеющихся в деле доказательств, для чего в зал заседания пригласили свидетеля Василия Посельского.

Прошла минута, вторая. Председатель суда обратился к секретарю Михайлову выяснить, почему не вводят свидетеля Посельского.

Прошло ещё несколько минут. В зал заседания вернулся Михайлов. Он доложил Революционному трибуналу, что свидетель Посельский, одновременно и обвиняемый по другому делу, срочно под конвоем отправлен к заместителю Сибревкома Макаровой. Командир конвойной команды заверил, что как только приведут Посельского в здание Ревтребунала, он немедленно доложит суду.

В зал заседания пригласили свидетеля Савелия Кривощёка, он был предупреждён об ответственности за ложные показания…

– Да, дорогие судьи, я Савелий Дмитриевич Кривощёк. Отец Никодим Бальва, царство ему небесное, говорил мне: «Ты, Савелушка, относишься к тем людям, чья жизнь не признаёт меркантильности». Как это понимать, я до сегодняшнего дня так и не выяснил. Хороший я или плохой – не знаю. Но могу сказать вам, граждане судьи: я умею жить, умею радоваться в любое время. Разве это не радость: час назад вывели меня из камеры, провели по центру моего любимого города, и вот я здесь, перед Трибуналом. Вижу дорогих мне людей. Как лико моей любимой Руси всегда светло и лучезарно, так у её сына

Дмитрия», это я опять привожу слова батюшки Никодима Бальвы. Посмотрите. Вот вам доказательство: улыбается член Трибунала Ильи Потаповича сын Александр Иванов. Смеётся заместитель председателя Трибунала Бакир Тулаев – знаю, отец Никодим сказывал мне и у вас, Бакир Талибович, в крови бежит это светлое и лучезарное. Но сегодня вам, Бакир Талибович, смеяться не надо. Судить-то собираетесь свою далёкую, но сестру. Варвара Ивановна – в девичестве Щукина. Прародительница её – Олёна Щукина. А мужем её был Табунка Тарлава. Ваш пращур. По первой переписи семьсот девятнадцатого года записан был как мурза Куледей Тулаев – специально, чтобы навсегда отторгнуть от себя измену Тарлавы. Олёна родила Байгорока, вашего, знать, пращура. А от второго мужа Ивана родила Ерофея, Варвариного, знать, предка. Это всё мне говорил Никодим Бальва и документами закреплял.

Поднялся заместитель председателя Трибунала Тулаев Бакир

– Прошу высокий суд отстранить меня от участия в сессии Трибунала. До начала работы сессии я не был знаком с документами и тем более не знал, что на скамье подсудимых Щукина.

Суд удовлетворил просьбу Бакира Тулаева и предложил продолжать показания Савелию Кривощёку.

– И вам, член суда Иванов, не надо было улыбаться. И опять скажу, как говаривал отец Никодим: пращур ваш, Александр Ильич, и ваш, Варвара Ивановна, был один – капитан, приказчик Бердского острога Иван Данилович Буткеев…

Поднялся председатель Губернского Революционного Трибунала Самуил Чудновский.

– Суд на время прерывает свою работу, – сказал он.

Прошёл час.

Председатель Губернского революционного трибунала тов. Чудновский С. огласил новых членов: заместителя председателя Шапкина Н. И., члена Дьякова И. Ф.

– Продолжаем заседание Революционного Трибунала. Свидетель Кривощёк, что вы можете сказать по существу дела? – спросил Чудновский.

– Ничего, – ответил Савелий.

– Вы письменно обратились в ревтрибунал, чтобы вас за-

слушали как свидетеля по делу сто восемьдесят пять дробь двадцать пять.

– Премного извиняюсь. Я желал видеть Варвару Ивановну и земляков.

– Я вам, подсудимый, этого не забуду, когда вы предстанете перед Ревтрибуналом как обвиняемый.

– Премного благодарен.

– Конвой, уведите Кривощёка в камеру. Предоставляется слово общественному обвинителю товарищу Набелкину.

– В связи с тем, что пятнадцатого сентября в Ново-Николаевский отдел угрозыска добровольно явился дезертир красных первого эскадрона пятьдесят первого конного полка, пятьдесят первой дивизии гражданин Артемихин Аристарх Кузьмич, прошу революционный трибунал допросить гражданина Артемихина, так как на предварительном допросе он заявил, что является очевидцем преступления обвиняемой Огнёвой.

Обменявшись мнениями, Трибунал не возражал.

Артемихин А. К. был предупреждён за дачу ложных показаний.

– Я есть Аристарх Артемихин из села Маслянино. Я хочу сказать: обвиняемая Варвара Ивановна Огнёва в убийстве не виновата. Граждане члены революционного Трибунала, Варвара Ивановна по человеческой справедливости убила Сергея Виноградова, Вениамина Никольского, Михаила Сбоева, Михаила Капитанова, Ивана Красавина. Очень сожалею, что не убила меня. За дела моих дружков и мои, нам всем должно быть одно наказание – смерть.

Меня познакомили с протоколами Революционного трибунала, с письмом Ивана Фёдорова. Не было у нас в банде Ивана Фёдорова, не он и очевидец. Из нашей банды остались в живых я и главарь банды Михаил Прохорович. Кроме нас, был очевидцем чекист, который спас Огнёву. Фамилию я его не знаю, но обличием он похож вон на того с бородкой. – Артемихин показал в зал рукой, недоумённо опустил. – Я заходил в зал, там сидел мужчина. Где он? Почему я его запомнил? Мы с ним дважды встречались. В девятнадцатом мы с Мишкой Сбоевым

его арестовывали как связного подпольного комитета большевиков, но он ночью убёг…

Граждане судьи, на меня выпал жребий убить председателя коммуны «Светлый Путь» и председателя комячейки в деревне Пеньковой. Подъехали мы, семь человек, затемно к коммунарскому дому. У них было собрание. Придавили дверь бревном. Михаил Прохорович приказывает Сбоеву разбить окно, а мне и Ивану Красавину убить тех, кто за столом. Мишка Сбоев прикладом разбил окно, я винтовку в дырку – и навожу мушку на мужчину, смотрю, а это мой фронтовой друг Васька Огнёв. Рука затряслась. Там, на фронте, я его от смерти оберегал, а дома... Перевёл ствол правее и обомлел. Поднимается Варвара Ивановна. В комнате подвесная лампа горит, на улице темно. Но, видно, узнала она меня или почувствовала. Спокойно говорит: «И сколько тебе, Аристарх, в этот раз заплатили?» Вынул я ствол из окна и подал в руки Михаилу Прохоровичу, а сам проговорил: «Не могу». В пятнадцатом году я не дал вторично выстрелить Кадыгробову в Василия Огнёва, отбил револьвер у него. Через пять лет сам передал Кадыгробову винтовку, чтобы он выстрелил в Василия. Он выхватил у меня винтовку. Я был уверен: убили Ванька Красава да Кадыгробов Василия и Варвару.

Коммунары организовали за нами погоню, но мы ушли от них. Перед рассветом прискакали на Усть-Травянскую заимку. Сели завтракать. Выпили по две кружки самогонки, заели говядиной – и спать. Разговора между нами не было. Михаил Прохорович не смотрел на меня, а я на него. Я честно скажу, граждане судьи, переживал за Василия Огнёва и Варвару Ивановну. Не знал я тогда, что вместо Варвары Ивановны, Михаил и Иван убили Ивана Ивановича Шмакова и Ваню Ташкина. Порешили Василия Огнёва. Часов пять поспал, будит меня Виноградов и приказывает лошадей проверить. Я хотел огрызнуться, но передумал. Ничего мои возражения не изменят. А на свежем воздухе ещё лучше посплю. Только за ручку двери взялся, тут мой жеребец Лунатик заржал. Выйти надо, а у меня рука сама от ручки отвалилась. Лунатик меня предупреждает – совсем

близко чужой человек. Я ведь, граждане судьи, не то что Лунатика понимал, а мог с ним разговаривать. Виноградов возле дверей оказался. И дверь на себя тянет. Я ему шепчу:

– Сергей Петрович, падайте…

Он мне:

– В честь чего падать? Когда ты, Аристарх, стал трусом?

Я, граждане судьи, упал, а он открыл дверь. И тут грянул выстрел. Виноградов повалился на меня. Я осторожно вылез из-под него. Остальные мужики проснулись и спрашивают:

– Кто стрелял?

Я молчу. Дверь открыта. На улице светло. Мужики винтовки и пистолеты приготовили. Михаил Прохорович за ноги отволок мёртвого Виноградова. Вот в это время мы услышали голос:

– Мужики, к вам обращаюсь я, Варвара Ивановна Огнёва, в девичестве Щукина. Даю вам время: до десяти буду считать. Выйдет Кадыгробов, кокну я его, остальных не трону. Всё, какое там у вас оружие есть, оставите в заимке, и по домам. Вы меня знаете, слово даю, никого более не трону. Ну а если досчитаю до десяти и Кадыгробов не выйдет, перестреляю всех.

Я глянул вдаль, на сосны – голо. Посмотрел на кряжистую берёзу-вековуху и понял: на ней Варвара Ивановна прячется. А никак мы её оттуда не возьмем, если сама не оплошает. Смотрим все на Кадыгробова. Он пистолет бросил и говорит:

– Пойду. Я Варвару Ивановну с четырнадцатого года знаю. Она своё слово исполнит.

– Прекратите, Михаил Прохорович, хоронить себя раньше времени, – говорит ему Мишка Сбоев.

Варвара Ивановна начала считать:

– Мужики! Раз, ра-з, два, д-ва… – медленно считает, повторяет, а мы все улеглись на землю и стволы на голос направили. Она дальше продолжает: – Три, три, четыре, че-ты-ре, пять, пя-ть, шесть. – Мишка Сбоев выстрелил, а следом и Вениамин Никольский, Варвара Ивановна считала: Се-мь, восемь, во-семь… Выстрелил Иван Красавин и дважды Михаил Капитанов: – Девять, – произнесла Варвара Ивановна. Кадыгробов встал, поправил френч, застегнул ремень, надел фуражку и шагнул к

дверям. Мишка Сбоев сбил его с ног, а Варвара Ивановна произнесла: – Де-ся-ть. Жду вас, Михаил! Прохорович!

Я подумал: конечно, жалко Кадыгробова, но лучше бы его отпустить. Сбоев мне шепчет:

– Выскакивай из землянки, прыжками бегом к ручью. Петляй, крутись. Она высунется, тут мы её и пришьём.

Варвара Ивановна кричит:

– Всё, мужики, время ваших жизней истекло.

Я подумал, граждане судьи, какая разница, где подыхать. Рискну. Перекрестился – и вон из землянки. Ну, метров двадцать я, как заяц, попрыгал, а пальба началась – упал, ногами подёргал и замер. Голова моя упала так, что я видел и землянку, и на кряжистой берёзе Варвару Ивановну. Из землянки в энту берёзу стреляли из пяти стволов. Пищали пули, вонзаясь в дерево, отлетала щепа. Варвара не отвечала на выстрелы, но стоило моим дружкам приостановить стрельбу, как Варвара Ивановна рывком склонила берданку и выстрелила. С выстрелом пронёсся страшный крик. Я узнал голос. Это был Вениамин Никольский. Крик продолжался несколько минут. Громко, надрывисто, но слов нельзя было понять. И вдруг – тишина. А следом голос Кадыгробова:

– Варвара Ивановна, не стреляйте. Мы сдаёмся.

Я видел, Варвара Ивановна перезарядила берданку, поправила платок на голове. Кадыгробов опять крикнул:

– Слышите, Щукина-Огнёва, мы сдаёмся.

– Поздно вы это решили, мужики. И хоть как бабе жаль мне вас, но против своего слова не пойду…

Тут выскочили мои дружки все четверо – разом разбежались веером и ну палить по берёзе. Варвара Ивановна сидит как на коне, на сучке и, не спеша, водит стволом берданки. Я с колбасниками воевал, против народной армии воевал. Да, конечно, я извиняюсь, против колчаковцев. Против коммунистов воевал, но учтите, за советскую власть. Такого убийства не видел. Набегался и настрелялся Мишка Сбоев – лежал мёртвым. Распрощался со своей жизнью Михаил Капитанов. Ему Варвара Ивановна пулю прямо в лоб всадила. Недалеко от меня корчился от боли Иван Красавин. И только Михаил Прохорович стоял

во весь рост в десяти шагах от кряжистой вековухи и медленно поднимал руку с пистолетом. Варвара Ивановна смотрит на Кадыгробова, и вижу, рука с берданкой у неё затряслась и берданка выпала из рук.

Кадыгробов выстрелил. Варвара Ивановна качнулась назад, согнулась и полетела вниз. Её тело ударилось об один сучок, а на другом она повисла. Кадыгробов подошел к ней, взвёл в пистолете курок и направил дуло в грудь. Последовал выстрел, но не из пистолета Кадыгробова. Кадыгробов выронил пистолет, рывком схватился за нижнюю часть живота. – Из кустарника вышел мужчина в кожанке. Кадыгробов увидел его, поднял с земли пистолет, выстрелил в мужчину и побежал в мою сторону. Он перепрыгнул через меня и больше я его не видел. Я всё рассказал, граждане судьи.

– Свидетель Артемихин, на каком основании вы заявили революционному трибуналу, что тот мужчина, который не дал Кадыгробову убить Огнёву чекист?

– Варвара Ивановна была ранена в голову, а тот чекист в правую ногу. Он снял Варвару Ивановну с сучка берёзы и перенёс к ручью. А я, пока он переносил Огнёву, отполз за землянку. Чекист развёл костёр, сунул в огонь нож, сбросил с себя кожаную куртку, рубаху. Рубаху разорвал на лоскутки. Потом он склонился к ручью и долго мыл руки. Наклонился над Варварой Ивановной, поцеловал её в губы и проговорил: «Ты будешь жить, моя дорогая...» Не перебивайте меня. Я добровольно сдался властям, чтобы не байки рассказывать, а правду. Так всё было, Варвара Ивановна. Он перевернул вас, Варвара Ивановна, вниз лицом, склонился над головой и стал орудовать ножом и пальцами. Он делал всё очень красиво, без суеты. Из осины выстругал несколько щепочек, приложил к голове и только потом перевязал всю голову. Пока он орудовал над головой Варвары Ивановны, лицо его всё мрачнело и мрачнело. Он опять положил нож в костёр, а сам снял брюки и стал осматривать свою правую ногу. Ножом разрезал мясо на ноге и остриём стал выковыривать что-то. Варвара Ивановна протяжно вздохнула. Он вскочил, направился к ней, но споткнулся и упал. Он нащупал у неё пульс, нахмурился, сел, притянул левой рукой

свою правую ногу и зубами схватился за что-то. Я догадался – это была пуля. Качая головой, он вырвал её, выплюнул. Поспешно схватил сноп крапивы и приложил к ране, забинтовал. Варвара Ивановна застонала. Он надел брюки, подошёл к ней, сел у изголовья, взял её левую руку, нащупал пульс и так очень долго сидел, вслушиваясь в пульс. Я со всей ответственностью заявляю, чекисту Варвара Ивановна знакома давно и она была ему небезразлична. Каждый старается в первую очередь спасти свою жизнь. Я к такому выводу давно пришёл. Но там я видел, что для чекиста его жизнь не дорога. Видно, состояние Варвары Ивановны его напугало. Он поднял её на руки и понёс. Вот тут я вышел из землянки, поднял его куртку. А в кармане куртки нащупал тряпочку. Я вынул её. Красная тряпочка была сложена в две половины. Я развернул. На внутренних сторонах половин были приклеены бумажки, а на них типографские буквы. Я прочитал: «РСФСР «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» Пропуск номер сто тридцать один. Предъявитель сего является сотрудник ЧК. Документ действителен по декабрь тысяча девятьсот двадцать первого года. Командир вооружёнными силами Томской губернии – подпись и Военный комиссар – подпись». Вот почему я решил, что это был чекист.

От Усть-Травянской заимки он шёл по бурелому на Мамоновскую дорогу. Пока вышел на дорогу, отдыхал несколько раз. Я уверен, он из местных. На Мамоновскую дорогу вышел самым коротким путём. Наступила ночь. На обочине дороги он отдыхал несколько часов. Луна хорошо освещала их. Я не прятался. Я метрах в двадцати лёг на бок, закурил. Для меня они были трупы. Оружие своё чекист оставил возле ручья. Я его прибрал. Знал чекист, что я сижу вблизи, видел меня, но ничем не показывал, что кроме них двоих есть ещё кто-то на этом свете. Шёл он по дороге неуверенно, часто запинался, дважды падал. Деревню Мамонову прошёл тяжело. С горы Ляги ползком волок Варвару Ивановну, но недолго. Положил её вниз лицом и сам лёг рядом. Вот тут я подошёл к ним. Он посмотрел на меня и проговорил: «Плохи дела, браток, мало осталось жить Варваре Ивановне». Луна вынырнула из-за туч, осветила его бледное лицо, его глаза; в них не было ни страха, ни отчаяния.

Осмотрел он меня, а сам запястье Варвары Ивановны держал и медленно глазами мигал, будто считал что-то. «Умрёт Варвара Ивановна, ты уж, браток, меня здесь пристрели. Ни к чему мне жить без неё. Пустое дело», – говорил он мне... Не перебивайте меня, Варвара Ивановна. Я говорю, как было. Вы спрашиваете: кто он? Откуда я знаю, кто он. Только та бумажка пропуска была при нём и всё. Там фамилия не была записана. Я сам хотел бы знать кто он. И спасибо хочу ему сказать, что это он надоумил меня выйти из берлоги и сдаться властям. Я столько лет скотиной был. Убивали кого? Лучших мужиков мы убивали. Тут я спрашиваю у него: «Куда несёшь Варвару Ивановну?» – «В больницу», – отвечает он. «Давай я пособлю, но ты меня не видел и не знаешь». Он кивнул. Я взвалил Варвару Ивановну на спину и понёс, повернулся, а чекист подняться не может. Я вернулся, помог ему встать. Донёс я, Варвара Ивановна, вас до больницы, передал ему в руки и он, хромая, вошёл в здание. Тут я ему сунул в кожанку и наган и красную тряпочку, кожанку набросил ему на плечи. Вот и всё, граждане судьи, так было.

– У вас всё, свидетель Артемихин? – спросил Чудновский.

– Для вас, граждане судьи всё. Для Варвары Ивановны не всё. Когда, Варвара Ивановна, чекист лежал рядом с вами на горе Ляге, то снял со своей руки перстень и надел вам на палец, где ваше обручальное кольцо. Но он по размеру больше и упал, я поднял и машинально положил в карман себе. Я не думал, что вы живые останетесь. Ведь та берёза, на коей вы сидели, вся красная была от вашей крови. А вот месяца два назад в берлоге сунул руку в куртку, и затрясло меня. Перстень. Плутишка Нинка Горская успела подбросить мне перстень, а я её просил передать чекисту. Это ваш перстень, Варвара Ивановна. Не знаете, кто он, этот чекист, но зато знайте – перстень это его, и он вам на палец надел.

Артемихин подошёл к Варваре Ивановне, подал перстень, низко поклонился.

– Прости меня, Варвара Ивановна, перед смертью прости. Перед тобой как на духу скажу: был в банде – был, убивал, всё было, не оправдываюсь. И спасибо тебе говорю: я чувствовал, что ты догадалась, что я живой лежу и придуриваюсь, но не

убила. Спасибо, – Артемихин вновь поклонился. – Ещё я тебе скажу, Варвара Ивановна, всяких я мужиков встречал, с твоим мужем Василием в дружбе был, но вдруг повезет, встретишь чекиста, не отказывай ему ни в чём. Он мужик настоящий.

Встал заместитель председателя Революционного трибунала Шапкин Н. И.

– Разрешите, Варвара Ивановна, посмотреть перстень?

Огнёва подала перстень. Шапкин покрутил в пальцах перстень, глянул несколько раз на Варвару Ивановну, а у секретаря Михайлова спросил:

– Посмотрите, есть ли в протоколе инициалы лекаря деревни Пеньковой Захарова, который обращался к трибуналу, чтобы его заслушали как свидетеля?

Секретарь достал протоколы, пересмотрел листы, остановившись на одном, ответил:

– Есть. Захаров Б. Е.

– А зачем вы спросили инициалы лекаря Захарова? – крикнула в сторону Шапкина Варвара Ивановна.

Но только Шапкин повернулся к Варваре Ивановне, вскочил председатель Трибунала Чудновский и громко произнёс:

– Пригласите свидетельницу Нину Горскую, жительницу села Маслянино.

– Я, Нина Горская, жительница села Маслянино. Мне шестнадцать лет. Православная. У исповеди в этом году не была, потому как храм наш то открывают, то закрывают. И батюшки наши то по очереди, то все вместе в каталажке сидят…

– Подождите, – перебил её Чудновский. – **Вы предупреждаетесь о даче ложных показаний. Говорите только правду.**

– Я всегда говорю правду. Можете спросить у любого; они вам подтвердят…

– Говорите только по существу дела, – прервал Чудновский.

– Я и собираюсь говорить по существу дела. Только вы меня так часто не перебивайте.

– Вы сами напросились в свидетели?

– Ещё чего не хватало. Если вы считаете, что я молоденькая и у меня много времени, вы ошибаетесь.

– Что вы знаете об убийстве Варварой Ивановной Огнёвой мужчин-лесорубов на Усть-Травянской заимке?

– Всё и ничего. Место сиделки в больнице я заняла пять месяцев назад. А до этого сиделкой работала Зоя Смирнова. Сейчас она здесь, в городе, числится за Ревтрибуналом. В тот вечер, двадцать девятого июня, всё происходило как в приключенческом романе. Идёт дядя Саша в Ревком, проходит мимо школы; в школе огни горели, ребята репетировали новую пьесу «Смерть буржуям». Он проходит мимо и видит на земле клочок бумаги…

– Кто такой дядя Саша? – остановил Нину Чудновский.

– Наш председатель Ревкома – Александр Ананьевич Бердышев. Поднял он бумагу – чистая – на закрутку пойдёт. Сунул в карман. Утром в кабинете достал кисет, уже хотел вырвать лист из книги, но вспомнил, что у него в кармане листок. Подумал: пусть пока книга сохранится. Достал листок, развернул, а там красивым подчерком что-то написано. Впился глазами и побледнел. В бумажке он прочитал: «Миша. Велено расстрелять на день Петра и Павла: Бердышева А. А. – председателя Ревкома, Чанкина Г. А. – председателя волисполкома, Давыдова И.С. – председателя коммуны «Сатурн», Коноплёва В. А. – председателя комячейки, Босых Ф. И. – военкома, Огнёва В. Н. – председателя коммуны «Светлый Путь», Огнёву В. И. – председателя комячейки».

Дядя Саша выскочил из кабинета и на Босых наткнулся. Спрашивает: «Когда день Петра и Павла?» Босых отвечает: «Не знаю. Я в Бога не верю». – «Зови срочно ездового!» – приказал дядя Саша. Ездовой Фома Изместьев прибежал и на вопрос ответил – праздник Петра и Павла начался с колокольного звона. Поднял дядя Саша всех под ружьё. Отправил отряды: один в «Сатурн», второй в деревню Пенькову, в коммуну «Светлый Путь». Ну и начальство волостное предупредил.

Вечером дяде Саше доложили, что в деревне Пеньковой убиты Василий Огнёв, Иван Шмаков и мальчишка Ваня Ташкин, который закрыл собой Варвару Ивановну. В «Сатурне» бандиты убить никого не успели. Отряд из Маслянино прибыл

вовремя. Отряд долго преследовал бандитов, но они на хороших лошадях проскакали мимо Тульской заимки в Тарасовскую, а там испарились.

Представитель ЧК Пётр Лазаревич Вершинин стал изучать почерк записки. Сравнивал с подчерком писаря волости Высоцким, подчерками учителей, с церковным журналом, потом пришёл в больницу и пролистал регистрационный журнал. Вот тут он и наткнулся на, как Пётр Лазаревич говорил, идентичный подчерк. А это был почерк Зои Смирновой. Её арестовали. Она призналась, что писала, а вот кто такой Миша и кто велел расстрелять, она не сказала.

Дядя Саша пришёл к нам домой и мобилизовал меня сиделкой в больницу.

В ночь под тридцатое июля по старому стилю я осталась в больнице одна с больными. Заведующий, Михаил Павлович Ястребов уехал в Черепаново, терапевт Степан Ильич Живетьев отпросился на несколько дней в Томск, а Николай Фёдорович Науменко – тоже врач – поехал сватать Лиду Матвееву, но у него ничего не получилось. Где-то около часу ночи, обошла я палаты – все больные спали. Прошла в приёмную и легла отдохнуть на лавку. Заснула. Я быстро засыпаю. И тут слышу кто-то где-то стучит. Сквозь сон подумала: что тятька не встаёт и не открывает дверь. Потом до меня дошло, я ведь не дома, а в больнице. Соскочила. В дверь тарабанили. Отбросила крючок – светать начало. Стоит мужчина, у него на руках женщина; голова её вся в крови. Мужчина грязный. Глазами такими серыми и тусклыми смотрит на меня. Я прошла к столу, села. Достала журнал; меня строго предупредили: всех кто обращается за помощью записывать в журнал, кто пожалует с пулевым ранением или там ещё что сомнительное, писать в журнал и немедленно предупреждать представителя ЧК, то есть Петра Лазаревича.

– Фамилия, имя, отчество? – спрашиваю. – Из какой деревни?

Мужчина мне отвечает:

– Девушка, пострадавшую необходимо срочно на операционный стол, – сам смотрит на меня в упор.

– Врачей нет, – отвечаю я. – Все в отъезде.

– И Александр Ананьевич? – интересуется мужчина.

– Он в больнице не работает. Он председатель Ревкома,– дала я справку.

– Немедленно найдите его и приведите в больницу. Скажите: женщина от пулевого ранения в голову может умереть.

Я не знаю, что делать. Оставить больницу без присмотра нельзя. Мужчина на меня как крикнет:

– Вам что не ясно?

Я выскочила, а меня – цап за руку. Это был Аристарх Артемихин. Он протянул мне левую руку и разжал ладонь. Я увидела перстень: большой, золотой, а в центре стёклышко пузатое, светлое.

– Отдай этот перстень чекисту, мужчине, кто только вошёл с женщиной, – говорит он мне. – Смотри! Присвоишь, убью! Я подумала: не убьёшь! Сам отдавай. И как только Аристарх повернулся от меня, я перстенище бросила в карман его куртки. Побежала к дому дяди Саши. Рассказала, что в больнице случилось. Он быстро оделся, и я затрусила за ним. Вошли в приёмную, а мужчины с женщиной нет. Дядя Саша на меня чуть ли не с матом.

– Спать надо меньше…

Я смотрю. На чистом полу грязные следы ведут прямо в операционную. Я туда заскочила. И вижу, пострадавшая лежит на операционном столе. А этот, сероглазый, голый по пояс, стоит перед умывальником и руки моет. Дядя Саша смотрит на голого мужчину и молчит. Я бы такой встряски пришельцу дала! Какое он имеет право хозяйничать? Без разрешения прошёл в операционную, положил пострадавшую, а она вся в грязи. Попробуй потом отмой всё до блеска. Самовольничает, как у себя дома. Руки с мылом моет. А мыло выделяют пять грамм на операцию. Вон и вату, и марлю приготовил, и инструмент разложил, как у себя дома. И куртку свою кожаную положил на стул, а она вся облеплена грязью.

Мужчина обращается к дяде Саше:

– Александр Ананьевич, приготовьтесь, вы будете мне ас-

систировать. Я плохо себя чувствую, так что следите за моими действиями.

Дядя Саша быстро снял пиджак, надел халат, помыл руки, достал из шкафа всякие склянки с жидкостью. Пересмотрел инструмент и говорит:

– Я готов.

Мужчина склонился к голове женщины, а дядя Саша говорит:

– Я помню ваши пальцы ещё с девятьсот седьмого года. Вы, по приглашению заведующего отделением теоретической хирургии Владимира Михайловича Мыша приезжали в Томск и проводили показательные операции. Мы, студенты, назвали вас хирургом-чародеем. В четырнадцатом году я рядом с вами сидел за столом в гостях у благочинного. Мне так хотелось поговорить с вами, познакомиться поближе, но вы были чем-то взволнованы и не обращали внимания на гостей.

Я подумала: «Вот те на, Артемихин сказал, что он чекист. А он врач. И из богатой семьи…»

Мужчина скороговоркой проговорил:

– Александр Ананьевич, не отвлекайте меня разговорами.

Дядя Саша извинился, и они двое склонились к голове женщины. Больше часа только железки об инструментный лоток постукивали. Чекист или врач промыл руки, вытер насухо, наклонился к женщине, поцеловал её в губы и прошептал:

– Ты будешь жить, моя дорогая.

Дядя Саша обнял чекиста и всё тараторил:

– Этот день я запомню на всю жизнь. Этот день для меня великий…

Гляжу, чекист или врач качнулся и упал, потерял сознание.

Дядя Саша сделал ему какой-то укол, снял с него окровавленные брюки, а я увидела на правой ноге выше коленки жгут, а ещё ниже, прямо в кости за коленкой, рваную рану. Дядя Саша её обработал и наложил повязку. Дядя Саша ушёл домой, сказал, что скоро вернётся… Я, пока он отсутствовал, протёрла полы. Александр Ананьевич принёс белую рубашку и чёрный, очень хороший костюм. Мы переодели чекиста. Женщину перенесли в палату, положили на кровать, чекиста оставили в операционной. Пришла моя сменщица – сиделка Лидия Прокудина. Когда я ей

ещё не всё рассказала, что случилось в то утро, очнулся чекист. Он приспустил штаны, снял повязку, внимательно осмотрел рану, снова забинтовал и проговорил в мою сторону:

– Прошу вас, сходите в сторожку церкви и передайте Савелию Дмитриевичу Кривощёку, чтобы он срочно запряг пару лошадей и подъехал к больнице. Не забудь передать ему, что это приказ Вертограда.

Я побежала. В сторожке Савелия Дмитриевича не нашла. Побежала к дому благочинного. Возле калитки остановилась и жду, кто выйдет. Я за всю жизнь в доме благочинного не была. Позвать кого, крикнуть – неудобно. Что обо мне подумают. Дом-то почти пустой. Гляжу, выходит Савелий Дмитриевич. Я ему передала, что чекист сказал. Савелий Дмитриевич побледнел, подпрыгнул и побежал в конюшню.

Подъехали мы к больнице, а чекист стоит на крыльце, уверен был, что Савелий Дмитриевич подъедет. Сел чекист в ходок, а мне говорит:

– Пожалуйста, будьте внимательны к этой женщине.

Вот и всё.

– А что обозначают сказанные вами слова: «всё и ничего»? – спросил Чудновский.

– Так я за больной больше месяца ухаживала. Она только на пятый день пришла в сознание. А в бессознательном состоянии часто кричала, разговаривала…

– Вот и об этом расскажите, – предложил Чудновский.

– Не могу. Мало ли что мы говорим во сне или в бессознательном состоянии. И потом, когда я узнала, что женщину зовут Варварой Ивановной… Скажите: кто не уважает Варвару Ивановну? Благочинный при встрече у неё руку целовал… Найдёт нужным Варвара Ивановна, – сама всё расскажет, а нет – это дело её…

Командир конвойной команды доложил, что свидетель Посельский может быть допрошен.

Свидетель Посельский вошёл в зал заседания. Осмотрел присутствующих. Увидел подсудимую Огнёву, улыбнулся. Отвесил земной поклон. Поклоняемая поднялась, ответила поясным.

Свидетель увидел свидетеля Кривощёка в улыбке, подмигнул и поклонился. Поклонился и Артемихину, Горской. Повернулся к суду. И им совершил поклон.

– Свидетель Посельский, хватит кланяться, – предложил Чудновский. – Вы предупреждаетесь о даче ложных показаний.

– Благодарю. Неизменно так и будет.

– Говорите только по существу.

– Конечно. Но если я не расскажу вам побочные случайности, может всё дело исказиться. И вы осудите Огнёву. А для меня, моей матушки и земляков это окажется печальной драмой.

– Кто вы?

– Я Василий Алексеевич Посельский. Священник. Последние четырнадцать лет жил в селе Никоново. Служил настоятелем в храме Зосима и Савватея. За все годы службы дважды покидал Божий храм по собственному желанию. От Господа Бога не отрекался, от церкви не отлучался. Расстригой не являюсь. Первый раз я покинул храм Александра Невского убёгом. Не мог без пастырского увещевания оставить чад своего прихода, которых отправили на Русско-японскую войну. Поехал с тем же эшелоном. За время боевых действий получил: «Святого Станислава» третьей статьи, «Святую Анну» второй статьи… Второй раз покинул храм в конце девятнадцатого года. Я из своих приходских чад организовал «Отряд святого Александра» и пошёл догонять партизанский отряд Григория Чанкина.

– Свидетель Посельский, у вас ещё будет место и время, где вы полностью расскажете о бесчинствах вашего святого отряда, – перебил Чудновский, – сейчас расскажите об убийствах подсудимой. И прекратите брякать царскими безделушками.

– Великий судья, я напросился в свидетели по делу подсудимой Варвары Ивановны Огнёвой, потому что знаю: убийство совершила она. И отрицать этого не будет.

Считаю своим долгом первым делом рассказать, кого она убила. Первым в списке значится лесоруб из деревни Мамоновой Михаил Сбоев, сын Михаила Вавилыча, внук Вавилы Петровича, знаменитого управляющего Порокинским имением. Заверяю: Михаил по плотницкому и столярному делу – большой

мастер. А вот чтобы лесорубом служить не годен. Он с детства своё лико и стать выше креста ценил. Да и зачем ему лес рубить, когда дед оставил в достатке денег и серебра. Унтер-офицер Михаил Сбоев вернувшись с русско-германского фронта, как влился в междоусобную борьбу, так и все эти годы воевал. То у Колчака, потом в банде Рогова, ходил адъютантом руководителя Черепановского восстания Сергея Виноградова. После разгрома восстания служил адъютантом у Мишки Кадыгробова.

Вторым, кого Варвара убила, значится, как лесоруб, житель города Ново-Николаевска Вениамин Никольский. Я – его от купели восприятель. Знал его не один год, а двадцать семь лет. Сын благочинного, одарённый музыкант. Воевал на русско-германской войне. Штабс-капитан. Был у меня в «Отряде святого Александра» командиром. Я его по ненадобности отправил домой. Отец его, благочинный Николай, упрашивал, я упрашивал: не ввязывайся в междоусобную бойню, пиши музыку. Дар имел такой, что с ним только Чайковского можно сравнивать. Какой с него лесоруб, когда за всю жизнь ни одного кругляка на поленницу не порубил? Мне его жаль. Но он не послушался заповеди Бога «не убий». За это и сам был убит.

Лесоруб из деревни Пещёрка Михаил Капитанов. Да, великий суд, это был лесоруб. За время братоубийства он трижды служил в народной армии и дважды у большевиков. Последняя служба – у бандита Рогова. Везде он рубил, только не лесины для дела, а человека. Это был просто кроволюб. Я изгонял его из храма преподобных Зосима и Савватия. Отец его Фёдор многие годы значился в Егорьевском прииске самым богатым купцом.

Четвёртым значился лесоруб из деревни Пеньковой. Сын Аристарха Красавина – Иван. Нет вины за Иваном, что рыскал полгода с бандитами по всему Черепановскому уезду и убивал, грабил, жёг. Аристарх виноват! Отец! Господи, прости. Имел трёх сыновей – хлеборобов. Самые большие выращивали урожаи. Лавка ломилась от товаров. Что надо? Отец отправлял одного сына, второго, третьего. Куда? В народную армию. Да, Варвара Ивановна, я оплакивал твоего мужа Василия, Ивана Ивановича Шмакова, мальчонку Ташкина, но и молитвословил по Аристарху и его сыновьям.

Великий суд. Последний, пятый лесоруб Сергей Виноградов. Сын богатейшего купца из города Каинска. Воевал и на Русско-японской и на Русско-германской. Штаб-капитан. В нашем Черепановском уезде в январе двадцатого года он возглавил восстание против большевиков. Вы его тогда не поймали. Он полгода, пока его Варвара Ивановна не убила, уничтожал моих чад, кого я крестил, кого я венчал, кого на путь божественный наставлял. Я живу вне социальных убеждений, я с Божественной истиной. И прошу вас, великий суд, не приводите моих чад к тому, чтобы они очищали землю от антихристов. Делайте это сами.

Не шумите, не стращайте.

Я всю жизнь с Богом. И жизнь моя в его руках. Не кричите, дайте закончить. Почему вы, Сибревком, Сибтрибунал, расквартировав в нашем уезде целый двести тридцать второй полк, допускаете, что самые дорогие для меня люди: Варварушка, Боренька, и иже с ними, защищая своих родных и близких, вами называются убийцами, месяцами в казематах терпят унижения?

Гражданин Чудновский, я вам приведу слова Вселенского учителя Василия Великого:

«Если можешь, угрожай чем-нибудь другим: изгнания я не боюсь, ибо вся земля Господня; отнять имущество нельзя у того, кто ничего не имеет; муки мне не страшны, ибо верю и надеюсь, что страдания и смерть будут для меня благодеянием, потому что они скорее приведут меня к Господу, для которого я живу и тружусь».

Всё! Всё! Великий суд, благословляю вас на справедливые решения.

– Уведите из зала свидетеля Посельского! – крикнул Чудновский.



Глава двадцать вторая

Исповедь маслянинского отшельника

Внучек, прошло полтора года моего отшельничества, вчера на День преподобного исповедника и мученика Максима (21 января) молитвой прославлял и священника Максима Бальву. Тихо постучались в дверь. Отодвинул запирку. Дверь распахнулась. Глянул – и душа воспылала. Стоит в лучезарной улыбке Пётр Вершинин. В радости давай я его обнимать, к щекам прикладываться, бормотать восторженные слова:

– Да как же ты, Пётр Лазаревич, насмелился в такую непогоду навестить меня? – Осмотрел его и в слёзы, – опять кого-то из моих родственников Бог прибрал?

Вершинин снял с себя вещьмешок, выложил на стол необходимые мне предметы. Сел на лавку. Заговорил:

– Сорока мне сообщила, что у Никиты Евсеевича отменная медовуха. Или она неправа? А то я ничего не взял для праздничного стола. С радостью я к тебе пожаловал. Твою невестку освободили. Я присутствовал на последнем заседание суда. Варвара Ивановна не оправдывалась. Признала себя виновной. Общественный обвинитель, товарищ Набелкин, требовал лишения свободы. Общественный защитник, товарищ Оболенский, обратил внимание на тот момент, когда происходило преступление. Он говорил: «Нужно помнить тысяча девятьсот двадцатый год, на руководящие органы деревни выпала ответсвенная и тяжелая обязанность: сбор продразверстки, очистка района от белых банд и общая организационная работа». При мертвой тишине он закончил свое выступление

следующими словами: «В то время подзащитная не осознавала возложенных на нее задач и лозунг: «Стереть с лица земли врага» – понимала в буквальном смысле».

Я поспешно поставил на стол съестное, разлил медовуху. Выпили. Вершинин подмигнул мне.

– Я тебе и вторую радость принес. Дом врача Смирнова, национализироанный в прошлом году, возвратили хозяину. Марфа Кирилловна и приемный сын Степан вернулись в дом. В кабинете Бориса Евгеньевича состоялось тайное собрание. Присутствовали: батюшка Василий, матушка Мария, Григорий Чанкин, член Губернского революционного трибунала Александр Иванов, аптекарь Артур Гасфорт и я. Свидетельницей сборища в форме картины являлась Варвара Ивановна Огнева .

На том сборище под руководством матушки Марии, вынесли приговор, где сказано: двадцать второго декабря провести венчание в деревне Пеньковой. Совершать обыск брачный поручено отцу Василию. Свидетелями от жениха назначили: Савелия Кривошёка, Артура Гасфорта и Григория Чанкина. От невесты, с согласия нарисованной батюшкой Максимом Варвары на картине, все склонились, что живая Варвара возражать не будет, против свидетелей: Александра Иванова, Пётра Вершинина и матушки Марии. Невеста – Варвара Ивановна Огнева, в девичестве Щукина. –

Вершинин разлил по стаканам медовуху.

– Старец, что не спрашиваешь, кто жених?

– Старцы – все дальновидцы, – ответил я. – Помню еще в мае двадцатого года, второму будущему мужу моей невестки предлагал не торопиться вверять свою умную голову и талантливые руки Егорьевской красавице. У моего фронтового друга Бориса Евгеньевича чувства пересилили разум. А вообще, я рад, что встретил влюбленных, кто годами был благотворителем, жертвователем и сохранял в душе чистоту православных заповедей.

– В Приговоре много пунктов. Я не имею права даже отшельнику раскрывать их. Радуюсь, Никита Евсеевич, в такое страшное время мои земляки и родственники не лишены, хоть

на малое время, повеселить себя. Сотворить сказку для живых и в память погибших. Перехожу к пункту моего обязательства. Мне поручено от имени жениха, невесты и свидетелей найти вас и пригласить на свадьбу.

Я, не задумываясь, ответил:

– Нет, нет и нет. И не потому, что я не хочу поздравить для меня самых дорогих людей. Дело в другом. Я, Петр Лазаревич, неоднократно за эти полтора года покидал келию с целью вернуться к людям. Неведомая сила позволяла мне даже пересекать Суенгу. Дальше все противилось моему желанию. Ноги становились ватными, голова не соображала, куда идти.

Утром с тяжелыми душевными переживаниями я проводил Вершинина. И день, два, неделю лил слезы. Некоторым моим друзьям повезло, они на свободе. А батюшка Максим? Иже с ним неисчислимое множество величайших русских пастырей!

* * *

Сметает руками лебяжий пух Савелий с могилы Юлии и шепчет:

– Милая… Освободили меня. Видишь, опять с тобой рядом. Не вини, дорогая, но я хочу ещё пожить. Хочу сына своего поднять на ноги. Сама видела, сколько мужиков за эти годы порешили… И хороших, и плохих… Бабам-то одним не справиться. И не хочу я грех на себя брать, руки на себя накладывать. Прости. В душе я всегда с тобой. – Упал на могилу, обхватил упродь* земли, целует. – Разве не прожили мы эту жизнь в любви к Господу Богу?! За что же, дорогая, Господь Бог лишил нас радостей земной любви?! Нет, голубка моя, твоей вины пред Господом Богом и человеком. И я всегда хотел, чтобы моя жизнь не в укор была людям. Прости. Пойду. Завтра к обеду пожалую к тебе. Возможно, и не один…

Вокруг дома Москалёвой непорядок. Копошатся мужики и женщины. Под низом дома пустошь. Углы дома на подставы

* Упродь – земля, обледеневшая сверху, тонкий слой льда.

опираются. Присмотрелся к мужикам – все из деревни Пайвиной: Пётр Катасов, Кузьма Журавлёв, Иван Москалёв, Максим Ковалёв, Сафрон Субботин, Перфирий Большаков.

– Ай, мужики, – закричал Кузьма, – поглядите, хозяин на починок успел! Зоя, слышь, неси гармонь, Савелий из каталажки вернулся.

Затемно посадили дом на два новых нижних венца, уложили пол, подогнали лаз в подпол, занесли скарб, поставили стол, зажгли лампу. За стол помочат надо бы усаживать – всё готово. А приглашения нет. Кузьма как друг Савелия молчит. «Козью ножку» в локоть длиной завернул, сел на кукырки возле порога и покуривает. Зоя стесняется – Савелий дома. Савелию как бы стыдно: он не хозяин дома и незаконный, невенчанный муж. Ночь совсем обтянула дом чёрной дерюгой. В доме тишина.

Слышно даже как старые брёвна с новыми в знакомство пошли, друг к дружке через мох с лёгким треском прижимаются.

– Ково ждём, мужики? – спросил Пётр Кутасов. – У меня от холодной закуси в чемодане бурчит. Давай, Савелушка, командуй.

Месяц за месяцем уходили в прошлое. Ждала Варвару коммуна «Светлый Путь». Старался каждый по силе внести свой труд в общее дело, проявить смекалку. Как заведено ещё было Василием, так и жили. Одни отвечали за свинарник, другие за дойное стадо, третьи за пасеку. А за хлеб и семенное зерно отвечали все.

Варвара пожаловала в деревню за неделю до Нового года. Сошла с саней, поблагодарила возницу, постучала валенками по хрустящему снегу, и захолонуло сердце: ни одной души на улице, ни одного лица в оконцах. От недоброго предчувствия сжалось внутри: не уж беда какая стряслась! Подхватила чемоданчик – и бегом к дому. Ворвалась. Пелагея бросила пряжу. Варвара головой крутит, из объятий свекрови вырывается и чуть не кричит:

– Где Иванчик?

– Да жив он и здоров. У Ираиды Дмитриевны к празднику готовятся.

– Так сбегай, мам. Скажи: мать приехала, – чуть не в слезах просит.

– Не пойдёт. Они очень заняты…

– Как? Что ты говоришь? Я его три месяца не видела…

– Дочка, не волнуйся. Знает он, что ты сегодня после обеда прибудешь. Ну, дела у них… Дела…

Как подстреленная, припала на плечо Пелагеи и запричитала:

– Не любит меня никто. Не любит. Всю деревню на санях проехала, в окна смотрела, никто даже не глянул. И сын не любит… Знает, что приеду, и… – Отпряла от плеча Пелагеи. Впилась глазами и жёстко спросила. – От кого, мать, он знает, что приеду?

– Вчера проезжал по деревне Савелий. Отпустили его. Вот он всем и принёс радостную весть.

– У лекаря печь топится, давно приехал? – спросила Варвара, глянув в окно.

– В одно время с Савелием, лекаря привёз Григорий Чанкин. Акимыч у него и ночевал. Всю ночь горел свет. Спать не ложились, всё за столом сидели и о чём-то разговаривали. Утром заметила я, что Акимыч лекарю угождает. Вместе на санях ездили в сторону Волчьего увала. Вернулись часа через три, привезли что-то в мешках. Сгрузили. Потом Акимыч поехал в Маслянино. Часа за два до тебя вернулся. И опять что-то привёз в мешке. Удивительно мне, Варварушка, всё это. Акимыч с лекарем старые друзья. За столом сидели в обнимку. А ещё ранним утром к лекарю приехали гости. И знаешь кто? Бывший Никоновский священник отец Василий и матушка Мария. Наши мужики, партизаны, как увидели их – так в дом. Но отец Василий вышел на улицу, что-то им сказал, и они разбежались по домам. Варварушка, что-то кроется в этом. Матушка Мария ездила с Семёном Волковым в Никоново… Варварушка, стол накрою, чайку попьём?

Варвара надела полушубок, набросила на голову полушалок.

– Пойдём, мам, в потребиловку. Купим чекушку погуляем с тобой за моё освобождение. Не рады, не рады люди, что меня не осудили.

На улице Варвара чуть коснулась плеча Пелагеи.

– Погляди, мать. Впервые такое вижу – во всех домах дым из труб валит. Что они, все сговорились в одно время блины печь, а?

На дверях потребиловки висел замок. На крыльце, на снегу, придавленная камнем бумажка. Варвара оттолкнула камень в сторону, подняла листок. С трудом прочитала каракули:

«В потребиловке шаром покати».

Остановилась кошева, запряжённая парой.

Аристарх спрыгнул на снег, снял шапку, низко поклонился Варваре, произнёс:

– Здравствуйте, Варвара Ивановна.

– Здравствуй, Аристарх Кузмич, – ответила она.

– Здравствуйте, Пелагея Семёновна. – Артемихин низко поклонился. – Вот опять ямщину гоняю…

– Вижу, Аристарх, вижу.

– Извините меня, Варвара Ивановна. Виноват я перед вами, виноват. Простите.

– Поезжай, Аристарх, твои пассажиры в санях замёрзли. А мне хватит того, что ты понял: не в корысти счастье.

– Спасибо, Варвара Ивановна, спасибо. Долго я этот груз на себе носил. Иной раз и жизни не рад был. Всё она – эта жадность. А пассажиров везу к вам.

– К нам? Кто такие?

Варвара бросила быстрый взгляд на приезжих.

– Не знаю. Но к вашему лекарю в гости едут.

Из кошевы выпрыгнул мужичок маленького роста, сухопарый, с несколько продолговатым лицом, украшенным золотой «козьей бородкой», голубыми смеющимися глазами, подошёл к Огнёвой, взял её руку, поднёс к губам, поцеловал, она удивлённо посмотрела на него. А Пелагея, развесив уши и распластав глаза, смотрела и удивлялась. В честь чего это чужой мужик целует Варваре руку? Наверное, какой-то новый декрет написали про поцелуи, а в Народном доме его не утвердили, так бы она знала.

– Здравствуйте, Варвара Ивановна, я очень счастлив, что встретил вас. Разрешите представиться – аптекарь Артур Теодорович Гасфорт.

Рядом выросла худощавая женщина.

– Это моя жена, Елизавета. Мы приехали к Борису Евгеньевичу и к вам, – Гасфорт пытливо всмотрелся в лицо Варвары.

Пелагея стояла в сторонке, молча и неподвижно, прикрыв рот рукой, слушала, смотрела на незнакомых ей лиц.

Варвара пожала руку Артуру Теодоровичу, проговорила:

– Мы всегда рады новым людям. Аристарх, лекарь Борис Евгеньевич живёт рядом с нами, в доме, где жили Ташкины. Садитесь, уважаемый Артур Теодорович и вы, Елизавета. Поезжайте. Дорога утомила вас.

– Да, да, вы правы, Варвара Ивановна, на улице не может быть разговора. Пойдём, Елизавета.

Карета скрылась за поворотом. Варвара, обращаясь к Пелагее спросила:

– Ты, мать, что-нибудь поняла?

– У лекаря какое-то событие.

– Какое?

– Варварушка, милая, откуда мне знать.

– А я, дура, хотела его пригласить вечером к нам…

– Да и я, Варварушка, думала подсказать тебе, чтобы его пригласить. Я для него носки связала. Думала он тебя поздравит, а ты ему носки подаришь.

– Не носки, мать, а носок.

– Правда, носок. Но я даже не подумала, пока вязала. Как же так, как же так…

– Ладно, пошли домой. Только, если будешь носки дарить, не отдавай пару.

– Да один и неудобно вручать.

– Ну и не вручай, подбрось…

– Глянь, Варварушка, ещё кто-то едет, – с удивлением проговорила Пелагея.

Варвара повернулась и увидела в санях Александра Ильича Иванова, а рядом молодую красивую женщину. Сани остановились.

– Здравствуйте, – игриво проговорила Варвара. – Что ж вы, Александр Ильич, не сказали в Губкоме, что поедете в нашу

сторону? Лошади коммунарские не чета этим клячам, давно бы в тепле были.

– Я не собирался к вам, Варвара Ивановна. Познакомьтесь, Клавдия Степановна Макарова – секретарь крайкома партии, – Иванов подал руку женщине, и та сошла с саней. – А это председатель коммуны «Светлый Путь» Варвара Ивановна Огнёва.

Макарова схватила Варвару в объятия, расцеловала в щёки.

– Рада, чертовски рада с вами познакомиться. Много о вас рассказал Александр Ильич. Но, честно сказать, я приехала не к вам. Мне надо срочно быть у Бориса Евгеньевича, садитесь в сани и быстрее везите меня к нему.

Варвара побледнела. В душе кольнуло недоброе предчувствие. Отшатнулась от Макаровой. «Жена его или невеста, что за бабья доля, только подумала, что мне по душе лекарь, а тут судьба разлучница. А такая, красавица, любому голову вскружит».

– Что сопровождать? Вон, во втором доме, где сани стоят, там и лекарь живёт.

«А какая нарядная, опрятная. Сто вёрст проехала, на пальто ни одной соломинки, и воротничок блузки от свежести видно хрустит».

– Варвара Ивановна, вы обиделись? Не надо обижаться. В нашей работе есть дела срочные, есть, которые могут подождать. Для меня первоочередное дело встретиться с Борисом Евгеньевичем, а потом, если вы не будете возражать, я познакомлюсь с вашей коммуной. Александр Ильич, поезжайте, а мы с Варварой Ивановной следом пойдём.

Макарова взяла под руку Варвару, но Варвара почти брезгливо отняла руку.

– Извините, я должна кое-что сказать маме.

– Так говорите, не стесняйтесь. А то я поняла ваш жест превратно.

– Мама, пожалуйста, сходи к Андросовым. У бабки Степаниды всегда что-нибудь имеется…

– Хорошо, дочка, я всё поняла…

Макарова вновь взяла Варвару под руку, посмотрела ей в глаза.

Варваре не приходилось встречаться с таким взглядом. Взгляд пронизывал её насквозь. Варвара покраснела.

– Дурочка, не украду я у тебя лекаря. Не за этим я приехала. – Они подошли к калитке дома Смирнова. Варвара остановилась.

– Что опять? – спросила Макарова.

– Я за последний год в этот дом заходила один раз. И то по необходимости. Сильно болела голова.

– Сейчас зайдёшь во второй раз. Как секретарь парт ячейки. Чьи это сани? Бориса Евгеньевича?

– Нет. Это какой-то аптекарь с женой приехали…

– Что?! Гасфорт здесь?! Вот это радость!

– И ещё у него бывший Никоновский поп Василий.

– Посельский! Ай, молодцы!

Зашли в сени. Варвара постучала в дверь.

Громко, игриво послышался баритон Посельского:

– Просим!

Варвара пропустила Макарову вперёд и зашла, прикрыв дверь. Перед ними оказался отец Василий, загораживая собой всё и всех:

– Что вам надо, молодые дамы, и кто вас звал? – его подбородок оказался выше носа.

– Вы своим голосом: «Просим!» – ответила Макарова и решила отстранить Посельского. Но он и не думал сдаваться. Он не шутил.

– У нас все работают, а для вас дел нет. Пойдемте на улицу, – предложил Посельский.

– Поп, я с вами не желаю разговаривать. Мне нужен Борис Евгеньевич, – раздражённо проговорила Макарова.

– Он занят, – резко, категорично проговорил Посельский.

Отец Василий туловищем прижал их к дверям. Глаза замаслились.

– Перестаньте шутить, Посельский!

Посельский заёрзал, уши зарделись.

– Пардон, с кем имею честь беседовать?

– У тебя что, Василий Алексеевич, с памятью... того…

Отец Василий корчил серьёзную рожу, а глаза смеялись.

Варвара подумала: «Вот несколько дней назад как Александр Ильич высвободил из концлагеря отца Василия, а он уже костюмом обзавёлся и баритон восстановил. И матушка Мария в цветастом платье. Когда я её увидела на вокзале с протянутой рукой, подумала, что она очумела. И в крестьянском доме, нарезая ей хлеба, сала, только и слышала лепет: «Батюшке Василию бы передать». Она увидела меня, приподнялась в улыбке, но отец Василий на неё покосился, и она повяла».

– И всё равно – вас обеих, покорнейше извините, но прошу выйти.

Макарова резко повернулась и, не скрывая обиды, вышла.

– Ещё раз тысяча извинений, но пока нельзя.

На улице Клавдия Степановна Макарова спросила у Посельского:

– Что у вас там творится?

– Борис Евгеньевич болен.

– Но вы знаете – я врач.

– Там есть и врач, и лекарь. Пожалуйста, Варвара Ивановна, пригласите Макарову к себе домой. Будет лучше Борису Евгеньевичу, мы вас пригласим.

– Ваши шуточки мне знакомы, пострига, вижу по глазам – и здесь вы какой-то балаган задумали. Если это так, не сдобровать вашей бороде. Оттаскаю, что век будете помнить. Пойдёмте к вам, Варвара Ивановна.

– Не сомневаюсь, что не только вы, Клавдия Степановна, оттаскаете, но и Варвара Ивановна. Пусть борода пострадает, но не дело, – улыбаясь, проговорил Посельский. – Я зайду за вами так это часа через два, не раньше.

Варвара помогла Макаровой раздеться. Та прошлась по кухне, вошла в горницу, посмотрела на наклеенный на икону портрет Ленина и на фотографию, что была в красивой рамке, рядом. Макарова уставилась на портрет, быстро повернулась к дверям.

– Это мой муж, – произнесла Варвара.

– Знаю. Василий Никитич Огнёв.

Варвара как вкопанная стояла за дверью, глазищами пожи-

рая Макарову, и слов не находила, чтобы спросить... Наконец вырвалось:

– Откуда знаете?

– В шестнадцатом я его встречала на Николаевском проспекте. Он в солдатской форме шёл вместе с бунтовавшими солдатками. В семнадцатом встречались на квартире у Бориса Евгеньевича.

Варвара не верила своим ушам. Пытаясь скрыть своё недоумение, смущённо пробормотала:

– Вы что-то путаете. Мой Василий не был знаком с Борисом Евгеньевичем.

– Огнёва, я старая революционерка. Моя профессия требует, чтоб я никогда ничего не путала. Это даётся годами, но на всю жизнь. Помню, он рассказывал о вас. И говорил, что вот ушёл на фронт жена ни читать, ни писать не умела, а вернулся, она книжки читает. И про мироедов Красавина, Палкина и своего однофамильца Огнёва рассказывал.

– Да, всё это верно. Но мы с Василием после семнадцатого четыре года прожили вместе, и он ни слова не говорил об этих встречах. Откуда же он лекаря знал?

– В шестнадцатом, когда Василия ранили в ногу, Борис Евгеньевич перевязку ему делал. Видно, с того времени и познакомились.

– Но Василий мне ничего не рассказывал про ранение в Ново-Николаевске. Говорил, что в бою царапнуло. Правда, рана была очень свежей.

– Ну, шельма, расстрига, что он там задумал? Варвара, сбегай, посмотри в окно, что они там делают? Нет, не надо. Видно, решили они нас разыграть.

Варвара налила чаю.

– Попейте горяченького. Согрейтесь.

– Спасибо. У меня от этого Посельского всё горит. А где мой чемодан? В санях остался. Вот ведь, чёрт… Подожди-ка Огнёва, я сбегаю за чемоданчиком. А ведь Александра Иванова в дом-то впустили!

– Эй вы, заговорщики, – крикнула Макарова в окно, – вынесите мне мой чемодан, и я вас не знаю. Посельскому скажите, что он будет заведовать живодёрней на Каменском тракте.

Вышла Елизавета.

– Вы одни?

– Как видишь.

– А где Варвара Ивановна?

– Дома, где ей ещё быть.

– Пойдёмте, а то прохладно, – предложила Елизавета.

В доме Макарова набросилась на Посельского.

– Ты мне объясни, Василий Алексеевич, что за заговор?

– К свадьбе готовимся.

– К свадьбе? Какой свадьбе?

– Разве вы не на свадьбу приехали?

– Я приехала по партийным делам.

– Борис Евгеньевич женится.

– Кто? Смирнов женится? А кто невеста?

– Варвара Ивановна.

– Как же так? Ну, Посельский, подожди!

– Да не я придумал всё это. Борис Евгеньевич с Чанкиным.

Посельский упал перед Макаровой на колени, приподнял бороду.

– Таскай, но не виноватый я перед тобой, Клавдия. Лекарь всё придумал – вот он, – и Посельский показал на Смирнова.

Борис Евгеньевич подошёл к Макаровой, обнял её.

– Как вы кстати, дорогая.

– Вижу, вы к свадьбе готовитесь. А невеста ничего не знает.

– Душенька, узнает, – произнёс Посельский.

– Да встаньте вы с пола. Не стану я вас за бороду таскать.

– Как с живодёрней?

– Не вижу Артура Теодоровича? – спросила Макарова.

– Он в бане. Вспоминает, как нужно держать смычок.

– Александр Ильич? – спросила опять Макарова.

– Там же. На балалайке дрынчит.

– Во что нарядите невесту?

– Это всё есть, – ответил Посельский.

– Что мне делать?

– Посмотреть невестин наряд, собрать, пойти к Варваре и одеть её. Свадьба начнётся в народном доме в пять часов вечера.

– Хорошо придумали. Она меня со всем нарядом – и в дверь.

– Не теряй времени, Клавдия, – прикрикнул Посельский.

Варвара ходила по кухне, прислушивалась, не стучит ли кто в дверь, не возвращается ли Пелагея. Но было тихо и необычно. Три часа Варвара в Пеньково, ни один человек к ней не пришёл… И даже когда прогуливалась с Пелагеей по улице, никто не вышел из дома и не поприветствовал. «Надоела я им со своими требованиями. Макарова не возвращается. Её приняли. Не зря этот поп сказал: вас двое. У них чем-то вкусно пахло и так хотелось всё посмотреть. Может, с лекарем действительно плохо, почему тогда у Посельского смеялись глаза? Нет, не ко двору я им. Да что удивляться: лекарь, аптекарь, секретарь Сибкрая, поп. Я кто?» Варвара услышала, как открылась сеношная дверь. Появление Пелагеи не развеяло хмурь. Сердце, скованное льдом, звенело своими ударами. «И то, что Посельский сказал, что лекарь болен – это враньё. Он сказал, что взбрело в голову. Ляпнул, а спохватившись, начал вывёртываться. Неспроста понаехали гости. И надо же было в день, когда я вернулась! Что-то кроется в этом. На душе тревожно, муторно».

– Я и не думала, что ты дома, не торопилась. Проводила городскую?

– Проводила.

– Кто она такая и кем будет лекарю?

– Не спрашивай, мать, не знаю. У меня так тяжело на сердце, готова пойти и в проруби утопиться. Василий-то наш, оказывается, с лекарем был знаком.

– Да ну?

– В шестнадцатом году лекарь его лечил. В семнадцатом Василий у лекаря гостевал. Эта женщина Макарова – там была.

– Что, сынок от нас скрытничал? И лекарь хорош! Знал нашего Василия, и ни разу ни слова. Но ты, Варварушка, не имей зла на Василия. Честный он был к нам, если что скрыл, так думал, нам в пользу делал. Давай-ка я на стол приготовлю. Ванюшка у Похитоновой, я ему сказала, что ты дома, прибежит.

Стол накрыли, две рюмки поставили, Ивана всё нет.

– Да что ж это такое! – возмутилась Варвара. – Мать приехала, несколько месяцев дома не была, а он и не спешит. И деревня вся, словно вымерла. Ну и люди…

Ей захотелось сейчас же покинуть дом, деревню и заблудиться там, куда ушёл больше года назад свёкор, – заблудиться в дубраве.

– На людей не серчай. Сама вижу: что-то не то. Да разберутся и всё пойдёт по-старому. Любят тебя люди, Варварушка, только что-то скрывают. Вон, встретила Софью, так она, бестия, взгляд в сторону – и от меня. И учительница хороша! Не отпущу, говорит, ребят до вечера, пусть мне помогают. И видно, не отпускает. А что они ей помогают? В дом не впустила. Варварушка, видела я как несколько раз выходила из дома лекаря старуха с мальчиком. И знаешь, я могу ошибиться, но мне кажется, старуха та служила у попа Евгения нянькой. Не то Марфушей её звали, не то Матрёной. Она ещё усыновила сынка Марии Сперанской. Смотри, городская женщина к нам идёт. Вот и хорошо, пообедаем вместе.

Макарова как угорелая ворвалась в дом.

– Ты знаешь, Варвара Ивановна, а Посельский нехороший человек, – с порога скороговоркой заговорила она.

– Неправда! О нехороших людях не будут легенды складывать. О Посельском даже добрые частушки поют. Он в девятнадцатом, когда нашему отряду было трудно, на стороне нас оказался. Сотни людей от гибели спас. Так что, хоть вы и секретарь крайкома, а о людях так говорить не надо.

– Я тебе говорю, он нехороший. Важный и спесивый.

– Может, я что-то не понимаю, не знаю, но людям верю. Один человек может ошибаться, люди нет. И важным и спесивым он никогда не был.

– Знаешь, что он мне предложил?

– Он добрый и плохого предложить не может.

– Почему ты не спрашиваешь, что он мне предложил? – спросила Макарова.

– Он вам предложил, а меня выгнал. Меня это не тревожит.

– Вот баба!

– Вы, товарищ Макарова, не выражайтесь. Перед вами секретарь комячейки, председатель коммуны. Я вас как секретаря крайкома должна уважать, но не потерплю обид.

– Да перестань ты дуться. Посельский предложил одеть тебя в свадебный наряд.

Варвара растерянно поискала глазами Пелагею.

– Что?! – вскрикнула она. Слова Макаровой не доходили до сознания Варвары. Она пыталась вникнуть в смысл предложения.

– Слава Богу, наконец, вижу человеческое лицо. К свадьбе они готовятся, – спокойно проговорила Макарова.

Варвара стояла хмурая, скованная, по спине пробежала дрожь. Она не в силах была ни шагнуть вперёд, ни отступить. Сердце сжалось. Еле произнесла:

– Поздравляю.

– Это я тебя должна поздравлять.

– Что?

Варвара в полной растерянности воззрилась на Пелагею.

– Перестань чтокать. Быстро снимай с себя всё и давай примерять, – приказала Макарова.

Варвара думала, зачем понадобилось приходить к ней, чтобы померять свадебный наряд. У лекаря дом не меньше Огнёвского. Могла бы и во второй половине переодеться. Варвара глянула в окно. У лекаря дымили две трубы.

– А кто невеста?

– Ты.

– Не думала, что секретари крайкома такие дураки.

– А я не думала, что секретарь комячейки дурнее столба.

– Что такое столб?

– Это бревно, на котором висят провода.

– У нас таких нет.

– В Черепаново ты видела столбы с проводами?

– Я ещё в теле.

– Дура ты в теле.

– Товарищ Макарова!

– Товарищ Огнёва!

Пелагея вклинилась между ними.

– Не пойму, за что вы друг друга ругаете. Доченька, женщина из города предлагает тебе померить свадебный наряд. Вот и померь, а она посмотрит.

– Так бы и сказала, а то невеста, столб, дура. Заморочили голову. Давай свои тряпки. Такую даль ехала, будто нельзя было в городе померить.

Варвара сокрушалась. Почему без неё не свершилось это, видно непоправимое дело. «Ах, лучше бы я осталась ещё на день, два в Ново-Николаевске. И вся бы эта свадебная катавасия закончилась у них».

Макарова быстро развязала свёрток, поправила длинное платье, фату, нижнюю рубашку. В стороне поставила сапожки.

Варвара потрогала пальцами белое платье и спросила:

– Всё шёлк?

– Шёлк, шёлк.

– Что сапоги достала, у меня нога больше. А красивые…

– Надо померить, потом говорить, больше или меньше.

– Что вы с таким злом? – Варвара всё силилась уяснить, что Макаровой от неё надо.

– Если сейчас не наденешь на себя всё это, что я принесла, я уйду.

– Есть куда пойти – так и пойдёте, а вот если бы лекаря не было, не куражилась бы.

– Варвара, слушай внимательно. Во-первых, мне надоели твои разговоры. Партийную дисциплину знаешь?

– Знаю.

– То, что я, как секретарь крайкома могу тебе приказать, знаешь?

– Чего, чего, а приказывать вы умеете…

– Большевик Огнёва, приказываю снять с себя сарафан, блузку и надеть вот это, – Макарова с раздражением показала на платье, фату и сапожки.

Варвара чувствовала себя так, словно её оглушили, рана на голове разорвалась, она судорожно дохнула.

– Если бы в девятнадцатом Акимыч сказал, что могут быть такие приказы, я бы подумала, вступать мне в партию али нет.

Она отвернулась от Макаровой, сняла с себя сарафан, блузку

и стала надевать рубашку и платье. Поправив его, села на лавку и натянула сапожки, потом, взяв фату, подошла к Пелагее.

– Мать, достань большой гребень, я оттуда заколод выломаю, а то будет у неё фата спадать, как у меня возле церкви.

– Доченька, а ты в зеркало посмотрись! Красота-то какая.

Макарова набросила полушубок и тихонько выскользнула из дома.

– Мать, что это с ней? Одела меня, а сама тикать. Рехнулась, что ли?

Кто-то шаркнул ногами на крыльце.

Варвара в свадебном наряде открыла дверь и смущённая отпряла. В дом вошёл незнакомый мужчина. Но что-то вдруг кольнуло в её сердце, за ним шёл второй. Второго она узнала и пошла, улыбаясь, навстречу.

– Григорий Акимович, какими ветрами? Что, и вас попросили из дома лекаря. Ну и поделом.

– Здравствуй, Варвара Ивановна, здравствуй, мой милый связной? – размахнув руки для объятия, заговорил Чанкин.

– Познакомьте нас, Григорий Акимович, с вашим товарищем.

Чанкин ударил мужчину по плечу.

– Ну, что я говорил, Борис Евгеньевич, она тебя без бороды в жизни не узнает.

Варвара круто повернулась.

– Вы?.. – протянула, и в этом «вы» было столько таинственных мыслей, что сама почувствовала, как всё сильнее и сильнее её лицо покрывается краской.

– Он, – спокойно сказал Чанкин. – Он, Борис Евгеньевич Смирнов.

– Какой Смирнов? – ничего не понимая, спросила Варвара.

– Тот Варвара, который вас полуживую двадцать вёрст нёс и которому потом, когда вы выздоровели, отрезали ногу.

Подошла Пелагея и попросила:

– Дорогие гости, пойдёмте к столу, а то у меня уже всё остывает.

По правую сторону от Варвары сидел Борис Евгеньевич. Он растерянно смотрел на стол, на несдержанного Чанкина. «Договорились же не говорить, что я Смирнов, так нет, сразу ляпнул. Варвара повернулась к нему и, наклонившись, тихо спросила:

– В церкви, когда мы венчались с Василием, колонну обнимали вы?

– Да, – произнёс выдохом Борис.

– Вы, дорогие мои, потом нашепчетесь. Я должен отца Василия задание выполнять, а задание большое. Я пришёл, Варвара Ивановна… Вы только, Борис Евгеньевич, не вмешивайтесь и считайте, что ничего я вам не обещал. Я пришёл тебя сватать, Варвара Ивановна, вот за этого человека, за Бориса Евгеньевича. О том, что он тебя любит, я знаю хорошо. Очень хорошо…

Пелагея поднялась из-за стола, прошла в угол, глаза покрылись слезами. Никита где-то в урмане. Сына нет. А Варвара что, не будет же она свою молодость сидеть в одиночестве. Григорий Акимович продолжал:

– Ну, каким будет твой ответ, Варвара?

Варвара склонила голову, задумалась. Лёгкий румянец пробился и затух: «Сказать «нет»? Так как могу сказать «нет», когда ещё с того дня венчания думала тайком про эти серые глаза? Сколько раз мечтала, что придёт он, и увижу в его глазах своё отражение. Ушёл на фронт Василий, ждала его. Но ждала и этого, с серыми глазами, со звёздочками в глазах. Если б осенью четырнадцатого догнал не Кадыгробов, а он? Верно, сама бы призналась в любви. И сама бы села к нему в кошёвку и смотрела и смотрела бы на него!

Борис Евгеньевич сидел с непроницаемым лицом. Откажет. Зачем он ей нужен? Варваре двадцать три, а ему уже за тридцать, и это ещё не всё. Он инвалид. Откажет, приму отказ спокойно, но всю жизнь буду рядом. Буду помогать поднимать сына, гордиться, что на моём пути встретился человек большого сердца и большого мужества.

– Я согласна, Григорий Акимович, быть женой Бориса Евгеньевича, – проговорила Варвара и положила голову на его плечо. – Судьба наша, значит, такая, Борис Евгеньевич, вы настрадались за меня, а я настрадалась за вас. Я его тоже давно люблю! Годами это не измеришь!

– Вот и молодчина! Мир да любовь вам! Пелагея, где ж ты там? Айда, наполняй стаканы. За молодых!

Пелагея подошла к красному углу, сняла икону. Подняла и тихо прошептала:

– Благословляю, мои дорогие дети. Живите ладно.



Глава двадцать третья

Исповедь маслянинского отшельника

На восьмой год моего отшельничества, под вечер грядущего Петрова дня, готовил на зиму дровишки. Благо, далеко не надо ходить. Всё рядом. Повалил берёзку, срубаю сучки, поднял голову, чтоб пот смахнуть, и глазам не верю. Стоит высокая женщина, в страхе озирает меня. Глянул на одежонку и смутился: от бывшего платьица остались только узкие ремки. Перекрестился, отложил топор, подхожу к женщине. Смотрю, еле держится на ногах голых, чёрных, как головёшки.

– Здравствуйте, сударыня, – говорю ей.

Женщина кивнула головой.

– Радуйтесь, Господь Бог привёл вас к отшельнику.

Она опять кивнула. Ветерок потянул в мою сторону, я вздрогнул. Надышался на войне и в госпитале этим запахом. Чувствую, силы у женщины стоять есть, а внутри все отмирает.

Сударыня прикрыла глаза, шевельнулась в мою сторону да так и упала бескровным лицом в землю.

Рванулся к ней, перевернул, вижу, руки и ноги её судорогой стянуло, лицо на правую сторону покосило.

Господи, прости! Не мыл женское тело, окромя жены своей венчанной. Тут пришлось. Человек дышит, знать, надо постараться, чтобы он жил. И бегал я то в баню, то в землянку, к родничку – словно молодой новобранец. Баня топилась, русская печь жар набирала.

Сбросил с сударыни ленточки грязевого цвета, раздел донага, занёс в баню и тёплой водичкой со щёлоком да варом начал оттирать грязь, обмывать все её члены. Глаза её закрыты, сознания нет, но дыхание глубокое.

Внучек, чувство было такое, будто что-то родное мою.

Не знаю, може показалось, но в тот момент, когда я мыл её шею, груди, живот, не чужую женщину я мыл, а свою венчанную Пелагею. Внучек, под правой титькой была еле видимая родинка. И до косы дошёл. Расплёл её густые волосы, обдал горячей водой, промыл. Посветлели волосы. Протёр их, причесал своими граблями, сплёл косу, как сумел.

И вдруг неведомая сила заставила меня взять её за косу правой рукой и потянуть на себя, как обычно делал с Пелагеей в бане. Вот уже её губы вблизи моих оказались. И молния прошла по всему моему телу. Оттолкнул женщину от себя.

Не удержалась она, повалилась на лавку. Испугался я, что Сатана в кипящий котёл бросил мои мозги и неподвластен мне разум мой. Чувствую, чувствую, запах от женщины не чужой, а Пелагеин… ну, истинно, Пелагеин.… Закрыл глаза, в темноте нащупал приготовленные для неё ношебные вещи. Трясущимися руками одел женщину в шаровары, рубаху-трёхрядку. Взял в охапку и перенёс в келию. Положил на топчан, приподнимаю ей голову и маленькими глотками пою её медовухой, что уж лет пять в кадке продержалась. А женщина что-то непонятное лепечет. Вздохнула глубоко и снова повторяет...

Месяца через три, как она поселилась в моей келии, насмелился спросить, что означают слова, произнесённые в беспамятстве. Она пояснила, что в последние годы и во сне, и наяву повторяет французскую поговорку: «Если бы юность знала, если бы старость могла».

Тогда-то я и узнал, что зовут её Настасьей. Пока Настасья находилась в больном состоянии, я вдоволь заготовил грибов и ягод. На чердаке на крапивно-конопляных верёвках висела рядками вяленая рыба. К мясным припасам не приступал. Ждал морозов. Что попусту животину изводить? Не убежит она

далеко от нас. Козы бродят вблизи нашего скита. Зайцы, те готовы по утрам в дверь стучать. И медведица-соседка откормила за лето двух красивеньких медвежат. Они, когда с ульями вожусь, готовы в помощники напроситься. Но я думаю, улягутся на покой, пестунчика на рогатину посадить. Руки мои ещё верны, и душа без страха.

Дело шло к зиме. Однажды, уплетая оладьи из опят, я спросил:

– Сударыня, каковы твои планы? Если ты не знаешь местность, заблудилась, я готов проводить тебя.

Она пустилась в рёв. И на коленях упрашивала меня не выгонять.

Пришлось опять строительством заниматься. Прирубил к келии надставку для своей лежалки, закрыл дверь шкурами. Предложил ей и дальше носить мои шаровары, рубаху, сапоги.

Через несколько недель, как появилась возле моей келии баба, пожаловала медведица Матрёна с пестунами. Фыркая носом, обошла избёнку. Остановилась на том месте, где баба падала. Медвежата толкались ей в бока. Она небрежно лапами оттолкнула их. Они отскочили и, с тревогой посматривая на меня, сели на задницы и затихли. Матрёна обнюхала землю, лапами стала рвать землю, отбрасывая её в разные стороны. Я крикнул:*

– Матуха, что ты делаешь? Зачем наводишь беспорядок?

Она, бестия, прыжком оказалась возле новой беседки и двумя ударами разнесла изгородь и столик из хлыстов.

Я вошел в келию, снял с божницы Николая Чудотворца, вышел, прикрыл дверь, а икону прислонил к двери.

Я тихо говорил:

– Матрёна, и не стыдно? Баба чужая мне. Больная. Я должен ей помочь. Тебе же помогал. Вот уже второй выводок вскармливаешь. Вот как у вас, зверей, бывает: тебе помочь надо, а людям нет.

* Пестун – медвежонок.

Она встала на задние лапы и пошла к мыльне. Обнюхала двери и ударила по ним лапой. Двери разлетелись. Повернулась в мою сторону и с раскрытой пастью пошла. Из пасти бежала слюна. Я решил: что будет, то будет, но с места не сдвинулся. Подошла. В двух шагах остановилась. Глаза злые-злые. Долго смотрела. Я слегка улыбнулся. Она высунула язык.

Внучек, я уже хотел произнести молитву. Матрёна шагнула ближе ко мне, подняла правую лапу надо мной. Когти растопырила. Всё. Сдерёт кожу с моей головы. Я хладнокровно смотрел ей в глаза. Улыбнулся. Мысль просквозила: меня убьёт, икону раскрошит в щепки, в келию войдёт и бабу разорвёт на части. Може, ей и пестунам хватит моего тулова насытить себя. Матрёна медленно опустила лапу, но не на голову, а на плечо. Я присел. Она когтями чуть нежно придавила плечо и оттолкнула меня от себя. Я упал рядом с прислонённым Чудотворцем. Медведица повернулась и тихо, не спеша, пошла к пестунам. Скрылась в пихтаче, рявкнула густо, протяжно. Я, не поднимаясь, целуя Николая Угодника, на коленях совершил молитву.

Ожила Настасья, лицо разровнялось, румянец появился, тело налилось, груди поднялись, в осанке приметил стройность и величавость. В глазах часто вижу всплеск задора. Но улыбка на лице ещё не играла.

В день Великомученицы Анастасии – Узоразрешительницы (22 декабря) поздравил её с днём ангела. Она обращается ко мне:

– Государь мой, простите за самовольствие. Я внимательно осмотрела вашу келию. Китель. Пришла к выводу: вы – знаменитый воин. Господь Бог привёл меня к вам. И я горю желанием узнать, кто вы – мой спаситель. Каково ваше древо? Чем отличались ваши предки и вы до отшельничества?

Я видел, как трудно давались ей эти предложения. Я ответил:

– Сударыня, не надо меня государем называть. Я – фельдфебель русской армии…

– Тогда я буду вас величать «государь фельдфебель».

– Но я уже два десятка лет списан с армейской службы…

– Какой же вы привередливый, государь… на мой вопрос вы сможете ответить?

– Я – Никита Евсеевич Огнёв, – начал и поперхнулся. – Мы, по прозванию Огнёвы, с того времени, как полудурок Симеон Сидоров сын Шадрин спалил нашу деревню и многих крестьян, в том числе и своих отца, мать, сестру… это случилось в семьсот тридцать девятом году. Наша семья с помощью батюшки Иоанна (Кинева) бежала от «святого отца Симеона» и от казаков. Мой пращур Никон обладал умом и дальновидностью. Узнал, что пришёл указ: «Кто бежал от сожжения, секретно переловить, и переловив, заковать руки и ноги в крепкие кандалы и под крепким караулом выслать в Тобольск, в Сибирскую губернскую канцелярию, в самой скорости».

В глухом лесу спрятал Никон семью. Построил деревню. И тайно прожили почти десять лет. Соседи раскольники скит Никона назвали Огнёвским. От этого и мы с семьсот сорок восьмого года пошли Огнёвыми. Но когда шла вторая перепись, в семьсот сорок восьмом году, деревню записали Никоновой…

Я умолк. Настасья попросила:

– Дальше, дальше, государь Никита Евсеич.

– Сын Никона Тимофей с сыновьями своими Спиридоном, Афанасием и Борисом в семьсот шестьдесят шестом году «сами собой» переехали на новые земли и основали деревню Пенькову. Все Огнёвы в волостях Николаевской, Боровлянской, Залесовской и Тальменской, все имеют один корень – Никона. Все мы служили кузнецами. Как по библии тебе, Настасья скажу:

Никон родил Тимофея,
Тимофей – Спиридона,
Спиридон – Романа,
Роман – Каллистрата,
Каллистрат – Евсея,
Евсей родил Никиту… Это я.

– Победителя, – произнесла она.

К весне моя квартировщица ожила: лицо разровнялось, косовина губ прошла, румянец появился, тело налилось, груди поднялись. В осанке приметил стройность, величавость. А в глазах часто видел всплеск задора. Но улыбка на лице не играла. Левую ногу тянула. Иногда не удерживала равновесие, падала. Видел, как украдкой уходила за баню и балаболила всякую чепуху: запиналась, заикалась, училась заново чисто разговаривать.

Внучек, время приближалось к Светлому Христову Воскресенью. Мои муки закончились. Я ведь её несколько месяцев носил на двор на руках. Поддерживал, когда она совершала естественное дело, чтобы не падала. Всё было. Помню, на четвёртый месяц как она появилась, просит меня:

– Государь, истопите баньку и, если не брезгуете, помойте меня.

Не догадывалась она, что я без её волеизъявления не раз мыл, тёр…

После Николы Вешнего наломал я берёзовых веток для врачевания, принёс к избушке, положил на крыльцо и предлагаю Настасье:

– Ну, госпожа Анастасия, покажи, как надо прутики с листвой в венички складывать!

Она села по правую сторону от веток. Посмотрела на меня васильковыми вспышками, как бы открывая мне неведомую тайну её прошлого бытия. Я смутился под её острым взглядом, опустил глаза ниже, к оголённым её коленкам. И всего меня затрясло…

Вспомнил, как в детстве отец взял меня в поездку в деревню Пайвину. Подъехали мы к дому Дёминых. Отец в дом пошёл, а я засмотрелся на девчонку моих лет. Она проворно складывала в связку берёзовые ветки. И сидела она так же, как сейчас сидит Настасья, и глядела на меня своими большими васильковыми глазами с прищуром и непонятной думкой. А потом произнесла, улыбнувшись:

«Что смотришь?! – И добавила: Садись. Давай вместе веники вязать. Одними веничками париться будем, другими одежонку чистить».

Внучек, я старше бабушки Пелагеи всего на пять месяцев. Сел рядом. Она связки складывала, я вязал. И вдруг голос разбивает мои воспоминания:

– Государь, вяжите веники, а то мне некуда складывать. Связки веток рассыпаются.

Глянул на Настасью – и волосы поднялись дыбом. Перед глазами Пелагея в шестилетнем возрасте влюбленно смотрит на меня. В руках скручивает листик. Я прикрыл глаза. Открыл. Пелагея… Нехорошая мысль просквозила меня: лишился ума.

Настасья поняла, что со мной что-то не то. Поднялась, взяла меня за руку и осторожно посадила.

Я долго сидел с закрытыми глазами, успокаивая бешеный ритм сердца.

– Что с вами, государь?

– Жену свою вспомнил. Пелагею. И с ней мы вязали веники. Только в малом возрасте. – Замолчал. Потом решил и дальше рассказать Настасье кое-что… – В семилетнем возрасте отвёз меня отец в город Барнаул на учёбу. Упросил он мастера золотых дел Фёдора Петровича Колчанова научить меня своему мастерству: творить красоту. За семь лет учёбы удивительный человек Фёдор Петрович всего однажды посмотрел на меня с неудовольствием. Это когда я проявил самостоятельность и без его ведома вмешался в творимые им украшения. Нет, я не испортил подвески. Но он в тот же день заявил, что мне нечего делать в его мастерской. Он подобрал весь необходимый инструмент, дал повозку с лошадкой. И проводил домой с пожеланием делать украшения лучше, чем он.

– Так вы, государь, не только кузнец, но и золотых дел мастер?

– Нет, сударыня, я кузнец.

– Вернулись домой и бегом к Пелагее? Так, так, и не возражайте. Пригласили Пелагею на бал. Одарили украшениями своей работы.

– Настасья, на какой бал? И где он в деревне бал? На вечеруху, посиделки… я её и не приглашал. Через неделю, как вернулся

домой, поехал в Пайвино. Пелагея выросла в стройную красивую девицу. Она очень обрадовалась. Отец её Семен Власович и мать Катерина Ивановна потчевали меня, как родного. Мы с Пелагеей пошли на речку. Там и договорились, что дальше всю жизнь проживём вместе.

Я замолчал. Совершил про себя молитву по Пелагее. Вдруг слышу заикастый, тягучий голос:

– Государь мой, извините, что я прерываю ваше одиночество. Чем вы отличились до отшельничества, не считая военных подвигов? Почему вы не говорите, что дала вам учёба у Колчанова? Семь лет учёбы, а результат? Конечно, вы изготовили украшения вашей Пелагее!

– Нет, – резко ответил я. – Виноват перед ней. Мир праху её.

– Простите, государь. Давно это случилось?

– Семь лет назад.

Она придвинулась ко мне.

– Простите ещё раз меня. Я крестьянскую жизнь знаю только по романам. Мне многое непонятно. Семь лет учиться, чтобы ковать оградки, подковы, скобы… И ни одного украшения…

Во мне взыграла гордыня. Я ляпнул:

– До службы за отечество я из Маслянинского золота делал чуски самой императрице… – и прикусил язык.

Она приподнялась, впилась в меня васильковыми лепестками и, запинаясь, попросила:

– Опишите, государь мой. Опишите…

– Сударыня, вы садитесь. А что волноваться? Мы в зипунах безмозглыми смотримся. А если башку потрясти, оттуда ещё что-то доброе вытрясется… – опять потянуло меня на самолюбование.

Она взяла правой рукой подол моей рубахи.

– А чуски, это что? – спросила она.

– Ушные серёжки. – И спросил: – Где вы, сударыня, жили?

– Серёжки! Как здорово! А из чего?

– Ясное дело, из золота, – протянул я.

– Ну как, как они выглядели? – спрашивала отрывисто, помахивая правой рукой.

– Простенько, – ответил я. – Мне хотелось в ажурном сплетении показать зарождение жизни.

– А в центре поместили перламутровый жемчуг?

– Да-а-а, – протянул я.

Настасья охватила правой рукой мою голову и прижала к себе.

– Государь, Никита Евсеевич, как я рада за вас. Мой спаситель не только прославленный воин, но и золотых дел мастер…

Она пыталась и левой рукой обхватить меня, но та ещё не подчинялась её желанию. Я же медленно освободился от объятия.

– Пойдём-ка, Настасья, нарвём черемши. Вдруг да Господь Бог порадует нас и продлит жизнь. А у нас с тобой для супчика грибочки посолены, крапива протёрта, черемша засолена. Зайчатина засушена. Пойдём…

– Нет, нет. Государь, Никита Евсеевич, прошу, умоляю. Доскажите, а потом пойдём.

– Что рассказывать-то, – недовольно пробурчал я.

– И много вы, государь, чусок-серёжек изготовили? – спросила она. И опять задумала обхватить мою голову. Но я отшатнулся. Она недовольно проговорила: – Что вы от меня чураетесь, как от змеи! Опять я вас обидела?! Простите! Мне многое хочется знать. И вопросы задаю не я. Я чувствую, кто-то там, за мной стоит и шепчет, шепчет. И упрашивает, умоляет, приказывает, заставляет задавать вам, государь, вопросы…

– Сударыня, для императрицы я изготовил всего две пары чусок.

– Конечно, разные по рисунку?

– Нет, Настасья, одинаковые. Я первую пару сделал, мне понравились. А полковник Ляпин дал в большом достатке золота, и жемчужин было пять. Сделал вторую пару. Для

обывателя они одинаковые. А мастер по золоту обнаружит, что они разные.

– Как разные? – вскрикнула Настасья. – Вы же сами сказали, что они одинаковые…

– Одинаковые. Одинаковые по рисунку, а вот по сплетению паутин… Разные. В одних серьгах паутины сплетены справа налево. Другие сплетены слева направо…

– Значит, у матушки Александры вторые… – тихо произнесла Настасья.

Я тут же спросил:

– Что вы сказали, сударыня Настасья?

Она покраснела. Глянула на меня полуглупым взглядом.

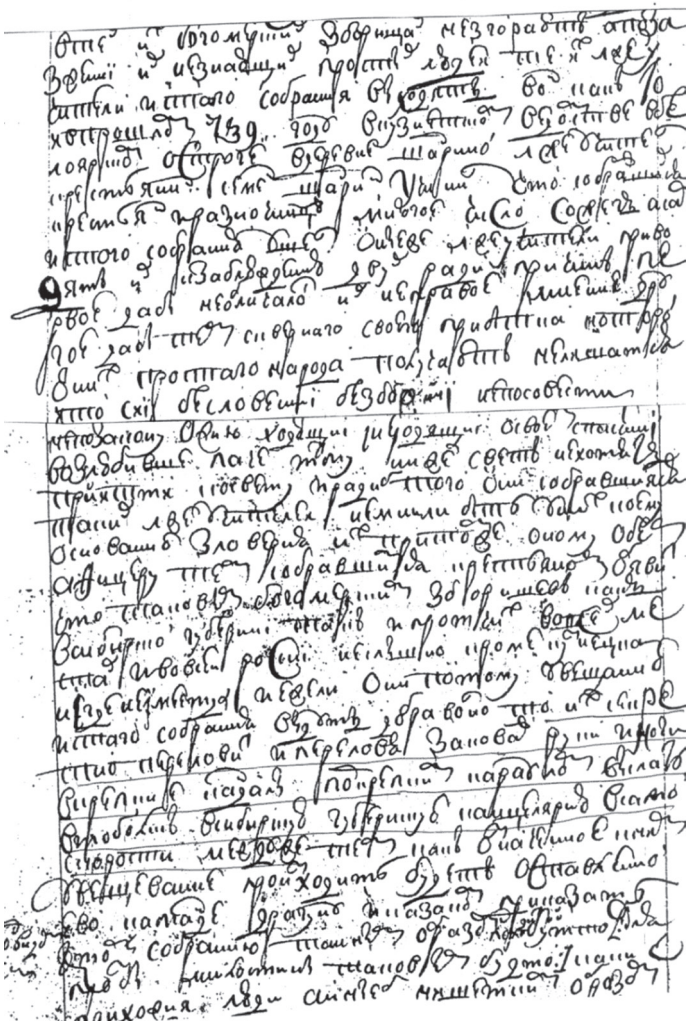
– Вы, государь мой, на днях почивали в беседке, а я мимо проходила, и вы говорили, что у матушки Александры чуски сплетены слева направо…

Я серьёзно посмотрел в глаза Настасьи. Покачал головой.

– Видно, совсем стар, коль во сне разговариваю. Но для меня непонятно, как я мог во сне говорить о чусках, которые у матушки Александры, когда я их не видел. Митрополит Макарий передал чуски матушке Александре в доме благочинного. Она тут же покинула уважаемых гостей. Мы с Борисом Евгеньевичем под утро появились в его доме. Марфушка нас пожурила, что мы пьяны, и ошарашила: «Матушки Александры нет. Она ночью уехала в село Залесово». Припоминаю, Борис Евгеньевич что-то рассказывал про чуски. Он говорил, что видел на какой-то купеческой дочери мои первые чуски… но это было где-то в восемнадцатом году… как я мог об этом говорить, тем более во сне? Когда и наяву никогда о них не вспоминаю…

– Говорили, говорили, государь мой, – лепетала Настасья. Она быстро поднялась, схватила посох, пошла, прихрамывая к ручью, приговаривая: «Говорили, говорили…»

Лето проходило в тишине. Иногда Настасья разговаривала сама с собой, всё так же удаляясь за баню, плела несуразицу. Я заскучал от её вопросов.



Приложение

«…переловить и, переловив, заковать руки и ноги в крепкие кандалы и под крепким караулом выслать в Тобольск, в Сибирскую губернскую канцелярию…»



«…перед глазами Пелагея моя в детском возрасте… в руках скручивает берёзовый листок…»



Глава двадцать четвёртая

Исповедь маслянинского отшельника

За день немного притомились – ульи в омшаник переносили. Перед закатом солнца, совершив молитву, сели ужинать. Я налил себе малость медовухи в кружку. Настасья обращается:

– Ваша милость, государь, налейте и мне немного. Я никогда не отведывала такого вина, – посмотрела на меня, будто извиняясь за какой-то проступок. Но ещё приметил в её глазах смелость на что-то более решительное, чем опробование вина. Видно, собралась в люди. Не губить же ей свою молодость в Салаирской глуши! Я плеснул в её кружку вина.

– С полным выздоровлением вас, Настасья, – проговорил, любуясь её большими, открытыми васильковыми глазами.

– Вам спасибо, милостивый государь, – и она поднялась.

Что мне оставалось делать! Так, в необычном положении, будто в офицерском клубе, мы выпили по глотку медовухи.

Настасья прибрала стол, подсела на лавку, с правой стороны от меня, склонила голову и негромко, с волнением в голосе, говорит, не заикаясь:

– Государь мой, неужто вы позволите преставиться мне девственницей?

Я обомлел, но быстро ответил:

– Идите к людям. Не подталкивайте меня к заповедному преступлению… Подумайте только: как я могу, невенчанный, с вами в ложе нежиться?

– Нельзя мне в люди, – не поднимая головы, ответила она. – Там смерть моя.

– А мне… можно… с вами?! Я крестьянин, солдат, старик, отшельник… А вы? Не из простых вы. Давно догадался, не из простых… Всё-то в вас возвышенное, Богом данное величество… Когда вы по утрам выходите из землянки, мне кажется, вся природа приветствует вас как помазанницу Божию…

– Не надо об этом, Никита Евсеевич. Нет в вас мужества нарушить обет отшельничества, сегодня сама к вам приду. Вы мой спаситель, вы Богом избранный мне, невинной, муж.

Она совершила в мою сторону поклон, вышла из-за стола и отправилась к журчащему роднику.

Господи, Господи, неужто такое бывает?!

Внучек, не суди деда, не познав жизни. Человек и с лаврами на груди может иметь душевный грех. Не все золото, что блестит, не всяк святой, что помысел к святости имеет. Возможно, скоро я в вечную жизнь переселюсь. И не резон мне что-то скрывать.

Убежал. Спрятался в мыльне.

Посох свой в баню занёс, через дверную ручку продел. Проверил! Дверь снаружи не открыть. Сижу в одежонке на лавке, не то что дрожь, ломота по всему телу проходит. Неуж насмелится и на самом деле придёт? А солнце, окаянное, быстро скатилось, и тьма обволокла глушь. Слух утончённый прорезался. Слышу, не то что на дворе, но и в землянке, как ходит Настасья, как что-то сняла с гвоздя, как открыла дверь, вот шаги её приближаются к бане.

Господи, прости! Вынул посох из дверной ручки и прислонил к стене.

Стук в дверь был тихим, но в сердце моём отзвук заимел.

Я выбил огонь, зажёг лучину и проговорил умирающим голосом:

– Войдите, Настасья.

Она вошла. Низко поклонилась.

– Я вам, государь мой, костюм принесла. Одевайтесь. Обвенчаемся мы с вами при великом свидетеле – Святителе Николае.

Он из всех святых был самым почитаемым отцом моим. И мы, все дети, на Николу вешнего с раннего утра готовили подарки и ждали, когда позволят нам войти к отцу и поздравить его с днем ангела. Одевайтесь, государь мой. И прошу вас, не опаздывайте к венцу. Я покину вас. Мне необходимо украсить храм и надеть венчальный наряд.

Чему быть, того не возвратить.

Надел брюки, фельдфебельский китель с георгиевскими крестами и медалями, натянул сапоги. За фуражку взялся, да отложил в сторону. Негоже бравому солдату с косматой бородой под венец идти; она у меня к этому времени до пояса вытянулась. Поплевал на оселок, поправил лезвие топора и обчекрыжил бороду и усы. Надел фуражку, ещё раз осмотрел себя в медном тазу и вышел из бани.

Охнула сова вблизи. И я охнул. Господи, Господи, куда ты мои стопы направляешь!

Подошёл к дверям землянки, рука не подымается постучать. Стою, с ноги на ногу переминаюсь. Или догадалась Настасья, или дыхание моё тяжёлое услышала, открыла дверь.

– Прошу вас, государь мой, проходите.

В землянке красота: полевыми цветами и хвоей стены украшены, лампада горит, и по обеим сторонам стола лучины потрескивают.

Настасья отошла в сторонку, пропустила меня. Глянул на неё и глазам не верю: красивая, весёлая улыбка на лице. Одета в длинное светло-зелёное платье. Вот чудо! Откуда? А с головы фата свешивается. Не белая, беловатая. Прикрыла она за мной, истуканом, дверь, взяла под правую руку и подвела к божнице. Опустилась на колени, и я следом. Николай Чудотворец смотрит на нас. И чудно мне, вижу невероятное – голова его немного как бы склонилась.

Совершили мы на коленях молитву, потом поднялись, Настасья говорит:

– Я, Анастасия – девица, православная, пред Господом нашим Иисусом Христом и покровителем моего Отечества,

Спасителем Николаем, венчаюсь, по любви и без притеснений, с Никитой Евсеевичем Огнёвым. Клянусь быть ему верной женой. – Повернулась в мою сторону: – Святой Никола ждет, государь мой, от вас слова.

Прокашлялся:

– Я, Никита Евсеевич Огнёв, православный, пятидесяти лет от роду, вдовый. Венчаюсь с рабой Божьей Анастасией…

Она остановила меня:

– Государь мой, не нужно мое отчество произносить. Пожалуйста…

Я вновь заговорил:

– Я, Никита Евсеевич Огнёв, православный, пятидесяти лет от роду, вдовый, венчаюсь с рабой Божьей Анастасией по любви и согласию. Пред Господом Богом клянусь быть ей верным мужем.

Она взяла со стола берестяное блюдечко, и я увидел на нём два кольца... Наденьте, мой государь, мне на палец кольцо, а я вам.

Я взял маленькое кольцо. Вспомнил. Вошла в сознание Настасья и первым делом спросила: не видел ли я вшитый в платье платочек, связанный узелком? Там все, что осталось из прошлой жизни. Я похвалил себя, что не сжёг в печи её ремки. Полез на чердак землянки, из берестяного туеска вынул платье, ощупал всё, нашёл узелок. Но любопытства не проявил, что было в том узелке. Пальцами ощупал: кольца и украшения были там.

Надела она мне на палец кольцо – оно оказалось впору.

Потянулась к поцелую.

А – была, не была! Обнял её и поцеловал. Отстранили губы, услышал я и понял по Анастасьиной её дрожи в теле, и она услышала, как голос пронёсся по келии: «Благословляю вас мужем и женою». И уловил я: по лику Святителя Николая метнулись светлые лучи, глаза Чудотворца вспыхнули густарной искрой.

Обняла меня Настасья, прижалась сердцем и душой. Тут я разглядел, из чего фата и платье её светло-зелёное. Вот, знать, зачем она всё парила и парила крапивные листья и стебли. Ай, и мастерица Настасья! И слышу:

– Вы, государь мой, так похожи на славного адмирала Зиновия Петровича Рожественского.

С любопытством посмотрел на Настасью.

– Слыхал про такого, – сказал. – Но вы то-то, Настасья, где его видели, что с моей внешностью сравниваете?

Отшатнулась она от меня. Поникли её глаза, побледнела.

– Да я так, государь мой, что в голову взбрело, то и сказала.

– Так, так-так.

Подвела меня к столу. Усадила. Деревянные стаканчики поставила, в них налила из ковшичка янтарной жидкости.

– Отведаем, государь мой, муж законный, и поздравим друг друга. Это клюквенное вино на хмелю.

Пригубились. Поглядел на Настасью, глаза её искрятся, румянец играет на лице.

Опять обняла меня, велела подняться с лавки. Поднялся. Стою. Готов сам почин проявить, да кто-то изнутри сдерживает.

– Пойдем, государь мой, опочивать.

Осторожно сняла фату, положила на лавку, платье своё подвенечное на груди с невидимых крючочков расстегивает…

Глянул на икону Чудотворца, и вылетело из моих уст:

– Устыдись, Настасья.

Она пылающими глазами уткнулась в меня.

– Устыдиться?! Нет! Я пред Николой Чудотворцем слово сказала. Никола нас благословил. Он не осудит. Кроме него, кто ещё может осудить? Государь батюшка? Он мертв! Государыня матушка? Она мертва! Сестрицы мои и братик? Все мертвы. Суженый мой, Никита Евсеевич, только вы на этом свете, вы как муж можете устыдить и наказать. Но не за что меня наказывать. Стыд при теле моем, не я его придумала – Господь Бог.

Приблизился к божнице, прикрыл рушником икону Николая Чудотворца. Господи, прости! И сам помог Настасье расстегнуть платье и сложить на краешке стола запонки из осины, что служили украшением свадебному наряду…

Востекли солнечные лучи в нашей землянке, и потекли наши медовые месяцы…



Глава двадцать пятая

«Исповедь Маслянинского отшельника»

Как-то легли мы опочивать. Поиграл я малость по-стариковски. И тут неожиданно повернулась Настасья в мою сторону, взяла в ладони бородку, потянула слегка, спрашивает:

– Государь мой, скажите, Пелагея была лучше меня как женщина?

Я ответил:

– Одинаковы.

Она на меня:

– Как одинаковы? Она из какого сословия? Рода? Как это мы можем быть одинаковы? – и вся залилась румянцем. – Государь! Государь мой, извините меня! Что это со мною? Говорю, непонятно что. – Помолчала. Потом утопила своё личико в моей бороде и тихо говорит: – Я бы с великим удовольствием послушала из ваших уст, какого корня ваша первая жена.

– Я об её предках мало что знаю. Что отец Никодим рассказывал, запомнилось, но не всё. Не знал я, что придёт время и меня спросят: из какого сословия, из какого корня… У русского крестьянина нет заповеди родословную вести. Плохо? Конечно, плохо. От этого крестьяне предками не задаются.

Вспомнил отца Никодима. Он всегда перед началом рассказа крест на себя накладывал и тихо произносил: «Господь Бог свидетель, говорю, что знаю. Пращуров, как очевидцев приглашаю».

В семьсот пятьдесят втором году из кузнецкого острога прибыл по своей воле в деревню Пайвину вдовый государственный крестьянин Андрей Дёмин. Привёз сына Мартемьяна, невестку Василису и пять внуков: Алексея, Фёдора, Михаила, Ивана, Василия.

Радовался Андрюшка. Все детки у Мартемьяна с Василисой в охотку шли, удовольствие составляли.

На Пайвинской земле Василиса родила в пятьдесят третьем году дочь Наталью, в пятьдесят пятом году двойню: Сидора и Авдотью.

Не помнил Мартемьян, когда отец присовокупил его к пахотному делу. Ему казалось, что всю жизнь он сеял и от хлебодельного труда сиял.

Не долго прожил Андрей на Пайвинской земле, но память о себе оставил. Сам выбрал место для погоста в берёзовом колке вверх по речке Берди, поставил ворота, огородил жердями и оказался первым погосщанином.

Мартемьян часто вспоминал отца. Иногда кто-то из домашних начнёт колобродить, ну время шалуну кости помять, а у него всплывёт образ отца, внешне всегда весёлого, жизнерадостного, с приятными ласковыми словами на устах, и сама собой душа размягчается.

Мать Фёклу Мартемьян запомнил лежащею в боли. Родила она Мартемьяна первого и единственного, пожила годик, другой, а тут поселилась худоба в её теле. Было ей в ту пору двадцать три года. Молитвами да травами зачала лечить её кузнецкая зеленщица – жена казака Ивана Шабалина – Матрёна. Одно время казалось, что Фёкла пошла на поправку, одолела смертушку. Перекувыркнулась исподом в здравие. Рано домочадцы возрадовались. В понедельник на Шестой седмице Великого поста пригласила Фёкла всех к лежалке, каждого любовно погладила, брыкнула ногами и умерла.

Тогда, мальчонкой, Мартемьян переживал, что мать не видела, как он прытко научился ездить на лошади, идти за отцом с косой, строгать топором лесину.

В те годы жители Кузнецкого посада проявляли благодетельность, благотворительность. Одни в свободное время помогали строить каменный кремль, другие обновляли Христорождественский мужской монастырь, третьи открывали на свои накопленные средства школы из трёх – пяти учеников. Андрей не участвовал в этих благих делах. Он заботился, чтобы родители Фёклы, его родители и Мартемьян были сыты, одеты и жили по православным законам.

А вот сосед его, казак Влас Мельников, по-другому мудрствовал, смыслил и творил. Только застучат у него в кишене медяки, у него зуд не в семью благо наполнить, а на сторону отдать.

Андрей ругал Власа:

– Ты посмотри на себя: от ратной службы кривобокий, исковерканный, изможднённый. В доме шаром покати. Дочка Василиска сундука своего не имеет. Приданого нет.

– Им нужнее, – оправдывался Влас.

– Желаешь, чтобы дочь твоя девицей прожила?

Влас стыдливым голосом просил:

– Друг сердечный, давай поженим наших деток.

– Ещё чего не хватало! Василиска вся в тебя – простодыра. Невесткой в моём доме окажется, всё побирушкам раздаст.

Да и тихий скромный Мартемьян не желал брать в жёны бойкую красавицу казачку Василису.

Но как только слёг от чахотки Влас, похудел, побледнел, Андрей, не спрашивая согласия сына, сгрёб Мартемьяна и Василису – и в храм.

Женой Василиса оказалась доброй, мудрой.

Наступил пятьдесят шестой год. Василиса стала приставать к Мартемьяну с пожеланием подыскать сыновьям жёнок. Алексею исполнилось двадцать восемь, Фёдору двадцать пять, Михаилу двадцать три…

Время надо, и немалое, чтобы объездить деревни-однодворки, найти свободную девицу. Да и старший сынок уродился ни в Мартемьяна, ни в Василису. Разбросал Создатель по всему лицу Алексея чёрные родинки. На темечко положил миску курчавых русых волос, а вокруг лысина. Сам долговязый, мясной!

Деревенские дела не освоил. И не созерцатель, и не сподвижник в труде.

Как-то раз проснулся Мартемьян. Луна осветила божницу. Смотрит, на коленях стоит Алексей и бормочет. Прислушался Мартемьян, а сын шепчет: «Ангелы преподобные, пошлите мне, рабу божьему Алексею, чарку вина. Никола Праведный, надели красным кафтаном, царица небесная, пошли мне невесту непорочную, красавицу заморскую, рукодельницу сказочную. И чтобы помогала мамке Василисе квашню месить, пироги печь, щи варить…»

Смешно Мартемьяну слушать молитву сына. Готов сходить в сени, снять кнут, тихо войти и, пока сын на коленях молитвословит, жигануть по горбыляке. Пресечь его речь. Ничего этого не сделал Мартемьян. В памяти всплыла девица, которую видел два года назад в деревне Изырацкой. Помогла она ему выволочь телегу на крутом подъёме от речки в селение. После он в их доме чаёвничал. С отцом «Поморского толка» Варлаамом сдружился. Из рук матери Татьяны на дорогу принимал с поклоном краюху божественного хлеба и узелочек соли. Девице Евфимии высказал пожелание видеть её невесткой в своём дворе. Похвалил сыновей – Николая, Фёдора, Ивана…

Вот и поехали в деревню Изыракскую Мартемьян со старшенькими. Не с пустыми руками. Свату передал икону святого преподобного Варлаама в серебряном окладе, сватье вручил икону святой мученицы Татьяны в золотом украшении. Девице Евфимии на блюде преподнёс запонку с камушками, пристёгивать на голове концы плата. Пошёл Мартемьян прикладываться к иконам, за ним сыновья…

На предложение Мартемьяна – «Девица-краса, вот мои соколики, пора соловушку в дом приводить. Какой по душе, тот и твой» ошарашила Евфимия и своих, и Дёминых: «На кого из сыновей батюшка Мартемьян укажет, тот и будет моим суженым!»

Мартемьян показал рукой на Алексея.

Совсем малое время прошло после венчания Алексея с Евфимией, а Василиса обратила внимание, что невестка очень

желательно исполняет волю Мартемьяна. Ещё не закончил высказывать волю свёкр, а она уже в делах. За столом первому и ложку подаёт, и краюху пододвинет. Мартемьян вернётся с поля, Евфимия тут как тут, и водичка у неё приготовлена, и рушничок: поливает да себе в нос что-то приговаривает.

Первый из чужих это подметил сосед Яким Федоряев. Он напрямую высказал Мартемьяну:

– Мартемьян Андреич, пошто твоя невестка тебя первого моет, обтирает? Муж её неприкаянный слюной исходит?

– У раскольников вскармливалась. Переборщили в почитании старших…

– Ой, не говори, Мартемьян Андреич… Не в этом дело…

Уехала на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (14 сентября) в Сретенский храм Бердского острога почти вся семья Дёминых. Остались домовничать да со скотиной управляться Мартемьян и Евфимия.

Вышла невестка из женской половины. Бросил взгляд в её сторону Мартемьян, рот приоткрыл. Она косыню сбросила, ручонками бока подпёрла, очи пылающие вонзила в него и нежным голосом произнесла:

– Есть, тятька, у меня просьбица…

Мартемьян язык свесил.

– Что это ты надумала, Евфимьюшка?

– Пойдём на речку. Вчера Матвей Пайвин сказывал, что форель с голодухи пустой крючок хватает. Пока наши свечи жгут да иконы лобызают, мы тельное сварим.

– Доброе дело предлагаешь. Только не нравятся мне гляделки твои. Не больна ли?

На речке Евфимия осмотрела противоположный берег и, не поворачиваясь к Мартемьяну:

– Я отреклась от раскола, перешла в церковники только из-за тебя, Мартемьян. И за твоего сынка пятнистого пошла из-за тебя. Я решила: женой буду Алексея, любить тебя. С тобой хочу быть. Как бричку волокли на подъём, так с того времени ты мне и засел в сердце. А сына твоего не люблю. Он противен моим чувствам. Не мил телом, не угоден делом.

– Мутить семью и деревню не позволю! – крикнул Мартемьян.

– Зачем не раз, не два, останавливался на нашем дворе?

– Потому как с отцом твоим в дружбе…

– Мартемьянушка, у тебя все друзья. И ясашные в кибитках, и староверы в скитах, и беглые… ты приезжал в наш двор, чтобы на меня посмотреть. Мне доброе слово сказать. Я не слепая и не глухая. Не ты ли в субботу на четвёртой седмице Великого поста, поминая отца Андрея, плакал?

– О матери Фёкле и об отце Андрее плакал.

– Нет, Мартемьянушка, душа твоя не о них плакала. Ты плакал от того, что вспомнил самовольничанье отца. Ведь насильством он тебя с Василисой обвенчал! Вот ты и маешься!

– Ни тебе, дочка, ни себе дураковаться не разрешу!

Они долго ходили по берегу Берди, разговаривали тихо, спокойно. Вдруг враз кричали друг на друга. Разбегались. Сердились. Тяжело, прерывисто дышали. Молчали, сверкая глазами.

Евфимия схватила Мартемьяна за руки, придвинула своё залитое слезами лико, промолвила:

– Я так думаю: душа как велит, так и буду делать. Ты мне не указ. Я за свою любовь готова бороться до конца.

– Евфимия, я сказал тебе: нет!

– Посмотри, солнышко-то на серёдку скатилось… Боже, очисти мя от моих слов. Мартемьянушка, хоть на один грех пойди со мной. Прижми меня к сердечку своему горячему…

Облачко покрыло правый берег, не спеша придвинуло белёсую плащаницу на лазурную поверхность Берди, окутало Мартемьяна и Евфимию. А на самодельных крючках плескалась, сновала, рвалась на свободу форель.

В конце июня семьсот шестьдесят первого года опросталась Евфимия мальчиком. При крещении дали ему имя святого Апостола Павла. Василиса любила внука. Но чем больше подрастал он, она баила ему не о зверях, способных унести его в своё царствие, а о том, как он похож на деда своего.

Евфимия нет-нет, да и украдкой шерканётся по тулову свёкра и зардеется.

Исполнилось Павлу четыре года. Евфимия поймала Мартемьяна в хлеву. Целуя, шептала:

– Я хочу, чтобы ты привязал меня к себе: тайно и воочию. Любил меня.*

Мартемьян увидел краем глаза, как из-под ворот глядит Алексей. И вырвалось у Мартемьяна:

*– Отпусти, слябливая** кошка!*

В тот же день уехал Мартемьян в Бердский острог.

На второй день, как уехал Мартемьян в Бердский острог, занемогла Евфимия… Первые четыре дня с полатей не слазила, не пила, не питалась. На пятый день спустилась с помоста, ополоснулась холодной водицей, села за стол. Бледная, как от лихорадки трясётся.

Попросила клюквенного морса. Испила несколько глотков и выползла на улицу.

Крупный февральский мороз обнял её, сжулькал. Она стояла в одной рубахе и смотрела на дорогу, которая тянулась по берегу Берди в сторону деревни Никоновой.

Евфимия опустилась вниз к проруби, пробила колотушкой малую наледь, подхватила пригоршню воды и, разомкнув губы, проговорила:

– Поспешай, водичка в Бердский острог, торопись, скажи моему моленному: я жду его там, где никто нам не запретит грешить, али сохранять целомудрие... И никакая я не кошка слябливая!

На Евфимию набросили полушубок, перенесли в дом.

Она словно в полусне открыла свой сундук и вынула оттуда вещи. В сторону отложила белую блузу, цветной сарафан, алую шёлковую косыню. Сама себе прошептала:

– Я и там должна быть нарядной, красивой.

Василиса спросила:

– Ты что, невестушка, к смерти приготовляешь? Не торопись, милая. Тебе ли не радоваться житию? А хворь, она пройдёт.

---

* Воочию – на виду.

** Слябливая – блудливая.

– Тошно мне, Василиска. Любовь обуяла меня. Отвергнутой не желаю коптить небо…

– Да что ты говоришь! Посмотри, как тебя Алёшка любит! На руках тебя носит, с ложечки медком кормит…

Евфимия перебила Василису:

– Свекруха, при чём пут Алёшка? Не нужна мне его ложка с мёдом, я бы приняла от любимого завалящий, объеденный мышами сухарик, обцеловала его и оздоровилась…

– Господи, – перекрестилась Василиса, – Евфимочка, что ты говоришь?! Вот не думала, что в наш дом нагрянет такая напасть! Кто он?

– Печка простыла… Мне холодно. Пойди, Василиска, растопи… кто он, тебе не нужно знать. Тебе Боженька дал агромаднейшую радость, наслаждайся…

Ночью не укараулили домочадцы Евфимию. Тайно вышла из дома, поцеловала деревянную ручку двери и попрыгушками устремилась к проруби. Полная луна засвидетельствовала как Евфимия помолилась и ушла в студёную воду.

Рассвело. Пошёл к проруби Яким Федоряев. Идёт, удивляется: по ночному снежку малые босые следы. Вспотел. Обратно следов нет. Окошко во льду прочищено. В стороне лежит, переливается тельный серебряный крестик.

Бросил Яким вёдра и по босым следам бегом устремился от проруби.

Стучит в дверь дома Дёминых и кричит:

– Посмотрите, ково у вас в избе нет?

В тот же день ближе к вечеру вернулся из Бердского острога Мартемьян. По тому, как встретили его гробовым молчанием, а Василиса со слезами, всё понял.

Озверел. Схватил кнут и начал хлестать всех, кто попадался, орал: – Всех передеру вповалку, – сцапал Алексея за шиворот, прижал к стене, ударил несколько раз кулаком в лицо, кричал:

– Измочалю! Господи! А и правда, не лучинка ты, не мужчинка! Такую жену не углядел…

На пятый день нового семьсот шестьдесят четвёртого года, на шестьдесят первом году жизни, умер Мартемьян Андреев сын Дёмин. А за месяц до смерти сосед Яким Федоряев говорил Мартемьяну:

– Смотрю на тебя, друг мой, соображаю. Одна причинушка скосила меня и тебя. Меня от того, что потерял я свою голубку Татьяну, а ты по невестке в могилу смотришь.

Отвечал ему Дёмин:

– Моя гробовая доска ещё в стволе соком наливается. Поживу.

Но после того разговора не прошло и недели. Яким на века лег под крест. А через три недели в березняке на возвышенности рядом с Андреем Дёминым, с отцом, в холодную землю закопали Мартемьяна.

Сороковины по Мартемьяну поминали в большом застолье, богато. От каждого двора пайвинцев поминок, от крестьянских общин селений Маслянино, Никоново, Кинтерепской приношение. Говорили много в знак памяти и в знак любви. Только молчала Василиса.

На следующий день разъехались поминальщики. Василиса усадила по лавкам детей, заговорила:

– Дитятки, послушайте мать свою. Мне жить в этом селении муторно. Надумала я сама собой переехать в деревню Суседову. Малых деток – Ивана, Василия, Сидора, Наталью и Авдотью – беру с собой. Другим, большеньким – не указ.

– Я, мать, тебя одну с малыми не брошу, – заверил Михаил.

Старшие Алексей и Фёдор промолчали.

Фёдор с женой Авдотьей, дочерью государственного крестьянина Фёдора Казанцева из деревни Изыракской, перешли жить на правый берег Берди, в деревню Чупину.

В большом доме в деревне Пайвиной остался вдовым Алексей Дёмин с сыном Павлом.

Четырнадцать лет отец и сын прожили в одиночестве, как звери. Ни они к людям, ни люди к ним. В семьсот семьдесят девятом году Алексей ушёл в Христорождественский монастырь города Кузнецка.

Василиса Власовна дожила до глубокой старости.

Дочь Авдотью отдала в жёны Осипу Вагайцеву в деревню Шадрину по любви.

Дочь Наталью повенчала с Осипом Забродиным из деревни Забродиной.

Хозяйство своё оставила после себя сыну Василию. Не по старшинству. Надо было Михаилу, но он переехал в деревню Гуселётову. Деревенский десятник уговаривал дом передать Ивану. Но он не нашёл девицу по любви. А холостень – какой хозяин?

От Фёдора Мартемьяновича Дёмина в деревне Чупиной пошли сыновья: Фёдор, Ферапонт, Антип, Никон, Филипп и дочь Татьяна. И все они шли под венец только по любви.

Павел Алексея сын только в сорокалетнем возрасте воспылал большими чувствами к дочери Матвея Пайвина Фёкле.

И опять, как по Библии говорю:

От Павла и Фёклы пошёл Николай.

Николай родил Власа.

Влас родил Семёна.

От Семёна и Катерины Ивановой дочери Большакова пошла Пелагея – моя жена.

К какому сословию они принадлежали, затрудняюсь сказать.

Предки служили казаками, государевыми крестьянами, заводскими крестьянами. После Манифеста восемьсот шестьдесят первого года – вольными крестьянами.

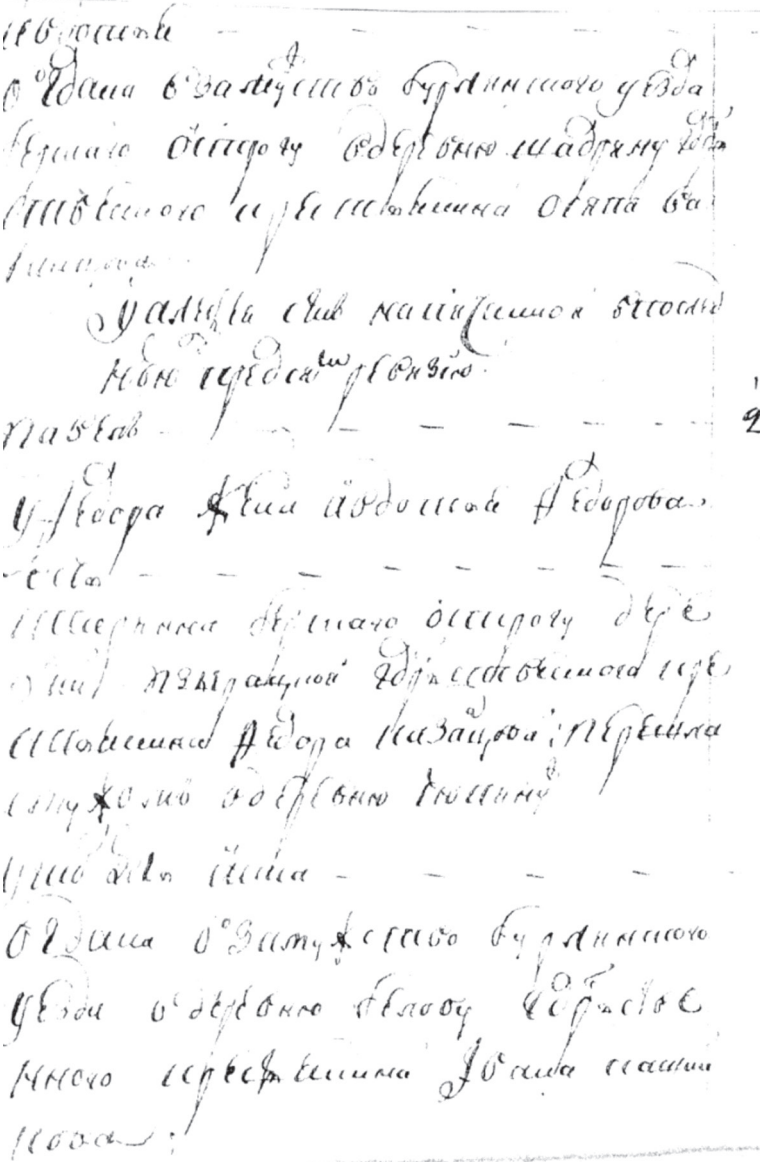
– Вы её любили?

– Ково?

– Пелагею Семёновну!

– А как же. Если бы я её не любил, и она меня, все Дёмины воспрепятствовали бы так, что из пайвинского погоста поднялись старики со старухами: куда бы мы с Пелагеей бежали…

Приложение
«И все они шли под венец только по любви»





Глава двадцать шестая

Исповедь маслянинского отшельника

Однажды, внучек, легли опочивать. Настасья взяла в пальчики мой нательный крестик, гладит его и тихо приговаривает:

– Государь мой, Никита Евсеевич, сколько я ни глажу ваш крестик, сколько ни смотрю на ваш перстень, всегда появляются чувства, будто когда-то давным-давно, наверное в другой жизни… опускается на одно колено бравый солдат, а я ещё маленькая-маленькая надеваю ему на шею серебряный крестик. Он приподнимает мою ручку. Целует. Я смотрю на его правую руку и вижу большой перстень с изумрудом. Поднимаю глаза, удивлённая, смотрю на казака. У него глаза зелёные-зелёные, как камень в перстне, как у вас, государь Никита Евсеевич…

Смотрит Настасья на меня, а в глазах слёзы. Я успокаиваю её:

– Ты, Настасья, говоришь сон, а будто наяву свершилось. Меня даже передёрнуло. Може и была у нас с вами, Настасья, вторая жизнь. Господу Богу ведомо всё, вот он иногда и раскрывает нам на время забытые события, дела…

Перед Днём небесной покровительницы тысяча девятьсот тридцатого года (15 августа успение Богородицы) приспичило Настасье. Урёвывается. За живот свой наливной то и дело хватается. Чем только ни поил – всё напрасно. Почернела. Любого мужчину знаю, от чего и как излечить, а по женскому делу я слеп. Невмоготу ждать, нужно в люди её нести. А

куда? Решил в деревню Ново-Лушникову. К верному старичку, которого племянник матушки Александры мне направлял.

Помнил, говорил он многократно: «Войдешь в деревню, Восточная улица, пятый дом». Вот туда и отнёс. Прежде чем оставить Настасью, предупредил: на чужеземном языке не разговаривай. Оставил в темноте на крыльце, а сам в картофельную ботву спрятался. Постучалась Настасья в дверь, открыли, впустили. Смотрю, старичок в соседский дом побежал. Догадался – за повитухой. Слава Богу, всё будет хорошо.

Вот и месяц прошёл, второй – извелась душа. Картофель выкопал, грибов насушил и засолил. Ночи пошли холодные, а Настасьи всё нет. Прости, внучек, о твоей родной бабке так не печалился. По первому снежку появилась, но одна. Сказала, что умер младенец. Не стал её душу теребить расспросами. Знать, Господь Бог не пожелал сыну светом мира радоваться. А может, и к лучшему: что бы он познал с нами, живя вдали от людей?

Изменилась Настасья. Нет-нет, да упадёт перед иконой Чудотворца и всё что-то шепчет. И меня долго не подпускала к себе. Выйду из своей пристройки, приближусь к её лежалке, а она мне: «Вы, государь мой, повремените в одном ложе опочивать, всё ещё внутри у меня побаливает».

Так и зима прошла. По весне, снежок отошёл, пожелала Настасья за черемшой сходить. Возражал я. Но настояла она на своём. Раненько пошла. Ночь наступила, её всё нет. К обеду следующего дня пожаловала… Уставшая, без черемши, но с сияющим лицом. Проблудила!

С того весеннего дня нет-нет, да и отдавались мы с ней наслаждениям.

Перед Покровом Пресвятой Богородицы велел Настасье более в бане быть. Мужик косоротый из Егорьевска должен

пожаловать и старичок из Ново-Лушникова. Мёду мы изрядно запасли на обмен.

Первым прибыл старичок. Перенесли мы с ним хлебные запасы, соль в амбар, медок в туесках на бричку. И просьбу мою не забыл. Иголки, нитки привёз да и материи на две-три рубахи. Рассказал, что в Барабаново, так он по старинке называл деревню Ново-Лушниково, дружки его Митрофан Попов, Трофим Кузнецов и Иван Губкин померли. Сообщил, что Петра Вершинина в краевой центр перевели. Вместо него новый соглядатай прибыл: пронырливый и злой. Посоветовал быть начеку – по всем сопкам своих людей отправляет – ищет тайных старателей золота.

За чаем рассказал он мне, что богоотступников, слыть идолов бездушных, возят по деревням, где они собирают в сборных избах соглагольников, совещателей и способников и устами, как мечом, с лицом в злолютой злобе, рубают: имеет в доме достаток – кулак. Имеет две лошади – кулак. Чай пьёт с сахаром вприкуску – полный кулак. А восхотевшим сказать: в городе Ново-Николаевске первые с первейшими ещё не решили, есть ли кулак в Сибири. Пошто вы в деревне на мужика апостолообразного и к труду ревнительного, узду набрасываете? В ответ неслось: подкулачник! Очистить от него святое место! Насилием и коварством поделили мужика: одним дали волю в сборное место итить, а другим преграждают, приблизиться, не велят – ты мироед! Вот и новый огненосный очаг. Одним кричат: «Ура!». Вторым, жизнь – тюрьма. И направили антихристы неугасную стрелу гнева на всех, кто счастлив и от доброты сердца радостью сияет. Не должно быть таких! И каждый антихрист из себя царя мнит. И себя винил старичок из Ново-Лушниково: не вышел на лобное место и не крикнул: «Отторгни нечисть!»

Первые из первейших вспоминали, как сами в Нарыме, в ссылке, на вторых этажах в красных избах промеж разговоров, чай попивали и дотюмекали: а недурно «нераспрягаемую колесницу» в дело пустить. И есть на чём, и есть кого, и есть

куда. Русский мужик многожильный: и болота освоит, и себя прокормит, и наш стол обилием провианта обставит. Возили турки наших мужиков и баб в Константинополь на таких «нераспрягаемых колесницах», возили татары несколько столетий, возили немцы… Вот пришло время: русские русских повезли. Благо – недалеко – из Сибири каторжной в Сибирь комендатурную.

Тронулась с места «нераспрягаемая колесница» и повезла крестьян за всякие мирские грехи, за лишний кусок хлеба в доме по маршруту: Галка – Шегарка – Нарымский округ. А крестьянские грехи в мирском понятии и гроша не стоили.

Разлучают семьи, разлучают подруг с дружками, детей, не ведавших зла, не познавших греха, в пеленах сиротами делают. Пребогатых жителей дома опустели, семьи оскудели. Гибнут мужики во Вдовинской комендатуре, в Нарымских болотах, а в деревнях то в одном, то в другом доме ненаследованное наследство остаётся. Весь этот шкарб растаскивают лентяи, которым кличку дали «комитет бедноты», и пьяницы, кто называется властью «комиссия». Разрушили заповедь первого священника на Маслянинской земле, отца Евдокима: единый отец, единая мать, единый сын, а не это ли единое божество – семья.

И рассказал он мне со слезами на глазах, что лучших мужиков из его деревни Барабановой (Ново-Лушниковой) не объехала «нераспрягаемая колесница».

Отняли кожевенный завод у Константина Михайловича Холкина и его жены Анны Кузьминичны, всё имущество в доме и дом, дали им по два пуда муки да по три килограмма соли и в шестидесятилетнем возрасте отправили в болота, на речку Галку.

На другой «колеснице» повезли Григория Тимофеевича Домнина с женой Марьей Варфоломеевной.

На третьей повезли Власа Ивановича Кудрявцева с женой Анастасией Ивановной, с сыном Ерофеем, снохой Евдокией. Нищими повезли. А отняли у них и кожевенный завод, и маслозавод, и всё имущество.

На четвёртой повозке повезли Петра Алексеевича Боброва с женой Татьяной.

На пятой – Ивана Васильевича Гутова…

И о моей деревне поведал старичок.

Не прошла мимо Пеньково «нераспрягаемая колесница», подхватила семью Фёдора Клавдиевича Огнёва с женой Домной.

И Никиту Ивановича Огнёва с женой Надеждой.

– А дети их? – спросил я.

– И Илларион, и Иван, и сноха Никиты – все туда пошли, – ответил он.

И…

Семья Григория Огнёва.

И…

Семья Филиппа Огнёва.

– Так у него ж детей десяток. Как же он там, в болоте сохранит их? – спросил я и опечалился.

А старичок всё перечислял:

И…

Терентия Николаевича Шипулина с женой Евдокией Ивановной. Отобрали у него его мельницу.

А я вспомнил: строил он её почти восемь лет.

И…

Клементия Максимовича Кульдаева с женой Марьей Ивановной.

Я сказал:

– Ну вот, оставался в деревне один из представителей татар, ясашный, чьих пращуров крестил в православную веру отец Евдоким, и его не стало.

И…

Ивана Ковалёва.

Якова Погодина, друга Савелия Кривощёка.

И ещё поведал мне старичок, что некоторых молодых – двадцатилетних – от страха, что убегут по пути до Вдовинской комендатуры, отправили в места заключения, в исправительно-трудовой дом.

Назвал их:

Александр Афанасьевич Огнёв,

Александр Филиппович Огнёв,

Николай Огнёв,

Павел Волков,

Кирилл Палкин.

– Господи, прости! – подвёл итог старик. – Обезглавили Россию, разорили землю, разрушили семью. И попёрли огнёвцы на однофамильцев, кто некогда от одного предка Никона бежали от костра, который запалил Симеон Шадрин от нещадного мытарства и корыствования. В семье Огнёвых не чтят старших, не поют славословия о старших и не желают слышать о старших. И вот уже младшие на старших пошли. Пинают, пинают, как навозный шарик, а невдомёк: шарик разрушится, и Русь раздробится.

Рассказывал всё это старичок и плакал, и я слезами уливался. Многие из тех, кого он называл, друзьями мне были.

Уехал старичок. Сели с Настасьей чаёвничать, пересказал я весь разговор, она меня спрашивает:

– Вы, государь мой, о чём бы ни вспоминали, всё ссылаетесь на батюшку Никодима. Всегда говорите: отец Никодим рассказывал знал, учил, вёл… а почему ни разу не рассказали про его матушку? Он что, холостяком жил, постриженником во ангельский образ?

– Как же? Как же? Я не раз говорил о вдовствующей матушке Александре. Она сейчас живёт в селе Залесовом.

– Как её прозвание?

– Бальва.

– Это по мужу. А в девичестве чья она?

– Вершинина.

– Из Егорьевского прииска?!

– Настасья, я этого не говорил…

– Вы, государь мой, много говорили про чекиста Вершинина, который живёт в Егорьевске, поэтому я и решила, что Вершинины оттель. Государь мой, она красивая?

– Раньше поговаривали, что она на всю Сибирь красивейшая. Мой дед, Каллистрат Романович говорил, что когда навещал

Егорьевский прииск цесаревич Николай Александрович, влюбился в неё. Танцевал с ней, дарил подарки и тайно приглашал посетить Томский женский монастырь… И после… Говорили, что император дарил ей серьги с жемчугом… Но я этого не видел.

Спустя несколько дней ближе к вечеру прибыл мужик из Егорьевска. Сели за стол. Я по кружкам медовуху разлил. Мужик поведал, что в деревне Ново-Лушниковой жена Александра Ильича Иванова родила пятого сына. С брюхом её никто не видел, а родила. Мальчонка телом здоровый – имя ему дали Николай. Говорят, подбросили мальчонку Ивановым. Кто – не ведомо. Говорят, чекист Вершинин увозил своих осведомителей на речку Среднюю Матрёниху и велел всех, кто распространяет небылицы про новорожденного, запоминать и ему докладывать.

Предложил выпить за пацана. Потом долго молчали. Я про родственников Ивановых думал. А он – не знаю о чём. Но видел: лицо его помрачнело, желваки пошли, глаза слезами наполнились.

– Прости, дедушка, за слабость мою, – заговорил он, стирая слёзы тыльной стороной ладони. – В селе держусь. В кулак душу свою сжал. Не позволяю расслабиться. – Постучал дном пустой кружки об стол. Я наполнил её. – Всё село ревёт, стонет, а я молчу, – продолжал мужик. – Не о том я думал, когда Григорий Акимович Чанкин меня в партию агитировал… Не так я представлял себе нашу свободную жизнь, без батюшки царя. – Отпил несколько глотков. Достал кисет. Завернул закрутку. Посмотрел в красный угол на божницу. Смял закрутку и высыпал табак в кисет. – По весне отправили на речку Шегарку, на север, во Вдовинскую комендатуру Павла Фёдоровича Худякова с женой Евдокией и сыном Александром. Он на телегу сел, посмотрел в мою сторону и говорит: «Акакий, нет в моём сердце обиды на тебя. И ты, и я – подневольные». Сунул я ему украдкой кисет с табачком в зипунчик. Отвернулся. А он продолжает: – «Кого из села выселяете? Мироедов? Эксплу-

ататоров? Владельцев? А владельцев чего? Владельцев дара выращивать хлебушек, добывать золото, наставлять на путь истины человека. И ты, Акакий, этим даром владеешь. Так что погоди чуток. Я там, на новом месте, шалашик поставлю – и милостью просим. Будешь там же…»

– Мил человек, – перебил я Акакия, коль он насмелился сегодня раскрыть своё имя. – Я хорошо знал Павла Худякова. Ведь это он для восстановления школы в селе Егорьевске дал сто тысяч рублей.

– Он, – подтвердил Акакий.

– Он в январе двадцатого года пожертвовал из своих капиталов по три тысячи рублей на сирот колчаковского произвола.

– Он.

...Мы с Настасьей собирали медунки. Берёзовые листочки-копеечки от солнечных лучей переливались разными цветами. Ручеёк, общаясь с каменистым дном, шуршал.

Настасья в непонятном для меня волнении взяла мои руки, сжала в своих ладонях и, приподняв подбородок, пристально глядя мне в глаза, стала декламировать:

– Вскрылась речка, затопила поля;
Солнцем весенним согрета земля.
Зелёной листвою оделись кусты,
Пчела за добычей летит на цветы.
Проснулась природа от зимнего сна,
Всё ожило: вновь воротилась весна!

Я сел и притянул Настасью.

– Настасья, я тебе рассказал о своих коренных, о друзьях. А ты мне о себе – ни слова. А ведь мы с тобой уже три года, как муж и жена.

Она давай меня целовать, повалила на спину:

– Государь мой, Никитушка, прошу, не тереби душу. Господь Бог дал нам великое благо, соединил в одну семью. Но нить, соединяющая нас, ох какая тонюсенькая! От вашего любопыт-

ства она может надорваться и даже лопнуть, порваться. И будем мы с тобой, Богом данный муж, как бы чужими. Разве тебе плохо, что я рядом с тобой, с твоими родными…

Готовились отмечать Николу Вешнего. Совершили хождение с иконой Чудотворца вокруг избушки, мыльни, по берегу Каменушки и родника. Настасья приготовила стол в беседке. Но тут она сгорбилась и, ковыляя, убежала в мыльню. Я осмотрелся. За пихтой стоял Пётр Лазаревич. Я пошёл ему навстречу. Мы обнялись, прошли в беседку и сели. Порадовал он меня. В городе Вершинин доказал начальству, что в момент, когда восстанавливаются золотые приски по всему Салаирскому краю и создаётся крупная обьединяющая организация «Западно-Сибирское золото», он должен работать там, где ему знакомы места и люди с детства.

Удивился вещам, которые он привёз. Развязал вещевой мешок и выложил на стол отрез ситца голубого цвета, два полушалка, головку сахара, ножницы и зеркальце.

Пётр раскладывал вещи, а сам смотрел на меня и улыбался:

– Старец Никита Евсеевич, не пора ли познакомить меня с приблудной сударыней?

– Зачем, Пётр Лазаревич? Она не казнокрадка, не убивица… За внимание спасибо.

В феврале 1932 года проводил я беременную Настасью аж до Ново-Лушникова и повязку с золотой пластинкой дал на проживание. На этот раз её почти четыре месяца не было. Вернулась – и опять беда – помер при родах ребёночек , девочка.

Поплакали. Подумал: видно Господь Бог не желает, чтобы от меня Настасья рожала, и светом мира дети жили. Так вот, уж десять лет не брюхатит.

Последние два года – беда. Не появляются по осени ни старик, ни мужчина.

Настасья довольна: «Не приезжают, и не надо. Нам спокойнее…»



Покаяние

Глава двадцать седьмая

Исповедь маслянинского отшельника

Скудным житием своим заполнил предыдущие страницы да и думал всё: нет мыслей. Спокойно проживём мы с Настасьей в Салаирской глуши годы, данные нам Богом.

Перевалил на вторую половину 1943 год. И вот, в день усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (24 августа), когда мы трапезничали, донеслись в нашу келию непонятные звуки; не то зверь жалобно выл, не то человек с жизнью прощался.

Выскочил из истопки, вслушался в многоголосый шум оживающей природы, признал вблизи родника человеческие стоны.*

На пожухшей траве рядом с долблёными ульями лежал без сознания мужчина и ревел, облепленный десятками пчёл.

Я прикрыл его лицо сеткой, что сплёл из волос хвоста Игреньки, подхватил под руки и поволок к избушке. Возле крыльца положил, окликнул Настасью. Она вышла, уставилась на мужчину, пристально осмотрела и, с тревогой в голосе, произнесла;

* Истопка – изба с печкой.

– Государь мой, этот человек не должен меня видеть. Мне кажется, я с этим уродом встречалась. Я буду в бане, не допускай его туда и не раскрывай ему свою душу.

Длинный детина, обросший, с густыми усами, в сознание не приходил. Я отбросил с его лица чуб пшеничного цвета и отшатнулся. Лицо его было обвито скрутом из шрамов и рубцов. Крючковатый нос и жёсткие одеревеневшие губы синюшным налетом выделялись на его бледном лике. Одет скудно: дырявый зипун с чужих плеч, шапка-татарка, из-под зипуна высовывалась гимнастёрка. Летами выглядел весьма древен. Коснулся его руки. Тяжелые веки не разлеплялись. Он стонал, бредил, крутил головой. Ноги его всё норовили куда-то пойти. Как не страшно смотрелся пришелец, я возмечтался: ещё одному человеку окажу помощь. Перенёс его в хижину, раздел, и, обмывая, увидел то, отчего он в беспамятстве. В нижней части тела, справа от мужского достоинства, зияла большая, с донышко крынки, гнойная язва. Я воскликнул:

– Господи, как ты, человече, ходил с такой болячкой? И что привело тебя в эту глушь? Ты уже не жилец!

И, как мать своего младенца, так и я с нежностью начал лечить его, кормить всем, чем богаты, ублажать устами, уповать на Господа Бога вернуть ему телесные силы и душевную радость.

Настасья неудовольствия не высказывала, что я целыми днями с больным, но на лице её видел большое смятение, а в глазах грусть.

На четвёртые сутки мужчина очнулся. Светлые голубые глаза прошлись по стенам нашей землянки – протрепетали искорками родниковой воды. Он перевёл взгляд на меня. Я от радости улыбался.

– Дедушка, как ваше имя? – спросил он глухим, ржавым голосом.

– Старец – моё отшельническое имя. Мирское? Зачем? Я более двадцати лет живу, не общаясь с миром. Чьих вы? – поинтересовался я. Сам подумал: «Кто ты такой? Какова нужда привела тебя в эту глушь?»

Он не ответил на мой вопрос. И опять его глаза анюткиными вспышками внимательно осмотрели убранство землянки. С удивлением бросил взгляд на икону Николая Чудотворца. С трудом поднялся с лежанки, шагнул в сторону красного угла. Я его не останавливал. Видно, Господь Бог пожелал, чтобы он приложился к образу.

Он склонился на колени. Каких трудов ему это стоило – я понимал. Он совершил три поклона. Опираясь о земляной пол руками, приподнялся, перекрестился, поцеловал икону. Повернулся в мою сторону, проговорил:

– Как давно я не лобызал иконы! Ох, монах, как это было давно.

– Не монах я, более кушник. Но пусть будет по-твоему.

Он слегка коснулся материи, что висела от потолка до пола и узрел мой китель, на нём ряд крестов, орденов и медалей. Глубоко выдохнул:

– О-о-о… – Потом добавил: – Такого количества царских наград мне не приходилось видеть.

Пришелец, словно младенец, провёл пальцами по крестам, как по позлащённой ризе, и мне показалось, что от этого прикосновения освятована его плоть.

– Как это проходят мимо вашей одинокой келии особисты? Они, я знаю, все таёжные уголки прощупали, – проявил интерес непрошеный гость.

– Бывали у меня мужики, – с чувством грусти ответил я. – Хорошие люди. Из местных они. Смотрели мою пустынную кущу, кресты, ордена и медали щупали, один внимательно документы на них прочитал. Говорили мы с ними красненько и рядненько. Дали слово, что пока будут живы, никто обо мне, кроме верных людей, не узнает.

Пришелец прошёл к столу, сел.

– Меня, старец, зовут Михаилом. А фамилия прескверная. Не хочется её произносить.

– Не хочется – и не надо.

– Вижу, у вас на столе хлеб…

– В прошлые годы по первому снежку навещали меня старичок из деревни Ново-Лушниковой, колхоза «Победа», да ещё мужик из Егорьевского прииска. Обмен мы с ними совершали. Я им мёд, они мне всё необходимое, что заказывал. Да вот беда: два года уже не наведываются. Мёд в берестяных бочонках затвердел.

– Два года, – произнёс Михаил. – Два года, – повторил. – На войну ушли. Доверить вас кому другому не успели.

– Что вы говорите? Война? Война? Немец на нас пошёл?

– Почему вы так решили, старец?

– И пошёл без объявления войны, внезапно, как японцы в четвёртом году?

– Так всё это, старец. Но откуда вы всё знаете, если сказали, что уже два года вас не навещал ни один человек?

– Мы, солдаты, промеж себя говорили ещё в девятьсот пятом, после подписания мира с японцами, что следующая война будет с Германией. И потом, в восемнадцатом, я частенько приходил к выводу: война опять будет с немцами.

– Старец, я с таким трудом пробирался в эти места, что потерял счёт времени. Скажите, какое сегодня число?

– Сегодня, Михаил, пятнадцатое сентября.

Лицо пришельца ещё более почернело, уголки ровно очерченного рта слегка задрожали.

– Пятнадцатое, говорите, пятнадцатое сентября… В моей жизни это самый несчастный день… Старец, помогите мне лечь. Меня покинули силы. Пятнадцатое сентября…

Я приподнял его и уложил на топчан. Михаил отвернулся к стене. Он плакал навзрыд. И сквозь слёзы говорил:

– Старец, не уходите. Что вы сделали с моей язвой? Почему я её не чувствую?

– Я вам вырезал всё ненужное. Но поздно. Слишком далеко зашла ваша болезнь.

– Поздно? Вы врач?

– После японской войны во Владивостоке я семь лет лечился и лечил.

– Я не лечился. Боялся насмешек, сплетен. Я никогда, ни-

когда, никого не лечил. Спасибо вам. Я не чувствую боли, тело воздушное… Душа болит! Душа! Старец, скажите откровенно, сколько мне осталось жить? – Он повернулся в мою сторону. – Я жду.

– Михаил, не требуйте от меня того, чего вам никто не скажет. Все мы под Богом. В госпитале мне приходилось лечить солдат и офицеров с подобными ранениями. На ранней стадии я им жизнь продлевал. Вам не смогу. Простите меня, но вы сами своё тело сгноили.

– Не только тело, старец, и душу свою сгноил. Душу… Вот вы ушли в отшельники, прихватив свои царские награды и фельдфебельский китель. Я вас уважаю за это. Таких русских солдат мало. Большинство, как я, награды свои повыбрасывали. Большинство, как и я, одежонку свою сожгли. Большинство свою родовую фамилию поменяли. И в страхе живём, не дай Бог, кто нас настоящим именем назовёт. Старец, не желаете говорить, сколько я еще протяну, не надо. Я нутром чувствую, проживу ещё несколько дней. Сердце моё не бьётся, а трепещется. Позвольте мне исповедаться перед вами, облегчить свою душу и раскрыть одну тайну, которую знаю только я.

– Я, Михаил, не достоин этого, – сказал ему. – Я не монах, не отшельник, тем более не священное лицо, я просто кушник. Ещё проще – беглец от людского общества…

Михаил перебил меня:

– Для меня вы сегодня спаситель и духовное лицо. Много десятилетий я боялся не только кому-то рассказать о себе, но даже случая, что кто-то меня узнает. Вас не боюсь. Сегодня никого не боюсь.

– Наш род, старец, из старинных бояр – сан пожаловал царь Алексей Михайлович, а мой отец был ещё и Личным почётным гражданином города Ново-Николаевска. Наши родственники в конце девятнадцатого столетия разошлись по разным направлениям. Одни продолжали идти по пастырской дороге Луппы, другие скупать и продавать золото, а некоторые, получив высшее образование, служить Отечеству в столице. Мой отец

выбрал себе не менее доходную работу. Он стал мукомолом. Мы имели паровую мельницу в городе Ново-Николаевске, десяток мельниц по уезду. Особой заботой отца были мельницы: паровая вальцовочная в Черепаново, мельница в Барабинске, которую он купил у Воропаева, мельницы в Красном Яру, в селе Федосиха. Отец гордился своей профессией. К четырнадцатому году он имел купеческое свидетельство первой гильдии, золотые и серебреные медали, два золотых креста – награды от всемирных и российских выставок. Наша мельница в Ново-Николаевске давала семь сортов муки. И только некоторые сорта уступали по качеству сортам крупнейшего мукомола Николая Туркина.

Нас с сестрой отец ни в чём не ограничивал. С детских лет нас учили грамотнейшие граждане Ново-Николаевска: вдовствующая матушка Александра, отец Василий Посельский, его матушка Мария, госпожа Зинаида Ивановна Смирнова.

В Санкт-Петербурге, в гимназии, я попал под влияние общительного, компанейского, обожаемого молодёжью преподавателя математики Аркадия Александровича Яковлева. Он, именно он, зародил в моей молодой душе ипостаси, что я избранный из избранных, не Богом, а судьбой дано мне вершить в будущем делами государства, что все остальные люди мои будущие исполнители. Но для того чтобы всё это свершилось, я обязан вступить в «братство» и беспрекословно выполнять их волю.

Отец настолько был занят делами, что не обращал внимания, как я живу.

Мой друг детства, Борис Смирнов, всего на два года старше меня, имел к четырнадцатому году орден Святой Анны, две медали за Русско-Японскую войну, славу лучшего хирурга Томской губернии, почёт. А я мог похвалиться только тем, что знаком с профессорами университетов Сорбонна, Берлина, Лежье…

Весной четырнадцатого года, будучи в Берлине, я получил информацию от одного из «братьев», что осложнения между Германией и Россией достигнут наивысшей точки в июле-августе. Я спешно прибыл в Ново-Николаевск, чтобы предупредить отца. Он имел деловые контакты с германскими купцами.

Отец выслушал меня и ошарашил:

– Запомни, Михаил, ни один коммерсант не может жить вне политики. Дипломатическая тайна, политическая игра, газетные сенсации – это всё для обывателей. Я, сынок, ещё месяц назад перегнал капиталы из Германии в Бельгию.

Мне он предложил выехать в Маслянино, отдохнуть, а заодно спросить у дяди: на какую долю семейного золота мы можем рассчитывать. Отец решил купить с молотка пароходную кампанию «Дети Корнилова».

Так я оказался, старец, в Маслянино вечером в гостях у Смирновых.

Благочинный Евгений представил меня гостям, усадил рядом с миленькой дочкой волостного писаря Высоцких – Верой. Тут меня понесло. Давай я хвалиться своими знаниями и путешествиями, цитировать выступление Пуанкаре в Питере, давать оценку дипломатии и в конце выскочило у меня из уст:

– Но главное, должен вам сказать, в воздухе пахнет революцией. Ширится стачечное движение. Революция в России победит…

– Миша, вы за революцию? – спросил благочинный.

– Да, – ответил я. – И не скрываю этого. Являюсь членом социал-демократической партии с девятьсот третьего года…

– Но позвольте, Миша, – остановил меня отец Евгений, – у вашего отца капиталы. Всё исчезнет. Вам не придётся годами гулять по Европе.

– Зато мы установим в России полное равенство, счастье всем; человек в России будет жить не по законам лжи, а правды.

– Словеса, Миша. Четыре тысячи лет назад премудрый и несравненный Хаммурапи второй год своего правления зафиксировал как год установления правды. И записал, что все свободные подданные равны перед законом, привилегий нет. И тут же нормировал юридическую жизнь: «Если жена скажет мужу: ты мне не муж, то будет брошена в реку».

– Я плохо знаком с культурой Древнего Востока, – дабы не

входить в детали, произнес я. – В спор вступать не собираюсь.

– И мы, Миша, спорить с тобой не собираемся. Не обижайся на меня, старика. Но ты удобен оболгателям, послушник. Набили твою голову чуждыми и неверными мыслями. Непонятно за что зло вселили в твою душу. Но помни, Миша, моё слово: твои друзья, как звери по земле рыщут. Корысть в них – царь.

Почувствовал, как лицо моё покрылось краской. Бросил взгляд на Бориса, ища поддержки. Он пригубился к фужеру и проговорил:

– Профессия врача приучила меня пресекать у больного говорливость. Я больше имею дело не с языком, а с телом человеческим. По горло сыт войной и революцией…

Потом наступило пятнадцатое сентября, а с ним и моё первое падение… Я тебе, старец, начну свою исповедь не с пятнадцатого сентября четырнадцатого года, а с пятнадцатого сентября двадцать первого года те несколько сентябрьских дней прокрутили мою жизнь по спирали низменных моих деяний и проступков.

Михаил прикрыл глаза. Долго молчал. Губы чуть дрожали. Он опустил руки с груди по швам и медленно, приглушённо заговорил:

– Пятнадцатого сентября двадцать первого года я участвовал в расстреле барона Унгерна фон Штернберга.

Поздно вечером вывели его из камеры, до этого служившей кладовой купца Фёдора Даниловича Маштакова, прислонили к кирпичной пристройке с северной стороны, заместитель начальника ЧК Яков Гомов прочитал приговор, завязал я глаза барону чёрной повязкой и… скомандовал: «Пли!». Не упал он, присел. Хотел солдатам приказать ещё раз пальнуть для верности, да пока думал, свалился барон набок. Готов. Передали мы труп похоронной команде, расписался я в акте и решил в столовую заглянуть. Не получилось. Пригласил меня Яков в кабинет. Скупо сообщил, что с мая двадцатого года сидит в концлагере Максим Никодимович Бальва. Обвиняется в хищении драгоценностей из Никольской часовни. По версии, там, в

часовне, были спрятаны драгоценности Томской епархии. Напарник попа на телеге с драгоценностями сбежал. Бальву заарестовали. Сколько ни проводили допросов – бесполезно – молчит Бальва. Предложил мне Гомов посидеть в одной камере с Максимом, расположить его к себе, заверить, что у меня есть большие связи в Ревтрибунале, Ревкоме, Сиббюро, но чтобы подкупить нужных людей для его освобождения нужны не деньги, а драгоценности. Днём, когда арестантов будут уводить на работу, меня отпускать домой, на отдых.

Согласился с предложением Гомова. С Максимом Бальвой, хотя он мне троюродный брат, не встречался почти семь лет. Был уверен: по внешнему виду он меня не узнает. Слишком изувеченным стало лицо моё за эти годы.

Рано утром шестнадцатого сентября я оказался в камере под номером двенадцать. На улице шёл дождь, в камере темно и прохладно. На нарах, скорчившись, лежал священник Максим. Его облачение, пропахшее запахом камеры, вшивое и грязное, не согревало высохшее от постоянного недоедания тело. Цепочка от креста, как живая гадюка, скользкая и холодная, каталась по его шее. В коридоре блекло горела лампа. Её зыбкие лучи, ударяясь в стены, потолок, тусклыми ручейками попадали в щели кованых дверей камеры. Более года он сидел в этой камере. Старец, на несколько дней я стал его напарником. Камера, судя по количеству нар, могла бы проглотить всех учеников Иисуса Христа.

Отец Максим поднялся с нар, в низком поклоне поприветствовал меня.

Я буркнул:

– Здорово, поп!

И, не дожидаясь ответа, прошёл к нарам с правой стороны от окна.

Старец, я был доволен, что оказался в камере. Узнаю я тайну о драгоценностях епархии или нет, меня не беспокоило. Главное, отдохну от этих бесконечных расстрелов.

Михаил умолк. Я ушел на берег Каменушки. Обмакнул в воду голову. Господи! Прошло двадцать два года и я узнаю какие муки, страдания и унижения перенес отец Максим за икону Николая Чудотворца, которая ликом и благодатью освящает мою келию. Мой грех. Я виноват. Я подбил его на кражу иконы.

Да, внучек, когда-то иконы стоили копейку, две…

Я вернулся к Михаилу. Он продолжил свой сказ:

– После завтрака двенадцатая камера пустела. Меня под конвоем выводили на улицу, а там я спешил в подвал бывшего дома купца Второва, в столовую, вручал малиновый лист бумаги, карточку коммунального питания, от которой велел отрезать квадратики с надписью: «первый чай, второй чай, ужин, обед» – всё это получал сухим пайком, заворачивал пакетиком, на вес чуть более фунта, спешил на улицу Рабочую в двухэтажный дом, который до революции принадлежал Личному почётному гражданину, члену Государственной думы, Ивану Клементьевичу Пименову, там располагалось общежитие ЧК. В вестибюле проходил мимо часового, поднимался на второй этаж и в бывшем кабинете Пименова, опустошив пакетик, разваливался на скрипучем кожаном диване – остатке буржуйской роскоши.

Отца Максима вместе с другими невольниками из других камер с крестами на шее и без крестов вели под конвоем через весь город Ново-Николаевск в Заельцовский бор. Конвой их поторапливал, подгоняя нецензурной бранью, применяя приклады; всё это происходило на глазах прохожих, знакомых, родственников.

В Заельцовском бору, недалеко от дачи благочинного Николаевских церквей протоиерея Николая (Никольского), арестантам выдавали пилы и в зависимости от погоды устанавливали нормы повала и распиловки берёз и сосен Чем яснее день, тем выше норма.

Перед сумерками появлялась вереница подвод городского гужевого транспорта. И шли по городу процессии: подводы везли дрова по Каменскому тракту в городской крематорий, узников возвращали в центр города, в дом по улице Воронцовской.

Городской крематорий, переоборудованный в тысяча девятьсот двадцатом году из печей кирпичного завода по проекту инженера Скворцова, съедал на сожжение одного трупа пуд дров и пуд угля. Было время, когда в крематории сжигали за сутки до тридцати трупов; это с начала весны тысяча девятьсот двадцатого года. Специальный орган власти «ЧЕКАТИФ» планировал к концу года пропустить через свою кочегарку около тридцати тысяч трупов. И сжигались в одной камере солдаты и офицеры Народной армии Колчака, солдаты и комиссары пятой Красной армии, рабочие, крестьяне и мещане города. Сжигались усопшие от голода и болезней дети. Старец, кто там был праведник или грешник?

Михаил быстрым взглядом окинул меня, словно прощаясь, глаза покрылись туманом. Я схватил его руку, нащупал пульс; он еле прослушивался.

Прошёл час, не менее. Он открыл глаза.

– Истлел я телом, старец, но в памяти держу всё… – Он глубоко вздохнул. – Часа за два до появления отца Максима я был в камере. Ждал.

Отца Максима привели. Камерные клепали, смолкли. Он достал из кармана сухарик – видно, сердобольная мирянка успела незаметно от конвоя сунуть ему в руки этот живой и тёплый комочек людского труда и доброты. Он погладил сухарик, понюхал, перекрестился, облизал шершавую его поверхность, как бы объединяясь с душой мирянки. И от хруста, от наплыва удовольствия отец Максим улыбнулся. А я, старец, погрузился в воспоминания далёкого детства. Почти двадцать пять лет назад, в декабре тысяча восемьсот девяносто шестого года, когда на Базарной площади ждали императора Николая,

Максим грыз сухарик. Я был рядом. Стоял за нянькой Аксиньей. Но когда гофкурьер привёз из Питера фотографии и вручил матушке Александре, меня там не было. Эту обиду я пронёс через всю свою жизнь. Хотя и благодарен матушке Александре за прекрасные уроки французского языка…

В тот вечер в двенадцатой камере ЧК прервал мои воспоминания скребущий звук дверей и голос:

– Слышь, поп, и ты, ворюга (это в мою сторону), – радуйтесь – теперь вас святая троица, – крикнул конвоир, пропуская вперед арестанта.

Отец Максим поднялся с колен, склонил голову.

– Здравствуйте, батюшка, – произнёс арестант. – Благословите грешника Савелия.

– Господи, прости, – крикнул отец Максим. – Живые?! Радость-то, какая! Савелий Дмитриевич – вы?!

– Вы кто, батюшка? – всматриваясь в темноту, спросил Савелий.

– Максим я! Максим Никодимович Бальва!.. – И отец Максим обнял Савелия Дмитриевича Кривощёка, и обоюдные слезы омочили щёки узников. И мне, старец, надо было встать с нар, обняться с Савелием Дмитриевичем, поведать им, что я липовый вор, что я Михаил, троюродный брат отца Максима и родственник Савелия. Господи, над стратотерпцами и новомучениками изголялся. Но я думал другое; ночами надо бодрствовать. Кому-кому, а Савелию Дмитриевичу отец Максим раскроет всё. Только бы не пропустить их разговоры.



Глава двадцать восьмая

Исповедь маслянинского отшельника

Исповедь Савелия Кривощека

Наступила ночь. Улеглись мои сокамерники. Я всхрапнул для вида. Повернулся на другой бок. И слышу, Савелий шепчет отцу Максиму:

– Батюшка Максим, батюшка, проснитесь.

– Что случилось, Савелий Дмитриевич? – откликнулся отец Максим.

– Пока наш сокамерник спит, хочу пред вами исповедаться. – Он помолчал, потом заговорил умиротворенней, тише. – Все-то меня считают ангельским созданием и безгрешным, но на самом деле не так. Грешен я, отец Максим. И грех на мне превеликий. Вот когда заарестовали меня, повезли под конвоем, почти всё село Маслянино шло следом за повозкой. – Он передохнул, зашептал еще горячей, быстрее: – Вблизи всех за зипунчик держалась Зоя Евдокимовна Москалёва, по мужу Абраменко. И шестилетний сын её Георгий шёл. И они плакали… – Савелий вздохнул так глубоко, что мне было слышно как воздух, наполняет его лёгкие. – Я любил и люблю матушку Юлию. В этом я не вижу греха. От этой любви я в радости. Если человек в радости пребывает, то и Господу Богу – радостно. Но сын-то у Зои Евдокимовны – мой.

– Что вы говорите, Савелий Дмитриевич?! – удивлённо спросил отец Максим.

– Мой, мой, отец Максим, – воскликнул он, и тут же, испугавшись, что громко говорит, понизил голос: – Случилось это более шести лет назад, после Петрова дня. Отца Евгения пригласил в Томск епископ Анатолий, а время было – в пору сено косить. И попросил меня благочинный за плату поставить на его сенокосной деляне вблизи Стрелинки три зарода. Когда-то давным-давно все луга по Стрелинке до ручейка Маланьихи были приписаны Абраменко. В тысяча восемьсот пятидесятом году общество потеснило его, выделило деляну для вашего прадеда, отца Владимира. Пашню-то прадеду отвели на Мамоновских землях. Она ныне называется Поповская грива, а вот сено Бальвы всегда ставили здесь. Потом Абраменко ещё потеснили и отвели деляну отменного луга для благочинного Евгения. Прибыл я на покос, заимку почистил, литовку отбил и приступил к покосу. К обеду того дня и вы пожаловали на свою деляну с батюшкой Каллиником и матушкой Александрой. Через три дня, когда я уже поставил два зарода, у вас случилась беда….

– Помню я этот день, Савелий Дмитриевич. Утро не предвещало беды. Перед обедом, когда матушка Александра пригласила нас к столу, дедушка Каллиник прилёг на подсохший валок и притянул меня к себе. «Всё, Максимушка, всё, – зашептал он мне. – Кончается мой срок жизни. Скоро присовокуплюсь к моей любимой Фазиле. Только год я с ней прожил, а столько лет ждал, когда Господь Бог изволит мне вновь с ней встретиться. Я, Максимушка, обязательно буду с ней, обязательно… А ты продолжай наше родовое дело. Большие знания ты заимел в Санкт-Петербурге, но не чурайся простого пастырства, изгони из души гордыню. Трудно спорить с тобой протоиерею Евгению, не столько он знает в святом деле, сколько ты, но ведь истину можно вложить в душу человека с любовью, без ущемления достоинств. Отгоняй от себя нравоучительный тон, освободись от столичной заносчивости. Не спорь, Максимушка, не перечь. Я хочу, чтобы ты оставил о себе такой же

добрый и тёплый свет на земле, как все Бальвы. Сегодня же отправь к князю Хабибу гонца. Пройдёт три дня, не хорони, пока не подъедут родственники Фазили. И не препятствуй, если мулла рода Тарлавы прочитает над моим телом молитву из Корана. Феклуша моя быстро постаралась забыть её и в душу вложить «Отче наш», но я-то знал, нет-нет, да и произносила она с детства впитанную молитву, не губами произносила, а душой. Господи, господи, пошто я так мало любил, нежил и ласкал тебя, Феклуша». С этими словами умолк навсегда дед мой Каллиник. Вечная ему память!

– Не знал я, батюшка, что жёнка Абраменко осталась на покосе. Их покос за вашим, а там, за берёзовой грядой, ничего не видно и не слышно. До заката я справился с сеном отца Евгения, поел малость. Вижу действительно, ветерок подул. Тучки с запада потянуло. Разобрал городьбу на остожье, подвёз сено, начал зарод закладывать. Смотрю, мелькнул женский платок и цветастая кофта. Выходит из берёзовой гряды Зоя Евдокимовна. «Здравствуйте, Савелий Дмитриевич», – говорит с поклоном. «Здравствуйте, Зоя Евдокимовна», – отвечаю. – «Одни мы с вами остались как бы на всём белом свете… Не будете возражать, если я вам помогу», – сама смотрит на меня, а на лице румянец играет. Ну, как тут ответить отказом? От ловких движений Зои Евдокимовны навилины взлетали к небу, я принимал их, и острый домовитый дух сена опахивал меня. Зоя Евдокимовна бросала и бросала ввысь пласты, и мне никак не хотелось показать свою нерасторопность. Я обжимистей выводил зарод, а сам кричал: – «Зоя Евдокимовна, держитесь, еще с десяток пластов и я вывершу стог». Она отвечала: – «Метаете вы, Савелий Дмитриевич, ладно. – Я-то всегда думала, что вы только на гармонике можете играть и Богу молиться…» Лицо её спряталось под головным платком, завязанным ниже бровей, но видел, глаза хитрющие смеялись. Я принимал пласты, поворачивался, крутился на верхушке не шире сажени; подо мной пружинило сухое лёгкое сено, я приплясывал, не оскользаясь, не заплетаясь ногами. Похвала и намёк Зои Евдокимовны окрылили меня. И откровенно вам скажу,

отец Максим, я удивлялся, как плавно, грациозно танцевал на стогу. От Зоиных вил взлетали последние мелкие пласты. Я вывершил зарод, поймал брошенную Зоей верёвку и, ухватившись за неё, крикнул: – «Так вы держите. А то окажемся: я на земле, а вы на стогу». – «Да уж не бойтесь, – ответила она. – Если будет моя воля, удержу вас в объятиях своих». – И опять глаза выкатились из-под косынки. Тут набежала туча. Терпкие краски заката быстро погасли. Я поблагодарил Зою от имени благочинного и от себя, пошёл её провожать. Ненароком, Сергей Кондратьевич, поди, подъехали, беспокойство проявляют. Она идет и говорит: – «Ой, Савелушка, как с тобой-то хорошо». – Голос её шел со дна груди. В это время небо совсем потемнело, несильный поток Стрелинки заговорил. И Зоя дальше продолжала: – «Ночь красна… И дождичек вот-вот польёт… Вы, Савелушка, с бабой когда-нибудь спали?» Я, отец Максим, покраснел, растерялся и не знаю, что ответить. Подумал и решил: скажу правду. И сказал. Она рассмеялась, хоть и темно было, а видел, грудь её ходуном пошла. «И не манит?» – вновь спрашивает. – «Всякое бывает, – отвечаю. – Ну, когда невтерпёж, так встану пред божницей, отдам до ста поклонов, и всякие срамные мысли проходят». – «За что же вы, Савелушка, над собой так изголяетесь?» Тут я ей ничего не ответил. Подошли к их заимке. Не подъехал еще Сергей Кондратович. Речка Стрелинка возле их покоса хомутом изгибается, по берегу черемшанник чернеет. Предлагает она мне: – «Давай-ка, Савелушка, ополоснёмся, а то пропитались мы потом и пылью». Зубы её в темноте блеснули, кофта цветная, словно букет полевых цветов, рассыпалась под черемухой и тут же прикрылась сарафаном. Осталась она в одной исподней рубахе.

Отец Максим, грех на мне великий…

И я, от того, как она пошла в речку и стала хлюпаться в воде, снял с себя всё до кальсон и плюхнулся в воду, но в сторонке от неё. Тут столбом взвились искры, выпорхнуло длинное пламя. Гром прогремел, аж вода в речке затряслась. Кто-то меня хвать за шею, а голос дребезжащий льётся мне в самое ухо: «Савелушка, боюсь я грома страшнее всего, боюсь. Об-

ними меня, прикрой своим телом, не дай душе моей с туловом расстаться».

Прости, Господи.

Не знал я ничего в этом срамном деле. Не скрываю, всему научила меня Зоя Евдокимовна. Ближе к утру вольней шумела Стрелинка. Небо посветлело. Вымытые звезды роились над зародом, заимкой, верхушками берез. Среди нелепо размытых деревьев, на кошомном потнике распластавшись, лежали мы. Зоя шептала: «Савелушка, вы простите меня, что я изнасильничала. Я, поди, с десяти лет всё о вас мечтала. Двадцать пять лет прошло – и всё мечтала. Сбылось!»

Савелий долго молчал, я вспомнил деревню Стрельню, трактир на окраине деревни перед спуском к речке. Вспомнил и места где был изувечен.... Услышал тихий хрипловатый голос отца Максима:

– Савелий Дмитриевич, скажите, на чём основана ваша вера, что сын Зои Евдокимовны, ваш?

– Ночами неоднократно приходила Зоя Евдокимовна в церковную сторожку, да я выгонял её. Плакала она, заверяла меня, что только со мной стала настоящей женщиной. Я больше на грех не пошёл. Первое время, когда родила Зоя Евдокимовна, многие судачили: а от Сергея Кондратовича ли сын? Сейчас, когда нет в живых Абраменко, разговор прекратили. После смерти матушки Юлии, после, как меня из сторожки выгнали, пошел я бездомным скитаться. В деревне Пеньковой у Бориса Евгеньевича неделю пожил, но более не смог. Тянуло меня в Маслянино, на кладбище. И безразличны мне были, отец Максим, все смешки, что за моей спиной раздавались. Не к матушке я ходил на кладбище, а к матушке и к своей любви. Три месяца назад пришла на кладбище Зоя Евдокимовна. Перекрестилась, букетик живых цветов возложила на могилу матушки Юлии. Многократно поклоны совершила. И говорит мне: «Савелушка, милый, я всё сделаю, чтобы в твоей душе твоя любовь сохранилась. Для меня матушка Юлия такая же родная и близкая, как и для тебя. Но мне больно смотреть, как ты скитаешься, голодный и раздетый, а ведь у тебя сын растёт. Неужели ты

ещё не догадался, что Георгий от тебя? Пойдём в наш дом. Будь моим хозяином». Взяла она меня за руку и повела…

Я услышал, как глубоко задышал Савелий, как опустился рядом с ним на колени отец Максим.

– Максим Никодимович, – медленно и печально продолжал Савелий, – я благодарен Господу Богу за те два месяца, которые мы прожили с Зоей Евдокимовной до моего ареста. Она была рядом, но душу мою не отрывала от памяти моей любви… На следующий день, как мы управились по хозяйству, она собрала сына и предложила: «Пойдём, Савелушка». – «Далеко ли?» – спрашиваю. «Пойдём, попроведаем Юлию Порфирьевну». И мы трое каждую субботу ходили на кладбище. Две недели назад председатель волисполкома Александр Ананьевич Бердышев выдал нашему сыну бумагу, что он Георгий Савельевич Кривощёк…

Старец, ты слышишь меня? Отпустил грехи отец Максим Савелию. Успокоились. Я до утра всё прислушивался к арестантам и страдал. Савелий прожил жизнь во сто крат счастливее меня. У него была настоящая любовь. Его любили. Ему было и есть ради чего жить. Ради чего я прожил жизнь?

Приостановил Михаил воспоминание о тех днях, когда он был в камере с моими родственниками, прикрыл глаза, задремал.

Я помолился. Решил сходить в мыльню и пообщаться с Настасьей. Приподнялся. И в это время Михаил встрепенулся от шороха, открыл глаза.

– Старец, не уходи, – попросил он.

И в том тоне, как он произнёс эти слова, я понял: он давно подвёл черту своей жизни.

Но он заснул.

За то время, пока он спал, я успел пообщаться с Настасьей, сообщил имя незванного гостя. Поинтересовался, не вспомнила ли она, где они могли встречаться. Она ответила: «Государь мой Никита Евсеевич, до того, как Господь Бог привёл мои стопы к вашей землянке, я десять лет блуждала по Сибири. И

ничего удивительного в том, что и этого человека, возможно, где-то видела».

Вернулся в келию, набросал на бумагу всё, что поведал мне сегодня Михаил.

Внучек, нет более интересного в жизни, чем судьба человека; она нас учит жить, оберегает от необдуманных действий, предостерегает не скатиться в пропасть, быть честным перед своей совестью и перед почившими в бозы.

Наступил новый день. Я накормил Михаила грибным супчиком, напоил травяным варом и отправился в лес. Пошли опята. Мы с Настасьей ежегодно сушили на зиму по несколько мешков опят. Зимой толчем в ступе, добавляем чуть-чуть муки и получаются отменные лепёшки. Через час с небольшим я возвращался из лесу с двумя полными корзинами грибов. Из избушки услышал зов Михаила. Я передал грибы Настасье и вошёл в дом.

Михаил приоткрыл глаза, повернул голову в мою сторону, проговорил:

– Старец, не покидайте меня на долгое время. Я боюсь, что не успею рассказать вам то, что нужно…

Та ночь с шестнадцатого на семнадцатое сентября продолжалась.

В камеру номер двенадцать ввели еще одного арестанта. Он с порога, чеканя слова, проговорил:

– Здравствуйте, добрые люди, я дезертир первого эскадрона, пятьдесят первого конного полка, пятьдесят первой дивизии Аристарх Артемихин. Родом из деревни Серебренниковой Елбанской волости. Прибыл с повинной.

От этих слов сдавило у меня сердце до невыносимой боли. В голове молнией пронеслось: «Не Аристарх вошел в камеру – моя смерть».

Отец Максим подошёл к Аристарху, перекрестил его и протянул руку:

– Здравствуйте, Аристарх Кузьмич.

Аристарх, отлепляясь губами от руки отца Максима, скороговоркой прошептал:

– Вы-то пошто тут, отец Максим?

– Обвиняюсь в хищении государственного имущества…

– Ой, батюшки, батюшка вор! Такого я ещё не слыхивал. Порядочно грабанули, отец Максим?

– Потом расскажу, Аристарх Кузьмич…

– Боюсь, батюшка, времени у нас не так уж много… Я добровольно пришёл на смерть. Добровольно. Потому как Ревтрибунал собирается судить Варвару Ивановну Огнёву…

– За что? – в один голос спросили отец Максим и Савелий.

– А-а-а, – протянул Аристарх. – Савелий Дмитриевич… Здравствуйте. И вы за воровство? Кто же благовестом будет приглашать мирян к обедне? На Пасху «Камаринскую» играть?

– Погоди, – перебил отец Максим. – Не тараторь пустое. Скажи: в чём обвиняется Варвара Ивановна?

– В убийстве, отец Максим. Убила она пятерых мужиков.

– Да не может этого быть! – махнув кулаком, проговорил Савелий.

– Вот и может. Сам был очевидцем. Меня бы она тоже хлопнула, да я хитрость проявил. Пуля только просквозила шинельку, я упал, подёргал ногами и пролежал без движения ни много, ни мало около двух часов. Она в это время в шестого целилась да что-то у неё рука дрогнула… Тот не промах – голову ей продырявил… Эка, вон ещё один лежит. Може, знакомый?

– Нет, Аристарх Кузьмич, не знакомый. Это Валаамова ослица, – пояснил отец Максим.*

– Вот как, – протянул Аристарх. И изменил тему разговора. – На свободе люди в кулак сопят и мешки с деньгами таскают. Пока шёл в Ревтрибунал, всё узнал. Живут по-новому. В августе прожиточный минимум составлял на одного человека

* Валаамова ослица – Книга Чисел, гл. 22, синонимический образ молчальника, в конце концов отверзающего уста.

четыреста тысяч рублей. Хлеб стоил три тысячи за фунт. В сентябре, говорят, прожиточный минимум, составит полмиллиона. Один грамм хлеба будет стоить тридцать рублей… Я устал. Какие нары вы мне позволите занять, отец Максим?

– Рядышком, слева, занимайте, – посоветовал поп.

– Старец, Аристарх поменял тему разговора неспроста. Он получил предупреждение быть осторожным в высказываниях. Отец Максим и Савелий подозревали меня в фискальстве, и они были правы.

Уже было далеко за полночь. Боль в сердце не утихала. Везёт же Аристарху. В каких только переделках ни был, а живой. Сейчас добровольно явился. Надеется, прохвост, что всё сможет свалить на меня. Но я с девятнадцатого года живу под чужой фамилией. И все у меня чужое. И родители, и судьба. Только шрамы на лице мои и этот горбатый нос. Будь ты проклят, Аристарх Артемихин!



Глава двадцать девятая

Исповедь маслянинского отшельника

Исповедь Аристарха Артемихина

Знакомый шорох послышался мне. Неужели опять Савелий будет исповедоваться отцу Максиму? Нет, не он. Савелий тяжело опускается на колени. А этот неслышно – Аристарх. Слышу:

– Давно ли вы, Аристарх Кузьмич, были на исповеди?

*– Давно, давно. Более десяти лет назад… Я ведь с пятнадцати лет начал гонять гоньбу земской ямщины. До исповеди ли, когда каждый день одно и то же. К семнадцати годам за два года ямщины я, батюшка, признаюсь пред вами, помазанником божьим, с болезненным упрямством скупердяя, копейка за копейкой составил сбережение, на кои нанял людей и построил на окраине деревни Серебренниковой дом. Жадность задушила. Я ямщину гоняю, за пару лошадей в месяц до двадцати рублей откладываю, а еще брат и сестра. Кто они? Нахлебники! Вот и половинил прогоны. Одну часть отцу отдавал, а бо**л**ьшую припрятывал. Любил проезд на Егорьевские золотопромышленные приски. Проезд трактом, разъездов много. Провезёшь хорошо на квартиру или в заезжий дом, обязательно стакан вина подадут или десять – двадцать копеек сверх прогона. Нравилось, когда на Егорьевских приисках драгу держало английское ак-*

ционерное общество. Иноземцы платили чаевые всегда. Отец Максим, земляки мои, в большинстве спокойные и благородные, возненавидели меня. Не потому, что жаден, хитёр, эгоистичен, не потому, что не понимал шуток, с детства не знал развлечений и не имел друзей; они возненавидели меня за то, что я ушёл из родительского дома. В том, одиннадцатом году, ничто так не ценилось, как единство большой, крепкой, дружной семьи. Я должен благодарить родителей. Единственного меня из всей деревни отец возил в Маслянинскую школу три зимы подряд. Батюшка Максим, какой я подлец. Я отцу и матери сказал, что переезжаю в свой дом, тогда, когда тайно от родителей обвенчался с Федорой и повёз её не в родительский дом, в свой. Отец, Кузьма Корнееич, чтобы не было пересудов и разговоров, поделил всё своё имущество на четыре доли: на двух сыновей, на дочь и на себя с матерью. Я спросил отца: – «Это правда? Ты отдаешь мне долю!» – Отец ответил: «Выбирай. Только змеи глотают детёнышей».

К двадцати годам вытянулся я в изрядную сухостойную осину, отпустил реденький хвост на подбородке, сопливые усы. К этому времени приглядeлся мне дом в Маслянино, на речке Шеманаихе. Купил. Переехал от недружелюбных взглядов земляков, от родителей – подальше. Отец Максим, я недавно в глухом лесу в одиночестве осознал, какой великий грех на мне – непочитание родителей. Каюсь! Грешен!

Долго длилась тишина. Глубокое дыхание моих сокамерников доходило до меня, как приливы и отливы в несмолкаемом океане. В окно камеры пробилась одна звёздочка и водянисто дрожала. Но вот словно по каменистому дну зашумел ручеек – голос Аристарха.

– Хорошо помню день шестнадцатого июля четырнадцатого года. Где-то к четырем часам ночи подъехал к своей усадьбе. Распряг лошадей, дал им овса, взял почтовую сумку и направился к дому волостного старосты Семёна Емельяновича. Подошёл, светать начинало. Постучал в окно. Глянула на меня сквозь стекло заспанная жена старосты – Елизавета

Герасимовна, сдвинула шпингалет, открыла окно и говорит, ох, смешная баба: «Аристарх, никак в черёмушник звать пришёл? Зачем? Семён Емельянович и племянничек Михаил Прохорович на рыбалку уехали. До вечера не будут. Проходи в дом».

Краля она ничего. Сельские бабы судачили: водился за ней грешок. Постель мягкая, теплая; кожа у Елизаветы Герасимовны нежная, ароматом дышала. В былое, я за ней часто поглядывал, когда они с Семёном Емельяновичем по селу прогуливались: медлительная такая, важная. А на мягкой перине волчком так крутилась, что я подумал: мою бабу хоть до могилы учи этому делу, толку не будет.

Натешились мы, чайку попили, договорились, как через недельку ещё встретимся. Я картуз набекрень – и в двери. Тут она меня спрашивает: «К Семёну-то зачем приходил?» Вот башка. Я сумку свою как на сундук бросил, так она там и лежала. Достал из сумки пакет и подаю:– «Вот, из Барнаульской управы говорили: срочно доставить и срочно вручить».

Подошла она в нательной рубахе, грудями, что я малость времени назад с любовью жулькал, облокотилась об меня. Не пойму: или от ненасытности, или от ребячества. Бабы – они чаще мужиков в ребячество впадают: «Читай, Аристарх, что там?»

Меня руками поглаживает, губами облизывает, ногами притирается, грудями давит… Сомнение взяло: не рано ли картуз нацепил. Чувствую, прочту – и ещё на малое время задержусь. Дело стоящее. На конверте было написано: «Вскрыть немедленно». Я вскрыл пакет, развернул лист, поймал губы Елизаветы, она мне глазами подсказывает: брось, Аристарх, бумажку, потом…

И не то она меня, не то я её – в общем, нательных рубах между нами не было.

Прости меня, отец Максим, грешен.

Оделись мы. Она наливочки налила, колбаской с чесночком угостила. Пакет всё на полу лежал. Наше мужское дело, какое? Что ни делай, а домой идти надо. Поднял пакет, развернул лист и прочитал: «Государь император высочайше повелеть соиз-

волил. Привести армию и флот на военное положение. Первым днём мобилизации назначена пятница, восемнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года»

Вырвала Елизавета лист, пробежала глазами и зарыдала. Я спрашиваю: «Елизавета Герасимовна, что с вами?» – «Дурень ты, Аристарх, – говорит она в слезах. – Дурень. Весть-то ты какую страшную привез для баб! Я не о себе говорю… Мой-то стар… Не пойдёт на войну. Я о других бабах плачу… Опять они слезами зальются, опять малолеток на себя потянут. Война, Аристарх! Война!»

Аристарх долго молчал. Его тяжёлое дыхание доносилось до меня. Продолжил:

– С того восемнадцатого июля гонял я свою пару по Легостаевскому тракту в Ново-Николаевск и обратно. Новобранцев возил. Надо понимать, я не один. Всех ямщиков мобилизовали.

В день великомученника и целителя Пантелеймона, двадцать седьмого июля, велено было мне из деревни Пеньковой отвезти солдат: двух Огнёвых, Ташкина, Ударцева, Ульянова.

Приехал в деревню с представителем из Ново-Николаевска. Нам говорят: от дома Никиты Евсеевича Огнёва провожать будем. Подъехали к дому. Чудеса. Под широкой черемухой коромыслом столы поставлены, питием и провиантом обставлены. Во главе стола сидит в солдатской форме и при медали Евсей Каллистратович Огнёв да сын его в форме фельдфебеля, а крестов и медалей поперек всей груди, что звезд в ясную ночь.

Прапорщик глянул, за дом убежал. Почистился, форму привёл в уставной порядок, вышел строевым маршем. Все поднялись. Подходит к Огнёвым и докладывает: «Господин фельдфебель, кавалер полного Георгиевского банта, прапорщик Терентьев прибыл для выполнения приказа по сопровождению новобранцев в Ново-Николаевский шестой резервный полк. Разрешите приступить к выполнению задания?»

Никита Евсеевич повернулся к Евсею Каллистратовичу и спрашивает: «Солдат Евсей Каллистратович Огнёв, про-

славленный войн, ваши предложения по выполнению приказа командира шестого резервного полка?»

Евсей Каллистратович на полном серьезе – и где только у старика голос взялся – гаркнул: – «Выполнение приказа откладываю до шести утра двадцать восьмого июля. Господин прапорщик, у вас есть возражения?» – «Никак нет», – ответил Терентьев.

До поздней ночи Огнёвы рассказывали о русских войнах, о победах и поражениях. Их слушали не только новобранцы, вся деревня. Поминали погибших, славили героев, прославляли Русь.

Под утро ходки выстроились в ряд возле дома Огнёвых, харчи уложены, а все сидят за столом. Староста Иван Шмаков поднялся, перекрестился, прокашлялся. «Нелегкое дело вы мне поручили односельчане, – заговорил он. – Не получится, не обессудьте. Несколько недель живёт в нашей деревне молодая красавица, очень молодая… Жена новобранца Василия Никитовича Огнёва. Знаем мы, что она с детства на Егорьевском прииске работала. Не знакома с крестьянским трудом, не выращивала хлеб, не ходила за скотиной. Но что-то исходит от неё наше – будто от всех наших матерей она восприняла ласку и любовь к людям, от нас, мужчин – честь и прочность, от русской земли – веру и гордость, от наших сибирских просторов – голос. И с легкой руки Аристарха Красавы стар и мал нашей деревни величают её Варварой Ивановной. – Шмаков опять прокашлялся. – Прошу вас, Варвара Ивановна, спойте для наших солдат. Видите, все ждут вашей песни. В трудные минуты войны они будут помнить нас, эту сказочную черемуху и ваши песни. Прошу вас, Варвара Ивановна», – Шмаков поклонился.

Так я впервые узнал Варвару Ивановну. Поговорить мне с ней не удалось. Я сидел в конце стола, смотрел и слушал. Эти песни и сейчас звучат в моей душе.

Прошло чуть больше месяца. Если точно говорить – это было пятнадцатого сентября.

– Погоди, Аристарх Кузьмич, – перебил отец Максим. – Я помню этот день. Варвара Ивановна была в храме.

– И я помню, – вмешался в разговор Савелий. – Я из сторожки её увидел. Она вошла в калитку, прошла к лиственнице, к той, возле которой встретила Бориса Евгеньевича, обняла её, погладила, постояла в задумчивости и пошла в храм.

– Это было после литургии, – продолжал отец Максим. – Я увидел её и направился навстречу. «Здравствуй, Варварушка, солнышко ты моё», – поприветствовал я, взял её правую руку и поцеловал. «Здравствуйте, Максим Никодимович, – ответила она. – Благословите». Я перекрестил её, а она спросила: «Как здоровье матушки Александры, матушки Зинаиды, детишек?» – «Слава Богу, живы, здоровы. Очень хотели бы видеть тебя в нашем доме. Особенно я. Что ты смеешься, Варварушка моя пшеничная? Зашла бы на часок». – «Некогда мне, отец Максим. Привыкаю к крестьянскому делу. Новое всё это для меня». – «Да, это верно, – подтвердил я её суждения. – По записям моего дедушки твои с тысяча восемьсот двадцать восьмого года бросили хлебопашество. Отвыкли. Но дело это, Варварушка, большого полета. Господь Бог славил не искателей золота и серебра, хлебороба. Хлеб растить – в дом счастье приносить. Малороссы поют: что в поле зерно, то дома добро. Добро – это, Варварушка, не только богатство, а уют, честность, мир, лад, порядочность и здоровье. Проезжая мимо пшеничного поля, во мне всё перерождается, молодею, пьянею от прилива крови. Не много нам надо хлебушка на семью, и без своего посева обошлись бы, а не могу. Весна наступает – руки начинают чесаться. Как за соху возьмусь, всё проходит. Зайди ты, Варварушка, в наш дом, хоть на несколько минут. Посмотришь, как я тебя нарисовал». Отказалась. Передал я ей, что был у меня Илья Потапович Иванов, недовольство высказал; давно не была на могиле у отца. Передал и то, что слухи пошли, будто барон Остен – Сакен, владелец Егорьевских приисков, думает рядом с могилой Ивана Гордеевича, отца Варвары Ивановны, шурфы пробивать… Она мне и говорит: «Вы, батюшка Максим, предложите старателям хоронить

умерших рядом с могилой отца. Не насмелится иностранец осквернять русское упокоище». – «Дело это, дело, – ответил я. – Обязательно передам».

Проводил я Варварушку до калитки храма, а через малое время домой направился. Захожу в свой кабинет – и ноги подкосились, нет нарисованной Варвары, нет картины. Я все комнаты обежал, матушек созвал и требую дать ответ: куда дели картину. Они знать не знают. Вот срам-то, согласись Варварушка в гости заглянуть. Я весь вечер и ночь просидел за столом при зажжённой лампаде: то плакал, то улыбался. Плакал потому, как дитя украли, а улыбался оттого, что мазню не крадут.

– Отец Максим, – запричитал Савелий, – ради Бога простите. Простите. Это я украл у вас картину!

– Как?! – удивленно протянул отец Максим. – Савелий Дмитриевич! Вы украли?! Да никогда не поверю. Вы не способны на кражу! Вы?!

– Я украл, я, – зарыдал Савелий. – Простите ради Бога… Когда Варвара Ивановна обнимала лиственницу, я ещё больше уверовал, что у неё чувства к Борису Евгеньевичу от души и сердца. Я схватил покрывало и направился к вашему дому. Окно в вашем кабинете было открыто. Я пролез, снял картину, завернул её в покрывало и вылез в окно. Видели бы вы меня, как я, словно юнец, бежал к храму, а там, у себя в сторожке, поставил картину за комод.

– Так она у вас? – спросил отец Максим.

– Нет её у меня, не переставая плакать, ответил Савелий. – Вот ему, Аристарху, я тогда отдал. Он собирался в Ново-Николаевск племянника волостного старшины отвозить – Михаила. Я сколотил ящик, подниз настелил разных трав, на них завернутую в покрывало картину, ещё её мхом завалил. По уговору с Аристархом, он перед поездкой зашёл в сторожку и взял ящик. Я ему сказал: «В Ново-Николаевске, на улице Асинкритовской, живёт в собственном доме лекарь Смирнов. Ему передадите этот ящик. Здесь травы».

– Так вы не только прелюбодей и вор, а ещё и лгун! – жёстко произнёс отец Максим.

– Простите, простите, батюшка. Что я Аристарху мог сказать? Вот де, Аристарх, украл я картину, а вы её дальше отвезите. Он подлец высшей марки, меня бы приставу заложил.

– То, что я подлец, Савелий Дмитриевич, это верно. Но вас я бы не заложил. Я ведь не заложил… – проговорил Аристарх.

– Что ты, Аристарх Кузьмич, этим хочешь сказать? – поинтересовался Савелий.

– То хочу сказать, как всё на самом деле свершилось пятнадцатого сентября. Я с этим ящиком провозился больше часа: и так его пристраивал, и эдак, а он в моём ходке не помещался. Проклял себя, что за рублёвку позарился. С трудом привязал его под ходок. Подумал: ну, где потеряю – небольшая ценность, целебных трав у нас море…

Ближе к обеду отправились в путь. Я погоняю пару, за мной сидит Михаил: костюмчик из чистой шерсти, шляпа цилиндром. Сидит, орешки пощёлкивает. Я несколько раз поворачивался назад, намекал взглядом: и я не прочь пощёлкать. Но встречал мрачный и прямо зловещий взгляд. Лицом Михаил выглядел неплохо. Такой широкий лоб, анюткиным цветом глаза, румянцем наливные губы. Вот только нос торчал чуть продолговато и коромыслом.

За деревней Стрельней мы нагнали Варвару Ивановну. Я чуть попридержал пару, думал: Михаил велит мне остановиться, по пути ехать, и предложит Варваре Ивановне сесть. В ходке места много. Повернулся, посмотрел на него, он, как покойник, ни одного движения на лице. Проезжаем мимо Варвары Ивановны, я её поприветствовал, чуть развел руками, показывая, ямщик я – извините. Она выглядела хорошо. От малого ветерка развевался серый с голубыми цветами сарафан, белая блузка обтягивала ее полную грудь, а русая косища аж оттягивала её голову назад, отчего казалось, что она идёт горделиво и уверенно. Как бы сказали городские: красота её лица и гармония тела обвораживали.

Обогнали мы её, дорога свернула налево. Березовый колок спрятал от нас Варвару Ивановну. Слышу, Михаил спрашивает: «Сколько стоит твоя пара?»

Я повернулся и столкнулся с холодным взглядом. Отвечаю: «С повозкой все пятьсот».

Знаю, цена моей пары не более двухсот рублей. Ляпнул так, чтобы отвязался. Чуть повернул голову, скосил глаза, смотрю, Михаил достал портмоне и небрежно большими купюрами отсчитывает. Я глазами слежу за его движениями и думаю: «Эх, продешевил!» Михаил протянул деньги: «Бери и проваливай…».

Я чуть натянул вожжи, хвать деньги и вон из ходка. Забыл я тогда, отец Максим, про ящик, что вручил мне Савелий Дмитриевич. Не до ящика было. За пятьсот рублей я могу тройку купить и карету с рессорами. До травок ли? Я не стоял на дороге и не смотрел вслед удаляющейся паре с новым ящиком. Я бросился в березовый колок, нашёл островок боярышника, сел под него и поспешно пересчитал деньги. Было ровно пятьсот рублей. Денег было столько, сколько я никогда не держал в руках. И они были мои. Деньги выдавили из моей утробы жиденький рвотный смех. Я разложил деньги на травку, каждую купюру подносил к губам, целовал с треском и опять раскладывал. Мой тихий смех и клокочущая буря радости внутри, деньги отбросили от меня все, что окружало меня. Где-то на двадцатом или тридцатом пересчёте денег я вспомнил про Варвару Ивановну. Я поглядел в сторону дороги. Варвара Ивановна была от меня не более как на расстоянии двадцати саженей. В голове просквозила догадка, отчего Михаил купил мою пару. У меня появилось желание крикнуть Варваре Ивановне, предостеречь, предупредить. Но мысль, что, кроме пятисот рублей, я могу вернуть задарма свою пару – одолела. Рот онемел. Да и Варвара Ивановна не из барского гнёздышка. Она росла в том окружении, которое составляет не столько костяк настоящих золотодобытчиков, но больше опустившиеся в мир пьянства и безнравственности, исковерканные судьбой старатели..

Я собрал деньги, разложил их по карманам пиджака и, пригнувшись к земле, обходя кустарники, как лиса, бесшумно шел, не теряя из вида Варвару Ивановну. На пути мне встретилась

большая деляна из кустарников шиповника, я стал обходить её, потом боярышник – и углубился от дороги. Я оказался в плену, бегая то в одну, то в другую сторону, в надежде вырваться из зарослей, всё больше удалялся от дороги. Выругался и полез по чаще, не переживая, что шаровары и пиджак трещали, картуз где-то остался висеть на сучке. Вылез на дорогу. Побежал в сторону деревни Пеньковой и тут до меня, совсем близко в стороне от дороги, послышался грохот, треск и стоны. Я, согнувшись, перебежал дорогу, приподнялся и под согрой увидел на боку мой ходок, метрах в десяти от лошадей Варвару Ивановну и Михаила. Я упал и ползком пополз в их сторону.

Варвара Ивановна извивалась на густой сухой траве, и я слышал, как потрескивали под ней стебельки. Она яростно била Михаила ногами; лбом разбила его губы, кричала: «Подлец, зверюга горбоносая! Отпусти, отпусти! Не позорь своё православное имя!»

Отец Максим! Савелий Дмитриевич! Ну почему я не вышел? Я бы справился с ним в два счета. Ан нет. В голове закружилась думка: пробраться к ходку, поставить на колеса – и вперёд… Да и будет ли племянник волостного старшины ловить меня? Он плотским делом занят.

Я вытянул голову вперёд, приподнялся для нескольких прыжков к ходку. Вижу, Михаил поднимается, натягивает брюки и спокойно произносит, на лице какое-то пренебрежение: «Ты, баба, зла не имей. Вот тебе триста рублей за твою разбитую коленку и за мое удовольствие».

Варвара Ивановна с трудом поднялась. От правой коленки вниз по ноге бежала кровь. Губы её побелели до того, что еле выделялись на бледном лице. Михаил с каким-то врождённым хладнокровием, самоуверенно, будто всё что произошло естественно и никаких последствий не может быть, размеренно подошёл к Варваре Ивановне и протянул руку с деньгами. Я заметил на его лице ехидную улыбку. И, знаете, отец Максим, о чём я подумал: изнасильничать ты, Михаил, смог, а вот сейчас, когда она не под тобой, сможешь ли ты справиться. То, что она деньги не возьмёт, я в этом был полностью уверен. «Ну, уж, господин, погоди расчёт давать, – заговорила Вар-

вара Ивановна. – Я тебе за твоё удовольствие на всю жизнь память оставлю…»

Она прыгнула к ходку, схватила валяющийся на земле бич, размахнулась и издали резко пустила бич в лицо Михаила. Щелчок бича прошёлся по левой щеке; она разорвалась. Михаил приложил ладонь к щеке, а Варвара Ивановна забросив бич за себя, вновь направила его в лицо Михаила. Он прикрыл лицо обеими руками, она обходила его, пуская бич в лицо, в голову. Михаил ревел, кричал, побежал в березняк, но она опередила его и, пуская бич, гнала к дороге. Я в страхе смотрел на эту бойню. Михаил оказался возле ходка. Под его ногами валялся баул. Михаил нагнулся над баулом, открыл его, вырвал оттуда револьвер и направил на Варвару Ивановну. Я посмотрел ему в лицо. Лица нет – сплошная маска крови. «И ты у меня расчёт получишь!», – крикнул Михаил. Варвара Ивановна чуть отступила, потом прыгнула боком влево, согнулась, прыгнула направо, перевернулась, высоко подпрыгнула и, ещё не приземляясь, пустила бич в правую руку Михаила. Револьвер упал, а его рука оказалась обвита несколько раз бичом. Варвара Ивановна рванула бич на себя, Михаил потянулся за ним и упал. Да, не зря мне говорили, что старатели боялись близко подойти к шурфу Ивана Гордеевича Щукина не из-за прирученного волка, а из-за дочки-малолетки.

Я приподнял голову, дрожь прошла по всему телу. Варвара Ивановна стояла напротив Михаила, в её руке был револьвер. Она взвела курок: «Не хотела я тебя убивать, брызгалка, но ты сам пожелал», – произнесла она.

Я не сомневался – убьёт. Михаил упал на колени и зацокал:

«Христом Богом прошу, не убивай. Я богат, очень богат. Я куплю тебе всё, что ты пожелаешь. Не убивай… Я люблю тебя…»

«Не поганься, мужик! Драть сарафан смел… Трус и гнида горбоносая», – произнесла Варвара Ивановна и выстрелила.

Михаил ткнулся головой в землю. Я пополз от того проклятого места. И верьте мне, – ассигнации в кармане зажгли моё тело. Но коль душа проваливается в бездну алчности – её не остановишь. Я знаю, кто его убил! Варвара Ивановна! А о том,

что я Михаилу продал пару с ходком кто знает? Пойду, брошу убитого в ходок, и в Маслянино. Спросят: «Кто убил?» «Отвечу: «Варвара». «За что?» – «Откель я знаю? Я племянничку старосты по его просьбе, ежевику собирал».

Подполз к ходку. Поставил его на колёса, лошадей запряг как надо, взялся за вожжи, а за моей спиной голос Михаила: «Пошёл вон, мразь…»

Я и пошёл. Поднимаясь на обочину, смотрю, за берёзовым пнём ваш ящик, Савелий Дмитриевич, лежит. Знать, когда Михаил круто повернул с дороги, колесо угодило на пень; ходок в одну сторону полетел, ящик в другую…

Старец, я лежал лицом к стене и готов был крикнуть: не так это было. Врёшь, Аристарх! Но я молчал, закусив губы. Всё произошло именно так. Первые шрамы на моём лице появились в тот сентябрьский день. И всё же Аристарх исказил истину. На моём лице не было ехидной улыбки. Потому как права была Варвара Ивановна, пуская в меня оскорбительное слово брызгалка. Не такого удовольствия я хотел.

Я кое-как перебинтовал лицо и до темноты сидел в ходке. Ночью отправился, но не в Новониколаевск, а в Евсино. Там жил друг моего детства, приказчик мануфактурной торговли Роман Дьяченко. Он тайно пригласил лекаря в дом, и тот, как умел, так и заштопал мою кожу и простреленное ухо. В доме Романа я провел три недели. Мной владел бессильный гнев и стыд за те минуты, когда хлестала меня Варвара. И за лепет на коленях. Я не винил себя, что насильственно овладел Варварой. Я упорно отгонял и не желал думать о своём преступлении. Сожалел, что не убил ямщика.

Часто спрашивал себя: всё ли видел ямщик? Особенно, видел ли он меня на коленях.

Не утаю, старец, я вспоминал и красивое лицо Варвары, её белизну кожи, горячо дышащие ароматом губы.

Но с того сентябрьского дня меня будто подменили: я стал нелюдим, раздражителен. Часто впадал в отчаяние, отчего

готов был лишить себя жизни. Прошли годы, старец, я сожалею, что не расквитался с жизнью тогда… После того сентябрьского дня, я утратил веру в себя; во мне зародилось сомнение в своих собственных силах и как мужчины, и как человека.

Слышу, отец Максим шепчет:

– Аристарх Кузьмич, крестил-то сына Варвары Ивановны я. И дал ему имя Иван. Помню, как расстроил Варвару Ивановну в тот день. Неведомо почему, но я спросил ее: «Господи, Варварушка, как это тебя угораздило горбоносенького родить?» Она прикрыла глаза, утопила взгляд в пол и ответила в слезах: «Не теребы душу, Максим Никодимович. Не надо. Не по моей воле это произошло». Я прижал её к себе и пробормотал; «Молчу, дорогая моя, молчу».

И тут отец Максим повысил голос:

– Аристарх, не томи душу. Картина моя где? Картина?!

– Вышел я с ящиком на дорогу и задумался, куда направить свои стопы, – продолжал Аристарх. – К моему счастью, вереница подвод – крестьяне из Маслянина, Мамонова и Александровки – ехала в Новониколаевск на ярмарку. Пристроился я на одной подводе и благополучно прибыл в город. Дом лекаря Бориса Евгеньевича на Асинкритовской, рядом с военным лазаретом, показал первый встречный. Лекарь был удивлён, когда я ему вручил ящик. Служанка, баба Марфа смеялась: «Ты, Боренька, бросай свою хирургию и приступай к знахарству. Травы есть».

Лекарь обходительный. Велел стол накрыть. Когда узнал, что я на ярмарку прибыл, то приказал служанке комнату мне приготовить, чтобы, значит, у них жил. Ушёл он в больницу. Мы с бабой Марфой ящик распечатали. Смотрим – мох. Бабуся смеётся: «Савелий Дмитриевич видно спятил от постоянного звона». Она печь разожгла и мох туды. Я вынул рамку, завёрнутую в покрывало, развернул и обомлел. Дрожь прошла по моей коже. Смотрит на меня Варвара Ивановна, и блузочка белая с черными горошинами, и сарафан…

Отлепились руки мои от картины, упала она на пол, я на

колени. Смотрю в лицо Варвары Ивановны и слышу, она мне говорит: «Аристарх, а если б вместо меня была твоя Федора, как бы ты поступил?» – «Прости, Варвара Ивановна, прости, – кричу. – Век этот грех с себя не отмою». Бабуся теребит меня за плечо: «Что это ты, Аристарх, прощения перед картиной просишь? Что там, в Маслянино, все с ума посходили что ли? Один картину вместо трав отправляет, другой на коленях, как перед иконой, молится». Я не то что молюсь, слезами залился. Так в слезах и выбежал из дома.

Осталась ваша картина в доме лекаря Смирнова, отец Максим. Грешен я, отец Максим!

Аристарх помолчал. Потом заговорил более спокойно.

– В Ново-Николаевске всё же купил я себе пару лошадей, карету с рессорами, постепенно стал забывать тот сентябрьский день.

По первому снежку отвёз новобранцев из Матрёнихи в Ново-Николаевск. Вернулся в Маслянино. Намерен был денёк-другой отдохнуть. Тут за мной прибегает волостной посыльный и передаёт: «Срочно беги в дом старосты. Жена его – Елизавета Герасимовна – требуют». Сам таинственно улыбается…

В радостях спешил к дому старосты. Довольствие имел на перине поваляться, белое тельце погладить. Предстал пред её очами незабудковыми, губками медовыми, она меня молотом: «Семён Емельянович получил письмо от любимого племянничка Михаила. Требует тот, чтобы мерзавца ямщика, кто вёз его из Маслянино, отправил дядя на фронт. Жалуется племянник, что, пока вы ехали, этот негодяй ямщик всякими нецензурными словами Михаила оскорблял и стращал убить». И потребовала Елизавета Герасимовна, чтобы я срочно ехал на пасеку к Семёну Емельяновичу, пал на колени, и в слезах просил не отправлять на фронт.

Вот тут-то меня и подняло. Что я, хуже других?! Что я не могу постоять за Россию?! Каюсь, отец Максим, грешен я с детства и непослушанием родителей, и жадностью, и прелюбодеянием, и…

Что дальше говорил Аристарх, не мог я уловить тихий его голос.

Старец, ещё малое время о чём-то пошептались мои сокамерники и разбрелись по нарам. Я лежал, улавливая дыхание их. Уснули все. Пора. И вместо того, чтобы просить прощения, решил задушить Аристарха. Я поднялся и в сплошной темноте, вытянув руки, пошёл к нарам Артемихина. Вот он, на сегодня мой самый злейший враг. Только согнулся, чтобы на ощупь поймать глотку Аристарха, как почувствовал на своей шее чьи-то сильные пальцы, которые сдавили меня так, что казалось глаза, вылезли из орбит. Чужие руки на моей шее подняли меня, как половую тряпку пронесли по камере, к моим нарам и, когда я уже чувствовал необычный прилив в голову и плывущие круги в глазах, руки разомкнулись на моей глотке, а голос прошептал мне прямо в ухо: «Миша, не шали». Это был голос Савелия Дмитриевича.

Шестнадцатого декабря мы в камере остались вдвоём: я и Артемихин.

– Господин штабс-капитан, нам надоть поговорить, – произнёс стальным голосом Аристарх.

Я поднялся с нар.

– Вы к кому обращаетесь? – спросил я, как бы недоумевая.

– К тебе, к тебе, господин штабс-капитан. И не придуривайся. Как это у тебя поднялась рука написать на Варвару Ивановну? Мерзость ты поганая! Ты её обесчестил, ты убил её мужа, и ты ещё захотел осиротить своего же сына!

– Я не писал! – крикнул я.

– Нас двое, штабс-капитан, – двое осталось свидетелями той усть-травянской трагедии. Я не писал. Ты не писал. Варвара Ивановна сама на себя написала? Так, что ли? Имей мужество, погань, хоть перед смертью не врать!

– Был ещё один. Тот, который в меня стрелял.

– Да, был. Но он не из того теста, что мы с тобой.

Аристарх быстро и резко ударил меня сложенными кулаками по голове. Я от боли упал. Он пнул меня сапогом в пах, в

незаживающую рану. Я вскрикнул и потерял сознание. Как бы сквозь сон услышал голоса. Кто-то спрашивал:

– А что эта Валаамова ослица на полу лежит?

С трудом признал голос Савелия.

– Подыхать собирается, – ответил Аристарх. – Хотел помочь ему, да не получилось. Противно, Савелий Дмитриевич, противно убивать. А особенно такую мразь.

Господи, прости! Кого я приволок в свою землянку! Кого я лечил и лечу! Зачем я сотворил с его телом дело, которое дало ему силы говорить! Господи!

Я выскочил из землянки и побежал к Крутишке. Пригорок пологого сжимался к воде. Прохлада ночи обвила мою горевшую жаром голову. За мной верещал голос Михаила:

– Старец! Старец!

Воспалённый мозг мой прокалывался да прокалывался мыслями далёкими от здравого понятия. Исповедь Михаила покрыла мой разум мраком.

Внучек мой! Ваня! Если верить словам Михаила – ты не внук мне. Я обливал из ручья водой лицо, голову и говорил себе: ты об этом догадывался. А мысли в голове метались, голос бормотал:

– Внук мой – не внук мой! Чужие дела, чужие дела… Сколько боли в сердце… Вот он, насильник моей невестки, а я его лечу.

Рука коснулась моего лица. Я вздрогнул: «Если это Михаил, я убью его». Повернул голову. Милое лицо в белом платке, с прямым перегибом на висках, склонилось мне на плечо.

– Настасья, взревел я. – Настасья! Нет моих сил…

Да внучек, после исповеди Михаила решил я приоткрыть завесу того далёкого сентября 1914 года.

Всю ночь ходил тенью за Варварой. Под утро она села на лавку, под черёмуху, позвала нас с Пелагеей. Сели мы. Пелагея обняла Варвару, спросила:«Нога болит»?

«Мама, не нога болит, а душа», – отрешённо ответила.

«Варварушка, кто он? Кто на святое пошёл насильством?»

«Кто он – не знаю. Но в церкви, когда мы венчались, видела его. – Варвара повернулась в мою сторону. – Отец, не убила я его. Промазала. Только ухо прострелила. Где встречу – узнаю. Я на память ему бичом и губу порвала. – Она поднялась с лавки. – Не вздумайте больше ходить за мной. На грех не пойду. Знать, где-то сама виновата перед Господом Богом, не в делах, так в мыслях, что он мне вместо сероглазого ангела горбоносого дьявола направил с повелением…»

Внучок, прошло столько лет. Я узнал, кто насильник. Узнал, кто твой отец.

С закатом солнца я появился в келии. Михаил внимательно осмотрел меня.

– Вы плакали? – спросил он. – И я недавно плакал. Отчего? Успею, расскажу. Наступил новый день. Арестантов отправили на работу, я остался лежать на нарах. Болела шея, болела душа. Если Савелий узнал меня, Аристарх узнал, то, значит, узнал и отец Максим, а нет – они расскажут ему, кто я. Негодовал, почему Варвару привезли судить в Ново-Николаевск. Могли бы провести суд в уездных городах: Черепаново, Барнауле. Так нет, привезли в Ново-Николаевск! Страх вселился в мою душу; мне нельзя выходить из камеры, пока не пройдет этот суд. Случайно могу встретиться с Варварой, свидетелями. Если уж Артемихин вышел из леса и добровольно сдался, чтобы свидетельствовать, то, безусловно, много понаехало из Маслянино. А там в какой только деревне не видели моего изувеченного лица! Но мой главный и первый враг на сегодня был Артемихин.

Старец, Аристарх прав. Я действительно писал письмо дяде Семёну Емельяновичу.

Я приехал из Евсино в Ново-Николаевск второго октября. И отправился не домой, а в воинский мобилизационный пункт. Меня зачислили в качестве унтер-офицера в резервный батальон. Я воспротивился и написал прошение о зачислении меня в первую же маршевую роту. Я понимал: рано или поздно весть

о моём преступлении дойдет до Ново-Николаевска. Аристарху нет резона вечно молчать. Это повлияло бы на дела отца, не отвертелся бы и я от каторги.

Моя просьба была удовлетворена. И уже через две недели я находился в двести сорок четвёртом Красноставском полку. Я с боями дошёл до Кракова, потом провёл всю Русско-германскую кампанию.

В тысяча девятьсот пятнадцатом году после ожесточённых Карпатских боёв был представлен в чин прапорщика. В конце пятнадцатого года получил чин штабс-капитана. В августе шестнадцатого года я был назначен командиром роты разведки. И тут случилось то, чего я никогда не мог предположить. Знакомясь с вверенной мне ротой разведчиков, я увидел среднего роста скуластого солдата, весьма похожего на жениха Варвары, которого я видел в церкви Николая-угодника четвёртого июля четырнадцатого года.

Чтобы убедиться в правоте своей памяти, я подошёл к солдату, на груди которого, красовался Георгиевский крест и спросил: « Откуда родом?» Солдат бойко ответил: «Томской губернии, Барнаульского уезда, Николаевской волости из деревни Пеньково. Рядовой Василий Огнёв». И пока всё это произносил Огнёв, я чувствовал, как мои шрамы на лице налились краской.

И ещё одно знакомство поразило меня в тот день. Оклеветал Аристарха, а невдомёк мне было, что на передовой увижу высокого, худощавого солдата, услышу, не рабский заискивающий голос, а стальной, жесткий. Он – этот голос – и сейчас звенит в моих ушах: «Рядовой Аристарх Артемихин».

Старец, нет смысла исчислять грехи мои за годы войны, но об одном тяжком и неискупном должен рассказать.

Я настаивал перевести меня в другую роту – мне отказали. Просил, откомандировать в высшую школу офицеров – не отпустили. Искал смерти в бою. Но пуля меня не брала. Мысль убить Аристарха не давала мне покоя. На самые опасные вылазки, в самый кромешный ад я брал его с собой. Я ждал случая

и дождался. В одном из тяжелейших боёв увидел, как лихо расправился Аристарх с двумя немцами, и мы остались двое. Я направил револьвер Аристарху в грудь. «Брось винтовку», – приказал я ему. Он нехотя бросил винтовку, посмотрел мне в глаза, проговорил: «Я думал, ваше благородие, вы умнее. Мы в первый же день, как вы появились в нашей роте, сговорились с земляком Василием оберегать от вас друг друга. Спрячьте револьвер, не то Огнёв продырявит вас». Я огляделся, и увидел за сосной ствол, направленный в мою сторону и скуластое лицо.

Да, старец, не всегда мы способны познать глубину сердца другого человека, но и не всегда способны скрыть тайну души нашей.

Я выстрелил в Огнёва. Ранил его. Он выронил винтовку, схватился рукой за плечо. Я прицелился ещё раз, но получил сильный удар в голову. Я упал. Солдатским сапогом Аристарх наступил мне на руку, которой я сжимал револьвер.

«Ну и подонок же вы, ваше благородие, – спокойно проговорил Аристарх. – Уходите. Сегодня я вас убивать не буду. Но если умрет Василий – вам не жить».

Второй раз в жизни я оказался в самом униженном состоянии. Я готов был просить Артемихина убить меня, но молчал. Аристарх взял из моей руки револьвер, разрядил, приподнял меня, сунул револьвер в мою кобуру и сильно ударил в лицо.

Старец, я стоял на коленях, ударялся головой в труп немца и словно сумасшедший орал околесицу. В душе у меня всё перевернулось. Кому я буду завоёвывать победу? Артемихину? Огнёву? Этой неотёсанной, безграмотной быдле? Нет, увольте. Я написал прошение на отпуск и покинул навсегда двести сорок четвёртый полк шестьдесят первой дивизии.

Потом, уже в Ново-Николаевске, я узнал из письма земляка Вениамина Никольского, которому передал роту, что Василию Огнёву в лазарете сделали операцию и вынули пулю. И он опять воюет. Артемихин был в ближайшем бою контужен и после излечения демобилизован.



Глава тридцатая

Исповедь маслянинского отшельника

– Проскрипели двери камеры. Ввели отца Максима. Немного спустя появился с улыбкой на лице Савелий, следом и Аристарх.

Савелий быстрыми шагами приблизился к отцу Максиму, приложился к его руке. Быстро проговорил: «Рад, батюшка Максим, что вижу вас. Рад. У нас каждое утро и вечер в радости, если мы живы… – Савелий подбежал к Аристарху и обнял его. – Други мои, Господь Бог наделил меня сегодня большой-большой радостью – дал возможность совершить поклон самому отцу Василию. Он от меня был в ста саженях. По росту я определил его. По внешнему виду – нет. куда там! Даже волосёнки на бороде, и те, кажется, похудели, поредели… Он меня узнал. Крикнул: «Звонарю Савелию здравие и поклон!» Я не смог приложиться к его руке. Издали получил благословление, он перекрестил меня».

Мои сокамерники растянулись на нарах. Я вздремнул.

Проснулся от шёпота. Отличил голос Савелия: «Матушка ваша, отец Максим, после смерти Никодима долго маялась. Не могла себе места найти. Металась. Малое время пожила у брата в Егорьевске, потом в Маслянино. А там уговорила меня поехать с ней в Ново-Николаевск, быть дворовым. Я согласился. Отвечал за водичку, тепло в доме, мыльню и лошадку. А в основном за вас, сыновей Никодима: Максима, Николая, Фёдора».

Слышу, Максим своим нежным тенором просит:

«Савелий Дмитриевич, я прошу вас: удовлетворите желание Аристарха, расскажите про отца Василия».

Савелий откашлялся: «Несколько месяцев стоял в пустоте молитвенный дом. Епископ Макарий обещал прихожанам подобрать пастыря, достойного отца Никодима. Время шло. В феврале девяносто седьмого года прибыл в Ново-Николаевск отец Василий. Почти вся моя жизнь прошла в общении с пастырями. Всякие встречались. Но отец Василий – исключение.

Подъезжают сани к вашему дому. Я в окно поглядел, вижу, кучер сидит на облучке. За ним пристроился как бы на сундуке священник без головного убора, а рядом с ним милая девушка. Спрыгнул с саней священник, я обомлел – роста он невероятного, в сажень, не меньше. Берёт на руки девушку и подходит к воротам. Выскочил я, открыл калитку. Он мне говорит: «Савелий Дмитриевич, кликай матушку Александру. Коллега по Егорьевской школе Василий Алексеевич Посельский прибыл. А ныне отец Василий. И скажи: не один, с матушкой Марией. А мы покуда постоим, малость разогреемся».

И давай девушку, что на руках была, бросать вверх и приговаривать: «Летай, пташка, к солнышку, летай, пташка, к ясному…»

Девушка его просит: «Василько, на снег не бросай, под шубой у меня лампа твоя любимая».

Я-то отца Василия, тогда ещё учителя Василия и учительницу Марию, считай, что и не видел. В особняке Ляпина они присутствовали. Но я в тот вечер никого не видел. Все мои мысли витали в забытье о матушке Юлии. Передали мне, что она не приехала из-за болезни. Я-то Евдокию Щукину приглашал на танец, как муж её Иван очень просил. Чтобы полковник Ляпин не уволок её в круг. Евдокия молодец: и со мной не пошла, и полковнику отказала.

Передал я матушке слова отца Василия. Она без полушалка выскочила на мороз. Отец Василий поставил на ноги девушку, схватил матушку вашу, да как подбросит в небо, аж туфельки разлетелись. Потом давай они трое целоваться, обниматься, охать, плакать… Еле их в дом загнал.

Чуть попожжа узнал, что отец Василий – сын священника. Учился в Воронежской духовной семинарии. В восемьдесят втором году за то, что переводил книгу Маркса «Святое семейство», был отчислен. После женитьбы на девице Марии переехали они в Сибирь и работали в Егорьевской школе. Он преподавал словесность, а она всеобщую историю.

Матушка ваша предложила чете Посельских остановиться у неё. Они наотрез отказались.

Отец Максим, вот я думаю: каково отцу Василию и матушке Марии? Глумятся над ними. Они по простоте своей все свои сбережения пускали на просвещение детей рабочих, на свои средства открыли женскую школу, библиотеку. Вот русская душа: не копили они богатства, не роскошничали, не одаривал он бриллиантами матушку Марию… Всё, всё пускали во имя светлого, никогда не умирающего дела – просвещения русского человека.

Савелий Дмитриевич продолжал: в тот год матушка Александра решила переехать в Маслянино и всю жизнь посвятить только вам. С большим сожалением провожали её горожане. Знали: померкнет огонёк народного театра, повесят замок на общественную библиотеку, на долгое время прервётся желание детей учиться. Меня она попросила присматривать за вашим домом.

…А мы с отцом Василием продолжали богоугодное дело. Пятнадцатого мая девяносто седьмого года заложили крест для будущего кирпичного храма во имя Александра Невского.

Прихожане и батюшка Василий доверяли мне всё. Я и за казну отвечал, и каменщиков нанимал, и договора на поставку строительного материала заключал. В помощниках нужды не ощущал. Инженеры, техники, мещане и простые крестьяне по утрам кучковались возле возводящегося храма, и все предлагали свои мастеровые руки.

Бригаду каменщиков возглавлял Иван Покрышкин. Великим искусством он обладал – создавать божественные храмы. А по годам – юнец. По характеру – бесшабашный. Вспоминаю

один случай, отец Максим. Вошли мы с отцом Василием в храм. Я глянул вверх, на леса, на несведённый купол; небо виднелось чистое, глубокое. С верхотуры Иван крикнул:

«Здравствуйте, отец Василий!»

Батюшка ответил: «Добрый день, Ванюша. А пошто ты не подвязан?»

«Да неудобно с верёвкой на поясе купол сводить».

«Неудобно, Ванюша, но надо. Прошу, подвяжись. А где подсобные?»

«Чаёк пошли пошмыгать».

Одному купол сводить неудобно и опасно. Отдохни», – предлагает отец Василий.

«Отец Василий, – отвечает Иван, – разве это мне впервой? Вот уж третий купол свожу…»

Тут я услышал треск. Глянул, Ванюшкины ноги в воздухе болтаются. Он пальцами ухватился за настил и обращается к отцу Василию: «Отец Василий, отойдите чуток в сторонку, как бы я вас не задел, падая».

А высота-то вон какая!

Батюшка кричит: «Ванюша, держись! Держись, сынок!»

И я кричу: «Ваньша, забодай тебя комар, не смей без команды батюшки руки от тесины отцеплять.

Отец Василий снял рывком рясу, взялись мы за подол и рукава, натянули. Батюшка прибросил глазами, отодвинул меня в сторону и возвестил: «Ванюшка, с Богом, лети!»

Полетел Ванюшка сперва свечой, а потом согнуло его и спиной пал на святое облачение. Мы с батюшкой от его тяжести лбами так стукнулись, что меня закружило, а шишак месяц не сходил.

Ванька поднялся без нашей помощи, поцеловал руку отца Василия и, не дожидаясь благословения, пошёл к западным дверям храма. Я глянул, а там девица Аксинья, что нянькой у вас, отец Максим, была, платок у глаз держит. Подвёл Иван Аксинью к Отцу Василию, поклонился ему: «Вот, отец Василий, невеста моя. В какой бы день ни родился у нас сын, окрестите его по нашей просьбе Василием. Знать, в вашу честь».

При нас грешник поцеловал Аксинью и полез на леса.

В ноябре девяносто девятого года кирпичный храм построили, приступили к внутреннему убранству. И тут восемнадцатого ноября получаем от Государя Императора шесть тысяч пятьсот рублей. А в телеграмме всего несколько слов: «Жертвую на сооружение иконостаса собора Александра Невского».

Ещё через неделю прибыл нарочный от императрицы. Мария Фёдоровна подарила образ Георгия Победоносца на левый престол храма и для облачения священников парчовые покрова с гроба наследника Георгия Александровича.

Освятил епископ Макарий собор Александра Невского двадцать девятого декабря девяносто девятого года, а чуть позже в этом храме обвенчались Иван и Аксинья.

На радостях, в честь освящения храма, отец Василий тридцать первого декабря устроил у себя в доме ёлку для малоимущих детей.

Пристав, коллежский советник Иван Копейкин, и его помощник, бывший хорунжий Оренбургского казачьего войска Григорий Лебедев, стражники посёлка несколько часов не сходили с коней, пока не объехали с приглашениями, написанными отцом Василием.

Я был одет в генеральскую форму. С семи часов вечера встречал приглашённых у парадного крыльца. Господи, с каким трепетом приглашённые дети от семи до двенадцати лет воспринимали мои действия! Я отдавал каждому честь, брал под руку и вёл к раздевалке. Там помогал снять чаще всего старенькое демисезонное пальтишко, подшитые валенки и вёл в зал. Больше часа я встречал гостей и уже честь отдавал не только мальчишкам и девчонкам, а всем, кто мне встречался: отцу Василию, матушке Марии, супругам Горловым, поварам, прислуге…

В девять часов вечера началось гулянье. Господи, каким ещё молодым был тогда отец Василий! Он не выходил из круга. С детишками пел, плясал, играл в различные игры, разносил пирожки, шаньги, сладости, чай…

Без двух минут двенадцать мне велено было трубить в горн.

И только я протрубил, как открылись парадные двери и вошли Дед Мороз и Снегурочка.

И знаете, отец Максим, кто был Дедом Морозом? Будущий городской голова Владимир Ипполитович Жернаков, а снегурочкой – Софья Маштакова.

Дед Мороз поздравил детей с Новым, девятисотым годом, вручил каждому по рублю.

Нанятые повара и прислуга поставили в зале столы, отец Василий пригласил всех на трапезу. А потом продолжались песни, пляски, игры. Кое-кто из ребят от усталости тут же под ёлкой укладывался, улыбаясь, похрапывал.

В семь часов утра к дому отца Василия пожаловали вереницы троек, запряжённых в сани. Кучера окружили меня. Я зачитывал список, что вручил мне отец Василий.

«Сани Личного почётного гражданина Петра Андреевича Попова и потомственного почётного гражданина Ивана Клементьевича Пименова, и казачки Александры Фёдоровны Голубь, и купчихи Ирины Тимофеевны Козловой катают детей по улицам: Николаевскому проспекту, Обскому проспекту, Владимировской, возле дома Железнодорожного собрания детей поздравляют с Новым годом и отпускают домой.

Сани заштатного священника Петра Яковлевича Васильков, Личного почётного гражданина Дмитрия Егоровича Барабанова, дворянки Юзефи Нарбетовны Кмит, мещанки Анастасии Ивановны Бесединой детей катают по Николаевскому проспекту, Александровской, Трактовой и напротив Закаменской околоточной будки детей провожают по домам.

Сани мещанина Фёдора Тимофеевича Соловьёва, потомственной почётной гражданки Веры Матвеевны Спасской, потомственной дворянки Серафимы Адриановны Гессельблат, дворянки Марии Александровны Краузе детей катают по Николаевскому проспекту, Кабинетской, Дворцовой и провожают домой.

Сани…».

Прощаясь, отец Василий и матушка Мария каждому ребёнку вручали подарки: кулёк сладостей, книжку, мальчишкам

отец Василий вручал брючки и рубашку с кушачком, а девочкам матушка Мария дарила платьице и туфельки.

Я потом прибросил: годовое жалование потратил отец Василий на праздник для детей малоимущих.

Недолго мы общались с отцом Василием. Ранней весной девятьсот четвёртого года исчез он, испарился вместе с матушкой Марией… Мне отцом Николаем (Завадовским) велено было взломать замок на дверях дома Посельского. Странные люди нас окружают, отец Максим. Семь лет все уважительно называли Василия Алексеевича отцом Василием. Восторгались его бескорыстной щедростью и благотворительностью. За эти семь лет сотни детей получили образование в его частной бесплатной школе. Сотни мещан и рабочих пользовались его бесплатной библиотекой. А как неведомо куда исчез, тут в один миг сказано было мне: «Взломать замок на дверях дома Посельских».

Взломал. В комнатах прибрано. Вещи на месте. На столе записка: «Не судите да не судимы будете. Посельские».

– Старец, что бы случилось с Савелием, если бы он знал, что я буквально вчера видел матушку Марию. Она стояла возле входа в здание вокзала и просила милостыню. С поникшей головой умоляла: «Подайте, Христа ради, подайте. Не для себя прошу… Батюшка Василий в тюрьме сидит. Мне бы ему передать фунтик хлеба… Подайте, Христа ради…»

Все проходили.

И тут я увидел, как к ней приблизился на костылях Борис Смирнов. Он остановился возле неё, спросил: «Матушка Мария, вы меня не узнаёте?»

«Нет, касатик, не узнаю. А вы чей будете? Всё так поменялось, всё так поменялось… Меня никто не узнаёт, и я никого не узнаю. И жить мне, касатик, негде. Выгнали меня из нашего дома. И батюшка Василий в тюрьме…»

Борис достал из кармана золотую рублёвку. Да, да, золотую рублёвку положил в ладонь матушке и проговорил:

«И мне жить тоже негде, матушка Мария. И я бездомный…».



Глава тридцать первая

Исповедь маслянинского отшельника

Михаил умолк. Я ушёл в мыльню. Настасья штопала шаровары. С грустными глазами осмотрела меня. Неожиданно начала:

– Государь мой, я с этим страшилищем действительно встречалась. Уж слишком приметен: простреленное ухо, горбатый нос, заячья губа и голубые-голубые глаза. Я вспомнила время и место, где встречались. В душе какая-то раздвоенность: и теплота, и мрак, и холод, и жар. Не могу в воспоминаниях ухватить главное: эта встреча обрадовала меня или огорчила? С одной стороны, надежда на что-то лучшее, а с другой – расставание с самыми дорогими и близкими. Я готова вам рассказать. – Она отложила шаровары, иголку, нитки, приблизилась ко мне. Обняла. – Эта встреча произошла весной восемнадцатого года…

До нас дошёл крик:

– Старец, старец, помоги… Твоя икона меня душит…

Я выскочил из мыльни.

Михаил лежал, руками отбивался от кого-то, наседающего на него. Икона Николая Чудотворца стояла на божнице. Я перекрестил Михаила. Он опустил руки. Прикрыл глаза:

– Старец, вынеси меня во двор. Твоя икона имела умысел задушить меня. Я боюсь её. Не уходи от меня. Разреши моей душе хоть немного выплеснуть мою окаянную жизнь.

Я вынес его. Положил на медвежью шкуру. Напоил варом. Он прикрыл глаза и поспешно заговорил:

– Старец, я грешен и повинен перед Господом Богом, заслужил высшей кары от людей. Хочу передить своих друзей, получить от них кличку клятвопреступника.*

Десятого февраля я был дома. Отмечали день преподобного Прохора. Сидели за столом мать, сестра и я. День рождения отца, а он далеко в Бельгии. Мать пригубилась к бокалу шампанского и заплакала. Сестра поддержала. В час ночи раздался телефонный звонок. Я взял трубку. Незнакомый голос прохрипел: «Михаил, у подъезда стоит машина. На сборы пять минут. Аркадий ждёт вас в Тобольске».

Я быстро собрался. Мать отговаривала. Сестра умоляла взять её с собой. Скоро должен был вернуться из Бельгии управляющий отца. И отвезти их к отцу. Тот уже приобрёл недвижимость: дом в два этажа, мукомольную мельницу «для забавы». Сестра не желала покидать Сибирь. Но мне обуза ни к чему.

Вскорости я оказался в Тобольске, в революционной команде по охране императора и его семьи. Возглавлял охрану царя мой старый учитель, уроженец Урала Яковлев.

При первой встрече мы уединились в укромное место. Он проинформировал меня, что идёт усиленная подготовка к побегу царя. В Тобольск сотнями прибывали паломники. В Тюмени план побега возглавляли князь Голицын и князь Львов.

Яковлеву монархисты предписывают временно прекратить информировать Санкт-Петербург, Совет народных комиссаров о семье Романова. Прекратить информировать и большевиков Сибири. Мне предложили влиться в охранную команду рядовым. Прощупать всех, кто может навредить общему плану побега августейших.

Я в течение недели хорошо сошёлся с солдатами, они подчинялись мне с большим рвением. Правда, некоторых я баловал водкой, чтобы создать разброд и заменить солдатами, которых рекомендовал Яковлев, с явной выправкой офицера.

Вскорости к нам стала поступать информация, что в Омске председатель крайсовета Григорий Дронин поднял вопрос

* Передить – опережать, упреждать, обгонять, поспевать ранее.

об усилении охраны Николая. Намечалось сместить Яковлева и поставить Петра Староверова, делегата Всероссийского Съезда Советов от Ново-Николаевска. Яковлев решил проинформировать Совет народных комиссаров и Сибкрайсовет, что в Тобольске всё спокойно, тревог о побеге Николая нет.

Из Москвы, от Совнаркома за личной подписью Ленина пришло секретное извещение, что ввиду опасности побега Николая Второго Екатеринбургскому совету поручалось перевезти его из Тобольска в Екатеринбург. Вскорости поступило два уведомления. Первое: перевозка возлагалась на Яковлева. И второе: председатель крайсовета уведомлял всех не чинить препятствия к перевозке, а содействовать.

Из Тюмени от руководителей побега Николая поступали приказы срочно отправляться на восток. Но мы не могли выехать. Двенадцатого апреля сильно заболел наследник Алексей Николаевич. А нас поторапливали с двух сторон. Тут меня приглашают в вагон императора и в присутствии Яковлева и князя Долгорукова предлагают срочно выехать в Омск и в течение двух-трёх суток подобрать дам, похожих на великих княгинь. Кому принадлежал этот авантюрный замысел, не знаю. Меня во многое не посвящали. Но там на прощание император сказал: «Штабс-капитан Кадыгробов, клянитесь честью офицера, что моя просьба и приказы офицеров русской армии останутся в тайне на века вечные».

Город Омск от прошлого набега матросского отряда Запкуса жил в панике и страхе. Многие явочные квартиры офицеров исчезли. Но мне удалось в течение трёх суток подобрать замену для великих княжон: Ольги, Марии, Татьяны. Оставалась Анастасия. Тут я вспомнил Екатерину Байдукову, купеческую дочь. Когда я учился в гимназии, не находили мы с ней общего языка на почве политических дел; она была монархисткой, а я социал-революционером. Вспомнил – и бегом к ней. На Люблинском проспекте врываюсь в дом Байдуковых. Нет Катерины. Прислуга говорит: «Отсутствуют они. В ресторане «Аквариум» плавают».

Недолго уговаривал и убеждал её и её подругу Марию.

Ждём императорский поезд. Мои дамы вблизи вокзала по железнодорожным домам распределены. Связь безупречная. К каждой приставлены прислуга, офицер. Я три дня и три ночи не спал. Ждал поезда с Николаем. Совнарком и Сибкрай ждали поезда императора в Екатеринбурге, а мы ждали его в Омске. И дождались. Я проинформировал помощников, в каком порядке подводить к вагону какую даму, при замене куда отвозить, где переодевать, какими и где снабдить документами.

Первой возле меня оказалась Катерина Байдукова. Открывается вагон, сходит на площадку князь Долгоруков. Мы приветствуем друг друга. Я докладываю ему, что приказ выполнен. Дамы подобраны. Вокруг всё спокойно, можно приступать к обмену. Смотрю, на тамбурной площадке появляется великая княжна Анастасия. Она еле успела спуститься на платформу, как я подтолкнул Байдукову к дверям вагона. Не разговаривая, передал подруге Байдуковой Марии Барановой великую княжну, прошептал, куда она должна проводить княжну и ждать моего дальнейшего указания.

Смотрю, на тамбурной площадке появилась великая княжна Мария. И тут тишину предутреннего рассвета разрывают хаотичные винтовочные выстрелы, приказные крики. Князь Долгоруков запрыгивает на площадку, закрывает дверь. Солдаты под командованием Яковлева занимают оборону вагонов. Я бегу через пути. Вижу, как к императорскому составу быстро идёт мой земляк Григорий Дронов, а за ним большая толпа вооружённых людей. С обратной стороны состава слышны крики: «Товарищ Дронов, пулемёты на месте. Путь на восток заблокирован. Можно приступать к разоружению охраны императора».

– Старец, я понял, где-то его сиятельство и офицеры не учли возможность предательства.

Я отправился туда, куда отправил Марию Баранову и Анастасию. В явочной квартире, кроме дам, находился и незнакомый мне полковник. Он приказал мне с ближайшим поездом отправиться на станцию Ишим и там ждать дальнейших указаний. И опять заставил меня дать честное слово, что

ничего с великой княжной не случится, что моя жизнь – гарантия жизни Анастасии.

На станции Ишим мне приказали сопровождать «сестриц», (так окрестили офицеры Марию Баранову и Анастасию) до Ново-Николаевска.

На подъезде к станции Обь в купе вошёл начальник санитарного поезда Борис Смирнов. Отругал меня за потерю бдительности и велел «сестёр» отвезти в Алтай, в Верх-Ашпанакский скит. Я отвёз «сестриц». Сдал.

Интересовался, как прожила последние минуты купеческая дочь Катерина Байдукова. В девятнадцатом году в газете «Наша заря» от первого марта прочитал статью «Убийство бывшего императора Николая Второго и его семьи». В этой статье я десяток раз читал один абзац: «Великая княжна Анастасия Николаевна упала в обморок. Когда же её стали осматривать, она дико завизжала, после чего её убили штыками».

– Старец, судьба уготовила мне неоднократные встречи с Григорием Дроновым, когда он работал в ЧК. Случайно узнал, что он в своих воспоминаниях писал и о том времени, когда поезд с Николаем оказался вместо Екатеринбурга в Омске.

Старец, я читал его воспоминания «О попытке побега Николая Второго из Тобольска в начале восемнадцатого года». Ничего интересного. О нашей подмене ни слова. Правда, обратил внимание на четвёртую страницу. Дронов писал: «Я до сих пор не знаю, предусматривалась ли планом перевозка Николая II сначала на восток к Омску, а затем обратно на запад в Екатеринбург.

Но впоследствии, уже после расстрела Николая Второго, названный уралец Яковлев (не смешивать его с сибирским Н. Н. Яковлевым), который был уполномочен на перевозку царя и его семьи, оказался контрреволюционером и скрылся у Колчака».

– Старец, тогда в камере мои воспоминания распотрошил голос Аристарха. Он шептал: «Отец Максим, вы не стите? Отец Максим, послухайте. В восемнадцатом году, как меня отправили домой, на Урале меня сграбастали большевики.

Переобмундировали в матроса и прикрепили в отряд комиссара Запкуса».

Старец, это мои догадки, но если бы не появился отряд Запкуса и карательной экспедицией не прошёл по городам Западной Сибири, побег императора на восток был бы успешен.

Тогда, в ту ночь, Аристарх шептал отцу Максиму:

«В дни выполнения Декрета об отделении церкви от государства я оказался в городе Омске. В очаге нового восстания против советов. Офицерство, черносотенцы, священники мобилизовали силы. В полночь, руководимые архиереем Виктором священники начали одновременно во всех церквях набат. Звонари, запершись в колокольнях, звонили без конца. Огромные толпы горожан собрались на улицах, площадях, около церквей. И тут прибыл наш поезд. Мы были вооружены до зубов. Получив приказ, рассеялись по центру города. Нас встречали мужчины в отлично сшитых френчах, ослепительном белье, дамы в великолепных туалетах. Кое-где раздавались одиночные выстрелы. Слышались призывы к свержению советской власти. Агитация и возбуждение масс против большевиков росли, звон соборного колокола не утихал. Нам был дан приказ к действию. Мы, матросы, со всех улиц сбежались на площадь. Среди собравшихся наступило всеобщее оцепенение, замешательство. Мой отряд окружил архиерейский дом. Толпа попятилась. Мы даванули на дверь. Она с треском вылетела. Появился в дверях монах. Я взмахнул шашкой. Окровавленный монах валится мне под ноги. Арестовали весь клир. Снимается с колокольни звонарь. Комиссар Запкус объявляет в городе осадное положение. Мы всю ночь не спали: арестовывали контрреволюционеров, проводили конфискацию у арестованных драгоценностей. Кто сопротивлялся или имел оружие – расстреливали на месте. Ночь для Омска закончилась всеобщей паникой, страхом. На следующий день на улицах ни души. Мы пробыли в Омске двое суток и отправились в Тюмень.

В Тюмень мы не вошли. Наш поезд остановился в пяти верстах от города, на разъезде. Быстро конфисковали у местного населения лошадей, сани. Уже вечером захватно-революционным порядком наш отряд развернул свою операцию.

Из трёх наших вагонов выходят нафуфыренные, богато одетые дамы в полушубках, в пальто с воротниками и на санях отправляются в город. Это были контрразведчики поезда. Они на ночь растворились по кафе, ресторанам, пивным. За ночь втянулись в курс информации высшего света. Узнали, кто, когда и для чего прибыл в Тюмень.

Утром, получая информацию от дам, развернули свою операцию. Провели облаву и расправу над буржуями, черносотенцами, бандитами и уголовниками. Расправлялись на месте. Несколько дней замёрзшие трупы валялись по улицам. Затем наступило время арестов офицеров вместе с сановником Львовым. Все контрреволюционеры города были психически деморализованы. План похищения Николая Второго раскрыт.

На театральных тумбах, на стенах домов развесили приказ о добровольной сдаче золота и серебра в пункты приёма. На моём приёмном пункте образовалась большая очередь. Одни владельцы ссыпали драгоценности мне в мешок и убегали, другие умоляли выдать им ордера о своевременной сдаче ценностей.

Я рассовал по карманам драгоценности, что были мне по душе, и оставил отряд Запкуса. Решил на окраине города, вблизи кирпичных заводов лечь на дно. Хозяин работал в депо и вечерами сообщал мне подробности, что происходит в городе. Порадовался, когда он сообщил, что матросы Запкуса покинули город.

Наступили тёплые весенние дни. Я решил покинуть Тюмень. На станции Ишим, отец Максим, приключилась неприятность. На вокзале меня арестовали. Отняли золотые побрякушки, камушки – и в каталажку. Сижу день, другой. А на третий появляется в камере мой ротный. Его благородие Михаил Прохорович. Тот, который в моего друга Василия стрелял. Он ставит мне условие: если я дам ему слово, что буду выполнять все его приказы, он велит тюремщику отпустить меня.

Оказывается, его благородие ещё в конце февраля узнал меня среди матросов. И потом, когда я с барахлом покинул Запкуса, он, Михаил Прохорович знал, где я находился».

– Старец, Аристарх нудно и бессвязно рассказывал, как я его освободил и заставлял работать на Советы. Он был уверен, что я большевик. Я стал засыпать. Голос Аристарха убаюкал меня. Не знаю, сколько я спал. Неожиданно встрепенулся от голоса Савелия. Он говорил: «Аристарх! Не плети чушь! Серьги работы Никиты у матушки Александры и она не то, что продать, а показывает их только своим близким».

Аристарх громко, возмущённо парировал: «Савелий, я не слыл трепачом. Когда мы выехали из города Ишима, Мишка поручил мне следить за двумя дочками купца, за Настей и Машкой. А в санпоезде меня устроил санитаром. И я несколько раз видел в ушах Насти серёжки работы Никиты. Плетёнки с жемчугом. Я однажды спросил у Михаила. Ведь в день, когда полковник Ляпин проводил торжество, посвящённое изготовлению подарка императрице, как я, так и Мишка присутствовали.

Я тогда спросил у Михаила: «Ты у дочки купца узнал чуски?»

Он мне ответил: «Это не твоё дело. Смотри, чтобы Настю никто не украл вместе с серёжками…»

Савелий сказал: «Всё, Аристарх, хватит. Батюшка Максим, давайте спать, а то он начнёт шептать ещё что-нибудь сказочное».



Глава тридцать вторая

Исповедь маслянинского отшельника

– Старец, прошло девять лет с того дня, как я оставил сестёр в Верх-Ашпанакском ските старообрядцев и уже совсем стал забывать о них. Своих забот полно. Главная забота – уцелеть. И тут вызывает начальник отдела и спрашивает: «Вы, Михаил Прохорович, хорошо знаете Алтай. Вам и поручаем это задание. Суть его в следующем. Один информатор передал нам, что в Верх-Ашпанакском женском монастыре две монашки-сестры отличаются необычной грамотностью. Хорошо говорят на иностранных языках, едят по-особому и молитвенники имеют свои, да за всё время, пока живут в монастыре, – никому в руки не давали. Ну, это всё чепуха – на неё я не обращал внимания. Вчера пришло новое сообщение. Информатор заверяет, что одна из монашек – дочь императора Николая Кровавого. Приказываю: монашек сестёр привести сюда, остальных разогнать, а монастырь и скит сжечь дотла. Даю в твоё распоряжение отряд из пяти чекистов. Уверен – справишься». Я у него спросил: «Как же я узнаю, какие из монашек настоящие, а какие дочери царя?» Он мне ответил: «Тебе информатор поможет. Появишься в монастыре, потребуешь, чтобы каждая монашка подпись свою поставила. Информатор поставит подпись так, что две точки будут стоять в конце, да ещё над первой буквой маленький крестик».

Вот, старец, жизнь какая – сам прятал, и самому пришлось ловить. Всякие мысли в голове витали. Я-то великую княгиню

узнаю и дочку Омского купца Баранова. А вот если они меня узнают? Подумал: не Борис ли Евгеньевич информатор? Ведь он мне предложил этот монастырь, где спрятать сестёр. Но сам же отбросил эту дрянную мысль. Борис Евгеньевич живёт в городе безвыездно. Почему знаю? За эти годы я часто прохаживался мимо дома Смирновых, чтобы издали посмотреть на сына.

Окружили женский монастырь, загнали монашек в молитвенный дом. Лично сам переписал всех по имени, потребовал от каждой под своим именем подпись поставить. Отказались. Попугал немного, выстроил в ряд. Макаю перо в чернильницу и подаю каждой по очереди. Вот и список заканчивается, а подписи с двумя точками да с крестиками на первой букве нет. Дознаюсь у монашек: кто отсутствует. Оказывается, трёх нет. Где? Убегли, ещё два дня назад. Это значит, когда я с отрядом из Новосибирска выехал. Разузнал, куда могли убежать. Получил ответ: в Майму. Мне сразу стало ясно, что убёгли «сёстры», а за ними и информатор. Приказал я сжечь монастырь и постройки вокруг, женщин под конвоем отправил в Барнаул, а сам в сторону Маймы отправился.

Но в пяти километрах от скита, в ложбине нашли два женских трупа. Старец, в одном трупе я узнал дочь Омского купца Баранова, а вторая мне была незнакома. Я решил – это и есть информатор. Составили протокол на трупы. Велел выкопать яму. Закопали – и дело с концом.

Старец, помни, где-то блуждает по белому свету одна из дочерей императора.

Михаил медленно угасал. Всё чаще и чаще он терял сознание. Я не отходил от него. Он, только открывал глаза, тихо шептал мне свои воспоминания.

– Старец, ты здесь? Старец, на моей совести и жизнь Николая Бальвы.

В двадцать девятом году послали меня в село Чингизское, разузнать, кто из кулаков проводит агитацию против создания колхоза. Утром просыпаюсь, – жил я у председателя комячейки – в ушах колокольный звон.

– Кто позволил?! – кричу.

На душе радость, а внешне показываю раздражение. Дойдёт до начальства, что при мне в селе колокола громыхали – выгонят с работы или за потерю политической бдительности осудят.

Прибегаю к церкви. Выходит навстречу не кто иной, как Николай Никодимович Бальва. Говорит спокойным голосом:

– Престольный праздник сегодня. День Петра и Павла. Разрешение на благовест получено от исполкома.

Подаёт мне бумагу. Да я ещё более освирепел. Не о звоне думаю, а об отце Николае. Стоит, уверенный в своей правоте, красивый мужчина. А на меня и днём, и ночью смотреть страшно.

Настрочил я на отца Николая бумагу, через неделю его арестовали.

Возможно, поймёте меня, но до конца ли? Почему я оклеветал отца Николая? И вовсе не из-за того, что он был красив и здоров. Больше из-за прошлого. В восемьсот девяносто шестом году я стоял рядом с семьёй Бальв. Видел, как император поднял Николая, подбросил его, поцеловал. А я чем был хуже? Почему его величество даже не погладил меня по голове? Всё Бальвам!!! Ты можешь, старец, сказать: если бы не отец Никодим, не жил бы Мишка Сбоев, не жил бы и я. Я был очевидцем, как Николая на расстрел вели. Работал я тогда информатором в управлении.

Тринадцатого февраля тридцатого года получил задание в пять часов вечера быть на улице Воронцовской (Свердлова. – Прим. авт.). Подъехал на машине. Жду. Вывели из дома троих, среди них – отец Николай. Их конвой ведёт, а я сзади еду. Спросите: зачем машина? Для подстраховки. Вдруг кто из арестантов бежать вздумает, придётся стрелять: потом не на себе же нести. И хоть сумрачно было, но вижу, Николай всё голову поворачивает. Я подумал, что он узнал меня. Но скоро понял: и машина, и я, и шофёр были безразличны ему. Он вглядывался вниз по Николаевскому проспекту, туда, где вливается в проспект Колыванская улица. И я догадался: он вспоминает тот далёкий девяносто шестой год и слышится

ему, как и мне: оркестр играет гимн России, тысячи радостных лиц скандируют: «Ура!», море цветов. А он, Николай, на руках у императора. Николай Александрович с отцовской нежностью прижимает его к себе и спрашивает: «А этого, матушка Александра, как зовут?» Матушка Александра отвечает: «Николаем».

Смотрю, отец Николай с поклоном наложил на себя крест. Меня бросило в жар. О какой догадке я говорю. Отец Николай смотрит туда, где впадает в Обь речка Каменка, где, спасая нас, шалопаев – Сбоева и меня – утоп отец Никодим…

Михаил прикрыл глаза. Долго молчал. Губы чуть-чуть дрожали. Руки, сложенные на груди, теребили рубаху.

Я не выдержал, спросил:

– Михаил, сколько же на твоей совести погубленных человеческих душ?

– Одиннадцать, – ответил он, и тяжко вздохнул.

– И всё россияне? – опять спросил его.

– Нет, не все. Двух колбасников я убил на фронте. – Он отвернулся от меня.

– А я, Михаил, только в рукопашных боях положил девятнадцать человек – и всех на войне. И всё врагов моего отечества. Мне оказывали высшие почести, что положены русскому солдату. В Ново-Николаевске встречали с оркестром. Домой, в Пеньково, везли на тройке. На новый дом, хозяйские постройки выделили бесплатно деляну леса. Дали рысака… Я презираю тебя, Михаил, не только за твои преступления… за другое… Зачем тебе надо было разумно стараться держать в памяти события, рассуждения? Зачем? Разве то, что ты сохранял в памяти десятки лет, наделило счастьем хотя бы одного человека?

– Прости, старец, я понимаю, тебе нелегко и трудно выслушивать меня. Но пойми, мне необходимо до конца раскрыть свою душу – вывернуть её наизнанку.

Я налил Михаилу взвару, подал в руки. Он отпил глоток.

– В тридцать седьмом году за пьянство «повысили» меня в должности – возглавил я похоронную команду УКГБ. Несколько исполнителей каждый день в затылок расстреливали «врагов народа», а я с такими, как сам, злодеями по ночам, отвозил трупы на кладбище, копал яму – и туда…

С первых чисел сентября не было ни одного дня отдыха. И вдруг на день Рождества Пресвятой Владычицы, двадцать первого сентября, затыльница потребовала санобработку. Отдых! Но не тут-то было. Одного врага народа нужно было срочно прибрать. Приказали мне к десяти часам вечера приготовить ямку. Что не приготовить! За это жалование получаю. Команда копает могилу, а мы с батюшкой, из Успенской церкви, отцом Олегом, в сторонке стоим и беседуем. Спрашивает он у меня:

– Покойника-то попозже привезут?

– Не привезут, а приведут, – отвечаю.

– Значит, у могилы приговор будут приводить в исполнение, – рассуждает отец Олег. – А кого приведут, не знаете? – спрашивает и ближе прижимается. – Разрешили бы вы мне, Михаил Прохорович, причастить раба Божьего. Поди помните… Обещали…

– Я, отец Олег, и так на большое нарушение иду. Над каждым убитым молитвословите.

Шум машины перебил наш разговор. Я попросил отца Олега пройти в храм, а сам с помощниками оцепили свежие бугорки и яму. Машина остановилась, вывели арестанта, и повели к нам. Я смотрю в темноту на походку арестанта и чудится мне, что это отец идёт, отец! Я фонарик зажёг и луч в лицо арестанта направил.

Палач говорит:

– Вы, Михаил, присмотрите за шпионом, а мы в машине «подзаправимся». Разучился я на свежем воздухе приговор приводить в исполнение.

Взял я отца за наручники, подвёл к могиле, осветил. Отец шепчет:

– Что ж, сынок, мелко выкопал? Надо бы поглубже… Штыка на два…

Я в большом волнении спрашиваю:

– Отец, почему вы здесь? Вы же были в Бельгии?

– Был, сынок, был… Мать жива, сестра жива… А я пробрался на родину умирать. Да видишь: узнали меня и за шпиона признали… Большой пост, сынок, тебе большевики доверили! Отец твой за заслуги перед городом личным почётным гражданином был, а сын первый гробовщик… Будешь жив, помни: от могилы Ивана Щукина на восток, пройдёшь восемьдесят шагов и упрёшься в кряжистую берёзу. Под ней клад – наш, кадыгробовский. Но не смей касаться его своими руками. Всё передай моему внуку Ивану.

Видно, стакана два пропустил исполнитель для смелости, привычно раскрыл кобуру, достал револьвер.

– Смертник, подойди ближе к яме и отвернись, – говорит он отцу.

– Я хочу перед смертью смотреть родным в лицо, – возразил отец.

– Родным? – спрашивает «исполнитель». – А кто тут тебе родной?

У меня всё замерло.

– И ты, – отвечает отец, – и все остальные русские. Сызвека от одного отца и матери мы пошли.

Исполнитель выстрелил. Отец медленно повалился в могилу.

Старец, бросал я землю с помощниками на отца, уверен был: живого закапывали… Две недели после этого пил. Но, как и трезвый, так и пьяный, видел перед собой отца. Видел: я на его грудь землю бросаю, а она от вздоха его рассыпается. Вот когда я стал сожалеть, что Варвара не убила меня в сентябре четырнадцатого, не убила меня в июле двадцатого… Видно,

Господь Бог специально продлил мою жизнь, чтобы я ещё более ощутил телесные и душевные страдания.

И ещё я тебе скажу, старец. Давно бы меня надо за пьянку, выгнать из органов. Но держали. Держали за пугало. Бывало, не признаётся в своей вине враг народа. Всё отрицает. Стоит мне с этим врагом народа сутки в одной камере побыть – и он готов сам себе могилу рыть. Чаще человек не от пыток умирает, а от ожиданий их.

Пьяным привезли меня в управление и в камеру бросили. Пролежал на полу, пока хмель прошёл, приподнимаюсь, а на нарах сидит отец Фёдор. Жалость к нему у меня была, но не от души. Так, между прочим, подумал, что тётка Александра в одиночестве век доживать будет… Что мне, долго в камере сидеть? Нутро горит – опохмелиться хочется. Что мне Фёдор, если недели не прошло, как отца закапывал. Закатил я глаза, руки согнул хомутом, пальцы сложил крюком и на отца Фёдора двинулся. Он от моего вида – к дверям, а я одной рукой за глотку его схватил, а другой – как граблями – пальцами лицо его рву. Он оглушил камеру и меня таким криком, что железная дверь заскрипела.

Увели отца Фёдора. А потом и я опохмеляться пошёл.

Старец, каждый преступник стремится оправдаться перед собой, найти причины, чтобы обвинить других. Кто винит дружков, кто общество, кто родителей да наставников. Я во многих своих преступлениях виню только себя.

В день расстрела отца Фёдора гостил я в деревне Залесовой у матушки Александры. Приёмная дочь её, Елена, просит матушку Александру: «Мама старенькая, покажи мне батюшку Фёдора». «Потом, доченька», – отнекивается матушка Александра. И я прошу: «Покажите. Сколько лет я двоюродного брата не видел»?

Во, старец, какой подлец! Недели не прошло, как брата душил, а матери его вру.

Матушка Александра достала из тайника, что встроен был в табуретку, пакет. Вынула одну фотографию. С нежностью

смотрит, как император держит в своих руках запелёнатого карапуза. Шепчет: «Феденька, а жив ли ты?»

Я смотрю на неё, а она, удивлённая, бледнеет. Бросил взгляд на фотографию: расплылись очертания Николая Александровича, исчез карапуз. Чёрной пеленою покрылась фотография. Меня обухом стукнуло по голове: расстреляли Фёдора.

...Я побрёл в баню. Голова трещала. Сердце готово разорвать грудь и выкатиться. Рассудок шатался то к одной, то к другой мысли. Всё перепуталось. Я упал на лавку. Через какое-то время почувствовал аромат, исходящий от Настасьи. Она была рядом. Она не спрашивала, от чего вошёл я в великое расстройство. Она гладила меня и шептала: «Государь мой, мне с тобой хорошо. Уверена: мы проживём долгую и счастливую жизнь. Дети наши порадуют россиян добрыми делами. Я тебе ещё нарожаю... Обязательно...»

От избёнки доносились крики, ругань, хрип и надрывный кашель. Я поднялся. Настасья пригубилась к моей правой руке, к перстню. Приподнялась. Расстегнула застёжку на левом плече моей рубахи, вынула нательный серебряный крестик, подарок великой княгини Анастасии, прижалась к нему губами и замерла. Я погладил её седые волосы и вышел из мыльни.

Михаил, не открывая глаза, говорил:

– Как только началась война, я немедленно написал рапорт с желанием отдать жизнь на поле боя. Меня отпустили. Я воевал...

Старец, тот, кто обратил нашу Россию в преисподнюю, разлил по российской земле чаши бесчестия и гибели, – мне не ведом. Но я знал того, кто засорил мою душу. Это был Яковлев! Он, в молодой мой мозг вложил ипостаси, что я избранный из избранных, что мне всё дозволено, что истины не существует, кроме той, которую выскажут он или его братья по духу. Он

своей волей бросал меня делать одно, другое, третье… Да и вообще, моя воля была мертва.

Молодой, не умудрённый житейским опытом, не отличающий суетность от бытия, одержимый воспалённой мечтой, что в будущем за мою покорность принесут на златой тарелочке все высшие почести и блага, прожил жизнь, совершая преступления одно за другим.

Пять месяцев назад я больше не в силах был таиться от солдат, перебинтовывая каждый день свою болячку. Мой организм стал давать такие сбои, что иногда от боли терял сознание. Понимал – скоро придёт мой конец. Но уже тогда решил: последний мой поступок не будет преступлением. С этой мыслью отправился в полковой лазарет и в тот же день меня направили в тыл, в госпиталь.



Глава тридцать третья

Исповедь маслянинского отшельника

…Михаил как бы ушёл в беспамятство. Не любезностью мой слух радовал, несусветной бранью. Бранил всех, меня в том числе.

Хотел было скрыть от тебя, внучек, какими словами награждал меня Михаил. Но совесть не позволяет, ибо была в его обвинениях доля правды.

Он кричал:

– Да, я собачье дерьмо, прожил, как гадина. Ну а ты, старец, чем лучше? Спрятался от людей и живёшь прошлыми подвигами; любуешься прогнившим кителем фельдфебеля, бренчишь Георгиевскими крестами, а вблизи тебя умирают тысячи…

В первый день нашей встречи ты говорил, что лечился и лечил других. И что?! Не грызёт совесть, что ты, умеющий врачевать, просидел в этой глуши более двадцати лет? Я губил людей. А ты? Кому ты помог? Мне? Да на кой черт нужна мне твоя помощь! Я и без тебя сдохну. Я мразь, мерзость. А ты, дед, базыга! Да, да хрыч и глуздарь…

Он расстегнул карман гимнастёрки, вынул неведомую мне награду, протянул.

– Я, дед, этот орден получил за защиту Москвы. Слышишь? Москвы!!! А ты трус, пиявка природы… Я тебя презираю…

И вдруг слышу за моей спиной жёсткий, властный голос:

– Господин Кадыгробов, как вы невоспитанны. Не забывай-

тесь! Ваш отец служил камер-советником Его Императорского Величества! А оскорбления вы наносите его сиятельству, мужу…

Михаил на миг оцепенел, голова приподнялась:

– Старец, кто эта женщина? Кадыгробов?! Да, я Кадыгробов. Но мой отец был купцом. И никакого отношения не имел к Его Императорскому Величеству. Верно, старший брат моего отца занимал какой-то чин при императоре… Но, сударыня, позвольте вас спросить: откуда вам это известно? Чудеса! В глухих салаирских лесах знают мою фамилию, знают моих родственников, о которых не знали ни ЧК, ни ОГПУ, ни НКВД.

Я повернулся и поглядел на Настасью. Она, бледная, широко раскрытыми глазами смотрела не на Михаила, а на меня. Её губы вздрогнули, она подалась вперёд, но отшатнулась, склонила голову и, круто повернувшись, пошла к мыльне.

Господи, мог ли я предположить, что вижу её в последний раз!

Михаил всё допытывался, откуда женщина и откуда она о нём всё знает. Я обманом успокоил его:

– Почудилось вам, Михаил. В беспамятстве вы, вот и приснилось. И никакого голоса женщины я не слышал.

А он далдонил:

– Голос, голос мне знаком…. И стать…. И цвет васильковых глаз…

Вечером я напоил снадобьем Михаила, он уснул. Отправился в баню. Сегодня я выпытаю у Настасьи всё: и про то, кто она на самом деле, и про скит Верх-Ашпанакский, и про сестру её. Постучался в дверь. Настасья не откликнулась. Постучался ещё. Тихо. Я приоткрыл дверь – пусто. На полке лежали придавленные камнем несколько листков бумаги. У меня подкосились ноги. Я проклял тот день, когда услышал стоны и приволок Михаила к землянке. Это он разлучил нас!

Страшно было приблизиться к листкам. Боялся: как только прочитаю – упаду замертво.

«Милостивый государь Никита Евсеевич.

Не думала я, что, тайно отправляясь посмотреть больного, привычная всё скрывать, всё же не выдержу, когда оскорбляют любимого человека! Ах! Зачем моё любопытство привело меня к дому? Опять я ухожу в бега. Боже мой, что мне ещё готовится? Никогда во всю мою будущую жизнь я не забуду лета, что прожила с вами. Я была счастлива. Боже мой! Прости мою слабость. Но я действительно не смогла равнодушно перенести то, что говорил Кадыгробов.

Милостивый государь Никита Евсеевич, ради Бога, простите, я трижды сказала вам неправду за четырнадцать лет нашей совместной жизни. Первый раз, когда вы спросили меня: кто я. И сейчас я вам на этот вопрос не отвечу. Могла бы написать, но вы всё равно не поверите.

Второй раз по исходу Николы вешнего двадцать девятого года. Помните, вы проводили меня до деревни Ново-Лушниковой? Через три месяца я вернулась. И долго рассказывала лживую историю с нашим младенцем. Я видела, как почернело ваше лико, как померкли лучи в ваших изумрудных глазах. Да, я ввела вас в расстройство, причинила большую душевную боль. Ради Бога, простите!

Я родила, государь мой! Не умер ребёнок! Я родила в тот год вам сына. Родила в доме Александра Ильича Иванова. Вы меня просили, чтобы я ни на каком иноземном языке не разговаривала, а выставляла себя дурехой. Так я себя и вела. Покидая сына, оставила я ему метку. Помните, вы мне рассказывали про Олену Щукину и Бердское восстание? Государь Александр Ильич в поле уехали и детишек своих прихватили. Я этим воспользовалась. И чтобы в будущем вы узнали своего сына, подкусила ему левое ушко, обработала ранку, накормила, перецеловала всего – и ушла.

Мой отец ненавидел социал-демократов, а я социал-демократу сына своего на воспитание оставила.

Боже мой! Сколько молитв я тайком произнесла за здравие сына Ни-ко-ла-я! Богу ведомо!

Третий раз сказала вам неправду в 1932 году. Дочь я родила вам.

Проводили вы меня до деревни Ново-Лушниковой, вручили поясок с золотой пластинкой на продажу, на пропитание, а сами ушли. Послушалась я вас, государь мой. Распустила косу, вдела в уши серёжки, кои изготовлены были на этой земле много лет назад, а я их от вас прятала. Боялась, увидите вы их и всё вам раскроется… Прикрыла косынкой серёжки, взвалила на плечи туесок с мёдом и направилась в дом Ивановых. Вошла, поставила на стол туесок и низкий поклон совершила. Облепили стол пять сыновей Иванова и дочь. Сам Александр Ильич год назад помер. Я взглядом пробежала по мальчикам и остановилась на одном. Здоров наш сын Николай и похож на вас, а более на деда моего. Протянула я к нему руки… Жена Александра Ильича – Фёкла Ольговна – слезами залилась. Проводила она детишек во двор, обняла меня и шепчет:

– Сударыня, пусть пока ваш сын у нас живет. Вот родите второго, окрепнете, среди людей жить начнёте, тогда я сама его к вам приведу.

Достала я, государь мой, поясок с пластинкой и в ладонь её положила. Она осмотрела пластинку, провела пальцами по пасти волка, поцеловала и протянула мне.

– Сударыня, нет в живых Максима Никодимовича. Нет в живых Николая Никодимовича, но ещё жив Федор Никодимович. Вот ему передайте эту тамгу. Я из рода Тарлавы. Моё настоящее имя Бекбассара Омаровна. Когда в девятнадцатом году Александр Ильич бежал из Кольчугинской тюрьмы, мой отец Омар Хабибович таил его в нашем улусе. Там мы и полюбили друг друга. Перед смертью мой муж, Александр Ильич, сказал: «Ивановы, и Щукины, и Огневы, и Бальвы, и Тарлавы –

наша родня. Держитесь всех». Фёкла Ольговна долго молчала, а я молилась за упокой души Александра Ильича. – Не приму, сударыня, я тамгу Кучума, Бог моих родителей покарает меня. Тамга должна принадлежать дочерям Фёдора Никодимовича Бальвы или Никиты Евсеевича Огнёва.

Не послушалась я вас, Государь мой. Вы предлагали сторониться села Егорьевска, а я туда направилась. Я подумала так: будет ли случай побывать на земле, по которой ходил отец мой и сын моего прадеда, а возможно, и мой прадед.

Фёкла Ольговна собрала мне вещей для новорождённого и отвезла меня в Егорьевск. Возле заброшенной драги на речке Суенге мы поплакались с ней, перецеловались и расстались. От речки Суенги я поднялась в гору. Постояла и помолилась возле дома бывшего начальника прииска полковника Ляпина. Дальше намеревалась подняться ещё выше и посмотреть Егорьевскую школу, но меня, по пути, окликнул мужской голос. Это был Пётр Лазаревич Вершинин. Он пригласил меня в дом. Дал время отдохнуть. А потом спросил:

– Каковы ваши планы?

Я сказала ему:

– Пётр Лазаревич, простите меня, что я появилась в селе Егорьевске… Догадываюсь: у вас могут быть неприятности. Но и меня поймите… Я не знаю, что меня ждет впереди… Прошу вас, отвезите меня в село Залесово. Я хочу родить ребенка там.

Пётр Лазаревич прошёлся по комнате, подсел к столу, налил стакан водки, медленно выпил. Заговорил тихо.

– Я отвезу вас к матушке Александре. Но вы должны сделать одну вещь: отдать мне свои серёжки.

– Почему, Петр Лазаревич? – спросила я его. – Это же всё что осталось из моей прошлой жизни.

– Точно такие серёжки есть у матушки Александры. И ещё есть причина. Как ни уничтожали в последние годы моих земляков, ещё остались живые, которые помнят торжество

в доме Ляпиных. Трудно найти что-либо совершеннее по красоте и ценности. Заверяю: какой бы ни была скверной эта жизнь, ваши сережки будут у ваших наследников. Или у сына, что воспитывается в семье Ивановых, или у ребёнка, кого вы оставите в доме моей тетушки.

– Вы знаете про моего сына? – с тревогой спросила я.

– Я всё знаю, Анастасия. Не вините, что давно не навещал старца. Дел очень много. Душой я всегда с ним.

Запряг он пару лошадей и повёз меня. Вы правы были, когда отзывались о нём хорошими словами. Он во время всей дороги был так заботлив, что долгое путешествие не показалось тяжёлым. Если судьба распорядится встретиться вам с ним, отблагодарите его и от моего имени.

Думаю, специально к дому матушки Александры мы подъехали тёмной ночью. Он в дом не вошёл. Простился вежливо и попросил, чтобы я никому не рассказывала об этом путешествии. Вы не в счёт. Вы мой муж.

Недолго я стучала в дверь. Открыла матушка Александра. Я её узнала. Много раз девочкой я тайком от Государя батюшки открывала его потайной ларчик в моей спальне и, прикрыв все двери наглухо, чтобы не дай Бог, кто уловил меня за этим делом, с любовью, а не с ревностью рассматривала фотографию матушки Александры и её малолеток. Боже! Боже! За что нам такая кара?!

Матушка Александра провела меня в горницу, поставила горячий самовар. Мы долго молча чаёвничали.

Она постелила постель, уложила меня, села на краешек кровати и, поглаживая меня по голове, спросила:

– Второй?

– Да, матушка Александра, второй, – ответила я.

– Не боитесь?

– Рожать не боюсь. Людей боюсь. Государь мой батюшка говорил сестрам: «Хочу, чтоб много-много детей было у вас. В России каждый при деле будет».

Поздней ночью пришёл в дом отец Фёдор. Он пешком ходил в деревню Костыли отпевать раба божьего. Вошёл, поздоровался, представился. Я поднялась с кровати и попросила:

– Батюшка, благословите.

Я поцеловала его протянутую руку, он благословил меня, а у матушки спросил:

– Дальняя родственница?

– Да, – ответила матушка.

– И как величают?

– Настасья, – ответила я.

– В больнице будете рожать или дома? – вновь спросил отец Фёдор.

– Дома, – ответила матушка. – Я вместо повитухи буду.

– Дочь я вам родила, Государь мой Никита Евсеевич. А когда сказала, что имя её будет Олена, побледнела матушка Александра, повалилась на пол, и я долго её отхаживала.

Три месяца я жила в доме Бальв. Понимала, какой опасности подвергаю их. Каждое утро готовила свой побег и каждое утро откладывала. Дожди проливные пошли, вот-вот снег повалит. Всё! Пора! Вечером за чаем достала я узелок, развернула платочек, вынула золотую пластинку и положила на стол. Склонила голову, заговорила:

– Матушка Александра, ухожу я, а дочь вам оставляю. Не могу дочь взять с собой. Сама погибну, и она погибнет.

Матушка Александра молчит. Подняла я голову, а она целует золотую пластинку и плачет глазами, а потом и навзрыд зарыдала.

– Княгиня Анастасия, как к вам попала эта вещь? Как? Вы встречались с Максимом? С Николаем? Это они вам её передали? Не молчите! Я вас прошу, княгиня!

– Мне передал эту пластинку мой муж. Имя его Никита.

– О Боже! Никита Евсеевич жив?!

Я кивнула.

– Где он? Ну, говорите же скорее… Он видел последним на свободе Максима. Мне передали – Максим расстрелян. Никита, возможно, знает о судьбе Николая.

– Простите меня, матушка Александра Борисовна, но сказать вам, где Никита Евсеевич, я не могу.

Государь мой Никита Евсеевич, простите меня за многократные обманы.

Пятнадцать лет вы для меня были отцом, мужем, другом сердца и единственным человеком, которому я готова была отдать всё, кроме своей тайны.

Не унывай, минувшее с тобою;
Незрима я, но в мире мы одном;
Будь верен мне прекрасною душою,
Сверши один начатое вдвоём.*

Дорогой мой, похороните Кадыгробова и уходите. Оставаться опасно. Я сегодня видела на могиле Ивана Щукина женщину…

Прощайте, Милостивый Государь.

Ваша покорнейшая жена Анастасия»

Я сидел в бане, которая последние десять дней была домом Настасьи, и плакал. Я перечитывал листок за листком и бился о почерневшие бревна. И почему судьба распорядилась привести Михаила к нашей избушке?

Всё. Больше я не пойду в мою келию. Пусть умирает в одиночестве, хватит. Он своим появлением разлучил нас с Настасьей, своими воспоминаниями внёс в мою душу ломоть вара как несмываемого позора за человеческие деяния.

Но постепенно я успокоился, обмыл лицо и, призываемый воплями: «Старец, старец, вы где? Старец...», – я побрёл к землянке.

---

* Четверостишие из стихотворения Василия Жуковского «Голос с того света».

Ночь не отняла его грешное тело. Смилостивилась. Отдала дню решить его судьбу – в надежде, что не осенит его живого своим покровом тьмы. Видно, и ей грешник Михаил надоел.

– Старец, прошу вас, выслушайте меня до конца. Умоляю… Богом прошу… Вы обиделись, что я вам наговорил обвинений? Не воспринимайте их всерьёз… Я не хотел. Это помимо моей воли…

…Тогда, ещё в четырнадцатом году, я испугался, что меня будут презирать за мою подлость. Но разве не страшнее, когда сам себя презираешь? Я лгал! Лгал! Когда меня спрашивали: «Михаил Прохорович, что с вашим лицом?» Я отвечал: «Война». Но на войне я не получил ни одной царапины. Меня изувечила Варвара. Что же я получил за минуты удовольствия? Годы и годы страданий и одиночества. Господи, старец, вернуть бы меня к осени четырнадцатого года! Не насильничал бы я, а ноги Варваре целовал. Не проезжал бы мимо неё в позе китайского божка, а снял шляпу, раскланялся и без тени шутливой фамильярности сошёл бы с кареты и, как положено мужчине, предложил лучшее место и помог поудобнее сесть. Я окружил бы её вниманием, и ни звука пошлости, сальности, намёков… Я в детстве читал про старцев. Они, удаляясь от суетного мира, многое приобретали – духовного. Старец, вот я лежу перед тобой. Я ничего не хочу. Но попытайся сотворить с моим телом такое, чтобы я хотя бы на время, на сутки-двое поднялся. Что бы я сделал? Я пришел бы в наш дом в Новосибирске. Да, я знаю: он сейчас занят. Там живут двенадцать семей, эвакуированных из Таганрога. Старец, двенадцать семей! А мы с сестрой долго спорили, когда въезжали в новый дом: где будет моя спальня, где её, где будет мой кабинет, где её. В нашем гостином зале за стол усаживались пятьдесят с лишним человек… Я бы зашёл в свой кабинет, снял со стены подставку для лампы, сколупнул штукатурку и достал маленький ларчик. А в нём золотой кленовый листочек. Тот, старец, листочек, что более ста лет назад нашла Степанида Щукина на речке Фомихе. За бесценок купил его дядя Семен Емельянович у Варвары. Я бы принёс листочек Варваре Ивановне, вручил и на коленях просил прощения за себя и за всех Кадыгробовых.

Господи, не для преступлений мать меня рожала! Я бы поехал в село Залесово к родне своей, к матушке Александре, и просил её порешить меня. Максим, Николай, Фёдор – ведь они мне не чужие! Прабабушка их, Татьяна, была родной сестрой моего деда.

Он лежал, закрыв очи. Я догадывался: ему жить несколько минут. Господи, Михаил, сколько же в тебе пороков: ты не венчан был, безженно, бесплодно и безгодно прожил. Великий Антоний говорил: «Душевные силы тогда бывают крепки, когда ослабевают телесные удовольствия», но вижу, он был не прав. Михаил давно лишился телесных удовольствий, а сил душевных не прибавилось. Вижу, Михаил опамятовался, заговорил:

– Старец! Старец! Ты здесь? Угомони в моём теле и душе боль, дай ещё своего вару, чтобы я несколько минут пообщался с тобой…

Непрошеный гость угасал. Я сходил в келию и вынес оттуда икону.

– Помолись, Михаил, напоследок, – предложил я ему, опустив к его лицу икону Николая Чудотворца, – смерть облегчит твои телесные и душевные усталости.

Сам подумал: «Зачем тебе, Михаил, нужно было отправляться в такой трудный путь?»

Михаил попытался приподнять голову. Он вытянул губы, и я приложил к ним икону. Михаил чуть приоткрыл глаза, с трудом выговаривая слова, прошептал:

– Икону, что вы давали мне приложиться, я помню. Она была в часовне Святителя Николая. Часовня олицетворяла географический центр России, а икона – хранительница и защитница России. Отец мне рассказывал, как выбирали тех, кто будет нести эту икону от собора Александра Невского до постоянного её места. Присутствовали тысячи прихожан. Предлагали купцов Туркина, Пименова, Луканина, братьев Маштаковых и Жернаковых, Радюкова, моего отца, но

прихожане выбрали плотника Сергея Сбоева, каменщика Ивана Покрышкина, врача Бориса Смирнова и кавалера полного Георгиевского банта Никиту Огнёва… – Он отбросил руки, вздохнул, губы чуть-чуть покривились, а хрипловатый голос заторопился: – Я исповедался пред тобой, старец, а вижу – совесть свою не очистил. Приступы одурманенного сознания толкали меня от одного преступления к другому. Обличителем сам себе являюсь, и обвиняемый я. Многие годы не человеком прожил и не воином, а наёмником. Хоть и не было мне повышенной денежной платы, была другая. За то, что я был палачом, обо мне молчали. – Он затих. Я подумал, что всё, отошла душа. Но тут он опять затараторил: – Я предавал и убивал своих родственников, но ради чего? Я был давно убеждён: самый большой пост, что получил от большевиков, – это подсадная утка, провокатор, информатор, начальник похоронной команды. Поверь мне, старец, я находил извращённое, пагубное, нецелесообразное… Я был обольстителен, прелукав, злоковарен, злолютен, душегуб, душегуб… Но если я всегда осуждал в душе свои дела и поступки, то, знать, было во мне что-то…

Михаил умирал. Он стонал и пытался подняться, вырваться из-под тяжкого камня, который вдавливал его в землю. Он прерывающимся голосом кричал:

– Василий Огнёв…Василий, не стреляй мне в спину… Горит огнем, горит…Огнёв… За что ты меня убиваешь? За что? Иван Шмаков! Иван Иванович! За что ж ты в грудь мне пальнул? От моих уст о тебе знают и во Франции, и в Германии, и в Бельгии… Подожди, Иван, подожди, дай ещё годик белым светом порадоваться! А там темно, темно… Порфирий Кокорин, не меня ли ты вешаешь на воротах Мартемьяна Шмакова? Глянь, вокруг дети… Егор Марамзин, Егорушка… Егорушка. Остановись! Боже мой, Николай Ударцев, ты пустил мне саблю прямо в правый глаз! Смотри! Левый вздулся до чудовищных размеров и, словно гриб-мухомор, повис на еле видимых нитях пульсирующей жизни.

Михаил ушёл в себя. Я смотрел на его обезображенное лицо и думал: вот он лежит, убийца моего сына Василия. Всё. И хоть мы часто спорили с сыном перед моим отшельничеством, но всегда теплилась у меня надежда на него. Верил, совсем иссякнут мои силы жить в одиночестве, он, сын, подаст мне кружку воды, поможет сходить по нужде. Нет его.

Встал на колени, молюсь, вспоминаю добрым словом Ивана Ивановича Шмакова, вспоминаю Ваню Ташкина и сына своего. Нарушена основа нашего бытия – ныне не родителям молитва дарована, а детям. О сыне усопшем молюсь, о внуке молюсь, о молоди, что должна была наш прах почитать – о них старик молится. Господи! Всё перевернулось! Изжалился слезами – упал в беспамятстве.

Востав от скорби и прослезившись, первым делом начал поить варом Михаила. Боже, успокой душу грешного Никиты, посреди собора своего!

Я напоил Михаила варом, накормил постным грибным супчиком и думал отойти от него. Михаил поблагодарил меня за внимание. Спросил:

– Вы как истинный православный прощаете мои убийства?

Я ему ответил:

– Человек, замышляя убийство, не думает, что придёт время, и он совершит крестный ход в белых ризах. И если я, Михаил, вам прощу, то люди не простят. Хоть я вас и одел в облачение моё, но вы не получите новое имя. Много лет уже прошло, много, и день за днём скоротечно бегут, а матери, отцы и жёны всё продолжают неутешно плакать. Отец мне по молодости говорил: «Помни, сынок, зло творишь одному, а вред наносишь себе».

Утомлённые в убийстве люди – несчастные люди. Лишённые чувств – тени. И думаю: не наступит ли праздник убиенных?

Я молился на коленях пред иконой Николая Чудотворца и думал: «Где-то мой внук Иван бьёт супостатов. Если в деда

пошёл, хорошо бьёт». До меня донеслись глухие слова Михаила:

– Старец, ты так и не спросил у меня, зачем я здесь. От бича Варвары я заимел заячью губу, бельмо на левом глазу. От пули – простреленное правое ухо. От пули Бориса я не только лишился своёго мужского достоинства, я потерял смысл жизни. Теплилась у меня надежда на сына. Но и тут меня покарал Бог. Я полз в эти места, зная, что скоро умру. Ты сам видел: всё сгнило... А силы у меня нашлись доползти до этого места оттого, что доброе задумал... Твоя келия стоит совсем рядом с шурфом, где похоронен отец Варвары Ивановны, Иван Гордеич. От могильного креста на восток восемьдесят шагов – и берёза. Она уже сгнила, но под ней золотой клад семьи Кадыгробовых. Сколько? Не знаю. Прошу тебя, старец, нарушь свою отшельническую жизнь, отнеси клад в город и передай в фонд Победы…

Михаил затих. Я вспомнил слова своего деда Каллистрата Романовича. Он говорил: «Внучек, не ленись творить добро, не покроется твоё имя забвением. Память добра вечна».

Но почему человек горит замыслом доброты только пред вечностью? Почему не с юношеских лет? С возрастом человек приобретает или честь, или бесславие. Успеет или нет в конце жизни совершить добрый поступок, вина его возвращается в круги своя. И не спишутся ему ни злобливость, ни коварство, ни дерзостные слова, ни мятущиеся в гневе мысли. В час смерти кричи не кричи – я одаряю весь мир и земными, и неземными благами – все эти словесные потоки не остановят смерти. И всё же я доволен последними делами Михаила. Больной, но он воевал, он был со своим народом. Придёт время – одолеет народ супостатов, но надо и заранее продумать, чтобы не было времени одолеваемыми быть. И тут меня обухом ударило. Он, он, Кадыгробов… Он должен знать о моих… Я наклонился над ним и крикнул со стоном ему в лицо:

– Михаил! Михаил! А видел ли ты моих?

– Кого, старец? – очнулся Кадыгробов.

– Варвару? Ивана? – ещё сильнее закричал я.

– Старец, кто ты? – чуть приоткрыв глаза, спросил Михаил.

– В миру был Никитой Евсеевичем Огнёвым!

Михаил закрыл глаза, и я усёк: его грудь замерла. Я начал теребить его, громко кричать:

– Кадыгробов, слышь, Кадыгробов, ответь: из моих-то кто жив?

Михаил с превеликим трудом приоткрыл веки. Я обрадовался: и ещё на некоторое время он выдрал себя из лап смерти. Он простонал, увидев меня над собой, отвел глаза в сторону.

– Прости, Никита Евсеевич, прости… Не могу я в твои глаза смотреть… И на смертном ложе Господь Бог карает меня… Варвара Ивановна жива. Два месяца назад, как решил я добраться до этих мест, проходил мимо дома Смирновых… Ревела Варвара не своим голосом. Сын мой, внук ваш… Иван… Убит под Сталинградом… Теперь мне всё стало ясно… Не оружие, не золото отец Максим и вы выкрали из часовни Николая в городе Ново-Николаевске, а эту икону…



Благовестие

...Сдавило мне грудь, и провалился я в неведомую яму...

Очнулся, посмотрел на Михаила, ждал, что вновь услышу его голос. На этот раз он утих навсегда. Родниковой водой, травами да кореньями, молитвами и вниманием не исцелил я Михаила, но продлил ему жизнь. Зачем ему нужно было это продление? В телесных муках и душевных страданиях? Чтобы покаяться в грехах?! Не мне одному он говорил, а всем, кто будет читать это.

В день преставления Михаила солнце спряталось за тучи, небо плакало, капли дождя окропляли живую природу и некрасивое лицо угасшего грешника. Но не знает об этом мать его. Так поплачу я за неё. Благую надежду возлагали родители на него, много денег и драгоценностей скопидомством собирали. А как сейчас? Восплескаются ли руки у матери? Кто ликует в Бельгии и перебирает камушки? Выдержит ли материнское сердце, когда узнает, что сын копал могилу отцу, а отец ждал, сидя на чужом надгробии под конвоем? Сын закапывал отца, бросая ему в лицо землю, а тело отца было неостывшим, и грудь ещё дышала... Видно, создал Бог и таких людишек, которые от поколения к поколению приносят людям печаль и горе. Но не надо думать, что они от этого в радости живут. И они страдают.

Вода в роднике воскипела, паром задышала. Я черпал её ковшичком и обмывал грешное тело. Не обессудьте меня, люди, кто будет читать это. Я из своего смертного достал холщовую рубаху, шаровары. Обул его холодные ноги в свои сапоги. Возношу молитву Господу Богу, что и эти вещи у меня были в запасе.

Вослед горсти земли, что я бросил в могилу на гроб Михаила, полетела часть души моей. И сидел я на бугорке, смотрел вниз на крышку гроба, и всё не закапывал. Русского хороню, а знать, не к спеху.

Хороню я тебя, Михаил Кадыгробов, и беру на себя смелость написать на кресте, что здесь покоится Аполлон Кадыгробов – губитель и моего сына Василия. Но в душе сомнения. Полностью ли вина на Кадыгробе? Да, на нём большой грех, когда он насильничал – обесчестил мою невестку. Но вина лежит и на благочинном отце Евгении, а там выше… И сына Василия и невестку Варвару я не оправдываю. И над ними стоял Сибревком, и ещё выше… И задаю себе вопрос: почему за двести лет до общенародного волнения в наших волостях от кулачных боёв, от ревности и жадности к наживе не естеством умерли только девять человек, а за три года братоубийства более четырёхсот?

На десятый день после смерти Михаила я вынес тряпье на солнышко, обмазал пол кущи свежей глиной и почувствовал, как в келии тихо погибла память о Михаиле Кадыгробе.

Торжественный и громкий духовой оркестр, встревающий серебряным звоном благовест, разбудили меня. Что-то внутри всколыхнулось. Я живо поднялся. Глянул на двери: она приоткрыта. Духовой оркестр затих, а благий звон человеческими голосами куда-то звал меня… Распознал… Пятнадцатилетний мальчуган взывал:

– Здравствуйте, отец! Я твой сын Николай! Видишь, всё вернулось в круги своя. Я сын Иванов…

Одиннадцатилетняя девочка бежит мне навстречу:

– Папа, папа, это я, Елена княжеская, Елька посадская, Олена крестьянская…

Господи! Я часто думал, с какими глазами буду блуждать на том свете между своими предками, выслушивать их упреки: «А кто после тебя остался в мире? Василий убит! Иван убит! Для кого я пишу это? Внука нет… Появится! От Николая появится! От Олёны! Появится!

Я прильнул губами к Николаю Чудотворцу, произнёс:

– Не для этого, дорогой мой батюшка Максим отдал жизнь, чтобы я тебя оставил в глуши, без людского внимания, ласки, почитания и любви.

Пойдём дальше…

Я снял икону, ёщё раз пригубился. Завернул в ту же холщовую льняную ткань, в которой воровал из часовни в далёком двадцатом году.

Вынес Николая из келии.

Иду, дети мои, к вам, иду, и не один. Время наступает такое, что каждый человек должен знать, от кого он пошёл в человеческий мир, кто наделил его благим светом, кому он передаст зерно своего бытия и мир творения.

Сколько бы ни плутал в тайге человек, а если у него есть умысел к праведной жизни, он увидит лучи солнца в кромешной тьме и возрадуется, ступая по земле предков, оставляя в темноте злоречие, безнравственность, безумие и жажду крови.

Я хочу жить в мире и с миром. И с тобой, Николай Чудотворец.

Звёзды прорядились над домом матушки Александры в селе Залесово, поблекли. Алая полоса зари коснулась избушки Никиты вблизи речки Суенги. Занялась чистая слабая синева над землями Тайлёнка, Егорьевска, Ново-Лушникова. Поро-

зовела Усть-Травянская заимка. Скоро золотые солнечные лучи осветили мамоновскую гору Лягу, Маслянинский полуостров и далее… Взыграло солнце над Стрелинкой, Пайвино и Пеньково. Светлел безмерно Салаирский край. Проснулись и усопшие, и живые мои герои. Все они с восходом солнца ждут чего-то, что грядёт, наступит…

Садыров
Анатолий Жамалиевич

СЕРЬГИ ИМПЕРАТРИЦЫ

Исповедь маслянинского отшельника

Роман

Редактор А. И. Денисенко

Корректор О. Е. Чугуйцева

Технический редактор Н. Т. Власова

Сдано в набор 15.01.2015. Подписано в печать 08.03.2015. Формат 84x108/32.
Бумага офс. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 13,6. Тираж 300 экз. Заказ № 85. РИЦ «Новосибирск»
Новосибирского отделения Союза писателей России. 630081,
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33.